ISSN 0130-6545

4.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЭММАНЮЭЛЬ КАРРЕР
Усы

МАРГАРЕТ ЭТВУД
Та самая Грейс

ГАБРИЕЛА МИСТРАЛЬ
Стихи

ЛИТературный ГИД

Мирча Элиаде

До конца 1999 года редакция намерена опубликовать:

Жозе Сарамаго. «КАМЕННЫЙ ПЛОТ» — роман последнего лауреата Нобелевской премии, выдержавший в Португалии несколько переизданий и переведенный на многие языки. *«Фантастическое и лирическое повествование о Пиренейском полуострове, превращающемся после геологической катастрофы в остров... Остроумная и изысканная притча» («Буклист»).*

Арундхати Рой. «БОГ МАЛЫХ ВЕЩЕЙ» — первый роман молодой индийской писательницы, сразу ставший международным бестселлером и удостоенный премии Букера за 1997 год. *«Редкая книга с такой силой прорывает ткань национальности, касты и религии, чтобы добраться до костяка человечности» («Дейли телеграф»).*

Эрик Орсена. «ДВА ЛЕТА» — роман гонкуровского лауреата о невероятных перипетиях, связанных с переводом на французский язык набоковской «Ады». *«Эрик Орсена вовлекает нас в безумную и совершенно фантастическую историю, где бушуют три стихии: море, любовь и литература» («Телерама»).*

Тибор Фишер. «КОЛЛЕКЦИОННАЯ ВЕЩЬ» — виртуозно и весело написанный роман английского писателя, где рассказчиком является древняя ваза, способная проникнуть в самые потаенные уголки человеческой души. *«Книга настолько хороша, что вы будете перечитывать ее, и не один раз» («Дейли телеграф»).*

Алессандро Барикко. «ШЕЛК» — новый роман итальянского писателя, уже переведенный на 27 языков. *«Безупречный стилистический эксперимент, словно воссоздающий пленительное японское хайку... Литературная жемчужина, околдовавшая читателей» («Санди таймс»).*

Орхан Памук. «ЧЕРНАЯ КНИГА» — роман о Стамбуле, заставивший весь мир говорить о новой турецкой литературе. *«Великий роман уровня «Петербурга» Белого и «Мастера и Маргариты» Булгакова» (Хуан Гойтисоло).*

Кристофер Бакли. «ЗДЕСЬ КУРЯТ» — неожиданный для нынешних неопуританских нравов в Америке роман, герой которого, пропагандист курения, яростно защищает интересы табачных королей. *«Очень смешная книжка» («Нью-Йорк таймс бук ревью»).*

Рассказы **Джона Апдайка, Джулиана Барнса, Милорада Павича, Сьюзен Сонтаг** и др.

Документальная проза

Гюнтер Грасс. «МОЕ СТОЛЕТИЕ» — фрагменты выходящей в Германии летом 1999 года новой книги крупнейшего немецкого писателя, составленной из 100 глав и складывающейся в субъективную историческую хронику XX века.

Марио Варгас Льоса. «КАК РЫБА В ВОДЕ» — подлинные истории, не менее увлекательные, чем знаменитые романы перуанского писателя.

Герберт Уэллс. «ПОСТСКРИПТУМ К «ПОПЫТКЕ АВТОБИОГРАФИИ». О ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЯХ И ПРИЗРАКЕ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ» — воспоминания об отношениях автора с «железной женщиной» Мурой Будберг.

Лиллиан Хеллман. «БЕЗ КОНЦА» — рассказы американской писательницы о своих поездках в Москву.

Литературные портреты **Сэмюэла Беккета, Гертруды Стайн, Габриеле Д'Аннунцио, Бориса Виана.**

Материалы к 100-летию классиков XX века — **Хорхе Луиса Борхеса и Владимира Набокова.**

Ежемесячные выпуски *«ЛИТЕРАТУРНЫХ ГИДОВ»*, посвященные ключевым темам современной культуры.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), **УФПС** (для Московской области) **и Моспочтамта** (для Москвы).

Подписной индекс 70394.

А если вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем ПОДПИСАТЬСЯ ПРЯМО У НАС — это НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ.

Подписка в редакции будет проводиться **с 1 апреля по 15 июня ежедневно с 12 до 17.30, кроме пятницы и выходных.**

Адрес редакции: **Пятницкая улица, дом 41** (метро «Третьяковская»). ☎ **953-5147.**

**Из общего тиража в 15 200 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 4 535 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

4 апрель 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ЭММАНЮЭЛЬ КАРРЕР — Усы *(Роман. Перевод с французского Ирины Волевич)*..... 5
АЛОЙЗ ИХАН — Стихи *(Перевод со словенского Жанны Гилевой. Вступление Надежды Стариковой)*..... 69
МАРГАРЕТ ЭТВУД — Та самая Грейс *(Фрагменты романа. Перевод с английского И. Янской. Вступление Н. Пальцева)*..... 74
РОБЕРТ ОЛЕН БАТЛЕР — Три рассказа из книги «Таблоидные фантазии» *(Перевод с английского М. Гальпериной)*..... 120

Из классики XX века

ГАБРИЕЛА МИСТРАЛЬ —Стихи *(Перевод с испанского и вступление Н. Ванханен)*..... 140

Литературный гид

МИРЧА ЭЛИАДЕ: ОДИССЕЙ В ЛАБИРИНТЕ

Составление и переводы Анастасии Старостиной
АНАСТАСИЯ СТАРОСТИНА — Камуфляж и откровение..... 149
МИРЧА ЭЛИАДЕ — Испытание лабиринтом. *Беседы с Клодом-Анри Роке*..... 151
МИРЧА ЭЛИАДЕ — Человек без судьбы... *Из книги «Воспоминания. I. Мансарда»*..... 209
ЭМИЛЬ ЧОРАН — Мирча Элиаде..... 223
Мирча Элиаде: краткая летопись жизни и творчества..... 228

Статьи, эссе

ЖОЗЕ САРАМАГО — О том, как герои учат автора ремеслу. *Нобелевская лекция 1998 года*..... 234

Среди книг

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Круговая оборона. АЛЕНА ЗЛОБИНА — Постмодернизм с другим лицом. БОРИС ДУБИН — Атака на границу..... 241

У книжной витрины..... 248

Курьер «ИЛ»..... 251

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Фрагменты новой книги знаменитой французской писательницы **Натали Саррот** «ОТКРОЙТЕ» — тонкие, ироничные скетчи, где в качестве персонажей выступают отдельные слова.

«КОНЕЦ ПУТИ» — психологический и сатирический, реалистический и гротескный роман **Джона Барта**, одного из ярчайших представителей американской литературы «черного юмора».

Роман шведского писателя **Петера Корнеля** «ПУТИ К РАЮ», целиком состоящий из комментариев к утраченному тексту некоего научного исследования, — главная публикация *Литературного гида «ИСЧЕЗАЮЩИЙ ТЕКСТ»*. Ненаписанные книги и невысказанные мысли — тема статьи **Михаила Эпштейна** «КНИГА, ЖДУЩАЯ АВТОРОВ».

«НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» — подборка книжных рецензий, в которых польская поэтесса нобелевский лауреат **Вислава Шимборская** остроумно и мудро размышляет о книгах, редко попадающих в поле зрения критики.

Цветные иллюстрации номера — работы индийских художников Кангрской школы (XVIII—XIX вв.):

На 1-й стр. обложки — «Эротическая жизнь богов»
На 2-й стр. обложки — «Застигнутая врасплох»
На 3-й стр. обложки — «Женщина за туалетом»
На 4-й стр. обложки — «Воздушный змей»

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, д.6
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
книжный центр «Проект О.Г.И.» — Трехпрудный пер., д.11/13

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

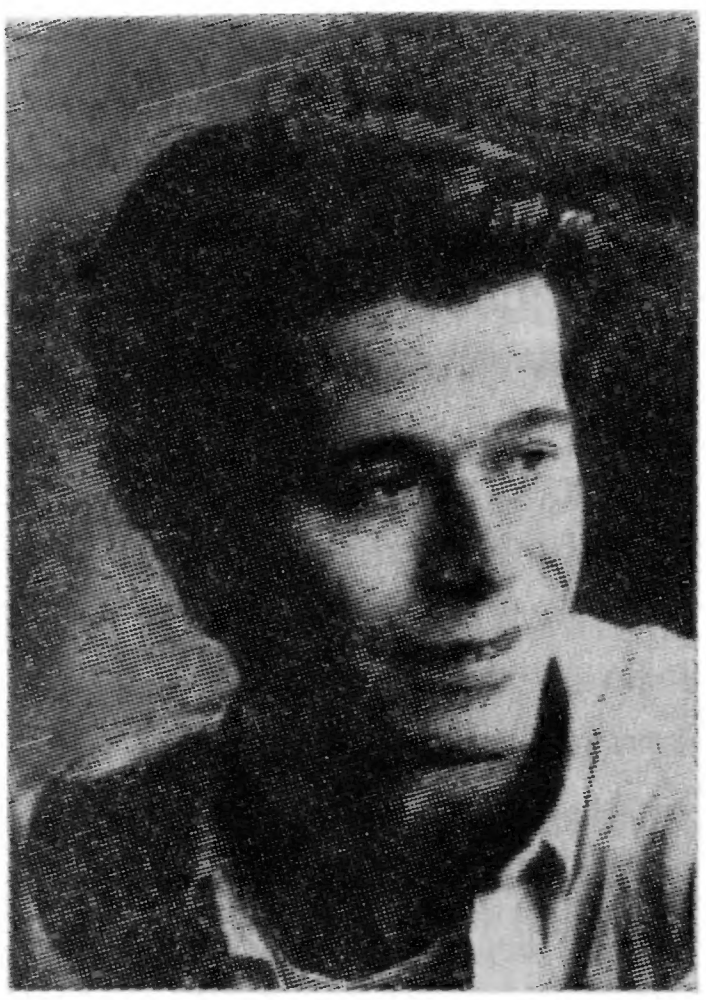
Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 27.03.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага газетная. Усл. печ. л. 25.2. Усл. кр.-отт. 31.0. Уч.-изд. л. 26.57. Заказ №4082.

Тираж 15 200 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



ЭММАНЮЭЛЬ КАРРЕР

Усы

РОМАН

Перевод с французского ИРИНЫ ВОЛЕВИЧ

Роман «Усы» — четвертая по счету и самая нашумевшая книга молодого французского писателя Эммануэля Каррера, уже переведенная на многие языки.

«Усы» — книга потрясающая, — считает Джон Апдайк, откликнувшийся рецензией на выход ее английского издания. — Потрясающая — по тому, как стремительно и завораживающе развивается в ней действие, потрясающая — по своему финалу. Роман, в котором всего сто пятьдесят страниц, просто нокаутирует тебя».

Каролине Крузе

— Что бы ты сказала, если бы я сбрил усы?

Аньес, листавшая иллюстрированный журнал на диване в гостиной, откликнулась с легким смешком: «Неплохая мысль!»

Он улыбнулся. На поверхности воды в ванне, откуда он не торопился выходить, плавали островки пены, усеянные мелкими черными волосками. Жесткая, быстро отраставшая щетина вынуждала его бриться дважды в день, иначе к концу дня подбородок угрожающе чернел. По утрам он осуществлял эту процедуру, стоя у раковины перед зеркалом до того, как принять душ, и она представляла собой всего лишь череду машинальных жестов, лишенных всякой торжественности. Зато вечером то же самое бритье превращалось в целое действо, в ритуал отдохновения, который он готовил любовно и тщательно, опуская душевой шланг в воду, чтобы пар не затуманивал зеркала, окаймляющие вделанную в нишу ванну, устанавливая стакан со спиртным так, чтобы он был под рукой, медленно, усердно намыливая подбородок, аккуратно водя взад-вперед бритвой, чтобы не задеть усы, которые затем подравнивал ножничками. И не важно, предстояло ли ему выйти куда-нибудь «при параде» или, напротив, остаться дома; в любом случае эта ежевечерняя процедура занимала свое почетное место в пестрой мозаике дня, наряду с единственной сигаретой, которую он позволял себе после обеда с тех пор, как бросил курить. Умиротворяющая радость, доставляемая бритьем, неизменно сопутствовала ему с ранней юности, а профессиональная деятельность еще сильнее обостряла наслаждение этой церемонией, и когда Аньес ласково подшучивала над «бритвенным свя-

---

© P.O.L éditeur, 1986
© И. Волевич. Перевод, 1999
Права на публикацию предоставлены издателем Захаровым, который выпускает этот роман отдельной книгой.

щеннодействием», он отвечал, что это и впрямь его личный обряд «дзэн», единственная возможность для размышления, познания своего «я» и духовной стороны бытия — насколько это позволяет его пустая, но всепоглощающая работа молодого, динамичного служащего. «Не динамичного, но энергичного!» — с насмешливой нежностью поправляла Аньес.

И вот он наконец завершил процесс бритья. Расслабившись, прикрыв глаза, он разглядывал в зеркале собственное лицо, забавляясь сменой его выражений, от преувеличенного, распаренного блаженства до суровой, несокрушимой мужественности. На краешке уса, в уголке рта, белели остатки пены. Он заговорил о том, чтобы сбрить усы, в шутку, так же как иногда размышлял вслух над тем, не остричь ли совсем коротко свои полудлинные, откинутые назад волосы. «Совсем коротко? Боже, какой ужас! — неизменно протестовала Аньес. — При усах, да еще в кожаной куртке ты будешь вылитый педик!»

— Но я ведь могу и усы сбрить.

— Я тебя люблю и с усами! — откликнулась она. По правде сказать, она никогда не видела его иным. А женаты они были уже пять лет.

— Я сбегаю в супермаркет, куплю кой-чего, — сказала Аньес, заглянув в полуоткрытую дверь ванной. — Мы уходим через полчаса, так что особо не рассиживайся.

Он услышал шуршание материи (это она надевала куртку), потом брякание связки ключей, взятых с низенького столика в передней, скрип открываемой и стук захлопнутой входной двери. «Могла бы включить автоответчик, — подумал он, — не хватало мне еще бегать мокрым к телефону, если кто позвонит». Он отпил глоток виски из толстостенного квадратного стакана, с удовольствием прислушиваясь к треньканью льдинок — вернее, того, что от них осталось. Вот сейчас он встанет во весь рост, вытрется, оденется...

«Нет, еще минут пять», — решил он, наслаждаясь отдыхом и мысленно видя, как Аньес, постукивая каблучками по асфальту, спешит к магазину и терпеливо ждет своей очереди у кассы, не теряя притом ни хорошего настроения, ни живости взгляда: она была мастерицей подмечать всякие странные мелочи, не обязательно смешные, но которые умела подать таковыми в своих рассказах. Он снова улыбнулся. А что, если устроить ей эдакий сюрприз: она возвращается домой, а он — нате пожалуйста! — сбрил усы. Пять минут назад она наверняка не приняла его слова всерьез — во всяком случае, не больше, чем обычно. Он ей нравился усатым, да, впрочем, и себе самому тоже, хотя давно уже забыл, как выглядел без усов, и не мог бы уверенно сказать, что ему больше шло. А в общем-то, если бритым он ей не «покажется», всегда можно отрастить усы заново, на это понадобится дней десять, ну, от силы пара недель, в течение которых он сможет любоваться своим преображающимся лицом. Аньес — та регулярно меняла прическу, не ставя его в известность, а он каждый раз бранил ее, устраивал нарочито бурные сцены и только-только начинал привыкать к новому облику жены, как ей снова хотелось перемен и она стриглась по-другому. Так почему бы и ему, в свой черед, не изменить внешность? Это было бы весьма забавно.

Хихикнув про себя, точно мальчишка, затеявший злую каверзу, он водрузил пустой стакан из-под виски на полочку и взял большие ножницы. Но тут ему пришло в голову, что такой густой пучок волос рискует забить слив: стоило хоть нескольким волоскам угодить в отверстие, как начиналась канитель — нужно было лить туда кислотный растворитель, который потом долго вонял на всю квартиру. Он взял стакан для полоскания рта и, установив его в относительном равновесии на краю ванны, врезался ножницами в свои густые усы. Волосы падали на покрытое беловатым налетом дно стаканчика короткими плотными пучочками. Он старался действовать как можно аккуратнее, чтобы не пораниться. Минуту спустя он остановился и поднял голову, чтобы оценить достигнутые результаты.

Если он хотел работать клоуном, то на этом можно было и успокоиться, оставив на верхней губе нелепо торчащие черные остья, где густые, где пожиже. В детстве он никак не мог уразуметь, почему глупые взрослые не извлекают из своего волосяного покрова ни малейшей комической пользы; отчего, например, мужчина, решивший расстаться с

бородой, проделывает это единым махом, вместо того чтобы денек-другой поразвлечь своих друзей и знакомых уморительным зрелищем только одной выскобленной щеки, при второй заросшей, или только одного срезанного уса, или встопорщенных бакенов, как у Микки Мауса; в общем, пренебрегает таким богатым источником веселья, с которым, вдоволь натешившись, легко покончить одним взмахом бритвы. «Странно, что вкус к подобным эскападам пропадает с годами, то есть именно тогда, когда их легче всего реализовать!» — подумал он, зная при этом, что и сам в данной ситуации будет держаться приличий; например, ему даже в голову не придет явиться в таком диком виде на ужин к Сержу и Веронике, старым друзьям, которые, разумеется, обиделись бы на его выходку. «Мелкобуржуазный предрассудок!» — со вздохом решил он и снова заработал ножницами, пока стаканчик не наполнился волосами доверху, а пространство под носом не расчистилось для бритвы.

Однако нужно было торопиться — Аньес могла вернуться с минуты на минуту, и если он не успеет завершить свое дело, то рискует испортить весь эффект. С радостной спешкой человека, который в последнюю минуту упаковывает приготовленный подарок, он намылил выбритое место. Бритва скрипнула, вызвав у него болезненную гримасу, но все-таки не порезала. Новые хлопья пены, еще более обильные, вперемешку с черными волосками, шлепнулись в ванну. Он дважды тщательно прошелся бритвой по верхней губе, и вскоре она стала зеркально-гладкой, не хуже щек, — отличная работа!

Хотя часы у него были водонепроницаемые, он снимал их перед мытьем; по его приблизительной оценке, вся операция заняла шесть-семь минут, не больше. Заканчивая, он нарочно не смотрел в зеркало, чтобы узреть себя в новом виде внезапно — так же, как это предстояло Аньес.

И вот он поднял глаза. Что ж, не так уж и страшно! Правда, на месте усов теперь красовался четырехугольник неприятно бледной кожи, казавшийся странной заплаткой на лице, еще покрытом легким загаром, приобретенным во время пасхальных каникул: фальшивое отсутствие усов — так он назвал это; не утратив озорного настроения, подвигшего его на сию проказу, он все-таки уже слегка жалел о содеянном и мысленно утешал себя тем, что дней через десять урон будет восполнен. Вообще пускаться на такие затеи следовало перед отпуском, а не после него — тогда лицо получилось бы ровно смуглым, а отпускать усы заново лучше вдали от дома, чтобы об этом знало поменьше людей.

Он встряхнулся: ладно, не беда, было бы от чего расстраиваться! По крайней мере, этот опыт хорош тем, что доказал: с усами ему лучше, чем без них.

Опершись на край ванны, он встал, вытащил затычку из слива и, пока вода с громким бурчанием уходила вниз, завернулся в махровое полотенце. Его слегка познабливало. Стоя у раковины, он натер щеки кремом after shave[1], избегая касаться молочно-белого квадрата под носом. Когда же он все-таки решился на это, неприятное пощипывание заставило его скривиться: кожа под усами давно отвыкла от внешних воздействий.

Он отвел глаза от зеркала. Сейчас придет Аньес. Внезапно он понял, что боится ее реакции, словно явился домой после ночи, проведенной с другой женщиной. Войдя в гостиную, где на кресле был приготовлен костюм для сегодняшнего вечера, он поспешно, точно вор, надел его. Он так нервничал, что слишком сильно потянул за шнурок туфли, и тот лопнул, заставив его выругаться. Бурный всхлип воды оповестил о том, что ванна опросталась. Добежав туда прямо в носках (мокрый кафель заставил его поджать пальцы), он тщательно смыл струей из душевого шланга остатки пены, а главное — налипшие на стенки волоски. И уже собрался было почистить ванну пастой, стоявшей в шкафчике под раковиной, но вовремя сообразил, что такой поступок будет выглядеть скорее попыткой преступника уничтожить следы злодеяния, нежели заботой любящего мужа. Вместо этого он высыпал в жестяной бачок с педалью срезанные волосы из стаканчика и тщательно вытер его, не сумев, однако, отскрести беловатый налет засохшей пасты.

---

[1] После бритья (*англ.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*).

Отчистил он и ножницы, также позаботившись вытереть их насухо, чтобы не заржавели. Наивность этих ухищрений позабавила его самого: глупо чистить орудие преступления, если труп — вот он, торчит на самом видном месте, как нос на лице!

Перед тем как выйти, он еще раз оглядел всю ванную, избегая, однако, смотреться в зеркало. Вернувшись в гостиную, он поставил пластинку — босанова 50-х годов, — уселся на диванчик, испытывая неприятное ощущение пациента, ожидающего своей очереди к зубному врачу. Он и сам не знал, чего ему больше хочется: чтобы Аньес пришла прямо сейчас или задержалась, дав ему время собраться с мыслями, осознать содеянное в его истинном значении, а именно как шутку — удачную или на худой конец глупую, над которой она посмеется вместе с ним. А может, и не посмеется, а притворится рассерженной, и это тоже будет забавно.

Он услышал звонок, но не тронулся с места. Через несколько секунд в замке повернулся ключ и он увидел со своего диванчика Аньес, нагруженную бумажными пакетами и отворившую дверь ногой. Он едва не крикнул ей, чтобы оттянуть решительный момент: «Отвернись! Не смотри!» Вспомнив про туфли, оставленные на ковре, он быстро нагнулся к ним, воспользовавшись возможностью хоть на какое-то время спрятать лицо.

— Мог бы и открыть! — беззлобно бросила Аньес, увидев мужа, застывшего в согбенной позе над туфлями. Не входя в гостиную, она направилась прямо в кухню, в дальний конец коридора, а он, затаив дыхание, прислушивался к легкому жужжанию открытого ею холодильника, к хрусту пакетов, из которых она вынимала продукты, и, наконец, к ее приближающимся шагам.

— Ты чего тут возишься?

— Шнурок лопнул, — пробормотал он, не поднимая головы.

— Ну так надень другие туфли!

И она со смехом бухнулась рядом на диванчик. Он же, сидя на самом краешке и замерев в деревянной позе над туфлями, тупо созерцал двойной ряд дырочек, не в силах выйти из столбняка. Дурацкая ситуация: ведь, затевая эту шутку, он готовился встретить Аньес с победоносным видом, посмеяться над ее удивлением либо, в худшем случае, недовольством, но уж, конечно, не так — скорчившись в три погибели и с ужасом ожидая момента, когда она увидит его лицо. Нужно было поскорее встряхнуться, взять себя в руки... и тут он, ободренный, скорее всего, глухим завыванием саксофона с пластинки, резко встал и зашагал, спиной к Аньес, в коридор, где находился обувной шкафчик.

— Если ты все же предпочитаешь эти, — крикнула она вслед, — то шнурок можно связать, а потом я куплю тебе новые шнурки.

— Да не стоит, — ответил он и вынул мокасины, которые и надел прямо в коридоре, ожесточенно сминая задники. Слава богу, хоть эти без шнурков! Глубоко вздохнув, он провел рукой по лицу, задержал ее на месте сбритых усов. На ощупь это было не так противно, как на вид; похоже, Аньес останется только одно — целовать его, закрыв глаза. Он изобразил широкую улыбку, подивился тому, что она ему почти удалась, захлопнул дверцу шкафчика, предварительно сунув в щель кусочек картона, чтобы она не раскрывалась, и вернулся в гостиную, напряженный, все с той же приклеенной храброй улыбкой на открытом взору жены лице. Аньес уже сняла пластинку и теперь засовывала ее в бумажный конверт.

— Ну что ж, наверное, пора идти, — сказала она, взглянув на мужа, и бережно опустила крышку проигрывателя; красный глазок погас, хотя он даже не заметил, когда она нажала кнопку.

В лифте, спускавшем их на подземную стоянку, Аньес проверила перед стенным зеркалом свой макияж, затем оглядела мужа с одобрением, которое, впрочем, явно относилось к его костюму, а не к метаморфозе, которую она до сих пор никак не прокомментировала. Он выдержал этот взгляд, открыл было рот, но тут же и закрыл, не зная, что сказать. В машине он тоже молчал, тщетно подыскивая фразы, с которых можно было

бы начать нужный разговор, но так ничего и не придумал: это она должна была заговорить первой; да она и говорила, рассказывала смешную историю про одного автора, пришедшего в издательство, где она работала; он рассеянно слушал и, не в силах объяснить себе ее поведение, отвечал скупыми междометиями. Вскоре они очутились в квартале Одеон, где жили Серж с Вероникой и где, как обычно, невозможно было припарковаться. Пробка на шоссе и троекратный объезд квартала дали ему наконец возможность разрядиться — стукнуть кулаком по баранке и осыпать проклятиями усердно гудевшего рядом водителя, который все равно ничего не слышал. Аньес подняла его на смех, и он, чувствуя свою вину, предложил ей выйти из машины, чтобы не ждать, пока найдется место для стоянки. Она согласилась, вышла напротив дома Сержа и Вероники, пересекла было дорогу, потом, словно спохватившись, бегом вернулась к светофору, где он стоял в ожидании зеленого света. Он опустил стекло, теша себя мыслью, что ей захотелось искупить свое невнимание каким-нибудь ласковым словечком, но Аньес всего лишь напомнила ему код на входной двери. Решив ее удержать, он высунулся из окна, но она уже спешила назад и только, глянув через плечо, подмигнула ему, что могло означать и «до скорого», и «я тебя люблю», и вообще все что угодно. Раздраженный, разочарованный, он тронулся с места, испытывая страстное желание закурить. Ну зачем она притворилась, будто ничего не видит? Чтобы ответить сюрпризом на сюрприз? Да ведь самое удивительное как раз и состояло в том, что никакого сюрприза не получилось: она не выразила ни малейшего удивления, и не похоже было, что она старается сыграть роль, состроить равнодушную мину. Он внимательно наблюдал за ней в тот миг, когда она повернулась к нему, пряча в конверт пластинку: ни одна черточка у нее не дрогнула, словно она была заранее готова к ожидавшему ее зрелищу. Конечно, он, можно сказать, сам предупредил ее, и она даже ответила смеясь, что, мол, любит его и с усами. Но ведь это была просто шутка, бездумно заданный вопрос и столь же бездумный ответ. Невозможно представить себе, что она приняла все всерьез, что, делая покупки, говорила себе: «В эту самую минуту он сбривает усы; когда я увижу его, нужно держаться так, будто ровно ничего не произошло». С другой стороны, если она ни о чем не подозревала, продемонстрированное ею хладнокровие выглядело совсем уж неестественно. В любом случае, решил он, я снимаю перед ней шляпу. Она великая артистка!

Несмотря на затор, его раздражение мало-помалу улеглось, а с ним и обида. В общем-то, отсутствие реакции Аньес или, вернее, быстрота ее реакции — это еще одно свидетельство их духовного родства, любви к доброй шутке, к неожиданным розыгрышам, и, вместо того чтобы дуться на жену, следовало, напротив, поздравить ее с таким удивительным самообладанием. Ты хитер, а я вдвойне остер! — это было очень на нее похоже, это было очень похоже на них обоих, и он уже раздумал выяснять отношения, ему не терпелось посмаковать вместе с Аньес их почти телепатическое взаимопонимание и приобщить к нему друзей. Серж и Вероника, конечно, посмеются от души — и над его преображенной физиономией, и над розыгрышем Аньес, а он подробно, не щадя себя, распишет им, как смешался и оторопел, уразумев, что последнее слово осталось за его любезной супругой. Разве что... разве что эта самая супруга, которой не откажешь в смекалке, придумала еще разок обвести его вокруг пальца, предупредив Сержа с Вероникой и наказав им брать с нее пример. Разумеется, это он предложил Аньес подняться к ним первой, однако, не сделай он этого, она, вероятно, сама попросилась бы выйти из машины. А может быть, она, так же как и он, только сейчас увидела все преимущества затянувшегося розыгрыша? Честно говоря, такой вариант его вполне устраивал, и он заранее испытывал удовольствие от новой, необычной игры, где участники, как в пинг-понге, быстро обмениваются четкими ударами. Он даже разочаровался бы, упусти она такой прекрасный случай, но нет, она, конечно, его не упустит, слишком уж это заманчиво. Он представил себе, как Аньес в эту самую минуту инструктирует Сержа и Веронику, веля им держаться невозмутимо, как Вероника, прыская, грозится не утерпеть и захохотать. Она отнюдь не обладала актерскими талантами Аньес, ее самообладанием, ее любовью к розыгрышам и рисковала быстро выдать себя.

Предвкушение этой сцены, удовольствие, с которым он собирался следить за ней и за возможными промахами участников, рассеяли овладевшее было им замешательство. Вспоминая все случившееся, он уже дивился своей недавней панике и упрекал себя за излишний пессимизм; впрочем, даже эта паника прекрасно вписывалась в сценарий начатой игры, и ему задним числом казалось, что он и панику-то изображал притворно. Ощупав лицо, он вытянул шею, стараясь разглядеть себя в зеркальце. Н-да, видик у него тот еще: верхняя губа посреди смуглого лица напоминала цветом болезненно-бледный парижский шампиньон; но ничего, они и над этим позубоскалят, а место под носом скоро загорит, остальной же загар побледнеет, да и усы к тому времени отрастут, и вообще, единственный повод для раздражения — коли уж он решил сыскать таковой — это наглец водила, ехавший за ним следом и успевший втиснуться на свободное место, пока он занимался изучением собственной физиономии.

Серж с Вероникой оказались на должной высоте. Ни удивленных взглядов, ни нарочитого безразличия; они взирали на него абсолютно спокойно, как всегда. Нельзя сказать, что он не пытался их спровоцировать: например, вызвался помочь на кухне и, оставшись наедине с Вероникой, восхитился тем, как она прекрасно выглядит. Вероника тут же вернула ему комплимент: «А ты здорово загорел; вам, наверное, повезло с погодой, ты тоже в отличной форме и вообще совершенно не меняешься!» За ужином все четверо болтали о лыжах, работе, общих друзьях, новых фильмах, и беседа эта текла так естественно, что шутка, чем дальше, тем больше, теряла свою остроту, словно карикатура, слишком похожая на оригинал и оттого вызывающая не столько смех, сколько одобрение. Эта безупречная игра заранее отравляла ему удовольствие ожидаемого финала; он уже почти сердился на Веронику, которую считал самым слабым звеном в цепи заговора и которая тем не менее держалась как кремень. И никто из них не клевал на его приманки, от раза к разу все более откровенные, — например, когда он заводил речь об «оголенном» социализме, навязанном Франции правительством Фабьюса[1], или об усах, пририсованных Марселем Дюшаном Джоконде; все эти коварно задуманные намеки словно проваливались в пустоту, и он чувствовал себя обиженным, точно ребенок, который, получив отличный аттестат, хочет, чтобы на семейном обеде, устроенном в его честь, все говорили только об этом достохвальном событии, и недоумевает, отчего взрослые, поздравив его с успехами, тут же отворачиваются и заводят посторонние разговоры. Он приналег на вино и вдруг поймал себя на мысли, что и сам в какой-то миг забыл о сбритых усах, так же как о притворном небрежении остальных, и торопливо глянул в зеркало над камином, желая убедиться, что все это ему не примерещилось, что удивительный, но игнорируемый всеми феномен по-прежнему существует, так же как и мистификация, чьей добровольной жертвой он стал, уже тяготясь ею, словно прима, которой обрыдла партия Арлезианки[2]. Стойкость окружающих еще больше удивила его после ужина, когда слегка захмелевший Серж разругался с Вероникой буквально на пустом месте — трудно было понять, из-за чего именно. Такие ссоры возникали у них сплошь да рядом, и никто не придавал им особого значения. У Вероники был скверный характер, и Аньес, знавшая ее с незапамятных времен, открыто насмехалась над выходками разъяренной подруги и ее демонстративными уходами в кухню, куда шла за ней следом, чтобы подлить масла в огонь. Однако эта супружеская сцена заслонила собой комедию с игнорированием сбритых усов, что поначалу казалось вполне нормальным, но стало выглядеть очень странным позже, когда инцидент был исчерпан. Ибо напряжение, вызванное ссорой, разрядилось не сразу, и, по логике вещей, оскорбленная Вероника, упорно дувшаяся на мужа, должна была решительно отказаться от своей роли в спектакле, державшемся именно на общей солидарности участников. Тем не менее она этого не сделала. Он попытался найти средство вынудить ее расторгнуть пакт, о котором она в гневе, видно, совсем забыла, но ему приходили на ум только неуклюжие, беспомощные

---

[1] Лоран Фабьюс — премьер-министр французского правительства в 1984—1985 гг.
[2] Арлезианка — героиня одноименной оперы Ж. Бизе.

намеки, совершенно недостойные игры, которой Аньес наверняка уготовила куда более блестящую развязку. Вероника тем временем явно давала понять, что с нее хватит и что она ждет лишь ухода гостей, дабы опять сцепиться с мужем наедине; в общем, стало ясно, что финала не будет, что заговор не состоялся и никто, вопреки его надеждам, не собирается с радостным смехом и взаимными поздравлениями комментировать ситуацию. И вновь его уколола детская обида, вновь проснулось раздражение. Теперь, даже если он и найдет остроумный способ вернуть дело к отправной точке, у него нет никаких шансов на то, что его «выход на сцену» встретит горячий прием — скорее наоборот, все удовольствие от розыгрыша давным-давно улетучилось, сменившись неподдельным, оскорбительным для него равнодушием.

Даже в машине Аньес не подумала возвращаться к этой теме. Она, без сомнения, жалела о том, что шутка затянулась, что, прощаясь у лифта, они все молчаливо решили предать ее забвению; однако сожаления своего не выказывала, а весело вспоминала прошедший ужин и сварливый нрав Вероники, в общем, злословила вовсю. И хотя он уже не надеялся на ее раскаяние, это упорное нежелание затронуть, пусть вскользь, их маленький вечерний заговор показалось ему прямо-таки вызывающим, как будто она вдобавок ко всему мстила ему за провал своего розыгрыша. Но он не мог долго сердиться на Аньес, ему хотелось любить ее без всяких задних мыслей, пусть даже мимолетных; да их любовь и в самом деле всегда шла об руку с чувством юмора «для семейного употребления», и этот юмор нередко помогал избегать серьезных конфликтов. При такой безобидной, в сущности, размолвке малейшая уступка с ее стороны должна была бы удержать его от раздражения. Между тем поведение Аньес раздражало его, более того, вызывало какую-то необъяснимую тоску, смутное чувство вины, преследующее его с того момента, как он вышел из ванной. Разумеется, это было смешно, нелепо, он вполне мог продлить игру еще на пять минут, если это забавляло Аньес, но в конечном счете он потом будет ее же упрекать за все, так не лучше ли покончить с недоразумением прямо сейчас? Конечно, первый шаг был за ней, и тем хуже, если, выдержав столь длительную паузу, она произнесет всего лишь банальное «А знаешь, неплохо получилось!», но пусть хотя бы скажет это ласково. Может, она считает, что отсутствие усов обезобразило его? Ладно, главное, чтобы она заговорила. Но она явно не желала говорить. «Вот упрямая башка!» — подумал он.

Уже несколько минут Аньес молчала, скучающе глядя вперед и всем своим видом осуждая его за невнимание. Он обожал ее вот такой, с нахмуренным лбом под челкой, с гримаской обиженной маленькой девочки. Все его недовольство мигом испарилось, сменившись чуть насмешливой нежностью взрослого, понимающего, что самое разумное — уступить капризу ребенка.

Остановив машину на красный свет, он нагнулся к Аньес и губами, едва касаясь, обвел контур ее лица. Она запрокинула голову, открывая поцелуям шею, и он заметил ее торжествующую улыбку. «Ладно, твоя взяла!» — едва не сказал он вслух. Но вместо этого потерся, сплющив нос, выбритым местом об ее щеку и, добравшись до уха, шепнул: «Ну что, чувствуешь разницу?»

Аньес легонько вздохнула, и ее рука легла на его ногу; увы, зажегся зеленый свет, и ему пришлось включить первую скорость. Когда они проехали перекресток, она вполголоса спросила:

— Какую разницу?

Он прикусил губу, стараясь сдержать злость.

— Ну ты даешь!

— Что я «даю»?

— Слушай, может, хватит? — взмолился он с комическим отчаянием.

— Да что «хватит», что случилось?

Обернувшись к нему, Аньес глядела с таким непритворным, ласковым, чуть встревоженным любопытством, что он почувствовал: еще минута, и он разозлится на нее все-

рьез. Ведь он сам сделал первый шаг, уступил по всем пунктам, так должна же она понять, что это уже не смешно, что он намерен спокойно обсудить с ней ситуацию. Изо всех сил стараясь сохранять тон взрослого, вразумляющего капризную девчонку, он высокопарно объявил:

— Самые удачные шутки — короткие шутки!

— Какие такие шутки?

— Ну хватит! — оборвал он ее с яростью, которой тут же устыдился сам. И добавил чуть мягче: — Довольно!

— Чего довольно?

— Хватит, прошу тебя. Прекрати это, пожалуйста.

Он уже не улыбался, она тоже.

— Вот что, остановись-ка! — сказала она. — Сейчас же. Здесь!

Он понял, что она имеет в виду машину, резко свернул к обочине, притормозил прямо у автобусной остановки и заглушил мотор, чтобы подчеркнуть всю серьезность своего намерения покончить с этой историей. Но Аньес опередила его:

— Объясни мне, что с тобой творится?

Она казалась такой растерянной, такой шокированной, что он на миг усомнился в самом себе и подумал: а вдруг она по какой-нибудь невероятной причине и впрямь ничего не видит? Но какая же причина могла помешать ей? Нет, глупо было даже задавать этот вопрос и себе и, главное, ей. И все-таки он спросил:

— Значит, ты ничего не заметила?

— Нет! Нет! Нет! Я ничего не заметила, так что будь любезен объяснить мне, что я должна была заметить?

«Ну и ну!» — подумал он, вслушиваясь в этот твердый, почти угрожающий тон женщины, готовой устроить сцену, оскорбленной в своих лучших чувствах. Н-да, придется уступить, не завязывая ссоры,— тем скорее это ей надоест, как избалованному ребенку, на которого перестали обращать внимание. Однако его жена уже не говорила тоном обиженной девочки. Поколебавшись, он со вздохом ответил:

— Да ладно, ничего, — и протянул руку к ключу зажигания. Но Аньес удержала его.

— Нет! — приказала она. — Сперва объясни!

Он даже не знал, с чего начать. Аньес, в силу какой-то непонятной жестокости, хотела, чтобы он подсыпал соли себе на рану, непременно заговорил первым, и эта прихоть вдруг показалась ему не просто тяжко выполнимой, а почти непристойной.

— Ну... в общем... мои усы, — процедил он наконец сквозь зубы.

Слава богу, выговорил!

— Твои усы?

И Аньес сдвинула брови, великолепно изобразив недоумение. Ему захотелось поаплодировать ей. Или дать затрещину.

— Перестань, прошу тебя! — повторил он.

— Сам перестань! — почти крикнула она. — Что это за выдумка с усами?

Он бесцеремонно схватил ее руку, поднес к своему лицу и прижал напрягшиеся пальцы жены к выбритому месту. В этот момент сзади ярко вспыхнули фары подкатившего автобуса. Отпустив руку Аньес, он вырулил на середину шоссе.

— Поздненько ходит этот автобус, — заметил он невпопад, лишь бы дать себе передышку, одновременно сообразив, что они ушли от Сержа с Вероникой довольно рано и что глупо оттягивать объяснение, которое все равно уже начато. Аньес, и не помышлявшая об отступлении, продолжала свой допрос:

— Ну, объясни мне, в чем дело? Ты хочешь отпустить усы?

— Да прекрати ты это, черт подери! — вскричал он, снова притиснув ее пальцы к своей верхней губе. — Я их только что сбрил, ты разве не чувствуешь? Разве не видишь?

Аньес выдернула руку и ответила с коротким невеселым смешком, какого он доселе у нее не слышал:

— Ну побрился, и что из того? Ты бреешься каждый день. Даже по два раза на дню.

— Мать честная, да прекрати же ты!

— Если это шутка, то очень уж однообразная, — сухо заметила она.

— Ну да, еще бы, шутки — это ведь твоя специальность!

Аньес смолчала, и он подумал: «Ага, сейчас я попал в цель!» Он прибавил скорость, твердо решив не разговаривать с женой до тех пор, пока она не положит конец этой дурацкой истории. «Кто из нас умней, тот и покончит со всем этим первым», — твердил он про себя, но фраза, утратив присущий ей оттенок ворчливой благосклонности, тяжело ворочалась у него в голове, ожесточенно и тупо громыхая каждым своим слогом. Аньес по-прежнему молчала, и, взглянув на нее искоса, он увидел на ее лице смятение, больно поразившее его. Никогда еще она не выглядела такой враждебной и испуганной, никогда не играла комедию с таким агрессивным упорством. И ни одного срыва, ни единой фальшивой ноты, абсолютно безупречная игра — зачем это, к чему? Что ею руководило?

Они хранили молчание до самого дома, и в лифте, и даже в квартире, где разделись каждый в своем углу, не глядя друг на друга. Чистя зубы в ванной, он вдруг услышал ее смех, явно побуждавший к вопросу, но удержался и не задал его. Однако по звуку этого смеха, беззлобного, почти естественного, он угадал, что Аньес решилась на примирение. Когда он вошел в спальню, она улыбнулась ему с кровати, и выражение ее лица — робко-плутоватого, покаянного и уверенного в прощении — делало почти невероятным тот испуганный взгляд в машине. Она явно жалела о своей выходке; ладно, он, так и быть, проявит великодушие.

— Мне кажется, Серж и Вероника уже помирились,— сказала она. — Может, последуем их примеру?

— Хорошая мысль, — ответил он, тоже улыбнулся и, нырнув в постель, заключил Аньес в объятия, довольный ее капитуляцией и в то же время слегка разочарованный таким скромным триумфом. Закрыв глаза и прильнув к мужу, Аньес коротко простонала от удовольствия и слегка отстранила его, давая понять, что хочет заснуть. Он погасил свет.

— Ты спишь? — спросил он спустя какое-то время.

Она тут же откликнулась, тихим, но разборчивым шепотом:

— Нет, не сплю.

— О чем думаешь?

Она негромко засмеялась — тем же смехом, какой он услышал из ванной.

— О твоих усах, конечно!

Наступила пауза; мимо дома промчался грузовик, задребезжали оконные стекла. Аньес нерешительно продолжала:

— Знаешь, там, в машине...

— Что — в машине?

— Странное дело: мне почудилось, что еще немного и... я бы испугалась всерьез.

Снова пауза. Он лежал с открытыми глазами, хорошо зная, что и она тоже глядит в темноту.

— Я и вправду испугалась, — опять шепнула она.

У него пересохло в горле.

— Но ведь это ты затеяла спор...

— Ну хватит, прошу тебя! — взмолилась она, стиснув ему руку. — Пойми же, что мне страшно!

— Тогда не начинай все сначала, — сказал он, крепко обняв ее, в смутной надежде задержать эту готовую вновь раскрутиться адскую карусель. Аньес почувствовала то же самое; резко вырвавшись из его объятий, она зажгла свет.

— Это ты начинаешь все сначала! — крикнула она. — Никогда больше так не делай!

Он глядел, как она рыдает, горько скривив губы, вздрагивая всем телом, и в ужасе думал: «Нет, невозможно притворяться до такой степени, она горюет совершенно искренне!» Но разве искренность здесь возможна, разве что... разве что Аньес сошла с ума.

Он схватил ее за плечи, потрясенный этими судорожными всхлипами, этой дрожью. Челка скрывала глаза Аньес, он приподнял ей волосы, открыв лоб, и сжал в ладонях лицо жены, готовый на все, лишь бы она утешилась. Она пробормотала сквозь слезы:

— Что это за история с усами?

— Аньес! — прошептал он. — Аньес, я их сбрил. Но это не страшно, они отрастут. Взгляни на меня, Аньес! Что с тобой творится?

Он твердил эти нежные, убаюкивающие слова, обнимая и целуя Аньес, но она опять вырвалась, глядя расширенными, испуганными глазами, совсем как недавно, в машине.

— Ты прекрасно знаешь, что никогда не носил усов! Прекрати это, умоляю! — крикнула она. — Пожалуйста, перестань! Это же полная бессмыслица, ты меня пугаешь, молчи!.. — И, совсем обессилев, прошептала: — Зачем ты это делаешь?

Он молчал, подавленный вконец. Что сказать ей? Как прекратить этот цирк, этот диалог глухих? Ну и заваруха! Ему вспоминались прежние розыгрыши Аньес, самые дерзкие из них — например, история с замурованной дверью... Внезапно он вернулся мыслями к сегодняшнему вечеру у Сержа и Вероники, к их упорному нежеланию замечать перемену. Что же такое наговорила Аньес? И с какой целью?

Им довольно часто приходили в голову одинаковые мысли. Так случилось и на сей раз, и в тот миг, когда она открыла рот, он понял, что перевес будет за тем, кто успеет первым задать вопрос. А значит, за ней.

— Если ты утверждаешь, что сбрил усы, Серж и Вероника заметили бы это, разве не так?

Один — ноль в ее пользу! Он со вздохом ответил:

— Но ведь ты велела им притвориться...

Она посмотрела на него, открыв рот, с таким ужасом, словно он угрожал ей бритвой, и с трудом вымолвила упавшим голосом:

— Ты сумасшедший... попросту сумасшедший!..

Он крепко, до боли, зажмурился, в безумной надежде открыть глаза и увидеть, что Аньес мирно спит, а весь этот кошмар ушел, как не был. Зашуршали простыни — это она откидывала их, вставая с постели. Как быть, если она сошла с ума или у нее начались галлюцинации? Поддержать игру, наговорить ей утешительных слов, обнять, приговаривая: «Ну конечно, ты права, у меня сроду не было усов, я тебя просто разыграл...»? Или же доказывать ей, что она бредит? Из ванной донеслось журчание воды. Он открыл глаза; Аньес стояла перед ним со стаканом в руке. Она успела натянуть майку и выглядела почти спокойной.

— Вот что, — сказала она. — Давай звонить Сержу и Веронике.

Снова она опередила его, заняв следующую позицию — в каком-то смысле разумную, но вынуждающую его самого уйти в оборону. Однако если она подговорила их участвовать в мистификации и если они так стойко держались в течение всего ужина, то с какой стати расколются сейчас, в телефонном разговоре? И вообще, зачем она все это делает? Он терялся в догадках.

— Звонить ночью?! — запротестовал он, ясно сознавая, что допускает ошибку, дает ей в руки лишний козырь, уклоняясь от испытания, которое, он чувствовал, таит для него опасность.

— Я не вижу другого выхода, — ответила Аньес внезапно окрепшим голосом и потянулась к телефону.

— Это ничего не докажет, — буркнул он. — Если ты их предупредила...

Едва он выговорил эти пораженческие слова, как горько пожалел о них и, спеша вновь завладеть инициативой, сам схватил трубку. Аньес молча отодвинулась на край постели и уступила ему аппарат. Набрав номер, он выслушал четыре гудка, и наконец в трубке раздался заспанный голос Вероники.

— Это я! — резко сказал он. — Извини, что разбудил, но мне нужно кое-что выяснить. Ты хорошо помнишь мое лицо? Ты его как следует разглядела за вечер?

— Чего?

— Я спрашиваю, ты что-нибудь заметила?

— Чего-чего?

— Ты разве не заметила, что я больше не ношу усов?

— Что ты там мелешь?

Аньес, державшая отводную трубку, сделала красноречивый жест, означавший: «Вот видишь!», и нетерпеливо сказала:

— Дай мне поговорить!

Он протянул ей аппарат, отмахнувшись от протянутой взамен второй трубки и показывая тем самым, что не придает никакого значения этому, конечно, заранее подстроенному тесту.

— Вероника! — начала Аньес и, выслушав подругу, ответила: — Вот именно это я и хотела спросить. Предположим, я заставила тебя поклясться, что в любой ситуации ты будешь утверждать, будто у него никогда не было усов. Ты меня слышишь?

Она снова сунула ему отводную трубку, и он, кляня себя за уступчивость, прижал ее к уху.

— Так вот, — продолжала Аньес. — Если я действительно тебя подговорила, считай, что все отменяется, забудь мою просьбу и отвечай абсолютно правдиво: ты когда-нибудь видела его с усами, да или нет?

— Нет. Конечно нет. И потом...

Вероника умолкла, и сквозь треск в аппарате до них донеслось приглушенное, как будто трубку закрыли ладонью, перешептывание; потом в разговор вступил Серж:

— Вы там, ребята, развлекаетесь вовсю, а нам спать хочется. Пока!

И он дал отбой. Аньес медленно опустила трубку на рычаг.

— Да уж, мы и вправду развлекаемся, — сказала она. — Ну, ты слышал?

Он растерянно глянул на нее:

— И все-таки ты их подговорила!

— Тогда звони сам — Карине, Полю, Бернару, коллегам из твоего агентства, да кому угодно!

Поднявшись, Аньес взяла с низенького столика телефонную книжку и бросила ему. Он понял, что, открыв ее и начав искать чей-нибудь номер, он признает свое поражение, как это ни дико, ни абсурдно. Нынешний вечер все перевернул с ног на голову, вынудив его доказывать очевидное, но он почувствовал свое бессилие — Аньес обложила его со всех сторон. Он уже боялся телефона, подозревая гигантский, неведомый ему в деталях заговор, где ему уготовили роль жертвы, и заговор отнюдь не безобидный. Он отбросил фантастическое предположение, что Аньес успела обзвонить всех его друзей, чьи номера значились в телефонной книжке, и убедила их под каким-нибудь предлогом клясться и божиться, что он никогда не носил усов, даже если сама потом велит им отказаться от своих слов; однако интуиция нашептывала ему, что, позвонив Карине, Бернару, Жерому, Замире, он услышит все тот же ответ, и лучше всего, презрев сей «божий суд», переместиться с этого минного поля на другое пространство, где он сможет взять инициативу в свои руки и контролировать ситуацию.

— Послушай! — воскликнул он. — У нас же есть где-то целая куча фотографий. Когда мы были на Яве, например.

Встав и порывшись в ящике секретера, он извлек оттуда пачку фотографий, сделанных во время последнего отпуска. На большинстве снимков они были вдвоем.

— Ну что? — спросил он, протянув ей один из них.

Аньес бросила взгляд на фотографию, затем на мужа и вернула ему снимок. Он посмотрел еще раз: да, это он самый, в пестрой летней рубашке, с волосами, облепившими потный лоб, улыбающийся и — усатый.

— Ну так что же? — повторил он.

Аньес, в свою очередь, прикрыла глаза, затем, подняв их, устало ответила:

— Не вижу никаких доказательств.

Он собрался было еще раз накричать, заспорить, но при мысли, что вся эта канитель

вернется на круги своя, ощутил полное изнеможение; наверное, самое разумное — остановиться первым, перетерпеть, переждать: может, все и обойдется.

— О'кей, — сказал он, бросив фотографию на ковер.

— Давай спать, — откликнулась Аньес.

Она вынула из медной шкатулочки, стоявшей у изголовья, пачку снотворного, приняла таблетку, дала ему другую вместе со стаканом воды. Они улеглись — подальше друг от друга, и он выключил свет. Через несколько минут Аньес нашла его руку под простыней, и он стал гладить ее пальцы, машинально улыбаясь в темноте. Расслабленный и душой и телом, он покорно отдавался действию снотворного и уже не в силах был сердиться на Аньес; конечно, она здорово одурачила его, но это была его жена, и он любил ее именно такой, с сумасшедшинкой, как, например, в тот раз, когда она позвонила приятельнице и заявила: «Слушай, что там у тебя творится?.. Ну как же, дверь... да-да, твоя дверь... неужели ты еще не видела?.. Так вот, у вас внизу весь проем входной двери заложен кирпичом... Да нет, прочно замурован... Клянусь тебе, я звоню из автомата напротив... Правда-правда, настоящая кирпичная стенка!..», и так до тех пор, пока приятельница, и веря и не веря, в панике не помчалась вниз, чтобы затем позвонить Аньес домой и сказать: «Ну ты и надувала!»

— Ну ты и надувала! — тихонько, почти про себя, шепнул он, и оба заснули.

Он проснулся в одиннадцать утра, с тяжелой головой и горечью во рту — из-за снотворного. Аньес сунула под будильник записочку: «До вечера. Я тебя люблю». Фотографии по-прежнему валялись на ковре возле кровати; подобрав одну из них, он долго разглядывал ее: Аньес и он, оба в светлых одежках, сидят, тесно прижавшись друг к другу, в коляске велорикши, а сам возница за их спинами скалится всеми своими красными от бетеля зубами. Он попытался вспомнить, кто же это их снимал — скорее всего, какой-нибудь прохожий по его просьбе; всякий раз, отдавая свой аппарат незнакомцу, он втайне опасался, что тот удерет со всех ног, но нет, такое ни разу не случилось. Он растер ладонями лицо, словно одеревеневшее от тяжелого сна. Пальцы задержались на подбородке, ощутили привычное покалывание щетины, боязливо помедлили, прежде чем тронуть верхнюю губу. Наконец он решился на это и не испытал никакого удивления — в самом деле, ведь не привиделось же ему вчерашнее происшествие! — но касаться выбритого места, в отличие от щек, было неприятно. Он снова взглянул на снимок с велорикшей, затем встал и отправился в ванную. Раз уж он проспал, не стоило теперь спешить — он позволит себе роскошь принять ванну вместо обычного утреннего душа.

Пустив воду в ванну, он позвонил в агентство и сообщил, что явится только после обеда, что было не так уж страшно: они теснились в своем офисе как сельди в бочке и потому предпочитали работать вечерами, допоздна. Он едва не спросил Замиру о своих усах, но вовремя удержался: хватит с него этих глупостей!

Он не стал бриться, сидя в воде, а сделал это позже, стоя перед зеркалом и старательно обходя пробивающиеся над верхней губой ростки будущих усов; конечно, их следует отпустить заново. Совершенно ясно, что безусым он себе не нравится.

Еще сидя в ванне, он долго размышлял над вчерашним инцидентом. Он не злился на Аньес всерьез, просто никак не мог уразуметь, отчего она так упорно держится за этот розыгрыш, которому, честно говоря, грош цена в базарный день. Конечно, подобные дурацкие шутки всегда были у нее в ходу, он сам ее в этом упрекал. Взять все ту же выходку с якобы замурованной дверью, которую он считал прямо-таки скандальной. Но и в других случаях Аньес часто удивляла его своей способностью лгать. Разумеется, ей, как и всем людям, приходилось время от времени пускаться на мелкое вранье по обстоятельствам — например, не явившись на званый ужин или не окончив работу в срок, но вместо нормальных, правдоподобных (пускай и не правдивых) объяснений — мол, заболела, или потеряла телефонную книжку, или машина барахлила — она порола какую-нибудь дикую, несусветную чушь. Если кто-нибудь из друзей напрасно прождал целый день ее звонка, она не оправдывалась тем, что забыла об этом, или была занята линия,

или телефон вовсе не отвечал, а значит, сломался, — нет, она глядела обманутому прямо в глаза чистым, невинным взором и утверждала, будто звонила и разговаривала с ним лично, хотя тот прекрасно знал, что этого не было; оставалось допустить одно из двух: либо она ошиблась номером и какой-нибудь незнакомец, в силу таинственных причин, выдал себя за другого, либо лукавил сам приятель, в чем Аньес и упрекала собеседника, прозрачно намекая на его неискренность, лишь бы отстоять собственную непогрешимость. Ну зачем, скажите на милость, ей требовалось измышлять такую нелепицу?! Подобная стратегия сбивала с толку окружающих; сама же Аньес после каждого розыгрыша во всеуслышание хвасталась своими подвигами; когда же очередная жертва, пытаясь ее разоблачить, напоминала ей эти признания, ответ был всегда один: да, она часто так шутила, но не в данном случае, о, конечно же нет, это исключено! — и держалась при этом с таким апломбом, что люди волей-неволей отступали, если и не поверив, то смирившись перед ее напором, иначе дискуссия грозила затянуться навечно, ибо Аньес никогда не сдавала позиций. Прошлой зимой им случилось провести уик-энд у Сержа и Вероники в их загородном доме с таким устаревшим отоплением, что комнаты можно было сносно нагреть лишь с помощью радиатора, включая его на половину мощности, не больше, иначе тут же летели пробки. Разумеется, зябкая Аньес врубила свой на полную катушку, и свет тут же погас. Ее это нисколько не огорчило; однако после трех таких инцидентов и, соответственно, трех клятв пожертвовать своим личным комфортом ради общего блага, данных по настоянию Сержа, она как будто смирилась. Гости, собравшиеся на уик-энд, провели в столовой мирный, ничем не омраченный вечер, причем Аньес ушла спать раньше всех. Каждый из присутствующих надеялся провести ночь в теплой комнате, и можно представить всеобщее возмущение, когда выяснилось, что радиаторы бездействуют, а в спальнях царит ледяной холод. Никто не сомневался, чьих рук это дело: усыпив бдительность окружающих, Аньес коварно вывела из строя их радиаторы, нагрев до оранжерейной температуры свою комнату, где и нежилась в тепле, совершенно, казалось бы, не ожидая, что разъяренные жертвы ворвутся к ней требовать отчета. Вопреки всякой очевидности, она стойко отрицала свою вину и даже возмутилась тем, что ее посмели заподозрить в столь черном злодействе. «Ну тогда кто же это сделал, кто?» — в бешенстве кричала Вероника. «Не знаю, но уж точно не я!» — упрямо твердила Аньес и так никогда и не призналась в содеянном. В конце концов все с горя начали смеяться, и она тоже, на сей раз даже не соблаговолив правдоподобно объяснить случившееся — например, поломкой котла или проникновением в дом злоумышленника, шутки ради нажимавшего кнопки радиаторов.

По здравом размышлении, ее розыгрыш с усами представлялся не более удивительным, чем этот или скверная шутка с замурованной дверью. Разница состояла лишь в том, что на сей раз они оба слишком далеко зашли, доведя дело до ссоры, и что жертвой мистификации оказался он сам. Обычно она делала его молчаливым сообщником, взиравшим на ее выходки с одобрительным, даже восхищенным интересом. Странно, однако, подумал он, за пять лет совместной жизни Аньес ни разу не сделала его объектом своих шуточек, как будто муж был для нее табу. А впрочем, не так уж и странно: он прекрасно знал, что существуют две Аньес — одна веселая, общительная, блестящая, всегда в форме; непредсказуемые проделки этой Аньес, в силу их детской непосредственности, всегда веселили его и даже, хотя он в том не признавался, заставляли гордиться женой; вторую знал только он один — эта Аньес была хрупкой, уязвимой, а еще ревнивой, способной расплакаться из-за пустяка и прильнуть к нему в поисках утешения, как обиженное дитя. Для таких минут у нее имелся особый голосок — тоненький, прерывистый, почти жалобный, который раздражал бы его на людях, но наедине был признаком ее трогательной беззащитности. Сидя в остывающей воде и ломая голову над всей этой историей, он наконец с грустью понял, чем его больше всего оскорбила вчерашняя сцена: впервые Аньес, с ее цирковыми номерами, рассчитанными на широкую публику, вторглась в их заповедную семейную жизнь. Хуже того, стараясь придать своей выдумке большую убедительность, она прибегла к тому самому голосу, тембру и повадкам, которые досе-

ле приберегала только для их интимных, закрытых для других отношений, где не было места никакому притворству. Нарушив неписаный договор, Аньес обошлась с ним безжалостно и злорадно, как с чужим человеком, вывернув наизнанку реальность с виртуозным умением, обретенным в своих прошлых опытах. Он вспоминал ее искаженное ужасом лицо, ее слезы: она и впрямь выглядела загнанной, она и впрямь горячо и убежденно обвиняла его в том, что он нарочно преследует и пугает ее, неизвестно зачем. Вот именно, зачем?.. Зачем она так поступила? За что решила наказать его? Ведь не за то же, что он сбрил усы? Он никогда не обманывал, не предавал ее и, сколько ни рылся в памяти, не мог вспомнить проступка, за который полагалась бы столь жестокая кара. А может, ей вздумалось помучить его просто так, из любви к искусству; может, она и не представляла себе последствий? Ведь он и сам толком осознал случившееся только сейчас, на свежую голову. Как приятно, наверное, это слегка извращенное опьянение властью над другим человеком, возможностью вертеть им как вздумается, до тех пор, пока не надоест, а там уж можно вернуть все на круги своя, сказав: «Здорово я тебя провела, верно?» Правда, Аньес перегнула палку, заручившись против него, пусть даже под предлогом невинной шутки, содействием Сержа и Вероники. То, что его друзья согласились на эту роль, было неудивительно — они считали, будто участвуют в одном из мелких розыгрышей, обычных для их компании, тогда как это была первая серьезная стычка завязавшейся супружеской войны. Нет-нет, не стоит преувеличивать. Просто они все тогда выпили лишнего, но теперь кончено, Аньес наверняка одумалась. И все же... все же ему было больно от этого первого в их жизни предательства. Он вспоминал ее вчерашнее потрясенное лицо, ее театральные рыдания, звучавшие искренне, как настоящие; вот она — первая прореха в их взаимном доверии. «Ну ладно, — сказал он себе, — опять я драматизирую, хватит!»

Выйдя из ванны, он встряхнулся, полный решимости забыть все неприятности. Он не станет упрекать Аньес в ее проступке, даже если она и заслужила выговор... да нет, ничего она не заслужила, дело кончено, и не о чем больше говорить.

И все-таки, одеваясь, он корил себя за то, что сглупил, позволив Аньес вовлечь его в свою игру, и вдобавок убоялся возможности выяснить все по телефону. Аньес устроила так, чтобы сначала самой поговорить с Сержем и Вероникой, а уж затем, когда он заявил, что между ними существует сговор, пошла ва-банк, предложив ему звонить кому угодно. И он, как последний дурак, уверовал в то, что его преследует злой рок, что все его друзья в этот вечер будут отрицать наличие у него усов, а ведь реально Аньес могла предупредить только Сержа с Вероникой, больше никого. С того момента, как она увидела его безусым, они расставались один раз и только на десять минут — когда он парковал машину. Вот их-то она и использовала, чтобы проинструктировать Сержа с Вероникой, но, конечно, никак не могла за это время обзвонить всех его друзей. Он просто-напросто дал себя одурачить. Тем более что сегодня утром она имела полную возможность завербовать в свой лагерь всех, с кем они водили знакомство. Эта мысль, едва родившись, вызвала у него улыбку: одно лишь предположение, что он разгадал козни Аньес, ее телефонный заговор — и ради чего? Ради пустой шутки! — было ему приятно. А что, если посвятить ее в свою догадку — может, она посмеется с ним вместе, и таким вот окольным путем он даст ей понять, насколько серьезно задело его то, что она считала всего лишь невинной шалостью. Нет, лучше не надо, чтобы она теряла лицо; он ничего не скажет ей, никогда не попрекнет этой историей, кончено дело!

Однако, придя в агентство, он понял, что дело не кончено. Жером и Замира, склонившиеся над макетом, при его появлении подняли головы, но никак не отреагировали на перемену. Жером знаком подозвал его к столу, и минуту спустя они погрузились в свою задачу: клиент требовал представить проект в ближайший понедельник, а работа была еще далека от завершения, так что не миновать им аврала.

— Меня сегодня пригласили на ужин, — объявила Замира, — но я сбегу оттуда как можно раньше и еще поработаю. — Он пристально взглянул ей в глаза; она улыбнулась,

шутливо взъерошила ему волосы и добавила: — Что это ты такой помятый, — небось безумствуешь по ночам, а?

Но тут зазвонил телефон, и она кинулась к трубке, а поскольку Жером в этот момент вышел, он остался в одиночестве, растерянно потирая крылья носа. Потом уселся за свой планшет и начал изучать чертежи, прижимая ладонью их непослушные края. Наконец он придавил их по углам пепельницами и коробками скрепок и взялся за работу. Несколько раз поговорил по телефону, неотступно думая при этом о своем, хотя теснившиеся в голове мысли никак не могли выстроиться в гипотезу, столь же элегантную, функциональную и абстрактную, как общественное здание, над проектом которого они усердно трудились. Неужели Аньес успела предупредить и его товарищей? Нет, это чистейший абсурд, и, кроме того, он не мог даже представить себе Жерома и Замиру, по горло в работе, выслушивающих, какую роль им следует играть в идиотской шутке. В крайнем случае, они могли сказать «ладно», лишь бы отделаться, и тут же забыли об этом, а завидев его, конечно, выразили бы удивление. Возможно ли, что они просто ничего не заметили? Несколько отлучек в туалет и долгое изучение своего лица перед зеркалом над раковиной убедили его, что ни рассеянный, ни близорукий человек — а они отнюдь не были таковыми, эти его друзья, с которыми он работал бок о бок вот уже два года и часто виделся помимо службы, — не мог бы не заметить перемену в его внешности. И только боязнь выставить себя дураком удерживала его от вопроса.

К восьми вечера он позвонил Аньес и предупредил, что задержится допоздна.

— Все нормально? — спросила она.

— Да-да. Работы выше головы, а так все нормально. Пока!

Он работал молча, если не считать короткого обсуждения макета с Жеромом. В остальное время каждый из них сидел, уткнувшись в чертежи; один — дымя как паровоз, другой — нервно пощипывая верхнюю губу. Ему безумно, как никогда, хотелось закурить. Но, насладившись своей единственной, сэкономленной в обед (который он пропустил) сигаретой, он сдерживал себя, слишком хорошо помня, как сорвался в предыдущий раз. Сперва просишь дать затянуться разок чужой сигаретой, потом время от времени выкуриваешь ее целиком, дальше — больше: Жером приносит в агентство лишнюю пачку и говорит, подмигнув: «На, пользуйся, только ко мне не приставай!» — и, глядишь, не прошло недели, как уже высаживаешь пачку за пачкой. После двухмесячной муки воздержания он вроде бы завидел свет в конце туннеля, хотя пессимисты утверждали, что нужно выждать годика три, прежде чем окончательно праздновать победу. И все же сейчас одна-единственная сигаретка успокоила бы ему нервы, дала бы сосредоточиться на работе. Он думал о ней так же неотступно, как о своих усах и о разыгранной комедии, и ему чудилось, что вожделенное прикосновение фильтра к губам и запах табака вмиг помогут найти простейшее объяснение терзавшей его тайны, а заодно и пробудят интерес к разложенным на столе чертежам. В конце концов он сдался и стрельнул сигарету у Жерома, который протянул ему пачку, не отрываясь от работы, даже без обычных шуточек; и, разумеется, она не принесла ему желанного облегчения — мысли по-прежнему вертелись вокруг загадки.

Незадолго до одиннадцати вечера позвонила Замира, возвращавшаяся со своего ужина; она просила, чтобы ей открыли через десять минут: агентство находилось во дворе жилого дома, где входную дверь запирали в восемь часов, и не было ни кода, ни домофона. Он тут же вспомнил историю с замурованной дверью, решил воспользоваться удобным случаем и вышел, потягиваясь, из бюро, чтобы дождаться Замиру на улице. Лил дождь; напротив дома как раз закрывалась табачная лавка. Перебежав улицу, он успел проскочить под спускаемую железную штору и спросить пачку сигарет. Это, конечно, для Жерома, успокаивал он себя, у того скоро кончатся свои. Хозяин, считавший у кассы выручку, с первого взгляда узнал его и поздоровался. Глянув в зеркало, он поймал свое отражение между бутылками на полочке и устало улыбнулся. Хозяин как раз поднял глаза и с машинальной ответной улыбкой вернул ему сдачу.

На улице он, злясь на самого себя, выкурил вторую сигарету и торопливо раздавил

окурок при виде Замиры. Она шла, размахивая купленной по дороге бутылкой водки.

— У меня такое впечатление, что сегодня это нам пригодится! — сказала она.

Отворив входную дверь, он нажал на лестничный выключатель, но тот, видимо, был сломан — лампочка не зажглась. Пройдя во двор, где в освещенном широком окне, под чертежным тором, виднелась согбенная спина Жерома, он остановил Замиру:

— Погоди минутку!

Она тут же замерла на месте, не оборачиваясь к нему. Может быть, она думала, что он хочет положить руки ей на плечи, обнять, коснуться губами шеи — вполне вероятно, она разрешила бы ему это.

— Скажи, Аньес тебе звонила? — спросил он нерешительно.

— Аньес? Нет, а что?

Полуобернувшись, она удивленно взглянула на него.

— Что-нибудь случилось?

— Замира...

Он глубоко вздохнул, подбирая нужные слова.

— Если Аньес звонила тебе, лучше скажи, прошу тебя. Это очень важно.

Она отрицательно качнула головой.

— Ты что, поссорился с Аньес? У тебя какой-то странный вид.

— Ты ничего не замечаешь?

— Замечаю: у тебя странный вид.

Он должен был принудить себя задать вопрос напрямик, как бы нелепо это ни звучало. Замира придвинулась к нему, явно готовая выслушать, и выслушать с сочувствием; трудно поверить, что она играла комедию. Ох, как ему хотелось крикнуть им всем: «Довольно, хватит с меня!» Сев на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей в жилой дом, он обхватил голову руками. Шуршание плаща и скрип дерева подсказали ему, что Замира примостилась рядом. Она еще раз спросила:

— Так что случилось? — Над ее головой слабо мерцала кнопка сломанного лестничного выключателя. Он встал на ноги, встряхнулся.

— Ничего, пройдет. Знаешь, пойду-ка я домой. — И добавил, перед тем как открыть дверь их офиса и пропустить ее вперед: — Не говори ничего Жерому.

Взяв пальто, он объявил, что чувствует себя мерзко и кончит работу завтра. Жером что-то буркнул, не особенно вслушиваясь; он пожал ему руку, чмокнул Замиру и крепко стиснул ей плечо, словно говоря: «Не волнуйся, у каждого из нас бывают срывы!» Выйдя, он оказался на пустынной улице; табачная лавка давно закрылась. Сунув руку в карман пиджака, он обнаружил там сигареты, купленные для Жерома, поколебался — не отнести ли ему пачку — и... не сделал этого.

Аньес в ожидании мужа смотрела по телевизору старый фильм в программе «Киноклуб». «Ну, как?» — спросила она. «Нормально», — ответил он, сев на диванчик. Фильм шел уже около часа; она рассказала ему начало лениво-ироничным тоном, который он счел несколько наигранным. Кэри Грант играл энергичного врача, который влюбился в молодую беременную женщину, спас ее от самоубийства и вернул интерес к жизни, вследствие чего они поженились. Однако собратья по профессии из того же города, завидуя его успехам, начали строить козни и раскопали в прошлом их удачливого коллеги некоторые сомнительные эпизоды, за которые вполне можно было вылететь из Корпорации врачей. Никто не знал, обоснованны ли эти факты, ставившие под сомнение искренность его сентиментальной идиллии с молоденькой пациенткой: может, он и впрямь любил ее, а может, женился лишь ради каких-то своих темных делишек. В любом случае эти две интриги не очень-то состыковывались одна с другой. Он смотрел на экран без особого интереса, убежденный — хоть и не решался проверить это, — что Аньес краешком глаза наблюдает за ним. Вскоре началась сцена суда, на котором Кэри Грант был разоблачен: если он верно понял, врача обвиняли в том, что он практиковал в соседней деревне, где, с целью победить недоверие жителей к медицинскому сословию, выдавал

себя за мясника — вплоть до того рокового дня, когда одна из его пациенток, которую он пользовал, прикрываясь продажей бифштексов, не обнаружила у него медицинский диплом; возмущенная этим мошенничеством женщина разгласила его тайну, и врачу пришлось, под угрозой линчевания, бежать из деревни. «С ума сойти!» — хихикнула Аньес, слушая оправдания героя, разъяснявшего суду, что он торговал мясом по себестоимости и не извлекал никакой прибыли из своей лекарской деятельности. Кроме того, у Кэри Гранта был верный помощник, медлительный пожилой субъект, который молча ходил за ним по пятам всюду, вплоть до операционной. Его присутствие сообщало всей этой врачебной мелодраме мистический оттенок, заставлявший вспомнить о фильмах ужасов, где действуют врачи-безумцы вкупе с горбатыми и хромыми уродами-ассистентами, которые по ночам, лучше всего в грозу, похищают из моргов трупы для расчленения; однако Кэри Грант ничем не походил на тех маньяков. Мало того, его таинственный сослуживец, обвиненный в убийстве, начал подробно и обстоятельно рассказывать историю своей жизни: некогда он имел друга и возлюбленную, но однажды заметил, что его друг одновременно является любовником его возлюбленной, и затеял с ним разборку, а когда, весь окровавленный, пришел в деревню — один, ибо друг бесследно исчез, а тело так и не нашли, — его приговорили к пятнадцати годам каторги. «Значит, тело так и не обнаружили?» — удивленно вопрошал судья. «Нет, обнаружили, — раздумчиво отвечал ассистент. — Я сам нашел его пятнадцать лет спустя по выходе из тюрьмы, увидев в окне ресторана, где оно или, вернее, он ел суп, кажется гороховый. Я спросил, почему он не заявил о том, что жив, и, поскольку его ответ мне не понравился, стал бить его и избил до смерти — ведь я уже сполна расплатился за это деяние, и справедливость требовала, чтобы оно свершилось. Однако суд не признал мою правоту, и на сей раз меня повесили». Повесить-то его повесили, но тот же Кэри Грант более или менее успешно вернул беднягу к жизни и, обеленный сим благородным поступком, а также бескорыстным служением мясной торговле, отпраздновал свой скромный триумф в конце фильма, вдохновенно дирижируя оркестром ликующих больничных санитаров.

На экране под бурные аплодисменты невидимой аудитории возникло слово «Конец», затем дикторша пожелала всем спокойной ночи. Однако они продолжали сидеть на диванчике, устремив глаза на пустой экран. Аньес переключилась на другую программу, но и там ничего не было. Фильм, особенно просмотренный с середины, оставлял странное впечатление: было очевидно, что сюжетные ходы не состыкованы, что реалистическая, хоть и слащавенькая история матери-одиночки и улыбчивого доктора в корне противоречит истории деревни, населенной психами, способными линчевать мясника, скрывавшего свой медицинский диплом, или истории человека, совершившего убийство после того, как он отсидел за него; ему чудилось, будто они были не зрителями, а сами состряпали эту белиберду — кое-как, не обсудив заранее детали и всеми силами стараясь напортить друг другу, лишь бы слава не досталась соавтору. «Вполне возможно, что сценаристы, замыслившие эту гениальную драму, именно так и трудились, ставя друг другу палки в колеса», — подумал он. На экране мелькали белые хлопья — не выключи телевизор, этот снег будет мельтешить там всю ночь. Он пожалел, что у них нет видеомагнитофона: вот сидеть бы тут и смотреть, смотреть без конца!..

— Ладно, — сказала наконец Аньес, убрав метель с экрана нажатием кнопки на пульте, — я пошла спать.

Он посидел еще немного, пока она раздевалась и возилась в ванной. Сегодня вечером он не брился, целый день ничего не ел, и от слабости у него взмокли ладони. Кроме того, он выкурил целых три сигареты. И все же ему казалось, что жизнь снова входит в нормальную колею, что никто больше не собирается говорить об усах, да так оно и лучше. Раздетая Аньес прошла через гостиную в спальню и спросила оттуда: «Ты идешь? Я прямо умираю хочу спать!» Почему же все-таки Аньес отказалась от объяснения? Если она успела обзвонить днем всех их друзей, значит, решила, с какой-то особой целью, организовать коллективный заговор, устроить ему нечто вроде именинного сюрприза, вот только именины были не его, а чужие. Сидя перед телевизором, он ясно почувство-

вал, что она следит за ним, а вот теперь как ни в чем не бывало укладывается спать. «Иду!» — ответил он, но перед тем, как зайти в спальню, тоже направился в ванную комнату, схватил зубную щетку, отложил ее, сел на край ванны и огляделся. Его взгляд застыл на железном бачке под раковиной; поддев крышку ногой, он приподнял ее. Бачок был пуст, на дне валялся только комочек ваты, которым Аньес, наверное, стирала макияж. Ну ясное дело, она поспешила уничтожить все доказательства! Он прошел в кухню, поискал там мешок с мусором — мешка не было.

— Ты вынесла мусор? — крикнул он, прекрасно сознавая, что его притворно-равнодушный тон все равно выдает его с головой.

Аньес не ответила. Вернувшись в гостиную, он повторил свой вопрос.

— Да-да, не волнуйся, — сонно сказала Аньес, как будто уже дремала.

Развернувшись, он вышел из квартиры, бесшумно прикрыл за собой дверь и спустился на первый этаж, в закуток под черной лестницей, где стояли мусорные баки. И здесь пусто — наверное, консьержка уже выставила их на улицу. Ну конечно, он же приметил их, возвращаясь с работы.

Да, баки еще стояли на тротуаре. Он начал рыться в них, ища свой мешок. Таких мешков — голубых целлофановых — оказалось довольно много, он надрывал каждый ногтями. «Странно, как легко опознать собственные отходы!» — подумал он, созерцая пустые баночки из-под йогурта и скомканную фольгу от быстрозамороженных ужинов — мусор людей с богемными привычками, редко питающихся у себя дома. Это наблюдение вызвало у него легкий прилив социальной гордости: сам-то он человек солидный, устойчивый, домашний, ведущий нормальный образ жизни! И он с веселым озорством опрокинул бак на тротуар. Небольшой пластиковый пакет из ванной нашелся почти сразу; он вытащил из него ватные фитильки, пару тампаксов, сплющенный тюбик от пасты, другой — от жидкой пудры, использованные бритвенные лезвия. И свои бывшие усы — они тоже были там. Не такой плотный, густой пучок, сохранивший форму усов, как он надеялся увидеть, — скорее, разрозненные волоски. Он собрал их в руку, сколько смог — маленькую кучку, гораздо меньше, чем было сострижено, но все же лучше, чем ничего, — и поднялся в квартиру. Бесшумно войдя в спальню, с волосами на ладони, он сел на кровать рядом с Аньес, которая, похоже, уже спала, и зажег лампу в изголовье. Аньес легонько простонала; он тряхнул ее за плечо, и она, открыв глаза, сморщилась и недоуменно заморгала при виде его ладони, подставленной к самому ее лицу.

— Ну-ка, скажи, что это такое? — резко спросил он.

Она приподнялась, опершись на локоть и мигая — теперь уже от слишком яркого света.

— Что случилось? Что это у тебя в руке?

— Сбритые волосы! — объявил он, еле удерживаясь от злобного смеха.

— Ой, не надо! Только не начинай все сначала!

— Волосы от моих сбритых усов, — продолжал он. — Можешь полюбоваться.

— Ты просто сумасшедший.

Она выговорила эти слова спокойно, точно констатируя очевидный факт, без малейшего признака вчерашней истерики. На какой-то миг он даже уверовал в ее правоту: в глазах стороннего наблюдателя он действительно выглядел бы разъяренным безумцем, который навис над сонной женой и тычет ей в лицо зажатые в горсти извлеченные из помойки волосы. Но ему было наплевать, теперь он имел вещественное доказательство.

— И что же это означает? — спросила Аньес, окончательно проснувшись. — Что у тебя были усы, так?

— Да, именно так!

Она подумала с минуту, потом взглянула ему в глаза и тихо, но твердо сказала:

— Тебе нужно сходить к психиатру.

— Ну нет, моя милая, уж если кому нужен психиатр, так это тебе!

Он расхаживал по комнате, крепко зажав в кулаке волосы.

— Это ведь не я, а ты обзвонила всех подряд и уговорила делать вид, будто они ни-

чего не замечают! Кто настропалил Сержа и Веронику? А Замиру? А Жерома? — Он чуть было не добавил: «И хозяина табачной лавки», но вовремя прикусил язык.

— Ты хоть сам-то понимаешь, что плетешь? — медленно спросила Аньес.

Да, он понимал, он прекрасно понимал, что несет бессмыслицу. Но вокруг него все уже превратилось в бессмыслицу.

— Ну тогда что это такое? — опять спросил он, разжав кулак, словно пытался убедить самого себя. — Что это, скажи!

— Волосы, — ответила она. И со вздохом добавила: — Волосы от твоих усов. Ты это жаждал услышать? А теперь оставь меня в покое, я хочу спать.

Он вышел из спальни, хлопнув дверью, с минуту постоял, созерцая кучку волос на ладони, затем улегся на диван. Вынув из кармана купленную для Жерома пачку, он по одной извлек оттуда все сигареты и ссыпал на их место волоски. Потом закурил, провожая взглядом кольца дыма, но совершенно не чувствуя вкуса табака. Машинально стащил с себя одежду, швырнул ее на ковер, достал одеяло из стенного шкафа в коридоре и решил попытаться уснуть, ни о чем не думая.

Впервые они спали раздельно: все их ссоры, коли уж такое бывало, происходили в супружеской постели, как и любовь, и мало отличались от нее. Эта первая разлука удручала его даже больше, чем враждебное упрямство Аньес. Он спрашивал себя, придет ли она к нему мириться, найти приют в его объятиях, успокоить его и успокоиться самой, сказав: «Ну, кончено, кончено!» и твердя это до тех пор, пока они оба не уснут и этот кошмар взаправду не сгинет. Сон не шел к нему; он лежал, представляя себе эту сцену: сперва легонько скрипнет дверь спальни, мягко прошуршат по ковру, все ближе и ближе, ее шаги, и вот она уже возле дивана, в поле его зрения, опускается на колени, глаза в глаза, и он, протянув руку, начнет ласкать ее груди, поднимется к шее, к затылку, а она ляжет рядышком и еще раз шепнет: «Все кончено!» Он снова и снова проигрывал в уме эту сцену, возвращаясь к самому ее началу — к тихому скрипу двери. Он прямо-таки слышал шорох шагов по ковру, и ему безумно хотелось покрыть поцелуями ноги Аньес — пальцы, пятки, щиколотки, — зацеловать ее всю целиком. В одном из воображаемых вариантов он сам поднимался ей навстречу, на фоне светлеющего окна. На какой-то миг они застывали, стоя обнаженными друг против друга, и — конец ссоре. Или лучше так: он поджидает ее у самой двери. А собственно, почему бы просто не войти в спальню — странно, что ему раньше не пришло это в голову; сейчас он встанет... хотя нет, лучше не надо, если он так поступит, все завертится сначала, он опять начнет думать о волосках, лежащих в пачке от сигарет, задавать новые вопросы, и конца этому не видать. Но даже если она придет, что это изменит? Пачка, наполненная волосками, лежала перед ним на низеньком столике как немой свидетель скандала, который он устроил по милости Аньес; это тоже нужно будет потом обсудить. А может, и не надо, может, лучше вообще не затрагивать больше этот вопрос, а взять и капитулировать, сказав ей: «Ладно, не было у меня никаких усов, теперь ты довольна?» Нет, так тоже не годится, нельзя об этом заговаривать, ни в коем случае нельзя; он вообще ни слова не вымолвит по этому поводу, и она тоже, просто прижмется к нему, такая теплая, нежная; и вновь он мысленно просматривал задуманную сцену, меняя детали, но явственно чувствуя близость ее тела; и все произошло именно так, как ему хотелось, он даже не удивился, что она подумала о том же, возжелала того же, что и он, в то самое мгновение, что и он, и все сразу встало на свои места. Дверь отворилась — совсем тихонько, и так же, почти неслышно, прошуршали по ковру босые ноги. Потом в комнате остался только один звук — тиканье будильника, смешанное с их легкими, слившимися наконец дыханиями; встав на колени, Аньес коснулась губами его губ и задышала глубже, когда он стиснул ей груди, провел руками вдоль тела, по бедрам, по ягодицам, между ног, и вот уже ее дыхание перелилось в сладкий стон, а волосы разметались по его плечу, и она целовала это плечо и кусала это плечо, и он чувствовал на этом своем плече влагу ее слюны и ее слез, и плакал вместе с нею, и, крепко сжав всю ее в объятиях, заставил вытянуться, сплести ее ноги со своими, потом привстать, податься вперед, одарить его рот горячей тяжестью грудей, откинуться назад,

изогнуться и подставить его губам свой живот, который он целовал снизу, целовал между ляжками, целовал нежные сухожилия, соединявшие ляжки и лоно, куда он погружал язык, продвигая его как можно выше, как можно дальше, убирая на миг, чтобы облизать губы, и вновь проникая в ее чрево, и торжествующе слыша, как она стонет там, над ним, и воздымает руки, чтобы раскрыться еще полнее, и отводит их за спину, и сжимает его член, и пропускает его сквозь кольцо своих пальцев вверх-вниз, вверх-вниз, пока он сосет ее, заставляя кричать от наслаждения и крича сам внутри нее, уверенный, что она слышит его, что эти стоны вибрируют в глубине ее лона, как связки у него в горле, и что его рот не может быть нигде, кроме как в ней, никогда не сможет быть в ином месте, что бы ни случилось, и он безостановочно твердил это, погрузившись в нее губами, носом, лбом и оставив открытыми только уши, готовые ловить крики, исторгавшиеся из ее груди, крики в два слова: «Это ты! Это ты! Это ты!», которые она твердила и заставляла твердить его все сильнее, все громче, и это был он, и это была она, и, выкрикивая эти слова, он страстно хотел увидеть, как она кричит их, и, отпустив ее бедра, нащупывал лицо, раздвигал нависшие волосы, смотрел на нее в полумраке, воздетую над ним, с исступленно расширенными глазами, и, схватив за плечи, опрокидывал навзничь, прижимая спиной к своему животу, не отпуская ртом ее лона, ощущая судорожно разведенными ногами ее мечущиеся волосы и выгибаясь, вместе с нею, мостом, который все выше и выше вставал над их ложем, в ночной тьме, а потом они рухнули наземь, по-прежнему твердя: «Это ты! Это ты!», и сплелись заново, лицом к лицу, ощупывая друг друга дрожащими пальцами, смешивая слезы, увлажнившие им щеки и плечи, и она шепнула: «Иди сюда!», притянув его к себе, и они вновь слились в одно целое в ее чреве, вцепляясь в волосы, кусая, целуя и неустанно бормоча сквозь стиснутые, блестевшие в темноте зубы: «Это ты! Это ты! Только ты!», не говоря ничего другого, не думая ни о чем другом, раскрывая глаза шире, чем рты, и жадно стараясь распознать друг друга во мраке и увериться, что это он, что это она, что это они оба, и никого другого, и ничего другого, и больше нигде и никогда, только ты, да, это ты — они изнеможенно и нежно твердили это слово еще долго после конечного взрыва страсти, не разнимая пылающих тел, пока она со вздохом, с улыбкой любви не протянула руку к столику, нащупывая пачку сигарет, а он, удержав ее, сказал: «Не надо».

Она смиренно, не задавая вопросов, убрала руку. Прижавшись друг к другу под одеялом, они проговорили до самого утра. Она сказала ему — да он и сам уже знал, — что не устраивала никакого розыгрыша. Она поклялась в этом, а он ответил, что не нуждается в клятвах и уверен в ее искренности, хотя такие шутки были у нее в обычае. В ее обычае... да, верно, но только не с ним, только не так и не на сей раз, он должен ей поверить, а она должна верить ему. Ну разумеется, они верили друг другу, но тогда вставал вопрос: чему верить? Что он сходит с ума? Что она теряет рассудок? Они осмелились произнести это вслух, одновременно крепко, до боли, обнявшись, лаская языком тела друг друга; они знали, что им нельзя прерывать любовный акт, нельзя разнимать объятия, иначе они больше не смогут ни верить, ни говорить. И если утром они расстанутся, все может начаться вновь, наверняка все начнется вновь, и они опять будут хитрить, изворачиваться и сомневаться. Она сказала, что, на первый взгляд, это кажется невообразимым, но, может быть, с кем-то такое уже случалось? С кем же? Они не знали, даже не слышали никогда о ком-нибудь, кто верил бы, что носит усы, не нося их. Или же, добавила она, кто верил бы, что любимый человек не носит усов, тогда как он их носил. Нет, им никогда не приходилось слышать о таком. Но ведь это не было безумием, и они не были безумны; вероятно, речь шла о легком душевном расстройстве, о галлюцинации, а может быть, о начинавшейся нервной депрессии. «Я схожу к психиатру», — сказала Аньес. «Но почему ты? Если кто-нибудь из нас болен, так это я». — «Отчего?» — «Да оттого, что все окружающие думают, как ты; все они убеждены, что у меня сроду не было усов, значит, это я съехал с катушек». — «Мы пойдем к нему оба, — сказала она, целуя его, — наверное, это самый обычный случай, ничего серьезного». — «Ты в это веришь?» — «Нет». — «И

я тоже нет». — «Я тебя люблю». И они твердили, твердили слова любви, и верили в них, и доверяли друг другу, даже если это было невозможно, — а что же еще им оставалось делать?!

Утром, стоя голышом в кухне и готовя кофе, он выбросил в мусорный мешок сигаретную пачку со своими срезанными усами. Глядя на булькающую кофеварку, он со страхом думал, как бы ему не пожалеть о том, что уничтожено единственное вещественное доказательство — на тот случай, если «процесс» возобновится, если они не захотят бороться с этим наваждением единым фронтом. И еще он боялся мысли, что Аньес любила, обнимала и утешала его только с одной целью: усыпить в нем подозрительность и толкнуть именно на этот шаг. Нет, так думать было нельзя, это чистое безумие, а главное, предательство по отношению к Аньес.

Они пили кофе в гостиной, затопленной радостным утренним светом, и, старательно избегая главной темы, обсуждали вчерашний фильм. К одиннадцати часам он должен был идти в агентство, несмотря на субботний выходной: проект требовалось закончить к понедельнику, и Жером с Замирой ждали его. Сделав над собой усилие, он уже на пороге, как бы между прочим, сказал Аньес, что надо в самом деле подумать о визите к психиатру. Она ответила, что займется этим, и тон ее был так невозмутимо спокоен, как если бы она обещала ему заказать китайские блюда у ресторатора с первого этажа.

— Ты что-то совсем одичал! — сказал Жером, взглянув на его небритую физиономию.

Он ничего не ответил, только усмехнулся. За исключением этой короткой фразы да шуточки, отпущенной Замирой, когда он стрельнул у нее сигарету, начало дня протекло без всяких происшествий. Если он действительно страдал галлюцинациями или начинавшейся депрессией, как предположили они с Аньес, не стоило посвящать в это всех знакомых, с риском услышать потом за спиной сочувственный шепот: «Бедняга, у него совсем крыша поехала!..» Все уладится, он в этом уверен, и незачем кричать о своих проблемах на каждом углу, чтобы к нему прилипла репутация чокнутого, ведь потом от нее до конца жизни не отмоешься перед друзьями и клиентами. Словом, он постарался держать себя как обычно. Замира явно уже не помнила о странном вчерашнем разговоре, в худшем случае приписав его супружеской размолвке; правильно он сделал, что сдержался и не задал ей роковой вопрос, хотя накануне в какой-то миг и упрекнул себя в трусости. Вообще-то, ничего страшного не произошло; его бред, если таковой имел место, остался для всех тайной, дурацкое недоразумение кануло в прошлое, и если он сам будет помалкивать — а он, конечно, остережется болтать, — то ничем теперь себя не выдаст. Разглядывая свое лицо в зеркале, изучая и ощупывая верхнюю губу, украшенную густой щетиной, он видел заросшего — правда, еще не усатого — человека, и это зрелище, само по себе не слишком эстетичное, но явно принятое окружающими, утешало его. Он даже начал думать, что на этом, бог даст, злоключение кончится и, может быть, ему вовсе не обязательно идти к психиатру — достаточно согласиться с общим мнением, а именно: что он не носил усов, и закрыть этот вопрос навсегда. Тем более что общее мнение было представлено весьма узким кругом лиц — к ним относились Аньес, Серж с Вероникой, Жером, Замира и еще несколько человек, знавших его в лицо, с которыми он, в силу обстоятельств, сталкивался за последние двое суток. Он решил сосчитать этих последних: хозяин табачной лавки, рассыльный из агентства, дважды заходивший накануне, сосед, с которым он ехал в лифте; никто из них не заметил перемены в его внешности. Однако, возразил он себе, представим, что я сам увидел какого-то едва знакомого субъекта, сбрившего усы; неужели я стал бы обсуждать с ним сей факт как событие мирового масштаба? Конечно нет; и в молчании этих второстепенных личностей, объясняемом либо сдержанностью, либо рассеянностью, не было ровно ничего удивительного.

Усердно трудясь над чертежом, покусывая кончик фломастера, он одновременно боролся с искушением протестировать кого-нибудь из близких знакомых, задать этот

чертов вопрос в последний раз перед тем, как закрыть его или, вернее, озадачить им психиатра. Ведь, как ни крути, проблема-то все равно останется. Либо подопытный ответит: «Нет, ты никогда не носил усов», и это подтвердит его сумасшествие, а вдобавок введет в курс дела лишнего свидетеля, тогда как сейчас о нем знает одна Аньес. Либо собеседник заявит: «Да, конечно, я всю жизнь видел тебя усатым, что за глупый вопрос!» — и, значит, виновата Аньес. Виновата — или безумна. Нет, именно виновата, коль скоро вовлекла в свой заговор остальных. А впрочем, какая разница: такой злой умысел, такая коварная шутка, переходящая в тщательно разработанный заговор, свидетельствуют об истинном безумии. И главное: в чем бы он ни убедился — в собственном бреде или в сумасшествии Аньес, — он все равно ничего не достигнет, кроме печальной уверенности в том, что один из них свихнулся. Притом уверенности совершенно излишней — достаточно взглянуть на собственное удостоверение личности, где он сфотографирован с густыми черными усами. Любой человек при взгляде на этот снимок не сможет отрицать то, что видно невооруженным глазом. Значит, можно разоблачить Аньес. Доказать, что она сошла с ума или решила выставить сумасшедшим его. Но вот элементарный вопрос: предположим, это он сбрендил до такой степени, что воображал себя усатым целых десять лет своей жизни и даже видел усы на фото; это означало, что Аньес, со своей стороны, рассуждая точно таким же образом, считала его либо опасным безумцем, либо безвредным маньяком, а может, и тем и другим. И вот, несмотря на это, несмотря на дикую сцену с обрезками усов, извлеченными из помойки, она пришла ночью к нему в гостиную, убедила его в своей любви, в своем доверии и поддержке во всем или вопреки всему; ее порыв заслуживал того, чтобы он проникся к ней ответным доверием, разве не так? Конечно, заслуживал... вот только доверие это никак не могло быть взаимным, ибо один из них лгал или бредил. Он-то прекрасно знал, что чист. Значит, это Аньес; значит, ее пылкие объятия прошлой ночи были еще одним коварным обманом. Но если, вопреки очевидности, Аньес не собиралась его обманывать, тогда она совершила героический акт, акт высшей, жертвенной любви, и ему не следовало отставать от нее в благородстве. Разве что...

Встряхнувшись, он закурил сигарету, разъяренный своими бесплодными попытками вырваться из заколдованного круга. Просто невероятно: до чего же трудно найти беспристрастного судью, который разобрался бы в столь ясном, очевидном деле, где и слепому все видно!

Но, если хорошенько прикинуть, в чем, собственно, проблема? В риске, что судью может подкупить противная сторона? Так ведь достаточно обратиться к первому встречному на улице, лишив Аньес возможности переманить его на свою сторону с помощью денег. И такое решение одновременно снимало другое неудобство, а именно деликатный характер этого дела. Подобный вопрос, заданный другу или сотруднику, тут же зачислил бы его в разряд психов. Незнакомец также сочтет его помешанным, но и пусть — ведь это будет человек, которого он больше никогда не увидит. Схватив пиджак, он объявил, что выйдет подышать воздухом.

Было три часа дня. Солнце светило так весело, а магазины позакрывались так давно, что казалось, будто уже наступило лето или по крайней мере воскресенье. Он всегда испытывал ощущение личной свободы оттого, что, работая в агентстве по выходным, мог зато не сидеть там по будням от звонка до звонка. Профессия архитектора позволяла ему вести этот привольный образ жизни, он прочно свыкся с ним и теперь горестно спрашивал себя: неужели приключившаяся с ним нелепость разрушит это легкое, приятное, уравновешенное существование? Накинув пиджак на плечи, он медленно брел по безлюдной улице Оберкан и, встретив наконец-то другого прохожего — сухонького старичка с кошелкой, откуда торчал пучок лука-порея, — невольно улыбнулся, представив себе, как тот обалдеет, если эдак вежливенько предъявить ему свое удостоверение и спросить, снят ли он там с усами или без. Небось решит, что над ним издеваются, и возмутится. Или же сочтет это остроумной шуткой и ответит в том же духе. Кстати, нельзя сбрасы-

вать со счетов и эту возможность. Он попробовал представить себе, как сам отреагировал бы в данной ситуации, и с тревогой признал, что, скорее всего, отделался бы ничего не значащей репликой, разве только удалось бы как-нибудь сострить. А в самом деле, что такого *смешного* можно ответить на подобный вопрос? «Ну конечно, это же Брижит Бардо!» Нет, слабовато. Самое верное было бы просто и ясно изложить свою проблему, но он не знал, как за это взяться. Может, обратиться к серьезному человеку, который именно в силу характера или профессии не расположен шутить? К полицейскому, например. Нет, опасно: если тот окажется не в духе, он рискует угодить в участок за насмешки над должностным лицом «при исполнении». А вот не прибегнуть ли, в самом деле, к помощи кюре? Прийти якобы на исповедь и сказать: «Отец мой, я, конечно, грешил, но беда не в том; я хочу только, чтобы вы взглянули сквозь решетку исповедальни на это фото...» Священник наверняка ответит: «Сын мой, вы что, спятили?» Нет уж, если он хочет получить квалифицированную помощь в этом деле, придется пройти через пытку сеанса у психиатра; Аньес найдет ему хорошего врача. Самое главное — подготовиться к этому визиту, заранее решить, как правильно держаться.

Он ощутил жажду и, увидев на бульваре Вольтера открытое кафе, вошел было внутрь, но тут же вернулся обратно. Там, в помещении, он ни за что не решится задать свой проклятый вопрос. Лучше остаться на улице, тогда он сможет быстренько распрощаться с собеседником, чем бы ни кончилась его попытка.

Он сел на скамейку лицом к тротуару, надеясь, что кто-нибудь подсядет к нему и завяжется разговор. Но никто не подходил. У перехода стоял слепой, нащупывая столб светофора, и он спросил себя, каким образом тот распознает красный и зеленый свет. Скорее всего, по шуму проходивших автомобилей, но их сегодня было немного, и этот человек рисковал ошибиться. Встав со скамейки, он осторожно тронул слепца за руку, предлагая перевести его через шоссе. «Вы очень любезны, — ответил молодой человек, ибо это был молодой человек в зеленых очках, ковбойке цвета гусиного помета, застегнутой до самой шеи, и с белой палочкой в руке, — спасибо, но мне не нужно переходить». Убрав руку, он пошел дальше, думая о том, что можно было бы задать свой вопрос слепцу — по крайней мере, так он не рискует, что его увидят. Но тут ему пришла в голову другая мысль, вызвавшая у него улыбку. «А что, можно попробовать!» — сказал он себе, уже зная, как ему поступить. Жаль только, что у него нет белой трости. Правда, некоторые слепые обходятся и без нее — наверное, из самолюбия. Еще он боялся, что его подведут глаза, но тут вспомнил, что в кармане лежат солнечные очки, и надел их. Очки были от фирмы «Ray-Ban», и он сильно сомневался, носят ли такие настоящие слепцы; однако, по логике вещей, слепой, из гордости отказавшийся от белой палочки, вполне способен щеголять в шикарных солнечных очках. Он прошел несколько шагов вдоль бульвара, нарочито неуверенной походкой, слегка вытянув вперед руки и вздернув подбородок; потом вынудил себя прикрыть глаза. Мимо промчались, одна за другой, две машины, где-то далеко взревел мотоцикл, затем возник другой, приближавшийся шум. Ему пришлось слегка сжульничать, чуть подняв веки, чтобы установить происхождение этого звука. Навстречу шла молодая мамаша с колясочкой. Быстро обозрев окрестности, он убедился, что настоящего слепого нигде не видно, закрыл глаза, твердо решив больше не подсматривать и не смеяться до окончания опыта, и двинулся вслепую наперерез женщине. Он задел ногой коляску, сказал:

— Извините, месье! — протянул руку и, нащупав клеенчатый капот, вежливо попросил: — Будьте добры, окажите мне небольшую услугу!

Молодая женщина ответила не сразу; вполне вероятно, что, вопреки его логическим построениям, она не приняла его за слепца. «Да, конечно», — наконец отозвалась она, чуть откатывая коляску назад и вбок, чтобы не наехать ему на ногу и идти дальше. Он пошел рядом, с закрытыми глазами, не отнимая руки от капота, и заговорил, как в воду бросился:

— Дело вот в чем, я, как видите, слеп. Пять минут назад я наткнулся на какие-то корочки — то ли удостоверение личности, то ли водительские права, и никак не могу ра-

зобрать, чьи они — случайного прохожего или моего друга, с которым я только что расстался. Мне не хочется лишать человека важного документа. Не могли бы вы описать мне лицо на фотографии, тогда я буду знать, как мне действовать. — Замолчав, он стал рыться в кармане, ища удостоверение со смутным чувством, что допускает какую-то оплошность.

— Да, конечно! — повторила, однако, молодая женщина, и он протянул документ в ее сторону.

Она взяла его, не останавливаясь, и они оба продолжали шагать, — вероятно, теперь она вела коляску одной рукой. Лежавший там ребенок, наверное, спал: за все это время он не проронил ни звука. А может, коляска была и вовсе пуста. Он сглотнул слюну, борясь с искушением открыть глаза.

— Вы ошибаетесь, месье, — сказала наконец молодая женщина, — это, скорее всего, ваше собственное удостоверение. Во всяком случае, на нем ваша фотография.

Он должен был предусмотреть это, он чувствовал, что в его уловке есть слабое место: разумеется, любой заметил бы, что на снимке изображен он сам. Но, в общем-то, ничего страшного в этом не было, он вполне мог ошибиться. Правда, на фото у него не было черных очков. А кстати, ставят ли в документах пометку «слепой»?

— Вы уверены? — спросил он. — Мужчина на карточке — он с усами?

— Да, конечно, — ответила женщина, и он почувствовал, что она сует ему в руку двойную картонку в скользкой виниловой обложке.

— Но ведь у меня нет усов! — возразил он, идя ва-банк.

— Да нет же, есть!

Его пробрала дрожь; забыв обо всем, он открыл глаза. Женщина шла, катя перед собой пустую коляску и не глядя на него. Вблизи она казалась не такой уж молодой, как издали.

— Вы уверены, что на снимке я все-таки с усами? — спросил он внезапно осипшим голосом. — Присмотритесь как следует!

Он помахал было удостоверением перед ее лицом, пытаясь всучить ей документ, но женщина оттолкнула его руку и вдруг завопила:

— Хватит, отстаньте от меня, а то я позову полицию!

Он рванулся и побежал через дорогу, прямо на красный свет. Одна из встречных машин успела притормозить, едва не сбив его; он услыхал за спиной проклятия водителя и помчался дальше, до самой площади Республики, где ввалился в кафе и, задыхаясь, упал на скамью.

Официант вопросительно вздернул подбородок, и он попросил кофе. Медленно приходя в себя, он переваривал услышанное. Значит, тот хорошо спланированный заговор, в который он не верил из-за трудности исполнения, сочтя его просто дурацкой шуткой, все-таки имел место. Он подробно восстановил в памяти свое недавнее приключение. Когда он возразил, что у него нет усов, женщина ответила: «Нет, есть!», вот только он не знал, что она имела в виду — фотографию или его самого. Может быть, она приняла за усы двухдневную щетину, покрывшую его верхнюю губу? Или вообще плохо видела? Или все это ему померещилось, и он никогда не сбривал усов, и они по-прежнему красовались на своем месте — густые, ухоженные, — обманывая его трясущиеся пальцы и глаза, которые, стоило ему резко обернуться к зеркалу у себя за спиной, узрели там искаженное, зеленовато-белое лицо. Тут только он заметил, что на нем очки, снял их и принялся изучать себя при естественном освещении. Да, это он — небритый, все еще дрожащий, но он самый. Значит, в таком случае...

Судорожно сжав кулаки, он зажмурился как можно крепче, лишь бы погрузиться в темноту и покончить с этим мучительным, бесплодным метанием от одной догадки к другой. Как найти выход из этого адского круга, как вернуться к нормальной жизни? Опять все сначала, опять он испуганно взвешивает только что найденное преимущество, доказательство, которое позволит ему уличить... уличить кого? Аньес? Но почему Аньес? Зачем она проделывала все это? Какая причина может оправдать подобную выходку, если

не безумие, само по себе не нуждающееся в причинах или же имеющее свою, особую причину, которая, поскольку он-то не был сумасшедшим, ускользала от его понимания. «А Серж с Вероникой тоже хороши! — подумал он с яростью. — Аньес свихнулась, а они ее поощряют, идиоты чертовы!» Ну уж он им всыплет по первое число, чтоб неповадно было развлекаться такими выходками, которые способны загнать его жену в психушку!

Он разрывался между гневом и тошнотворно-сочувственной нежностью к Аньес, к бедняжке Аньес, к его жене Аньес, такой хрупкой во всех отношениях, и телом и психикой, которой угрожало безумие. Теперь, задним числом, ему открылся смысл всех ранних симптомов ее болезни: склонность к неуловимо тонкому коварству, преувеличенная тяга к абсурдным ситуациям, телефонный розыгрыш с замурованной дверью, история с радиаторами, раздвоение личности: с одной стороны, женщина, уверенная в себе днем, на людях, с другой — маленькая обиженная девочка, горько рыдающая по ночам в его объятиях. Как же он раньше не забил тревогу, не распознал эти начатки депрессии, эту неодолимую страсть верховодить!.. — а теперь поздно, она уже слишком глубоко увязла. Или, может, еще рано отчаиваться; может, его любовь, терпение и такт вырвут ее из когтей демонов безумия, — он сделает все, что в его силах, и вернет ее к нормальной жизни! Если нужно, решится даже, из любви к ней, на побои, как оглушают ударом по голове тонущего человека, который в панике мешает спасителю вытащить его на берег. Теплая волна любви затопила его душу, в которой теснились, одна ужаснее другой, метафоры, обличающие его в слепоте и безответственности. Приход Аньес прошлой ночью вспоминался ему теперь как отчаянный призыв о помощи. Наверное, она смутно догадывалась о своем состоянии. И, заговорив с ним о психиатре, тем самым подталкивала его отвести к врачу ее самое. Она билась в тенетах безумия, стараясь пробудить в нем тревогу; вся эта свистопляска в течение двух последних дней, вся эта абсурдная история с усами была не чем иным, как попыткой пробиться сквозь толстую стену его равнодушия, привлечь к себе его внимание, воззвать о помощи. Слава богу, он если не понял, то хотя бы услышал эту немую мольбу, проведя с ней ночь любви, уверив в своей защите, в своей неизменной близости и готовности помочь ей сохранить себя как личность. Нужно продолжать в том же духе, выглядеть надежным и незыблемым, как скала, верным другом, на которого можно опереться в трудную минуту; главное, не дать Аньес увлечь в бездну сумасшествия, приобщить к своему бреду его самого, иначе вообще все рухнет.

Он купил пачку сигарет, выкурил одну, оправдав свое безволие тяжелой ситуацией, и принялся разрабатывать программу спасения Аньес. Ну, во-первых, конечно, — обратиться к психиатру. Совершенно ясно, что, бросив эту фразу о консультации, как бросают в море бутылку с запиской, она рассчитывала также обвести вокруг пальца и врача. Разумеется, тут она заблуждалась: опытный психиатр не попадется на ее удочку, в отличие от глупеньких Сержа и Вероники. А в общем-то, если вдуматься, может быть, умнее всего предоставить ей полную свободу действий: ее выдаст собственное поведение, и специалист куда лучше разберется в этом деле, услышав ее бредовые речи. Он вообразил, как врач записывает в блокнот измышления Аньес: «Знаете, доктор, мой муж уверен, что до прошлого четверга носил усы, а это неправда!» Одна такая фраза насторожит его, убедив в том, что она страдает... а чем, собственно? Он совершенно не разбирался в душевных болезнях и тревожно спросил себя, как может называться подобное расстройство, излечимо ли оно... Он только смутно помнил, что бывают неврозы и психозы и что вторые хуже первых, вот и все... Но, как бы то ни было, следует приготовить для «психушника» хотя бы краткое досье, оно поможет ему сразу войти в курс дела: фотографии (у него их полно), свидетельства третьих лиц о характере Аньес, о ее резких сменах настроений. И при этом пускай инициатива остается за ней, так оно будет проще.

Теперь об отзывах третьих лиц: нужно предупредить друзей. Придется пойти на это, во избежание очередной клоунады со стороны Сержа и Вероники. Конечно, это деликатная проблема — выдержать нужную меру твердости и такта, избежать паники, чтобы они не вздумали обращаться с Аньес как с больной, но все же прониклись трагизмом

ситуации. Значит, обзвонить всех знакомых, включая ее подружек, сотрудников и, по мере возможности, изолировать ее от окружающих. Конечно, это ужасно — сговариваться с ними за ее спиной, — но другого выхода нет.

Что же до него самого, то в ближайшее время самое разумное — притворяться, будто он во всем с нею согласен, дабы избежать конфликтов, а может быть, и катастрофы. Нужно сейчас же вернуться домой, повести ее куда-нибудь ужинать и делать вид, будто ничего не случилось, а главное, не говорить об этих проклятых усах; если же она заведет о них речь, то признать, что у него были галлюцинации — были и прошли. В общем, успокоить ее и протянуть время. Но не перестараться, иначе она решит, что визит к психиатру и вовсе излишен. Он будет настаивать на его необходимости, изобразит эту консультацию самой банальной вещью на свете, хотя, конечно, трудно считать это нормой. И он попросит Аньес сопровождать его, что вполне естественно, тут она ничего не заподозрит. Или же, напротив, поймет, что он все понял. Придется, наверное, ждать до понедельника, но уж в понедельник они точно будут у врача, и с утра пораньше.

Расплатившись за кофе, он спустился вниз, чтобы позвонить в агентство. Разумеется, он не пойдет на работу ни сегодня, ни завтра — тем хуже для проекта спортзала и для клиента, который ждет его в понедельник. Жером вздумал спорить и кричать, что он, черт подери, неудачно выбрал время для своих фокусов, но он оборвал его на полуслове: «Ты что, оглох? Аньес очень больна, поэтому слушай, что я тебе скажу: мне плевать на спортзал, мне плевать на агентство и мне плевать на тебя; отныне я занимаюсь только моей женой. Усек?» — и повесил трубку. Завтра он перезвонит, и извинится перед Жеромом и Замирой, и, кстати, выругает их — конечно, не слишком грубо — за участие в розыгрыше, в общем-то вполне простительное; они ведь не могли знать правды, он и сам едва не клюнул на эту приманку. Но сейчас нужно спешить домой, убедиться, что Аньес там, что ей не стало хуже. Он подумал: теперь я буду все время бояться за нее, и эта перспектива поселила в нем тревогу и какой-то странный, болезненный восторг.

Он вернулся незадолго до пяти часов; Аньес только что пришла и теперь сидела в гостиной, просматривая типографские оттиски и слушая радиопередачу о происхождении танго. Она рассказала ему, что обедала в парке «Багатель» с Мишелем Сервье, приятелем, которого он почти не знал, и с юмором описала толпу посетителей, теснившихся на открытой террасе ресторана, чтобы насладиться первым погожим деньком. Даже продемонстрировала легкий загар на открытых до локтя руках. Жаль, что она уже пообедала на открытом воздухе, сказал он, ему как раз вздумалось поужинать в «Саду праздности», в парке «Монсури». Честно говоря, он боялся удивить Аньес этим предложением — обычно они никуда не выходили субботними вечерами, — но она только возразила, что для ужина на террасе все-таки еще слишком прохладно, ей хотелось бы посидеть в зале ресторана. Так и договорились.

Они мирно провели время до вечера, она — читая и слушая радио, он — листая «Монд» и «Либерасьон», которые купил по дороге домой со смутным намерением выглядеть как можно естественнее, придать себе больше уверенности. Укрывшись за развернутыми газетными страницами, он сам себе казался частным детективом, которого муж нанял следить за своей красоткой-женой. Чтобы развеять это впечатление, он несколько раз нарочито громко прыснул со смеху и, по просьбе Аньес, зачитал ей объявление из рубрики «Любимчики «Либерасьон», где некий юный любвеобильный гомик уже третью неделю подряд выражал желание познакомиться, для дружеских — и еще более теплых — отношений, с каким-нибудь господином от шестидесяти до восьмидесяти лет, толстеньким, лысеньким, изысканной внешности, похожим на Раймона Барра, Алена Поэра или Рене Коти[1]. Их заинтересовало упорное повторение этого страстного газетно-

[1] Раймон Барр — французский политический деятель, премьер-министр Франции с 1976 по 1981 г. Ален Поэр — французский политический деятель, дважды замещавший президентов республики: после ухода де Голля в 1969 г. и смерти Помпиду в 1974 г. Рене Коти —президент Франции с 1954 по 1959 г.

го призыва: то ли юный «любимчик» никак не мог подыскать нужную кандидатуру, то ли, наоборот, имея слишком богатый выбор, каждый день менял партнеров — упитанных деятелей с брюшком, затянутым в узкий полосатый костюмчик. «Полозадый», — сострила Аньес.

За это время им позвонили трижды, и всякий раз он отвечал сам. Третьей была Вероника; она ни словом не упомянула о его позавчерашнем ночном звонке, ему же мешало выговориться присутствие Аньес. Аньес знаком попросила передать ей трубку и пригласила Сержа с Вероникой на завтра к ужину. Он пожалел, что не позвонил им раньше, с улицы, как и собирался. За весь вечер ни один из них не поднял вопроса о психиатре.

Наконец они отправились в «Сад праздности», но пришли туда раньше назначенного часа и, в ожидании столика, пошли прогуляться по парку «Монсури». Поливальные вертушки сеяли над лужайками мелкий дождичек; порывом ветра струйку воды отнесло на платье Аньес; он обнял ее за плечи, приник к губам долгим поцелуем и, нагнувшись, стал гладить голые, без чулок, ноги, по которым сбегали холодные капельки. Аньес засмеялась. Прижав ее к себе, щека к щеке, он крепко зажмурился, подавляя готовый вырваться крик любви к ней, страха за нее; когда они разомкнули объятие, он увидел в ее взгляде потрясшую его печаль. Держась за руки, они пошли к ресторану, то и дело останавливаясь, чтобы снова и снова целоваться.

Ужин прошел весело и на удивление непринужденно. Они болтали обо всем и ни о чем; Аньес шутила — остроумно, временами даже зло, но с неизменной детской непосредственностью, которая была свойственна ее «домашнему» остроумию, в отличие от другого, рассчитанного на посторонних. Однако ему кусок не шел в горло при мысли, что они оба играют комедию, и их любовные шалости — просто камуфляж, а на самом деле они напоминают супружескую пару, где жена знает, что неизлечимо больна и что любимому человеку это известно, и из последних сил пытается не выказать своего отчаяния — даже ночью, лежа без сна в объятиях мужа и догадываясь, что он тоже не спит и сдерживает, как она, подступающие рыдания. И так же, как эта женщина, ради покоя мужа скрывающая свой ужас перед словом «рак», Аньес, погладив его по щеке и коснувшись рукой щетины на верхней губе, шепнула: «Смотри, как быстро растет!» Схватив эту руку, он обвел вокруг лица своими и ее пальцами, как они делали это в постели, лаская самые интимные места, а про себя подумал: «Да, быстро, только *снова отрастает*!»

Чуть позже, в тот момент, когда они изощрялись в шуточках по поводу жалких притязаний меню на оригинальность и старались изобрести для блюд более экзотические названия, Аньес вдруг сказала, что еще не нашла психиатра. Он только-только собрался предложить ей «мешанину из трепанированных окуньков» и колебался лишь в выборе гарнира, между соусом из сморчков «по-домашнему» и щавелевым пюре «по-ресторанному»; услышав эти слова, он едва не выронил вилку. Сама она не знает ни одного психиатра, продолжала Аньес, но очень рассчитывает на Жерома, из-за его жены... Он и сам уже думал о таком варианте и расценил предложение Аньес как проблеск нормального состояния: уступив ему инициативу — ибо Жером был в первую очередь его другом, — она дала понять, что угадала его подозрения и, скорее всего, отказалась от мысли сыграть перед психиатром свою бессмысленную комедию, полностью вверившись заботам мужа. Он опять благодарно сжал ее руку и пообещал сразу же созвониться с Жеромом.

Взяв чек, вложенный в счет за ужин, официант попросил у него удостоверение личности, и это разозлило его. Когда документ принесли обратно, Аньес сказала именно то, что он так боялся услышать:

— Покажи-ка!

Скрепя сердце он протянул ей удостоверение; нет, решительно Аньес злоупотребляла своим положением неизлечимо больной! Она пристально вгляделась в фотографию и с мягким укором покачала головой.

— Ну, что еще?

— В другой раз придумай что-нибудь получше, милый! — сказала Аньес и, лизнув

палец, протерла снимок. Затем предъявила ему маленькое черное пятнышко на кончике пальца и, смочив его еще раз, шаловливо потянулась к его лицу, словно вознамерилась сунуть палец ему в рот. Он отбросил ее руку так же резко, как недавно это сделала женщина с коляской.

— По-моему, это фломастер Stabilo Boss! — объявила Аньес. — Прекрасное качество, почти не стирается. Тебе известно, что подрисовывать фотографии на документах запрещено? Погоди-ка!

Не возвращая ему удостоверения, она порылась в сумочке и достала металлический футляр, откуда извлекла бритвенное лезвие.

— Не надо! — воскликнул он.

Но Аньес, в свою очередь, отвела его руку и принялась скрести усы на снимке. Застыв на месте, он глядел, как она счищает с его перевернутого изображения мелкие темные чешуйки; в результате ее усердия пространство между носом и губами сделалось не серым, как вокруг, а неприятно-белым и шероховатым.

— Ну вот, — заключила Аньес, — теперь ты в порядке!

Подавленный вконец, он взял удостоверение. Вместе с темным глянцем усов Аньес содрала еще крыло носа и уголок рта, но, главное, это ровно ничего не доказывало, просто теперь снимок был изуродован, вот и все. Он чуть не сказал это Аньес, но вовремя вспомнил о своем решении соглашаться с ней, не противоречить хотя бы до понедельника. Уже и то хорошо, что она увидела его усы, заподозрила, что он подрисовал их фломастером, и сказала об этом вслух. В каком-то смысле так было даже лучше, куда лучше, нежели ее отходный маневр по поводу психиатра, слишком точно копирующий его собственное поведение: по крайней мере, она наступила на горло собственной песне, разрушила пагубную симметрию, согласно которой она, и только она обладала здравым рассудком, была терпеливой и мудрой утешительницей.

И как всегда, словно читая его мысли, она дотронулась до его руки и сказала:

— Прости меня, я была неправа!

— Ладно, пошли.

В машине они молчали. Только раз, в какой-то момент, она коснулась его затылка и еле слышно повторила: «Прости!» Он привычно откинул голову на ее ладонь, но ни единым словом не ответил на ласку жены. Ему пришла в голову страшная мысль: а вдруг она изуродовала или уничтожила все его фотографии, все вещественные доказательства его правоты, кроме, конечно, отзывов друзей — самого, впрочем, слабого звена в его защите? Дай бог, чтобы она еще не успела навредить, — тогда нужно побыстрее спрятать все в надежном месте хотя бы для того, чтобы предъявить психиатру. Но он чувствовал, что после короткой ремиссии Аньес хочет вновь отвоевать преимущество и перейти в атаку, а его поставить в положение обвиняемого, вынужденного доказывать, что он не верблюд; уж коли она решила играть в открытую, идти ва-банк, значит, ей удалось обеспечить себе прочные тылы, завладеть нужными уликами. Он понимал, что битва проиграна, но ему все-таки хотелось зайти в квартиру первым, не впускать Аньес одну — он и без того, как последний дурак, оставил ее на целых полдня. Вот единственно верное решение: если перед домом Аньес вздумает выйти из машины и сесть в лифт, пока он будет возиться в гараже, он твердо скажет: «Нет, ты останешься здесь, со мной!», а нужно будет, удержит и силой. Но она ничего не сказала и спустилась на подземную стоянку вместе с ним; увы, это означало, что зло уже свершилось. «Не забудь, она безумна, — твердил он себе, — не перечь ей, не сердись на нее, люби такой, какая она есть, помогай избавиться от этого наваждения!»

На пороге квартиры ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы пропустить Аньес вперед. Отдав дань галантности, он решил больше не притворяться, оглядел полки, журнальный столик, комод и открыл поочередно все ящики секретера, бесцеремонно, с треском заталкивая их обратно.

— Где у нас фотографии, сделанные на Яве?

Аньес, шедшая следом, остановилась с изумленно застывшим взглядом. Никогда еще, даже во время любовных объятий, он не видел на ее лице такого смятения.

— На Яве?

— Да, на Яве. Я хочу посмотреть фотографии, сделанные на Яве. Именно там! — добавил он, уже зная, что сейчас произойдет.

Аньес подошла, обхватила его лицо ладонями — давно знакомым жестом, который и она и он проделывали тысячи раз, но в который сейчас вложила страстную мольбу, всю силу убеждения.

— Любимый, — прошептала она трясущимися губами. — Любимый мой, я клянусь тебе, что таких фотографий у нас нет. Мы никогда не ездили на Яву.

Он подумал: «Ну что ж, я так и знал, это должно было случиться». Аньес рыдала — горько, как накануне, как позавчера, как, вероятно, будет рыдать и завтра; теперь это затянется до бесконечности — каждый вечер их ждет такая вот сцена, каждую ночь — любовь, чтобы помириться и забыть ссору в пылком согласии тел, каждое утро — притворная непринужденность, а потом опять вечер, и опять все сначала, ведь нельзя же постоянно делать вид, будто ничего не происходит. Он ощущал безнадежную усталость и хотел только одного — ускорить ход этой новой жизни, как можно быстрее погрузиться в спасительный мрак ночи, обнять Аньес... и вот он уже обнимал ее, и убаюкивал, и утирал слезы, и гладил дрожащие плечи, и сердце его разрывалось от нежности и тоски. Испуганный, судорожный трепет ее тела говорил о том, что она не лжет, что нынче вечером она действительно верит в то, что никогда не была на Яве, и так остро страдает, что не может скрыть этого. Ну ладно, пусть они никогда не ездили на Яву; ладно, у него никогда не было усов; ладно, он признает, что подмалевал свое фото, он согласен на все, лишь бы она успокоилась и перестала плакать хоть на минутку. Они оба жаждали покоя, готовые пожертвовать тем, во что верил каждый из них, отринуть очевидность, любой ценой купить отсрочку, и все же Аньес плакала, плакала по-прежнему, вздрагивая в его объятиях, а он обнимал ее, целовал волосы, и глядел через ее плечо, и видел за ее спиной яркое тканое покрывало, привезенное ими с Явы. Ну и тем хуже — для покрывала, для Явы, для всего на свете. «Тихо, тихо, ну, тихо, сокровище мое», — твердил он шепотом, как бывало прежде.

Зазвонил телефон, включился автоответчик. Они услышали веселый, безмятежный, смешливый голосок Аньес — Аньес, которая сейчас всхлипывала, прильнув к нему, затем, после звукового сигнала, раздраженный голос Жерома: «Может, ты все-таки объяснишь, что происходит? Позвони!» — и сухой щелчок отбоя. Аньес высвободилась из его рук, пошла к дивану и легла, свернувшись калачиком.

— Ты думаешь, я схожу с ума, ведь так? — прошептала она.

— Я думаю, — ответил он, присев на корточки, чтобы лучше видеть ее лицо, — случилось что-то неладное, и мы должны выяснить, что именно.

— Но тебе кажется, что это случилось со мной! Скажи правду!

Наступило молчание.

— С тобой, или со мной, или вообще... — неуверенно промолвил он наконец. — В любом случае мы с этим разберемся. Представь себе, что мы с тобой «под газом» — еще пара минут, и все пройдет.

Она уже не рыдала, только тихонько всхлипывала.

— Я знаю, что скверно поступила там, в ресторане.

— Я на твоем месте сделал бы то же самое. Я ни в чем тебя не упрекаю.

«Интересно, что она подумала при этих словах? — спросил он себя. — Небось «слава богу, еще чего не хватало!»

Но она сказала только:

— Я хочу спать,— и встала с дивана. Поправляя на ходу сбившееся платье, она зашла в спальню, вернулась оттуда со снотворным и, как два дня назад, протянула ему две таблетки. — Я лучше сегодня лягу одна, — прошептала она.

Он проводил Аньес глазами, и в тот момент, когда она переступала порог спальни,

его пронзила дикая мысль, что той ночью они занимались любовью последний раз в жизни. И тут же он испугался другого: что, если она оставила у себя всю упаковку, чтобы отравиться? Нужно немедленно забрать у нее таблетки. Конечно, она может подумать то же самое про него, но тем хуже; он постучал в дверь, вошел, не дожидаясь ответа, и схватил пачку лекарства с ночного столика. Аньес лежала на постели одетая. Увидев мужа, она тотчас угадала его опасения и с усмешкой сказала:

— Соблюдаем осторожность, да? — Потом добавила: — Не бойся, я думаю, оно и завтра нам понадобится!

Ему очень хотелось присесть на кровать и продолжить эту грустную доверительную беседу, но он почувствовал, что ничего путного не получится, и вышел, прикрыв за собой дверь.

В гостиной он принялся бесшумно обшаривать ящики, надеясь отыскать фотографии, которые могли ускользнуть от внимания Аньес. Правда, он неосмотрительно оставил ее одну в квартире и теперь не очень-то рассчитывал на благоприятный результат своих поисков. Кроме того, ему был закрыт доступ в комнату, где она спала — если, конечно, она спала! Через несколько минут ему стало ясно, что фотографии путешествия на Яву и во все другие места, а также свадебные снимки, в общем полное собрание образов и воспоминаний, накопленных за пять лет совместной жизни, исчезли без следа, в лучшем случае куда-то запрятаны, в худшем — вовсе уничтожены. Правда, оставались и другие вещественные доказательства: пестротканое покрывало с Явы, безделушки, которые он дарил Аньес, — словом, все, что украшало их гостиную и было неотъемлемо связано с прошлым, которое она стремилась стереть, изничтожить. Но он знал, что эти вещи мало чего стоят в данной ситуации — о любой из них можно было сказать: я ее вижу впервые, тогда как изображение на фотографии отрицать невозможно. Впрочем, отчего же невозможно — ведь Аньес с бессмысленным, но ожесточенным упорством отрицала очевидное, называя черное белым и даже не трудясь при этом окрасить в белое спорный предмет. Такая позиция, разумеется, не выдерживала никакой критики. Однако проблема, к несчастью, состояла не в том, чтобы переубедить Аньес, а в том, чтобы вылечить ее. Бесполезно бороться с симптомами, противопоставляя ее бреду реальность; нужно отыскать само зло, несомненно уже пустившее глубокие и прочные корни в мозгу женщины, которую он любил. Он вспомнил случайно виденный по телевизору репортаж об одном селении на юго-западе Франции, существовавшем в основном за счет содержания душевнобольных. Речь шла не об экспериментальном методе психиатрии, нацеленном, как он сначала подумал, на возврат больных к нормальной общественной жизни, но о простой экономической задаче. Один день пребывания среднестатистического сумасшедшего в клинике обходился государству слишком дорого, а жители того поселка нуждались в деньгах; им платили какую-то безделицу, около шестисот франков в месяц, за то, что они держали у себя одного, двух или трех психов, неизлечимых, но безобидных, поселяя их в сарайчиках, куда дважды в день приносили миску супа и, главное, следили, чтобы те вовремя принимали лекарства; разумеется, опекуны ухитрялись извлекать небольшую прибыль из денег, выдаваемых на содержание больных. Сумасшедшие жили себе, поживали, никого не трогали; их хозяева пользовались денежками, капавшими регулярно каждый месяц, и не боялись, что этот ручеек иссякнет, поскольку больные оставались у них до самой смерти. Психи предавались своим любимым занятиям: один на протяжении двадцати лет непрерывно писал бессмысленную напыщенную фразу, другая нянчила целлулоидных голышей, меняя им пеленки, через два часа на третий, с видом счастливой мамаши... Глядя эту передачу, он, конечно, подумал: это ужасно! — как отозвался бы, скажем, о голоде в Эфиопии, но тогда он и вообразить не мог Аньес, сидящую на пороге жалкого домишки в углу сада и кротко повторяющую: «У моего мужа никогда не было усов!» — одно и то же, из года в год — и молодой женщиной, и зрелой, и старухой. Теперь же он представил ее себе именно такой, и вдобавок, бог знает почему, в детском платьице. Он знал, что мало-помалу начнет отдаляться от нее и его любовь перейдет в сострадание, в душевную муку. Конечно, он не обречет Аньес на убогое су-

ществование в деревенской глуши, среди всеми забытых психов; он подберет для нее самый роскошный санаторий для душевнобольных, но это дела не меняет — со временем его безразличие к жене окрепнет, она станет для него обузой, темным пятном на совести; он начнет сомневаться, правильно ли поступает, навещая ее каждый месяц, платя каждый месяц за ее содержание, а когда она умрет, он, сам себе в том не признавшись, почувствует облегчение... Ему никак не удавалось отогнать от себя образ старухи Аньес в детском платьице, с ее кротким бредом. «Нет, нет, — думал он, борясь с подступившими слезами, — не настолько же серьезно она больна!» Ее вылечат, ее вернут к жизни. Вот ведь бывшая жена Жерома, которая то страдала анорексией, то впадала в нервную депрессию, одолела в конце концов болезнь, стала нормальным человеком. Странно, однако, что Жером, прошедший через все это, не распознал сразу же, после заговорщицкого звонка Аньес или даже еще раньше, в чем дело; скорее всего, просто закрыл на это глаза, чтобы не расстраиваться. Как бы то ни было, нужно позвонить ему, объяснить ситуацию, попросить совета. И пусть Жером сведет его с опытным психиатром, с тем, что вылечил Сильвию.

Лучше всего выйти прямо сейчас и поговорить с ним из автомата, чтобы Аньес не застукала его за этой беседой. С другой стороны, боязно оставлять ее одну, даже на пять минут. Размотав телефонный шнур, он унес аппарат в кухню, решив говорить шепотом. Впрочем, некоторые слова он ни при каких обстоятельствах не смог бы выговорить в полный голос. Набрав номер, он долго слушал безответные гудки — Жерома не было или он отключил телефон. Он осторожно опустил трубку на рычаг, стараясь, чтобы щелчок прозвучал как можно тише. «Завтра!» — решил он, хотя и сам не знал, когда сможет позвонить завтра, если не хочет оставлять Аньес; проще всего было воспользоваться тем, что она спит. Теперь поле его деятельности сильно сузилось.

Он вернулся в гостиную, волоча за собой шнур, и сел на диван, растерянно прикидывая, чем бы заняться в ближайшее время. Психиатра ведь не вызовешь в субботу, среди ночи, «скорая помощь» в данном случае бесполезна, значит, придется ждать понедельника, и он с ужасом думал о том, что может случиться за эти дни, как будто безумие Аньес, так долго дремавшее в ней, грозило развиться и вырасти в несколько часов до гигантских размеров, подобно кувшинкам, которые непрерывно увеличиваются в объеме на экране, при замедленной съемке. Он вынул из бумажника удостоверение и испуганно констатировал, что у него осталось только вот это одно, поцарапанное фото. Хотя нет, не одно: Аньес наверняка забыла про его иностранный паспорт, и, кроме того, можно ведь попросить у друзей снимки, на которых он фигурирует, таких было немало. И, как пастух, считающий своих баранов, он принялся мысленно составлять реестр собственных изображений, имевшихся у знакомых, где их можно было раздобыть. Закуривая сигарету — последнюю из купленной позавчера пачки, — он вспомнил мелкий инцидент, случившийся третьего дня на Новом мосту: он нечаянно заслонил объектив японскому туристу в момент, когда тот снимал жену на фоне собора Парижской Богоматери. Обычно он либо ждал, когда щелкнет спуск, либо вежливо обходил фотографа сзади; однажды он даже простер свою учтивость до того, что остановился рядом с человеком, смотревшим в бинокль, не желая мешать обзору. Тогда, три дня назад, он извинился перед японцем, тот благодушно махнул рукой — мол, ничего страшного! — а вот теперь ему безумно хотелось получить этот снимок или другие такие же, на которых он оказался ненароком, как будто именно случайность этого присутствия усиливала подлинность фотодокумента. Особенно его манила фотография, сделанная японцем — когда же это было, в четверг или в пятницу? — последняя, где он носил усы. «Конечно, можно дать объявление в какой-нибудь токийской газете», — невесело подумал он. Нет, более реально разыскать снимки, сделанные друзьями или хранящиеся у родителей; наверняка имеются и дубликаты, а в фотолабораториях — негативы. Но и с этим придется потерпеть до завтра. А пока он только и мог, что разглядывать снимок на документе, исцарапанный бритвой и смоченный слюной с целью оттереть воображаемый фломастер...

Вдруг он замер, нахмурился и, лизнув палец, провел им по темному отвороту пид-

жака на фотографии. Палец остался чистым. «Ну еще бы, — подумал он, — со снимков же не слезает краска!» Однако его опыт выдавал Аньес с головой — как же он тогда не понял, что она все подстроила: знала, что выскабливание лезвием ничего не докажет, и предварила операцию более убедительным тестом, а палец, ясное дело, заранее намазала черным фломастером.

«Она безумна! — прошептал он. — Абсолютно безумна!» И безумие ее носит извращенный, более того, злонамеренный характер. Но она не виновата, он должен помочь ей. Даже если она попытается выцарапать ему глаза — не на фото, а взаправду, — придется защищать себя самого и ее тоже. Самое ужасное не то, что Аньес стремилась уничтожить прошлое — его усы или отдых на Яве, — но что все ее действия были направлены против него, рассчитаны так, чтобы он не смог и не захотел оказать ей помощь, а отчаялся и бросил ее на погибель. Ему опять вспомнился пример со спасателем, который оглушает тонущего ради его же блага, но теперь эта мысль утешала куда слабее, чем днем, в кафе. Он спросил себя, а впрямь ли Аньес спит; он не заметил, приняла ли она снотворное. Подкравшись на цыпочках к двери, он осторожно приотворил ее, стараясь не скрипнуть и отгоняя от себя видение еще более кошмарное, нежели образ полоумной старушки в детском платьице: Аньес, сна ни в одном глазу, сидит по-турецки на кровати и подстерегает его с торжествующей, дьявольской усмешкой на губах, покрытых пеной, точь-в-точь как одержимая девушка из фильма «Экзорсист». Однако Аньес мирно спала, свернувшись калачиком под одеялом. Он подошел, глядя на очертания гибкого тела женщины, которую любил, боясь встретить хищно следящий за ним взгляд.

Нет, она спит.

Несколько мгновений он постоял, разглядывая Аньес в слабом, падающем из гостиной свете, затем вышел, не слишком-то успокоенный. Ночь он провел на диванчике, лежа без сна, подложив руки под голову и повторяя разработанный днем план, который твердо решил привести в действие, несмотря на вечерний приступ безумия Аньес: во всем потакать ей, связаться, без ее ведома, с Жеромом, найти психиатра; его слегка успокаивало само обдумывание деталей — как преодолеть ту или иную трудность этой программы, как устроиться, чтобы звонить, не оставляя Аньес одну. Вдруг его внимание привлек красный глазок автоответчика, который они забыли прослушать, вернувшись из ресторана. Сведя звук до минимума, он приложил ухо к микрофону и выслушал запись; звонил Жером, явно встревоженный, потом отец, как всегда напоминавший им о традиционном воскресном обеде, следом какая-то журналистка, хотевшая поговорить с Аньес, и опять Жером — этот его звонок они слышали, но не сняли трубку. Он записал имя журналистки и стер сообщения. К концу ночи его все-таки сморило, и он задремал с мыслью о том, что не спал уже двое суток и столько же времени не брился как следует, а ведь ему нужно быть в хорошей физической форме для предстоящей трудной борьбы.

Телефон зазвонил в тот самый миг его сна, когда он решал, как правильнее говорить — усы или усики? Какой-то неведомый собеседник отвечал ему, что можно и так и эдак — называют же бакенбарды бачками! — сопровождая свою речь противным скрипучим хихиканьем, наводившим его на мысль, что он имеет дело с «психушником» и что следующим номером программы будет намек на необходимость кастрации. Благодаря этому совпадению, голос Жерома в трубке совершенно не удивил его, он тотчас пришел в себя.

— Ну, так ты намерен объяснить мне, что случилось?

— Погоди минутку!

Он собрался прикрыть растворенную почему-то дверь спальни, чтобы Аньес не услышала их разговора, но, заглянув в комнату, обнаружил, что ее там нет, как нет ни в кухне, ни в ванной, ни в туалете, которые он торопливо обследовал.

— Аньес не у тебя? — спросил он на всякий случай, опять схватив трубку.

— Нет, с какой стати?!

Он поколебался, решая, что ему делать — бежать на поиски или же воспользоваться

отсутствием Аньес, чтобы обсудить ситуацию с Жеромом. И склонился ко второму варианту, зная, что нужно действовать быстро — не дай бог она вернется и застанет его за этой беседой! Если она вообще вернется, если она не умерла, если не притаилась в стенном шкафу, чтобы оттуда шпионить за ним!

— Слушай, — начал он, удивляясь четкости собственного голоса. — Аньес серьезно больна. У тебя нет на примете хорошего психиатра?

После долгой паузы Жером сказал:

— Есть. А что с ней?

— Она ведь звонила тебе, верно? Позавчера?

— Нет.

— Разве она не звонила, чтобы сказать... — он запнулся, не решаясь договорить.

— Сказать что?

— Сказать... — и он решительно закончил, словно в воду бросился, — что я никогда не носил усов.

Новая пауза.

— Не понял! — сказал наконец Жером.

И опять наступило молчание.

— Ладно, я объясню, — продолжал он. — Ты ведь наверняка заметил, что я сбрил усики?

Это непривычное уменьшительное слово странным образом испугало его самого. Жером хихикнул — таким же скрипучим смешком, как тот, во сне.

— Ни усиков, ни усов ты не сбривал, дружище! Вот, значит, в чем у вас проблема?

Он вцепился в диванный поручень. Так! Теперь карусель завертелась в обратную сторону! Нужно остановить ее, во что бы то ни стало соскочить на твердую землю. Спокойно, только спокойно!

— Именно в этом, — с трудом выговорил он. — Ты звонишь из агентства?

— Представь себе, да!

— Ну так спроси у Замиры.

— Замира в кафе, но, уверяю тебя, я могу ответить и за себя и за нее, только объясни, Христа ради, в чем дело?

— Ты можешь поклясться, что ни Аньес, ни кто-либо другой не просили тебя говорить мне это?

— Говорить, что ты носишь усы?

— Нет, наоборот, что я никогда не носил их. Послушай, Жером, что бы она тебе ни наболтала, ты должен мне все рассказать. Это крайне важно. Я знаю, на первый взгляд это кажется дурацкой шуткой, но тут не до шуток.

— Знаешь, мне и правда трудно поверить, что ты не шутишь, но, если хочешь, я могу торжественно поклясться, что Аньес мне не звонила и что у тебя нет никаких усов. Только щетина — со вчерашнего дня. Кстати, я еще тогда прошелся по этому поводу.

Жером говорил уже без всякой насмешки, мягким, дружеским тоном:

— Значит, если я правильно понял, вы с Аньес убеждены, что ты носил усы, так?

— Нет, только я один, — признался он, почти счастливый от возможности говорить наконец откровенно, отвечать, как школьник учителю, который знает верный ответ и, если что, поправит.

— А Аньес?

— Аньес утверждает, что усов не было.

Он собрался было рассказать про Яву, но Жером перебил его:

— Слушай, я все-таки надеюсь, ты меня не разыгрываешь...

— Мне не до розыгрышей.

— Тогда, мне кажется, дела и впрямь неважнецкие. Но только не у Аньес. Ты слишком много работал последнее время...

— Ты тоже.

— Я тоже, но у меня пока глюков не наблюдается. Я не думаю, что у тебя депрессия,

— просто какое-то легкое завихрение, но к психиатру сходить все же невредно. Я тебя сведу со знающим специалистом. Как на все это смотрит Аньес?

— Аньес...

Он услышал царапанье ключа во входной двери и торопливо сказал:

— Она как раз пришла. Я перезвоню.

— Нет, дай ей трубку! — приказал Жером.

Однако он прервал разговор.

— Я принесла круассаны, — объявила Аньес, входя в комнату. — Погода прекрасная. Кто звонил?

Она, видимо, услышала щелчок.

— Никто, — пробормотал он, не глядя на нее. Телефон затрезвонил вновь. Он рванулся было, чтобы дать отбой, но Аньес опередила его. Он знал: это звонит Жером.

— Да, — сказала Аньес, — да-да, очень кстати... Нет... Я знаю... Ну конечно, знаю...

Разговаривая, она улыбалась ему так, словно все пришло в норму. Однако едва он попытался завладеть отводной трубкой, как она мягко, но решительно прикрыла ее рукой и попросила:

— Принеси, пожалуйста, чем записать.

Он послушно принес ей фломастер и блокнот, которые она выхватила, успев заодно погладить его руку.

— Да, так как ты сказал? — продолжала она. — Сильвен... а фамилия?.. Ага, записываю.

Прижав трубку щекой к плечу, она нацарапала на листке: «Сильвен Каленка́». «С двумя «к»?» И номер телефона.

— Прямо сегодня? Даже по воскресеньям?.. Хорошо... Жером, ты просто молодчина, спасибо тебе! Я перезвоню.

Аньес повесила трубку. «Ну, что теперь?» — подумал он.

— Сейчас сварю кофе! — сказала она.

Он поплелся за ней в кухню и, опершись о дверной косяк, стал глядеть, как она хлопочет. Все ее движения отличались точностью, уверенностью. Солнце весело играло на кафельных плитках.

— Значит, это я болен? — спросил он наконец, опустив глаза.

— Мне кажется, да.

Аньес не пыталась скрыть удовлетворения. Как будто теперь, после разговора с Жеромом, все стало ясно и непременно должно было уладиться. Он помешался, его нужно лечить, вот и все дела. Он тоже успокоился: в каком-то смысле его даже утешила перспектива отдать себя в другие руки, довериться Аньес, Жерому, пресловутому Сильвену Каленка, которому он заранее прощал многозначительный вид, шуточки по поводу «усиков-усов» и намеки на возможность кастрации.

Кофеварка запыхтела вовсю; Аньес выбросила фильтр в опорожненный накануне мусорный бачок, расставила чашки на подносе и унесла его в гостиную. Бумажный пакет с круассанами, лежавший на низеньком столике, пошел пятнами от жирного теста.

Странно, сказал он себе, если так, почему ей столь важно мнение Жерома? За те два дня, что он бредил усами, она могла бы сориентироваться и сама. Откуда ей было знать о сомнениях, замешательстве или страхе тех, кто столкнулся с ним в последнее время, — Жерома и Замиры, женщины с коляской; Аньес должна была бы первой угадать несчастье и, опираясь на эту догадку, выработать уверенную линию поведения. Она же, напротив, то и дело меняла курс. Он, правда, тоже, но ведь он-то сумасшедший, что с него взять! Когда сумасшедший начинает отрицать очевидное, он лихорадочно ищет доказательства своего бреда, а не найдя таковых, пытается сокрушить разумные доводы окружающих и бесится при неудаче. И наоборот, естественная реакция людей со здравым рассудком выражается в том, чтобы спокойно, убедительно, последовательно опровергать этот бред с помощью свидетельств, подобрать которые совсем нетрудно. Например, опросить незаинтересованных лиц, продемонстрировать фотографии. Аньес же, между ночным звонком Веронике и сегодняшним разговором с Жеромом (кстати, не по ее, а

по его инициативе!), явно ни с кем не советовалась. Вместо того чтобы воспользоваться снимками, она их куда-то запрятала. Нет, поистине, его собственное поведение, свихнулся он или нет, выглядело куда логичнее, чем противоречивые действия Аньес. Хотя, может быть, эта мысль — тоже порождение его безумия?

Аньес протянула ему чашку кофе, но он вернул ее обратно на поднос, даже не положив сахару.

— Фотографии! — сказал он.

— Какие фотографии?

Аньес медленно поднесла чашку ко рту, пристально глядя на него поверх края.

— Сделанные на Яве.

— Мы не ездили на Яву.

— А это откуда взялось?

И он ткнул пальцем в яркую драпировку на стене. Он прекрасно помнил ту деревушку, где они ее покупали, радость Аньес, когда после оживленного торга покрывало перешло к ним, и даже несколько индонезийских слов, выученных за время поездки: «Selamat siang, selamat sore, terimah kasih...» Хотя, конечно, бывают психи, способные изъясняться на таких языках, о которых раньше слыхом не слыхали.

Аньес ответила — монотонно, будто повторяла выученный урок или уже отвечала на тот же вопрос пять минут назад:

— Нам привез его Мишель.

— Ладно, тогда другие снимки!

— Ты действительно хочешь?..

Она тряхнула головой с таким видом, точно упрекала себя в снисходительности к его детскому упрямству, но все же встала, пошла в спальню и вынесла оттуда целую кучу цветных фотографий, которые положила на ковер рядом с подносом. Слава богу; значит, она их не уничтожила. Он начал перебирать снимки, без всякого усилия, с первого же взгляда вспоминая, где они были сделаны: за городом, у родителей Аньес, на Гваделупе... Фотографии с Явы, разумеется, отсутствовали, но и на всех остальных, что он держал в руках, у него были усы. Он протянул ей одну из них.

— Я хочу только одного: услышать, как ты скажешь, что здесь у меня нет усов. И на этом покончим.

Аньес вздохнула.

— Ну, скажи, не бойся! — настаивал он. — По крайней мере, все станет ясно.

— Нет, у тебя нет усов на этом фото.

— И на других тоже?

— И на других тоже.

— Прекрасно!

Откинув голову на спинку дивана, он зажмурил глаза. Вот все и выяснилось, а теперь нужно лечиться. Он понял, зачем Аньес прятала от него фотографии: она не хотела сыпать ему соль на рану. На ее месте... Но как раз вчера он и был на ее месте, абсолютно уверенный, что это не он болен, а она. И Аньес в то же самое время приводила себе точно такие же доводы: он безумен, но я его люблю и помогу ему избавиться от этой напасти. Вспоминая собственные душевные терзания, он жалел ее. И ощущал себя любимым — он тоже! — с какой-то непонятной яростью.

— Хочешь, не пойдем сегодня обедать к твоим родителям? — мягко спросила она.

— Да, ты права, лучше не надо, — сказал он, не открывая глаз.

— Сейчас я им позвоню.

Он услышал, как она набирает номер и говорит с его матерью; его восхитил ее оживленно-радостный тон — притворный, казалось ему, — хотя тот факт, что с сомнениями покончено, должен был ее утешить. Она сказала, что ему необходимо закончить к понедельнику важную работу и он проведет все воскресенье в агентстве, откуда, конечно, позвонит им. Он испугался — вдруг мать сама позвонит в агентство, просто так, чтобы услышать его голос; надо бы предупредить Жерома или поручить это Аньес. Хотя, впро-

чем, не обязательно; Жером достаточно сообразителен и не подведет его. Он спросил себя, что они все — Жером, Замира, Серж с Вероникой — думают о случившемся. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше. Нельзя разглашать это дело, нужно поставить ему эдакий санитарный кордон; он уже думал об этом.

Тут он вспомнил, что Аньес пригласила на ужин Сержа с Вероникой. Если не считать дурацкого ночного звонка, те больше ничего не знали. Перспектива провести с ними целый вечер, непрерывно следить за собой, чтобы не вызвать у них подозрений, пугала его.

— Слушай, может, заодно отменим визит Сержа и Вероники? Я предпочел бы не видеть их сегодня.

Ответа не последовало. Он еще раз высказал свою просьбу, в полной уверенности, что Аньес не откажет. В его состоянии потребность одиночества была вполне естественна. Аньес стояла у него за спиной, возле дивана; ее ненормально спокойный тон встревожил его, хотя и по затянувшейся паузе он уже заподозрил самое худшее.

— Отменить... кого?

Мир распадался, рушился. Ему пришлось сделать над собой нечеловеческое усилие, чтобы выговорить четко, по слогам:

— Сержа и Веронику Шеффер, наших друзей. Которых ты пригласила на сегодняшний вечер. У которых мы ужинали в четверг, когда все началось. Серж — чиновник по особым поручениям в Министерстве окружающей среды, Вероника учится в Школе восточных языков, у них есть дом в Бургундии, куда мы часто ездили на уик-энды, однажды ты еще вывела там из строя все радиаторы. Это наши лучшие друзья, — закончил он почти шепотом.

Присев перед ним на корточки, положив руки ему на колени, Аньес странным, каким-то механическим движением качала головой, безостановочно твердя «нет», сначала шепотом, потом все громче и громче; он испугался, что у нее начнется истерика и нужно будет хлестать ее по щекам, чтобы привести в чувство, но она овладела собой и только нещадно кусала губы, глядя в пол.

— Ты что, не знаешь Сержа и Веронику?

Аньес опять качнула головой.

— Тогда с кем же мы провели вечер в четверг?

— Ну как же... вдвоем с тобой, — пролепетала она. — Мы ходили в кино...

— И что мы смотрели?

— «*Опасность в доме*».

— Где?

— На Монпарнасе, в каком-то кинотеатре, уж и не помню...

Она машинально вертела ложечкой в пустой чашке. Увлекшись этим допросом, он чуть было не потребовал от нее предъявить входные билеты, но вовремя сообразил, что никто не хранит их у себя даже во время сеанса — ведь в зале нет контролеров. А надо бы хранить, все и всегда, ведь это может послужить доказательством. Взять хоть суеверных жителей той деревушки, где они купили покрывало: нынче, конечно, старинные традиции подзабыты, но некогда, по рассказам гида, аборигены благоговейно собирали свои остриженные ногти, волосы, экскременты — словом, все, что относилось к их телу и позволило бы им войти в рай целиком, не утеряв никакой малости...

Что же касается фильма, то этот след обрывался, едва возникнув. Он был абсолютно уверен, что не видел «Опасность в доме», а всего лишь, прочитав рецензию, выразил желание посмотреть его как-нибудь на днях. И теперь предчувствовал, что с этого момента все пойдет вразнос и любое его слово, любое замечание, относящееся к их общему прошлому, рискует спровоцировать новый обвал, вынудить расстаться с друзьями, работой, привычным образом жизни. Он испытывал мучительное колебание: продолжить расспросы, уяснить раз и навсегда масштаб постигшей его катастрофы или же, на манер страуса, упрятать голову в песок и замолчать, ибо каждый ответ грозил новой утратой. Тем не менее он рискнул спросить:

— Кем я работаю?

— Архитектором.

Ну слава богу, хоть это уцелело!

— Значит, и Жером существует? И это он недавно звонил и дал адрес психиатра?

— Конечно, — подтвердила Аньес. — Доктор Каленка.

— А ты сама? — продолжал он, ободренный своим успехом. — Верно, что ты работаешь в пресс-службе издательства «Белен»?

— Да.

— И тебя зовут Аньес?

— Да.

Она улыбнулась, отбросив заслонившую глаза челку.

— И десять минут назад ты звонила моим родителям — предупредить, что мы не придем к ним сегодня обедать?

Он почувствовал, что она колеблется.

— Да, звонила... твоей матери.

— Не матери, а родителям; ведь мы всегда обедаем у них по воскресеньям, так ведь?

— Твой отец умер, — тихо сказала Аньес. — В прошлом году.

Он остолбенел, потрясенный до глубины души, открыв рот и удивляясь тому, что у него не брызнули слезы; катастрофа внезапно приняла другой оттенок: сейчас он страдал не столько от очередного, пусть и ужасного, провала памяти, сколько от известия о смерти отца, от сознания, что никогда больше не увидит его, что в действительности он уже год как его не видел! Но ведь он явственно помнил обед у родителей в прошлое воскресенье! И еще — голос отца, вчера, на автоответчике. Голос, который он сам же и стер.

— Мне очень жаль! — прошептала Аньес, робко касаясь его плеча. — Мне тоже очень больно.

Он не знал, больно ли ей из-за смерти его отца, из-за душераздирающей печали, которую он чувствовал в это мгновение, или же из-за того, что между ними происходило. Но ее касание было неприятно, и он вздрогнул — нарочито заметно, чтобы она убрала руку. Как ему хотелось, чтобы вместе с рукой она убрала все сказанное, словно именно эти ее слова и убили отца, который еще несколько минут назад был жив!

— Однако ты только что сказала «обедать к твоим родителям», а не «к твоей матери», — пробормотал он через силу.

Аньес тихонько ответила «нет», вновь покачала головой, и ему почудилось, что весь набор ранее принятых между ними жестов и отношений сократился, точно шагреневая кожа, сведясь к двум-трем: качнуть головой, закрыть глаза, провести рукой по лицу... Это были обыкновенные жесты, но что-то слишком часто они повторялись, изничтожая все остальные — так расплющивают пленника сдвигающиеся стены темницы. А катастрофа все набирала и набирала скорость: Серж с Вероникой, отдых на Яве, о котором Аньес вспоминала еще позавчера, бесследно исчезли куда-то в течение одних суток. А теперь, не успел он опомниться, та же страшная черная дыра поглотила его отца — не за ночь, не за время долгого отсутствия, всего за несколько минут, отделивших слова Аньес о звонке «родителям» от ее же слов: «Он умер», которые навеки вычеркнули отца из жизни. Этот кошмар творился прямо у него на глазах и, без сомнения, будет твориться дальше, а он мог лишь беспомощно смотреть и со всем смиряться. Ему хотелось задать другие вопросы и даже повторить те, ответ на которые его успокоил, но он не осмеливался открыть рот, так как был уверен, что и эти жалкие козыри действительность выбьет у него из рук, если он еще раз спросит, кто он такой; вдруг окажется, что он уже и не архитектор, и Аньес уже не Аньес, а какая-нибудь Мартина или Софи, да и вообще не жена ему и понятия не имеет, что он тут делает... И хватит вопросов, нужно преодолеть искушение и отказаться от этого безумного аттракциона хотя бы до встречи с психиатром. Чтобы выжить. Не звонить матери, не добиваться правды, прервать допрос; пускай им займется доктор Каленка, это его специальность — копаться в прошлом своих пациентов и ставить им диагноз... А на него вдруг нахлынуло тупое, давящее изнеможение. Он встал, чувствуя, как подкашиваются ноги.

— Попробую вздремнуть, что ли. А ты созвонись, пожалуйста, с психиатром.

Он зашел в спальню, прикрыл за собой дверь. Его не оставляло смутное, ничем не объяснимое ощущение замедленности привычных жестов; казалось бы, он уже проделывал все эти движения, ну конечно, проделывал — сотни, тысячи раз переходя из гостиной в спальню, но сейчас все было другим; сейчас это напоминало разболтанное вращение сломанной карусели: вперед, вверх, вниз, удар о столб и обратно, — а он не в силах ни соскочить с нее, ни перевести дыхание. Уходя в спальню, он хотел таким образом предоставить Аньес свободу действий: пускай звонит Жерому или этому Сильвену Каленка, не чувствуя за собой слежки. Пускай организует дружеский заговор во имя его спасения. А он, пока суд да дело, поспит, освежится, обдумает все и с ясной головой во всеоружии встретится с врачом. Сейчас нужно забыться и хотя бы несколько часов ни о чем не думать. Спать. Аньес бережно разбудит его, когда настанет время ехать к психиатру; так в детстве его, сотрясаемого лихорадкой, в полубреду, закутывали в одеяло и везли к доктору на машине. Тот доктор, их семейный врач, имел странную специальность — операции по разделению сиамских близнецов; он проделал их множество, и это занятие внушало большое почтение отцу, который неизменно величал доктора «важной шишкой»...

Он все еще слышал голос отца, припоминал фразы, сказанные им в последнее время, и мысль о том, что эти фразы звучали только в его расстроенном воображении, заставляла его горько кривиться — плакать он не мог. Он проглотил таблетку снотворного всухую, затем, чтобы уснуть наверняка, еще полтаблетки. Сбросив одежду, он голышом улегся в постель, хранившую отпечаток тела Аньес, уткнулся в подушку, несколько раз прошептал имя жены. Солнце пробивалось сквозь опущенные жалюзи, в доме стояла тишина, и только где-то в отдалении слабо жужжала стиральная машина. Его успокаивал этот образ — медленное, вялое вращение белья, видное через круглое окошечко. Хотел бы он вот так же, долго и тщательно, прополаскивать свои больные мозги! Теперь Аньес, точно как он сам накануне, побоится оставлять его в квартире одного, станет бесшумно ходить вокруг, оберегая его сон. Хорошо бы она все-таки выдала свое присутствие каким-нибудь, самым слабым, звуком, но звуков не было, и он вдруг испугался, что она ушла или, хуже того, просто не существует больше, исчезла вслед за остальными. Тогда уж вообще ничего не останется. Тоскливый страх заставил его вскочить и приоткрыть дверь. Аньес неподвижно сидела на диване, выпрямившись и пристально глядя на телеэкран. Она обернулась на скрип двери, и он увидел текущие по ее щекам слезы.

— Не исчезай, пожалуйста! — попросил он. — Только не исчезай!

Она коротко ответила: «Нет. Спи!», не вкладывая в эти слова приказного оттенка, и это его успокоило. Он закрыл дверь и снова улегся в постель.

Теперь спать, спать и ни о чем не думать! Или если уж думать, то о приятном, чтобы поскорее уснуть, — например, что скоро, очень скоро он доверится науке. И узнает, что с ним творится. Интересно, какой он — этот доктор Каленка? В традиционном представлении о целителях душ он должен был выглядеть господином средних лет, с бородкой, проницательным взором и трескучим акцентом жителя центральной Европы, но, поскольку этот расхожий образ наверняка не соответствовал действительности или, по крайней мере, устарел, он вообразил его себе, напротив, эдаким удалым франтом с сияющей улыбкой телекомментатора; нет, скорее, кем-то вроде молодого сыщика, каких сейчас много, — расхристанный пиджак или куртка, вязаный галстук. Нужно представить себе все детали его одежды, это поможет уснуть. А что он такое на самом деле — психиатр, психоаналитик, психотерапевт? Зная, что психоаналитики не всегда имеют медицинский диплом, он от всей души надеялся, что Сильвен Каленка — настоящий психиатр; в его случае совершенно излишне лечиться у человека, который заставит его выворачивать душу наизнанку и в течение двух лет будет выслушивать воспоминания детства, важно кивая и притворяясь заинтересованным; ему нужен сторонник энергичных методов, решительный и компетентный, который через пятнадцать минут беседы уверенно скажет: все ясно, ваша болезнь называется так-то, лечится такими-то препаратами, и не волнуйтесь, я вам помогу, вы у меня не первый! Успокаивающие слова о частичной или

кратковременной амнезии, нервной депрессии, декальцинации мелькали у него в голове под аккомпанемент почтительного отцовского «важная шишка!». Жером, конечно, не стал бы рекомендовать шарлатана или ничтожество. Но, какой бы важной шишкой ни был доктор Каленка, возможно, и его обескуражит пациент, уверенный в том, что он десять лет носил усы, провел отпуск на Яве, считал живым своего отца, имел друзей по фамилии Шеффер, тогда как супруга терпеливо разъясняла ему, что все не так, что он всегда ходил бритым, что они никогда не были на Яве, а его отец умер год назад, и эта кончина сильно потрясла его. А может, как раз в данном событии и коренилась причина его болезни — эдакая бомба замедленного действия, тем более разрушительного, что она долго лежала под спудом?

Он нервно хихикнул: его пронизал классический страх больного, который готовится подробно изложить врачу все симптомы своего недуга и, очутившись в приемной, боится их растерять. А что, если в кабинете доктора Каленка все вдруг придет в норму, если он внезапно вспомнит, что никогда не носил усов и в прошлом году схоронил отца? Или наоборот: если доктор Каленка, изучив фотографии, объявит, что он абсолютно прав — усы есть, — и сочтет его ненормальным оттого, что он согласился с Аньес, с ее дикой аберрацией, которую способен опровергнуть один-единственный взгляд на снимок? И тогда отец воскреснет из мертвых, и он сможет позвонить ему и рассказать, что случилось с Аньес... Теперь он вяло барахтался между опасением, что вредно тешиться этими сладкими мечтами, и надеждой, что они все же помогут ему заснуть. А вообще откуда вдруг такая баранья покорность? Отчего он смирился с доводами Аньес и Жерома? Размышляя над этим, он чувствовал, как в нем поднимается смутное возбуждение — возбуждение сыщика, поставленного перед неразрешимой, на первый взгляд, задачей и внезапно обнаружившего, что он рассматривал ее в ложном свете, а теперь, изменив угол зрения, ясно чувствует, что решение где-то совсем близко — еще шаг, и он найдет ключ к тайне. В самом деле, какие гипотезы он обдумывал до сих пор? Первое: он сошел с ума. Но ведь он твердо знал, что это не так, даже если внешние доказательства говорили обратное. Конечно, признаки сумасшествия при желании всегда можно найти в любом человеке, но только не в нем — его воспоминания слишком точны и определенны. Значит, отец жив, друзья существуют, а усы сбриты. Если принять это за данность, отсюда следующая гипотеза: безумна Аньес. Нет, невозможно, — тогда окружающие не стали бы подыгрывать ей. Ну, может быть, в самом начале, сочтя это шуткой, но не позже и, уж конечно, не Жером, тот сразу понял бы, что дело вышло за рамки безобидного розыгрыша. Третье: Аньес все-таки организовала этот розыгрыш, но, увидев, что он принял слишком серьезный оборот, заручилась поддержкой друзей. Нет, тоже не годится: они отказались бы, понимая, что это может скверно кончиться. А главное, Жером, памятуя о Сильвии, не стал бы участвовать в подобных проделках; кроме того, сейчас, когда у них работы по горло, вряд ли он хотел, чтобы его компаньон бросил работу и засел дома, считая себя психом и терзаясь по этому поводу. Оставалась четвертая возможность, которую он пока не рассматривал: что, если это не шутка, пускай и дурацкая, а дело куда более серьезное, которое нужно проанализировать с открытыми глазами, не строя иллюзий, хотя бы в качестве гипотезы; что, если против него составлен заговор с целью ввергнуть его в сумасшествие, толкнуть на самоубийство или запереть в глухой палате для буйных.

Он рывком сел на кровати, испугавшись, что снотворное, на которое он так понадеялся, не произведет должного эффекта. Он принял лошадиную дозу лекарства, не спал или почти не спал, да и не ел как следует двое суток и теперь чувствовал себя вконец обессиленным. Ему казалось, будто он плавает в каком-то густом тумане, но, несмотря на это, мысль работала необыкновенно четко и пробивалась сквозь вязкую одурь, как моторка сквозь волны; он почти слышал усердный скрип, с которым его мозг строил систему доводов. Да, сначала это кажется абсурдным, неправдоподобным, но так же абсурдны и неправдоподобны бывают детективные фильмы, чей захватывающий сюжет скрывает логические промахи сценария; взять, например, «Дьявольские козни» или «Тише, тише, милая Шарлотта!», где злодеи-заговорщики непрерывно являются своей

злосчастной жертве под видом всякой нечисти, а потом успокаивают ее: «Ты очень утомлена, дорогая, вот отдохнешь, и все пройдет!» Точно так, как говорили ему, вернее, как сам он себе говорил. Что, если поставить на эту уверенность, на эту абсурдную, невероятную мысль, каким-то чудом пришедшую ему в голову? Насколько он помнил, сюжет «Дьявольских козней» был основан на реальных фактах... И вот доказательство, что его гипотеза не так уж и глупа: он ведь уже собирался заснуть, а она возьми да приди ему в голову в самый последний миг. Он разомкнул веки: нельзя расслабляться, нужно бодрствовать, спокойно проанализировать эту догадку, исходя из принципа, что если у нее и есть решение, то, каким бы чудовищным оно ни выглядело, это единственно верный ответ. Он снова принялся перебирать аргументы в свою защиту. Итак, он не сумасшедший — первое очко в его пользу. Дальше: кто участвовал в этом деле, если не считать Сержа с Вероникой, вовлеченных под видом розыгрыша, и Замиры, которую мог уговорить Жером? Только Аньес и Жером. Жером и Аньес. Классический треугольник — муж, жена и любовник, все ясно как божий день. Контрдовод: будь у них роман, он давно заметил бы это по многим признакам. А впрочем, не обязательно — их план как раз и строился на его слепоте. Второй контрдовод: Аньес могла просто-напросто потребовать развода. Он, конечно, страдал бы невыносимо, но она была свободна, он не мог ее удержать, и никакое наследство с его стороны ей не светило, так с чего бы ей хотеть уморить его и остаться вдовой? Конечно, в большинстве преступлений на почве страсти люди ни о каком наследстве не думают, и все же совершают их, несмотря ни на что. Мысль о том, что Аньес, его любимая жена, и Жером, его лучший друг, злоумышляют против него, могла возникнуть только в горячечном воображении, но, если отбросить его тягу к преувеличениям, эта сумасшедшая с виду гипотеза все ставила на свои места. При таком мотиве заговора все факты объяснялись легче легкого. Серж с Вероникой были сообщниками на первой стадии, сами того не зная и воображая, будто участвуют в обычном розыгрыше Аньес; затем их устраняли. О, конечно, не физически — просто выводили из игры, тем или иным способом мешая ему общаться с ними. По окончании этой умело подготовленной психологической обработки на сцене появлялся Жером — появлялся и больше не исчезал, взяв дело в свои руки, коварно изолируя его от окружающих, разыгрывая из себя преданного друга и всегда оказываясь рядом, когда ему бывало плохо. Потом, завоевав его безграничное доверие, Жером извлек из рукава пресловутого доктора Каленка. Тот, разумеется, никакой не психиатр, а скорее всего жалкий лекаришка, вовлеченный в их сговор с целью окончательно запудрить ему мозги. Или, что еще вероятнее (идеальное преступление не терпит полумер!), доктор Каленка вообще не существует в природе. Сейчас или завтра Аньес привезет его в какую-нибудь квартиру, конечно на верхнем этаже, к двери, где не будет таблички или же будет фальшивая (уж играть комедию так играть!), а за дверью пустота, провал, стройка, и Жером, притаившийся в углу, столкнет его вниз; следствие установит, что он страдал маниакально-депрессивным психозом и покончил с собой. Нет, что-то не сходится: об этой его так называемой депрессии знали слишком немногие, а Жерому и Аньес требовалось побольше свидетелей, чтобы оправдаться, если на них ляжет подозрение; однако их стратегия как раз и заключалась в том, чтобы устранять возможных свидетелей... Это противоречие рассердило его. Но он тут же сообразил, что они стремятся не столько выдать его за ненормального, сколько довести до настоящего сумасшествия, а там дождаться, когда он либо угодит в психушку, либо сведет счеты с жизнью. Да, в таком аспекте их замысел казался вполне логичным. То есть просто безупречным. Аньес достаточно было, оставшись с ним наедине, категорически отрицать его воспоминания и достоверные факты, провоцируя тем самым все новые и новые срывы сознания и разыгрывая испуг и горе, а ее пособник Жером возникал в нужный психологический момент. И никто не мешал ему обращаться к кому бы то ни было; он сам, повергнутый в панику, не осмеливался это сделать. Но даже если он и решится позвонить отцу или Сержу с Вероникой, даже если увидится с ними, Аньес вечером того же дня развеет в пух и прах его убеждение в реальности этого факта. Обнимет его и станет тихонько твердить, что отец умер, а потом изобразит истерику; Жером, как

бы случайно, позвонит именно в эту минуту, и подтвердит ее слова, и расскажет о похоронах отца, и все произойдет, как тогда, когда он подошел к женщине с коляской — тщетная попытка вырваться из плена, яростное метание рыбы, угодившей в крепкую сеть. Пускай он даже столкнет их лицом к лицу, Аньес и отца, — это ни к чему не приведет, все исчезнет, стоит ему вернуться домой и остаться с нею наедине. И он без конца будет мучиться вопросом, вправду ли теряет рассудок и общается с призраками, лгут ли ему и с какой целью; о, этот их план был куда изощреннее и одновременно проще, чем интрига «Дьявольских козней»! Еще несколько дней, и эта подрывная работа принесет свои плоды. Он и сейчас уже вконец запуган, отказывается от элементарной проверки фактов, ни к кому не может обратиться с расспросами. Еще несколько дней, и Аньес с Жеромом ловко, незаметно, даже не прибегая к насилию и сообщникам извне, окончательно внушат ему, что он спятил, и потихоньку доведут-таки до настоящего безумия. И попробуй он обвинить их, сказать, что он разгадал их планы, это станет еще одним доводом против него самого; он ясно представлял себе, как они разыграют испуг и недоверие. В общем, они устроили так, чтобы дело шло само собой, чтобы он медленно, как бы без посторонней помощи сходил с ума. Но теперь, когда он их разоблачил, инициатива у него в руках, значит, нужно переходить в контратаку, бороться с ними на их же поле, а для этого составить такой же хитроумный план, чтобы заманить злодеев в их собственную ловушку.

Зря он, однако, так быстро отбросил вариант физического устранения. Их план был настолько сложен, настолько тщательно продуман по всем статьям, что пятиминутного размышления было явно мало, от его внимания мог ускользнуть ключевой момент. Что, если роковой удар грозит ему уже сейчас, обрушится на него внезапно и он не успеет его отразить! Значит, одно из двух: либо он дождется этого удара, то есть поведет себя так, словно ничего не подозревал, и покорно отправится с Аньес к так называемому доктору Каленка; в этом случае он рискует ужасно, больше, чем можно себе представить. Либо нужно пуститься в бега, одним ударом разрушив их хрупкий карточный домик и обеспечив себе надежное укрытие. У него еще хватало соображения понять, что недосып, снотворное, а может, и наркотики, тайком подмешанные в еду, грозили ослабить его мыслительные способности и рефлексы; стало быть, необходимо держаться крайне осторожно, помнить о бдительности, пока он не восстановит силы и не разработает на свежую голову план обороны. Между прочим, напрасно он самообольщается, думая застать их врасплох: они, конечно, рассмотрели все варианты, в том числе и возможность его бегства. Вот это-то и было самое ужасное: знать, что заговор, обнаруженный им лишь сейчас — да и то в общих чертах, не в подробностях, — разрабатывался ими в течение многих дней, недель, а может, и месяцев и предусматривал любые случайности. Значит, в первую очередь нужно наверстать потерянное время, не важно, сорвет ли он весь их заговор целиком или один из вариантов. Бежать, бежать немедля! Любой ценой, любым способом. Главное пробиться к выходу, для этого нужно всего лишь пересечь гостиную. С тех пор как он укрылся в спальне, там стояла тишина; следовательно, Аньес одна, и ему предстоит борьба только с ней; тем хуже, если она поймет, что он раскусил их! Он встал, пошатываясь и мотая головой, точно сломанный паяц. Вздохнув поглубже, он принялся натягивать одежду. Трусы, носки, брюки, рубашка, пиджак, наконец туфли — какое счастье, что он разделся в спальне! Он крепко зажмурился на миг, стараясь сконцентрироваться; ему чудилось, что он, как в военном фильме, должен выскочить из окопа на простреливаемый участок. Пожалуй, не стоит принимать беспечный вид и врать, будто он идет за сигаретами, лучше сразу, напролом...

Сделав последний глубокий вдох, он рванул дверь и, не глядя по сторонам, промчался через гостиную. Аньес он мельком увидел лишь в тот миг, когда распахнул входную дверь; она сидела на диване и еще только открывала рот для крика, а он уже выскочил на площадку и кубарем скатился вниз по лестнице, чувствуя, как бешено стучит кровь в висках; он едва слышал голос Аньес, склонившейся над перилами, она кричала, она звала его, но он уже был в парадном, на улице — ах, черт, нет ключей от машины, ладно, делать нечего! — и со всех ног кинулся к перекрестку Дюрок; сердце едва не выскакива-

ло из груди, а вокруг на террасах кафе сидели люди, спокойные, беззаботные, — еще бы, весна, воскресный погожий денек! Он бросился в метро, перемахнул через турникет и успел на перрон как раз к подходившему поезду. Проехав две остановки, он сошел на «Ламот-Пике». Тут у него с некоторым опозданием заколoло в боку, да так сильно, что он еле выбрался наверх, согнувшись в три погибели, точно древний старикашка. Интересно, что сделала Аньес — побежала за ним вдогонку или бросилась звонить Жерому? Он представил себе, как она объявляет любовнику, что дело сорвалось, и хихикнул про себя. А вдруг она тоже сейчас хихикает, зная, что все происходит именно так, как у них запланировано?

Под эстакадой метро он выискал глазами телефонную будку, нашарил мелочь в кармане; колотье в боку постепенно утихало. В довершение удачи и телефон работал. Он позвонил родителям. Занято. Переждав, он снова набрал их номер, долго слушал гудки. Нет, не берут трубку. А не позвонить ли тем временем в полицию? Хотя где взять доказательства заговора — они же поднимут его на смех? И вообще главное сейчас — увидеть отца. Конечно, не для того, чтобы убедиться, что тот жив-здоров, это и так ясно; просто очень хотелось бы поговорить с ним — так, как встречаются с человеком, угодившим в авиакатастрофу: его считали погибшим, и вдруг выясняется, что он спасся. Но к телефону по-прежнему никто не подходил, и он решил ехать прямо туда, на бульвар Эмиля Ожье. Проверив, достаточно ли у него при себе денег, он подошел к стоянке такси на улице Коммерс и устало рухнул на сиденье машины. Если родителей нет дома, он дождется их на лестничной площадке. Нет, только не на площадке! Жером и Аньес наверняка догадаются, что он у родителей, и для них захватить его там — пара пустяков. Он уже мысленно видел «скорую» у подъезда, могучих санитаров, которым приказано не церемониться с ним; от страха, что добыча ускользает, они способны рискнуть по-крупному, пойти на крайности, спровоцировать такую схватку, что в результате он окажется в смирительной рубашке и действительно станет буйным. Однако вряд ли они подоспеют туда раньше его. Если родителей нет дома, лучше засесть в каком-нибудь кафе в районе метро «Мюэт» и регулярно звонить им оттуда, пока не откликнутся.

Такси проехало по мосту через Сену и, обогнув Дом радио, свернуло на улицу Буленвилье. Он взглянул на себя в зеркальце заднего вида: ну и рожа — бледная, испитая, покрытая трехдневной щетиной. Нет, двухдневной, поправил он себя. Двое суток без сна, зато с лошадиными дозами снотворного — ей-богу, он еще держится молодцом!

— Какой номер дома? — спросил шофер, подъезжая к «Мюэт».

— Я скажу, где остановиться.

«О, черт! — подумал он. — Никак я забыл номер!» Номер родного дома, где он провел все свое детство! Такое частенько случалось, когда он ездил к друзьям и прекраснейшим образом разыскивал их дома, не помня номера, но забыть этот!.. Странно! А впрочем, ничего странного: усталость, снотворные и, как следствие, частичная потеря памяти... Такси медленно ехало по широкому изогнутому бульвару; он узнавал кованые решетки вдоль рельсовой дороги, где некогда ходил паровозик с вагонами, высокие ухоженные фасады солидных буржуазных домов. Когда он был маленьким, их уродовал толстый слой копоти; он вспомнил, как отчищали эти стены, укрыв их за лесами и брезентовыми полотнищами, которые с месяц, если не дольше, застили окна, лишая здешних респектабельных жильцов дневного света.

А этаж? Он забыл и этаж!

— Стоп! — скомандовал он.

Расплатившись, он вышел из машины; у него взмокли руки. Постоял, пытаясь собраться с мыслями. Одно он знал точно: родители живут на правой стороне бульвара, если идти от «Мюэт», — левой стороны здесь просто не было, вернее, она звалась уже по-иному — бульваром Жюля Сандо. И еще он помнил код парадного. Невредно бы записать на всякий случай — вдруг вылетит из головы, — но у него не было при себе ни бумаги, ни ручки, а спрашивать у прохожих он боялся. Да и людей на улице не было. Он медленно побрел вдоль домов. Только спокойно; фасады все разные, каждый со своей

отделкой, даже если они и относятся к одной эпохе, так что он наверняка отыщет нужный, ведь он прожил здесь целых десять лет, а потом приходил регулярно, раз в неделю; кроме того, он ведь архитектор. Увидев перед собой проспект Анри Мартена, он понял, что прошел слишком далеко вперед, и повернул обратно, с удвоенным вниманием разглядывая дома. Но тщетно, вскоре он снова оказался на «Мюэт». Он вошел в телефонную кабину; какое счастье, что хоть номер не забылся! В тот миг, когда он набирал его, где-то неподалеку взвыла сирена «скорой»; он судорожно стиснул трубку, где опять раздавались долгие гудки: никто не отвечал. Он знал, что родители не указывали номер своего телефона в справочнике, чем они даже слегка гордились, ибо это стоило недешево. Уже не на шутку испугавшись, он возобновил поиски, опять прошел вдоль бульвара, останавливаясь у каждой двери. Сирена давно замолкла; дверной код, который он твердил про себя, боясь спутать его с номером телефона, оказался бесполезным. Почти на всех парадных стояли одинаковые кодовые замки с девятью цифрами и двумя-тремя буквами. Уже ни на что не надеясь, он все-таки набирал на них свой код, а один раз даже вызвал консьержку, которая послала его подальше, объявив, что в ее доме никто с такой фамилией не живет. Наконец он опять добрался до проспекта Анри Мартена и зашагал обратно по другой стороне улицы, что было совсем уж глупо, ибо она даже не называлась бульваром Эмиля Ожье. Там ему встретилась женщина, похожая на его мать, но это была не она. Конечно, за эту катастрофу ни Жером, ни Аньес отвечать не могли, но их вина была в том, что они довели его до такого изнеможения, скорее всего тайком подмешивая ему наркотики; в общем, они своего добились: он уже почти свихнулся.

Вернувшись к «Мюэт», он сел на скамью и попытался заплакать, надеясь таким образом успокоить нервы и вернуть себе ясность мысли, изменившую ему за последний час. Что же это такое: вот он сидит в городе Париже, в тихом респектабельном квартале, весенним солнечным днем, а его хотят свести с ума, убить, и ему совершенно негде искать защиты! Нужно бежать, бежать со всех ног, пока он не попался им в руки! Он знал, что его смятение послужит заговорщикам лишним козырем, коли уж они решили не цацкаться с ним и засадить в психушку. Значит, надо опередить их. Может, рассказать всю эту историю кому-нибудь в полиции или в больнице? Ничего себе перспективка: выкладывать всю подноготную незнакомым людям, рассуждать о том, что любому нормальному человеку покажется бредом сумасшедшего, смотреть, как полицейский, прямо у него на глазах, звонит Аньес и просит забрать его... Нет, это невозможно. И негде укрыться, и некому довериться. Вот если бы у него была любовница, двойная жизнь... но для него существовала лишь Аньес, его друзья стали ее друзьями, и она, конечно, уже обзвонила их всех; попробуй-ка теперь искать у них защиты, угодишь прямо к волку в зубы.

Нет, бежать, бежать сейчас же, оставив на произвол судьбы отца, быть может умирающего (а почему,собственно, умирающего?), и постараться обеспечить себе передышку. Может, в гостиницу? Нет, тоже опасно, они наверняка предусмотрели и этот ход; там его возьмут прямо в постели, тепленького. Бежать нужно куда-нибудь далеко, оставив между собой и этим кошмаром как можно больше времени и пространства. Покинуть город, покинуть страну — да, вот единственно верное решение!

Но как же это сделать? У него при себе всего пятьдесят франков; чековая книжка, паспорт и кредитная карточка остались дома. Придется забирать их оттуда. Он ухмыльнулся: идти в отель, при том что их в Париже пятьсот или тысяча, означало угодить в ловушку, а заявиться в собственную квартиру, значит, можно?.. Смешно, ей-богу! Хотя... они-то ведь будут ждать его где угодно, только не там, а сейчас и вовсе мечутся по городу в поисках, и ему достаточно просто позвонить домой и убедиться, что их нет. Если же они в квартире, то наверняка снимут трубку, не могут не снять, им нельзя рисковать. Он встал, решив сделать последнюю попытку отыскать родительский дом, но тут же передумал — время поджимало! — взял такси и велел ехать к метро «Дюрок». У него возник план, гениальный в своей простоте, и он мысленно поздравлял себя с ним.

На перекрестке у метро «Дюрок» он заскочил в кафе, приметив на ходу, что посети-

телей на террасе стало меньше. День клонился к вечеру, воздух похолодал. У стойки он попросил разрешения позвонить, но бармен ответил, что у них звонит лишь тот, кто заказывает.

— Тогда я заказываю вам помои, под названием «кофе», и выпейте его сами, за мое здоровье!

Тот скривился, но все же выдал ему жетон; бросив на стойку деньги, он спустился вниз, мысленно хваля себя за остроумный ответ, который, по его мнению, свидетельствовал о здоровой реакции. В кабине воняло; он отыскал в справочнике свой номер и набрал его. Аньес тотчас сняла трубку, но он предусмотрел такой вариант и подготовился заранее: им не сбить его с толку, пускай и не пробуют!

— Это я, — сказал он.

— Где ты?

— На «Мюэт». У... у матери.

Он беззвучно хихикнул: удачная реплика! — и продолжал:

— Приезжай скорее.

— Да ты с ума сошел! Через час нам нужно быть на проспекте Мэн, у доктора Каленка.

— Вот именно. Возьми машину и приезжай за мной. Я буду ждать на углу площади Мюэт, в кафе.

— Но...

Аньес смолкла. Он прямо-таки слышал, как она лихорадочно размышляет на другом конце провода. Ну или по крайней мере дышит.

— Хорошо, — наконец сказала она. — Только прошу тебя, никуда не уходи.

— Нет-нет, я буду ждать.

— Я тебя люблю! — выкрикнула она, пока он вешал трубку.

Прошептав: «Шлюха!», он яростно стукнул кулаком в стенку кабины, вышел и торопливо поднялся наверх; там из-за колонны он легко увидит, как проедет Аньес, без риска быть замеченным. Ей не миновать перекрестка, другого пути просто нет. В ожидании он опять подошел к стойке, ему нужен был еще один жетон. Он слегка жалел о своей стычке с барменом: если тот ему откажет, сорвется весь его план. Но бармен как будто и не признал его, и он, зажав в потной руке жетон, вернулся на свой наблюдательный пост. Действительно, через пару минут он заметил свою машину, остановившуюся на красный свет. Из окна кафе он видел профиль Аньес, хотя блики на стекле мешали ему разглядеть выражение ее лица. Когда она свернула на бульвар Инвалидов, он опять сбежал вниз, к телефону, набрал свой номер и прослушал несколько гудков — никто не отвечал. В спешке Аньес забыла включить автоответчик. И Жерома в квартире не было. В худшем случае, даже если его дружок и затаился там, у него хватит сил расквасить ему физиономию.

Выйдя из кафе, он побежал к дому — надо же, еще два часа назад он мчался как раз в противоположную сторону! — правда, тогда он был жалким беглецом, а теперь — хозяином положения, согласно блестяще разработанному плану, который позволял ему проникнуть во вражеский стан без всякого риска. В квартире никого не было. Подбежав к секретеру, он достал из ящика паспорт и все свои кредитные карточки — American Express, Visa, Diner's Club. Там же он обнаружил и наличные; Аньес не следовало упускать из виду такие мелочи, злорадно подумал он, вот так-то и рушатся самые распрекрасные планы. Ему хотелось оставить какую-нибудь ехидную записочку типа: «Ловко я вас надул?», но некогда было искать подходящую формулировку. Заметив рядом с телефоном бипер[1], он сунул его в карман и покинул квартиру.

Еще не дойдя до перекрестка, он нашел такси и велел ехать в аэропорт «Руасси». Все прошло безупречно, словно идеально организованное похищение. Теперь ему совершенно не хотелось спать.

---

[1] Портативное устройство, позволяющее на расстоянии прослушать запись с автоответчика.

Движение на шоссе было довольно вялое, и они легко добрались до окружной дороги, а там и до шоссе, ведущего в аэропорт. Все это время он с удовольствием перебирал и отклонял, руководствуясь логикой и трезвым анализом, те препятствия, что могли бы помешать его отъезду. Даже если случится, что Аньес и Жером заметят исчезновение паспорта и кредитных карточек и разгадают его намерения, они все равно не успеют снять его с самолета. И уж конечно не в их возможностях передать его приметы полиции всех аэропортов. Он почти жалел о том, что настолько опередил их и тем самым лишил себя радости увидеть их крошечные фигурки, бегущие по взлетной полосе вдогонку за самолетом, уже оторвавшимся от земли, и услышать крики яростного разочарования оттого, что они из-за каких-то нескольких секунд упустили его. Он спросил себя, сколько нужно времени, чтобы получить место на какой-нибудь рейс, куда угодно, лишь бы подальше. Сознание того, что он летит без багажа, в неизвестном направлении, опьяняло его, сообщая чувство царственной свободы — привилегии, как он думал, одних лишь киногероев; его только мучило смутное опасение, что в жизни все идет не так уж гладко. А впрочем, кто может ему воспрепятствовать?! Радость его перешла в восторг, когда шофер спросил: «Руасси»-один или два?» Он ощутил себя истинным богачом и властелином, вольным избрать любой путь в масштабах планеты, улететь куда заблагорассудится, хоть в Азию, хоть в Америку. На самом же деле он слабо представлял себе, какие регионы мира обслуживаются тем или иным аэропортом, теми или иными компаниями, но как раз это незнание было вполне нормально и не угнетало его; он ответил наугад: «Руасси»-два, пожалуйста!» — и вальяжно раскинулся на сиденье.

В аэропорту все прошло очень быстро. Он изучил расписание вылетов: в течение ближайшего часа, пока придется выправлять билет, ему предоставлялся выбор между Бразилией, Бомбеем, Сиднеем и Гонконгом; и, словно по мановению волшебной палочки, на гонконгском рейсе еще оставалось одно свободное место, визы не требовалось, девушка за стойкой сказала, что он только-только успеет зарегистрировать багаж. «Никакого багажа!» — гордо объявил он, воздев пустые руки, и слегка даже обиделся, когда она не проявила ни малейшего удивления. Паспортный контроль также прошел гладко, и бесстрастный взгляд пограничника, скользивший от его усатой фотографии к заросшему лицу, близкому к прежнему облику, развеял последние страхи: все было в порядке. Не прошло и получаса с его приезда в аэропорт, а он уже сидел и дремал в зале ожидания. Через какое-то время его тронули за плечо и сказали, что пора идти; он протянул кому-то посадочный талон, добрался до своего кресла и, едва успев защелкнуть пряжку ремня, снова провалился в сон.

Спустя некоторое время его опять тронули за плечо: промежуточная посадка в Бахрейне. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы очнуться, вспомнить, где он, куда летит и от чего спасается; затем он влился в поток заспанных пассажиров, вынужденных, в силу некоего загадочного правила, покинуть самолет, хотя они не пересаживались на другой, и ждать в транзитном зале. Зал представлял собой нескончаемо длинное помещение, по которому зигзагом шла череда сверкающих магазинчиков Duty free; он выходил передним концом на летное поле, а задним на какое-то пространство, трудно различимое взглядом, так как уже стемнело и в окнах отражались яркие потолочные светильники; впрочем, там и смотреть было не на что — до самого горизонта тянулись одинаковые низкие строения, вероятно хозблоки аэропорта. Большинство мужчин и женщин, дремавших в креслах, носили длинные арабские одеяния и, по всей видимости, ожидали другого рейса. Он сел поодаль, раздираемый двумя противоречивыми желаниями: крепко заснуть и вот так, не приходя в себя, как зомби, сесть в самолет и спать до самого Гонконга, а все вопросы разрешить на месте или сейчас же, здесь подвести промежуточные итоги, хотя что-то подсказывало ему, что теперь, когда отъездная лихорадка приутихла, это будет совсем непросто. Мысль о том, что он очутился в Бахрейне, на севере Персидского залива, спасаясь от заговора, устроенного Аньес, показалась ему вдруг настолько дикой, что он, в смятенном своем сознании, хотел сейчас не столько проанализировать ситуацию,

сколько убедиться в ее реальности. Он пошел в туалет и, ополоснув лицо холодной водой, долго вглядывался в зеркало. Дверь открылась, кто-то вошел, и он поспешно сунул в карман паспорт, который достал было, чтобы изучить его в зеркале, для сравнения. Он вернулся в зал, походил взад-вперед, чтобы окончательно прийти в себя, лавируя в проходе между двумя рядами кресел, набрел на очередной прилавок Duty free и, сделав вид, будто интересуется товарами, стал изучать этикетки галстуков и электронных игрушек, пока продавщица, подошедшая с вопросом: «May I help you, Sir?»[1], не обратила его в бегство. Садясь в кресло, он заметил в жерле одноногой пепельницы пачку «Мальборо», пустую и, главное, вконец искромсанную каким-то необычным способом, показавшимся ему знакомым, и ему пришлось сделать усилие, чтобы восстановить в памяти, с чем связано это варварство. И он вспомнил: два-три года назад в Париже — а может, и в других местах, он не знал, — ходил странный слух, из тех, что возникают, распространяются и умирают неведомо как, самым таинственным образом; слух этот утверждал, будто фирма «Мальборо» тесно связана с ку-клукс-кланом и тайно рекламирует его деятельность с помощью некоторых элементов дизайна сигаретных пачек. Это доказывалось, во-первых, следующим: линии, разделяющие красное и белое поля пачки, образовывали три «К» — одно на лицевой стороне, другое на оборотной, третье на крышке; во-вторых, внутренняя упаковка была украшена двумя точками, желтой и черной, что означало «Kill the niggers and the yellow!»[2]. Правда ли, нет ли, но эта дурацкая история какое-то время развлекала общество, и на столиках кафе часто находили изорванные пачки — знак того, что люди попадались на эту удочку. Со временем подобные находки стали встречаться все реже и реже, ибо посвященным, а их развелось великое множество, уже некого было посвящать в эту историю, она всем надоела, и почти никто в нее уже не верил. Аньес, которая еще тогда не упускала случая продемонстрировать свой мистификаторский талант, сделала из неудачных попыток найти черную и желтую точки неотразимое доказательство подлинности этой версии: послушать ее, так заправилы из «Мальборо», увидев, что тайна раскрыта, отказались от пропаганды в этой форме и изобрели нечто другое — остается угадать, что именно. От нечего делать он старательно обследовал пачку, ничего подозрительного не обнаружил, зашел в Duty free и купил блок «Мальборо», который оплатил карточкой American Express. Выкурил сигарету, потом вторую. Напротив его кресла возвышался светящийся глобус, усеянный циферблатами с указанием времени в разных точках планеты. Испания почему-то отсутствовала, на ее месте красовалось ярко-синее пятно моря — от Пиренеев до Гибралтара. В Париже было 6 ч. 14 мин.

В 6.46 по тому же парижскому времени женский голос, слегка размазанный громкоговорителями, пригласил пассажиров, следующих в Гонконг, занять места в самолете. Ярко-желтое пространство зала огласилось шарканьем ног, какой-то человек, еще не совсем очнувшись от сна, надел черные очки, чтобы отыскать под креслом упавший транзитный талон. Чуть позже в иллюминаторах блеснули и исчезли огни аэропорта, освещение в салоне померкло. Пассажиры кутались в красно-зеленые шотландские пледы, вынутые из пластиковых упаковок. Некоторые из них включали индивидуальные лампочки над креслами и читали; самолет несся в черном ночном пространстве, он бодрствовал, и все это было в высшей степени реально.

Самолет произвел посадку в Гонконге ближе к вечеру. Он смирно сидел в кресле, пока остальные пассажиры суетились, собирая ручной багаж, а стюардесса водворяла на место разбросанные наушники, и вышел из салона последним, с большой неохотой. Он уже свыкся с этой уютной, замедленной, «воздушной» жизнью; регулярное чередование еды, фильмов, информаций по громкоговорителю не то чтобы притупляло ясность мысли, но не давало повода к сопротивлению — так он чувствовал бы себя в комнате, где кто-то милосердный, зная, что он будет биться головой о стены, покрыл их резиновыми

---

[1] Могу ли я помочь вам, сэр? (*англ.*).
[2] Убивай черномазых и желтых! (*англ.*).

матами. Он улыбнулся, вникнув в этот образ, как-то очень естественно пришедший ему в голову: значит, он бессознательно жаждет оказаться в такой вот защищенной со всех сторон камере, хотя вовсе не считает себя сумасшедшим, — просто невредно иметь надежное убежище. Увы, теперь с этим покончено, он вышел на открытое пространство.

Стеклянные башни небоскребов, что высились гурьбой вдали, за аэропортом, слегка расплывались в жарком мареве. Поскольку он путешествовал без багажа, таможенные и паспортные формальности свершились почти мгновенно, и вот он уже очутился в зале прибытия, среди людей, которые бегали туда-сюда, толкали перед собой тележки с чемоданами, размахивали плакатиками с именами, бурно обнимались, громко восклицали что-то на необычном языке с чередованием гортанных и певучих слогов, который, естественно, был ему незнаком. Сняв пиджак, он забросил его на плечо. Ну, что теперь? Может, взять обратный билет? Позвонить Аньес и попросить у нее прощения? Или выйти из аэропорта и шагать, шагать куда глаза глядят, пока что-нибудь не случится? Недвижно постояв с минуту в густой толпе, он побрел через зал, вглядываясь в надписи так, словно эти его действия были обязательной частью официальных формальностей, входили в тот же размеренный, установленный ритуал и, следовательно, отдаляли момент принятия решения; наконец он отыскал нужное окно — American Express — и получил в гонконгских долларах сумму, равную пяти тысячам французских франков. Деньги он рассовал по карманам брюк, которые от жары противно липли к ногам. Затем по совету служащего, говорившего по-английски, отправился в турбюро и, проштудировав каталог, снял номер в отеле средней категории. Ему вручили бон для проезда в отель на такси, что оказалось весьма кстати — шофер не понимал по-английски. Машина нырнула в тесный лабиринт улиц, кишевших людьми, и стала петлять между небоскребами — уже старыми, обшарпанными, с торчащими во все стороны шестами для сушки белья и коробками кондиционеров, из которых капала вода, собираясь в лужицы на искореженных отбойным молотком тротуарах. Казалось, строители уже начали рушить некоторые из этих домов, забыв только эвакуировать население; рядом возводились новые, обнесенные щитовыми загородками, укрытые бамбуковыми лесами; внизу грохотали бетономешалки, среди них лавировали автомобили и пешеходы, орали радиоприемники, и вся эта бурлящая мешанина напоминала какой-то фильм абсурда, снятый безумным кинооператором. Наконец такси выбралось на более широкий проспект и высадило его у отеля «Кинг», где портье попросил его заполнить карту, прежде чем отвести в номер на восемнадцатом этаже. Холод — результат усилий кондиционера, громоздкого ящика, вделанного во влажную стену, — напомнил ему, что он весь взмок от жары. Он попытался отрегулировать аппарат, нажимая на все кнопки, от чего тот икнул, задул, как ураган, и наконец вообще вырубился, так что стал слышен уличный гомон, хотя окно за металлической шторой было закрыто наглухо. Прижавшись лбом к стеклу, он с минуту поглядел на кишевшую внизу толпу, но скоро в комнате стало неимоверно жарко; он разделся и принял душ, безуспешно отталкивая упорно липнувший к телу пластиковый занавес. Обмотавшись махровым полотенцем, он лег на кровать, подложил руки под голову и стал думать.

Так. Что дальше?

Дальше: либо он будет валяться тут до тех пор, пока все не пройдет — а он знал, что не пройдет; либо сейчас же вернется в аэропорт, сядет в кресло и будет ждать первого же самолета на Париж — но на это у него не хватит мужества; либо, решив, что коль скоро ему понадобилась крыша над головой для ночлега, то понадобится и одежда на смену, и зубная щетка, и бритва, он спустится купить все это; но через какое-то время он снова обнаруживал себя на кровати, в той же позе и с тем же вопросом: что делать?

Так он пролежал, не шевелясь, забыв о времени, до самой ночи. Наконец он все-таки решил позвонить Аньес. В комнате стоял телефон, но ему не удалось связаться ни с Францией (он не знал ее международного кода), ни с портье. Одевшись — рубашка и брюки пропахли по́том, — он спустился в вестибюль. Портье, говоривший по-английски, согласился помочь ему, но спустя долгое время вынырнул из-за стойки с сообщени-

ем, что Париж не отвечает. Он удивился: как это Аньес, уйдя из дома, не включила автоответчик; заставил портье звонить еще и еще, но, так и не добившись успеха, вышел на улицу.

Широкий и шумный проспект Nathan Road, где стояла гостиница, сверкал и переливался, как Елисейские поля на Рождество; между домами над шоссе были развешаны гирлянды красноватых фонариков в виде драконов. Он долго бесцельно брел в густой, равнодушной к нему толпе, вдыхая пресные запахи местной паровой кухни, а иногда вяленой рыбы. Чем дальше, тем роскошнее становились магазины, торгующие в основном электронной техникой — она не облагалась налогом, и туристы охотно раскупали ее. Проспект, по которому он шел, закончился площадью, выходившей к широкой бухте; посреди нее высилась гора, ее вершина тонула в ночном тумане, а у подножия и по склонам ярко светилось хаотическое нагромождение небоскребов. Вспомнив фотографии, виденные в журналах, он подумал, что этот вызывающе современный город и есть Гонконг, и спросил себя, где же, в таком случае, находится сам. Еще раз почувствовав себя вправе удовлетворить вполне естественное невежество, он задал этот вопрос какой-то даме европейской внешности и спортивного вида, в шортах, вероятно голландке или шведке, хотя ответила она по-английски: «Here, Kowloon!»[1]; это название было ему смутно знакомо, он наверняка видел его где-то в газетах. Взглянув на план, развернутый спортивной дамой, он понял, что часть города находится перед ним, на острове, а остальное на материке, примерно как Манхэттен и Нью-Йорк, и что он выбрал себе отель на материковой половине, иначе говоря, в Каулунге. Остров с берегом связывали катера, которыми люди пользовались так же, как в других местах ездят на метро. Замешавшись в толпу, он направился вместе с ней к причалу, купил билет, дождался прибытия очередного катера и, как только матрос выпустил пассажиров и открыл проход, первым вошел на палубу.

Коротенькое морское путешествие настолько понравилось ему, что, прибыв на остров, он решил не выходить, а плыть обратно, не покидая своего места; когда же матрос знаком попросил его сойти, подчинился, но тотчас опять купил билет и вернулся на катер. Проделав этот маршрут в оба конца трижды и полностью освоившись, он наконец уразумел, что вовсе не обязательно каждый раз брать билет на причале — достаточно просто сунуть в щель турникета монетку в 50 центов, и, покупая билет последний раз, он наменял их столько, чтобы хватило до самого закрытия переправы — правда, он не узнал, когда это будет. Затем он обнаружил еще одну интересную особенность суденышка, а именно его полную обратимость: нос ничем не отличался от кормы, и на берегу невозможно было бы определить, где у него перед, где зад. Даже сиденья по желанию можно было перекидывать в любую сторону одним движением руки. Когда катер шел в Гонконг, все пассажиры, даже уткнувшиеся в газеты, садились лицом к Гонконгу; то же самое делалось в направлении Каулунга. Он заметил эту любопытную, хотя вполне естественную привычку благодаря собственному промаху: поднявшись в очередной раз на палубу, он шутки ради занял то самое место, которое оставил пару минут назад. Оглядевшись, он констатировал, что забыл перекинуть сиденье и теперь восседает спиной по ходу катера, в отличие от окружающих. Впрочем, никого это не интересовало, даже троицу девчонок-школьниц в белых носочках, которые уж точно должны были бы захихикать. На него глядели без всякой иронии или враждебности, просто как на один из элементов городского пейзажа по ту сторону бухты, куда бежал катерок. Он было смутился, но общее безразличие внушило ему умиротворяющее чувство покоя; он отдернул руку, готовую взяться за сиденье, остался на месте и даже расхохотался. Это там он был один против всех, один-единственный, твердо знавший, что у него имелись усы, и отец, и память, которых его вздумали лишить, а здесь эти частности никого не волнуют, от него только и требуется, что уплатить за проезд, а дальше — катайся сколько влезет! Ему пришла в голову безумная, но крайне соблазнительная идея — остаться в Гонконге навсегда, не сообщать о себе, не ждать вестей от Аньес, от родителей, от Жерома, забыть их начисто,

[1] Здесь находится Каулунг (*англ.*).

забыть свою специальность, найти какую ни есть работенку, лишь бы прокормиться — здесь ли, в другом ли месте, но где его никто не знает, никто им не поинтересуется, где никогда не встанет вопрос о его усах — были они у него или нет. Перевернуть страницу, начать жизнь сначала — ах, эта древняя как мир, тщетная мечта, подумал он, хотя его-то случай как раз не очень типичен. Но предположим, он вернется домой и, вместо того чтобы засадить его в деревенскую халупу для полоумных, они молча простят ему все и позволят жить и работать как прежде; что ж, вероятно, жизнь и наладится, но все-таки она будет отравлена навсегда. Отравлена не столько воспоминанием об этом эпизоде, сколько вечным страхом последствий, боязнью, что в любом обыденном разговоре может вдруг опять возникнуть жуткий призрак безумия. Достаточно будет увидеть, как Аньес внезапно замолкает, бледнеет и кусает губы при самом невинном его замечании об их совместной жизни, общих знакомых или какой-нибудь вещи, чтобы понять: вот оно — вернулось, и мир снова рухнет вокруг него. Жить как на минном поле, двигаться вперед наугад, в ожидании новых срывов... да кто же способен вынести такое?! Он сознавал, что именно эта перспектива и подвигла его на бегство, оказавшись куда страшнее нелепой гипотезы заговора. В своей вчерашней лихорадке он не отдавал себе в этом отчета, но теперь все стало предельно ясно: ему необходимо было исчезнуть. Не обязательно из жизни, но, по крайней мере, из той, парижской жизни, которую он так хорошо знал, в которой знали его, ибо все устои прежнего бытия взорвал, изуродовал непонятно откуда взявшийся чудовищный кошмар, и приходилось либо отказаться от анализа случившегося, либо анализировать его в стенах сумасшедшего дома. Он же не был безумен, психиатрическая лечебница внушала ему ужас, и, значит, оставалось лишь одно — бегство. С каждым следующим рейсом катера он все больше воодушевлялся от мысли, что избрал единственно верный выход из сложившейся ситуации, и лишь неосознанный, но стойкий инстинкт самосохранения помешал ему там, в аэропорту, взять обратный билет и лететь в Париж, на свою погибель. «Мне больше нет места среди друзей и родных! — горестно думал он, одновременно упиваясь пафосом героической самоотверженности, укреплявшей его решимость. — Нечего обольщаться метафорами типа «махнуть на все рукой», когда единственное средство спасения — отрубить эту самую руку». Тем не менее он уже догадывался, что ему трудновато будет поддерживать в себе этот восторженный настрой, который сойдет на нет, едва он покинет катер. Ну и ладно, а пока мир сводился к легкому скольжению по воде среди теплой южной ночи, среди бликов на черных волнах, к поскрипыванию стальных тросов и звяканью решетчатой загородки, выпускавшей одних пассажиров, впускавшей других, ко всему этому мерному, налаженному снованию от берега к берегу, которому он отдавался с радостью, чувствуя себя в полной безопасности. Однако невозможно провести остаток жизни, плавая на катере между Гонконгом и Каулунгом; это промежуточное состояние напомнило ему знаменитый фильм Чарли Чаплина, где герой, спасаясь от жандармов двух сопредельных стран, бежит по пограничной полосе враскорячку — одна нога здесь, другая там. Потом идет затемнение, и на экране возникает слово «конец», но разве в реальной жизни можно обозначить этим словом такое межеумочное состояние? Хотя, впрочем, один-то конец всегда возможен. Стоя на временной (рейс на Гонконг) корме, облокотясь на поручень, он с самого момента отплытия неотрывно следил за пенным изогнутым шлейфом, который вырывался из-под дрожащей палубы катерка. Достаточно просто перевалиться через борт, и все дела. В какие-нибудь несколько секунд ревущие лопасти винта раскромсают его на части. И никто даже вмешаться не успеет; пассажиры — а их теперь раз-два и обчелся, — конечно, закричат, забегают, остановят катер, но что они найдут? Ошметки мяса и лоскутья одежды вперемешку с отбросами порта, дохлой рыбой и дырявыми садками. Ну еще разве что бипер да паспорт, и то если хорошенько поищут. А впрочем, вряд ли — кто это захочет обшаривать всю гонконгскую бухту ради установления личности безвестного иностранца?! Кстати, перед тем как топиться, он вполне может уничтожить паспорт и тем самым все следы своего здешнего пребывания. Нет, стоп — он же заполнил гостиничную карту! Так что при расследовании никаких проблем у властей не будет: через

пару дней французский консул в Гонконге с прискорбием сообщит его семье о несчастье. Он ясно представил себе консула у телефона — если, конечно, о таких печальных событиях извещают по телефону. И Аньес на другом конце провода — зубы стиснуты, глаза расширены от ужаса... Вообще-то для нее такой исход менее страшен, чем ожидание — без всякой информации, неделями, месяцами, годами — и постепенное, но неизбежное забвение. Она так никогда и не узнает, что случилось на самом деле, и всю свою оставшуюся жизнь будет вспоминать лишь тот трехдневный кошмар и его последние слова, сказанные по телефону якобы с площади Мюэт. Она тогда крикнула в трубку: «Я тебя люблю!», а он с ненавистью подумал то ли «Сволочь!», то ли «Шлюха!», тогда как она говорила искренне, она и впрямь любила его... Воспоминание об этом прощальном безответном призыве растрогало его до слез. Не осмеливаясь кричать во весь голос, он твердил шепотом: «Я люблю тебя, Аньес, я люблю, люблю только тебя!..», и это было правдой — правдой тем более неоспоримой, что до этого он ненавидел ее, обманул доверие, которое она неустанно выказывала ему всю жизнь. Да, уж она-то ни разу не проявила слабости, не поддалась колебаниям. И сейчас он отдал бы все на свете, чтобы сжать ее в объятиях, воскликнуть: «Это ты!», услышать то же самое из ее уст и поверить ей навсегда. Что бы ни случилось, вопреки всякой очевидности, даже если она приставит ему револьвер к виску, даже в тот миг, когда она спустит курок и его мозги разлетятся на кусочки, он будет думать: «Она меня любит, я ее люблю, и только это одно — правда!»

Три дня назад — нет, четыре, с учетом временно́й разницы! — он провел с нею ночь любви в последний раз.

Катер, проделавший, наверное, свой двадцатый рейс, причалил к набережной Каулунга, и он, вместо того чтобы сойти последним, как привык за этот вечер, рванулся к выходу, готовый схватить такси, помчаться в аэропорт и сейчас же вылететь в Париж. Но, сбегая по железным сходням, он почувствовал холодок зажатой в кулаке монеты в пятьдесят центов, предназначенной для оплаты очередного рейса, и замедлил шаг. Он повертел монету, раздумывая, не бросить ли жребий — орел или решка? — но в душе уже принял решение и, сунув пятьдесят центов в автомат, медленно спустился по другой лесенке обратно, терпеливо ожидая, когда палуба очистится от пассажиров и можно будет попасть на катер. Нет, возвращаться домой глупо, из этой новой попытки не выйдет ничего хорошего. Ну обнимет он Аньес, ну расцелует ее, а что дальше? Дальше — все то же самое, только будет еще больнее оттого, что не сбылась надежда на выздоровление. А вдруг Аньес вообще посмотрит на него да и спросит: «Кто вы?» Он возопит: «Это же я! Я! Я тебя люблю!», но его отсутствие уже сыграет свою зловещую роль, и она даже не узнает его, даже не вспомнит, что он когда-то существовал на этой земле.

В течение всего следующего рейса он не отрывал глаз от пенной струи за кормой и плакал. Оплакивал Аньес, своего отца, себя самого, продолжая плавать от берега к берегу. Иногда, где-нибудь на середине бухты, он вдруг, под влиянием минутного порыва, клялся себе остановиться, взять такси, сесть в самолет или хотя бы позвонить в Париж, но, завидев пристань, уже готовил очередную монетку. Время от времени матрос у сходней, глядевший на него с дружелюбным удивлением, махал ему рукой. Наконец запас монет истощился; он пополнил его, купив бутылочку «спрайта», которую осушил в несколько глотков и оставил кататься под ногами.

Но вот произошло то, чего он так боялся. Когда они пристали к набережной Гонконга, на решетчатой калиточке, открывавшей доступ к катеру, висел замок. С беспомощным отчаянием он указал на замок матросу; тот с улыбкой сказал: «To-morrow! To-morrow!»[1] и выставил семь пальцев, указывая, вероятно, начало работы катера.

«Что ж теперь делать?» — подумал он, сев на влажные ступени дебаркадера.

Он, конечно, мог добраться до своего отеля, оставшегося на другом берегу. Ему не составило бы никакого труда нанять лодку в качестве морского такси, но не было желания. Как не было желания и разведать город, что высился у него за спиной, отражаясь

---

[1] Завтра! Завтра! (*англ.*)

всеми своими огнями в жирной стоячей воде бухты. Тогда что же — сидеть на причале в ожидании рассвета и первого катера? Возобновить завтра, с утра пораньше, свои рейсы, да так и мотаться туда-сюда, день за днем? Несмотря на всю нелепость этого проекта, больше ничего в голову не приходило, и он, сам себе удивляясь, уже начал прикидывать, рассчитывать, во что ему обойдется эта затея. На сколько времени хватит денег, если плавать с семи утра до полуночи, а спать на причале? Один рейс стоит 50 центов, за час их проходило четыре, значит, два доллара в час, да помножить на 17 часов, итого 34 доллара ежедневно; кстати, может, у них существуют скидки для постоянных пассажиров? Долларов шесть уйдет на еду: гамбургеры, супы, лапшу — в общем, что-нибудь дешевенькое; стало быть, вполне можно обойтись 40 гонконгскими долларами в день, то есть — примерно 40 франками, если он не перепутал курс обмена. Далее: эта сумма, помноженная на 365 дней, составит 14 600 франков в год — гляди-ка, даже меньше пятнадцати кусков! — такие деньги он зарабатывал в Париже за месяц, и на них можно было бы почти два года кормить психов в той деревушке на юго-западе. В общем, достаточно время от времени брать наличные в банке по одной из кредитных карточек, и при таком образе жизни он продержится сколько угодно. Правда, спустя какое-то время в банке могут насторожиться: Аньес, конечно, предупредит о его исчезновении все службы, ведающие кредитными карточками, и они мигом нападут на его след. Он вообразил себе картину: Аньес, вне себя от беспокойства, мчится в Гонконг и встречает его на катере; делать нечего, тогда он спокойно объяснит ей, что жизнь стала ему в тягость, что он может существовать только в этих условиях, весь день напролет плавая на катере и лишь такой ценой обретая душевное успокоение; что если она его любит, то должна сделать одну-единственную вещь, а именно освободить его от кредитных карточек, а взамен ежегодно выплачивать необходимую сумму, скажем 15 тысяч франков, которые он сможет получать со своего счета в местном банке. И еще: пускай оставит его здесь одного. Она, конечно, расплачется, начнет тормошить, обнимать, умолять его, но в конце концов уступит — что ей еще остается?! Время от времени, сперва чаще, потом все реже и реже, она будет приезжать в Гонконг, к нему на катер, нежно беседовать с ним, держа за руку и старательно избегая некоторых тем. Так, с течением лет, она привыкнет видеть, как он живет между Каулунгом и Гонконгом или, наоборот, между Гонконгом и Каулунгом. А может, ее одиночество продлится недолго, может, она устроит свою личную жизнь и тогда приедет сюда с мужчиной, который тактично останется на берегу, а она потом все объяснит ему и покажет опустившегося бомжа, ставшего для завсегдатаев катера чем-то вроде странного товарного знака, который скоро попадет в туристические путеводители как местная достопримечательность — «The crazy Frenchman of the Star Ferry»[1]. И Аньес скажет своему избраннику: «Это мой муж». Или, наоборот, никому не обмолвится ни словом, и друзья так никогда и не узнают о ее одиноких паломничествах в Азию. А он — муж — только снисходительно покачает головой в ответ на ее речи. Ближе к концу дня она попытается уговорить его пойти с ней в отель хотя бы на одну ночь, но он все так же кротко откажет и расстелит на берегу свою циновку; он никогда не тронется дальше причала, никогда не увидит город, за исключением короткого маршрута до банка, где будет ежемесячно пополнять запас пятидесятицентовых монеток. «Абсурд, полный абсурд!» — думал он, но на что иное может рассчитывать человек, которому выпало такое испытание! В общем-то, он предпочитал эту жизнь прозябанию в дурдоме, официальному статусу безумца и лечению у какого-нибудь шарлатана вроде Каленка, с его бандой дюжих санитаров. Лучше уж поселиться здесь, на катере, чем во французской юго-западной глухомани, куда он непременно угодит после всяких новомодных хитроумных методов исцеления и шикарных санаториев. Да, именно такой конец и уготован ему, если он вернется во Францию. Он считал себя вполне нормальным, хотя большинство чокнутых утверждает то же самое, и ничем их не разубедить; ему известно, что в глазах общества постигшее его злоключение квалифицируется не иначе как душевная болезнь — демен-

[1] «Полоумный француз с катера «Star Ferry» (*англ.*).

ция. Тогда как на самом деле — и теперь-то он прекрасно понимал это — все обстояло гораздо сложнее. Он не был сумасшедшим. Аньес, Жером и все другие — тоже. Просто порядок вещей пошатнулся и пришел в некое расстройство — кардинальное, но в то же время скрытое, не замечаемое никем, кроме него одного, — и это поставило его в положение очевидца преступления, которого непременно следует убрать. Больше ничего особенного не случилось, а значит, и исправить уже ничего нельзя, и глупо было бы предпочесть растительное существование в деревенской хибаре жизни на катере, пускай даже монотонной и убогой, но зато свободно им выбранной. Нет, он не поддастся искушению, он никогда не вернется, он спрячется ото всех, точно свидетель, за которым охотится мафия. Нужно только непременно объяснить этот свой поступок Аньес: его исчезновение — не каприз, а жизненная необходимость, и она должна издалека, не пытаясь с ним увидеться, помочь ему выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Пусть заберет назад свое заявление об официальном розыске, пусть разрешит использовать кредитные карточки, а впоследствии сама высылает деньги на жизнь. Интересно, как она воспримет такую просьбу? А как он сам отреагировал бы на ее месте? И он с горечью признал, что, конечно, сделал бы все возможное и невозможное, чтобы вернуть ее на родину, даже против воли, а там обратился бы к лучшим психиатрам, хотя именно этого делать и не следовало. Но он должен убедить ее, заставить согласиться с ним. Сидя на причале лицом к Каулунгу с его гигантскими рекламами компаний «Тошиба», «Сименс», «ТДК», «Пепси», «Рико», «Ситизен», «Санио», то и дело менявшими цвета (он уже наизусть выучил их очередность), он старательно подыскивал нужные слова, нужный тон, которые убедили бы Аньес — а это будет нечеловечески трудно! — что его действия говорят не о сумасшествии, а, напротив, о разумной, взвешенной позиции. Усы, его отец, Серж с Вероникой — все это больше не имело никакого значения, и бесполезно было копаться в прошлом; сейчас главное — выработать реальный подход к свалившейся на него непоправимой беде. Аньес придется понять его, как это ни сложно, понять и помочь, но и ему нужно твердо придерживаться своего решения. Он не мог не видеть, насколько расстроен духом; он знал, что пройдет два дня, а то и два часа, и он будет думать совсем иначе. Когда он считал Жерома и Аньес виновными, ничто не могло разубедить его в этом, он слепо и яростно верил в их заговор. Теперь он понял, что заблуждался, теперь ему все стало ясно, но что толку — через минуту маятник его разума качнется в другую сторону, и все опять изменится с точностью до наоборот. Уже сейчас при одной только мысли, что он никогда больше не будет заниматься любовью с Аньес, какая-то адская сила толкала его забыть все благие намерения, вернуться в Париж, схватить ее в объятия и сказать себе, что он возродился к новой жизни. Катер сразу понравился ему, и понравился именно этим снованием между двумя берегами, так похожим на его собственные душевные метания, — достаточно иметь побольше монеток, и можно плавать взад-вперед, колеблясь, возмущаясь, но ничего при этом не делая. Ибо главное уже свершилось: он выбрал правильный путь, он смог убежать на край света, и теперь нужно только удержаться здесь, никуда больше не стремиться, ничего не предпринимать, а если и идти на попятную, то лишь мысленно. Он плыл на катере, и катер все решал за него, тогда как окружающий мир не оказывал должного сопротивления его изменчивым стремлениям. А ему нужно было сжечь за собою все мосты, поставить себя в такое материальное или физическое положение, чтобы возврат к прошлому сделался невозможным. Впрочем, даже если он выбросит свои кредитные карточки и паспорт, ему достаточно переступить порог французского консульства, чтобы вернуться на родину. Он не мог приковать себя к этому катеру навечно, у него не было никакой уверенности в том, что он не уступит искушению, что какой-нибудь мощный душевный порыв не поколеблет его решимость, не заставит посмеяться над тем, что он еще миг назад считал панацеей от всех бед. И никакая сила в мире не могла оградить его от этой переменчивости, даже убаюкивающий, монотонный бег катерка, который — он это предвидел — очень скоро надоест ему. Те психи, что сидели в деревне или в сумасшедших домах, могли, по крайней мере, рассчитывать на одуряющее действие медикаментов: оно подчиняло их раз-

мягченные мозги некоему мерному, неостановимому ритму, чему-то вроде внутреннего катера, тихо скользящего туда-сюда, туда-сюда. Вот уж эта машина никогда не портилась, ежедневно и регулярно питалась вместо горючего таблетками и пилюлями, что было куда надежнее монеток по пятьдесят центов, ибо лекарства выдавал кто-то другой. Ему даже вспомнились слова жительницы той деревушки; она наивно объясняла репортеру, что главное достоинство здешних больных состоит в их неизлечимости: те, кто за ними ухаживает, могут до самой кончины своих подопечных пользоваться «излишками» их скромного содержания. Он почти завидовал этим людям: еще бы, они избавлены от всякой ответственности, и уж им-то ничто не угрожает.

Шло время; небо побледнело, город начал просыпаться, и в ночной сон бухты стали вкрадываться предутренние шумы. В сумраке рядом с ним возникло какое-то светлое шевелящееся пятно. Он вгляделся: человек в майке и шортах проделывал странные движения — выбрасывал руки вперед, откидывал назад, приседал, вскакивал. Скоро появились и другие. Куда ни глянь, вдоль набережной маячили людские силуэты, с каждой минутой все более четкие; казалось, они изгибаются в каком-то спокойном, размеренном, почти беззвучном балете. До него доносилось глубокое, размеренное дыхание, иногда похрустывание суставов, иногда короткая, брошенная вполголоса фраза, на которую следовал такой же короткий и, судя по интонации, вполне бодрый ответ. Крошечный старичок, делавший зарядку в нескольких метрах от него, приветливо улыбнулся и знаком пригласил его следовать примеру остальных. Встав на ноги, он принялся неуклюже подражать старичку, под приглушенные смешки двух толстушек, которые медленно проделывали наклоны вперед, стараясь коснуться пальцами кончиков ног. Минуту спустя он тоже рассмеялся и жестами дал понять своему наставнику, что не привык к таким усилиям, что с него хватит. Старик сказал: «Good, good!», одна из толстух беззвучно похлопала ему, и он удалился под их чуточку ироничными взглядами. Взойдя на бетонную эстакаду, он вскоре оказался на широком приморском бульваре со множеством скамеек. И здесь также ревнители гимнастики всех возрастов, от мала до велика, усердно предавались любимому занятию. Он прилег на скамью, стоявшую спинкой к морю. Отсюда, из-за балюстрады, можно было разглядеть сходни, ведущие к причалу катера; на решетке все еще висел замок. Прямо перед глазами стояла невысокая светло-голубая арка; в ее проеме виднелся огромный домина с круглыми, на манер иллюминаторов, окнами, а рядом другой, еще недостроенный и лишь наполовину одетый зеркальными стеклами. Его верхние этажи скрывались за бамбуковыми лесами и зеленым брезентом. Между этими двумя мастодонтами торчали башенные краны и крыши других зданий, и все это четко вырисовывалось на фоне изумрудного покрова горы, чью верхушку, как бы высоко он ни задирал голову, невозможно было разглядеть в мерцающем тумане. Солнце уже взошло и вовсю играло на стеклах и стальной окантовке небоскребов; проснувшийся порт загомонил дневными голосами, и впервые мысль о том, что он находится в Гонконге, по-настоящему взволновала его. Он еще минут тридцать полежал на скамейке, глядя на отражение пылающего светила в стеклянных башнях города. Обернувшись к бухте, он увидел свой катерок, осторожно лавирующий между баржами и сампанами, проводил его глазами до пристани Каулунга, и, когда тот пустился в обратный рейс, ему представилось, будто он стоит там, на борту. Утреннее возвращение суденышка вселило в него такое прочное чувство безопасности, что он неожиданно для себя подумал: к чему спешить! И еще: по утрам все кажется намного проще.

Встав со скамьи, он побрел вдоль бульвара, где мирная утренняя гимнастика уступила место беспорядочной суматохе: люди спешили на работу. И однако, даже в этой толкучке некоторые тщательно одетые чиновники внезапно прерывали ходьбу, ставили наземь кейсы и в течение двадцати-тридцати секунд размахивали руками, приседали, выгибались, дыша размеренно и спокойно. Остальные пешеходы не обращали на них внимания. Пробравшись сквозь густеющую толпу, он вошел во двор, где строили дом; на нижних этажах, как он заметил, уже расположилось несколько офисов, в частности

банк, и он усмехнулся, вспомнив свой проект жизни на катере. А вот и почта, правда еще закрытая; он обещал себе вернуться сюда попозже, чтобы позвонить Аньес. Впрочем, нужно ли спешить — может быть, длинное подробное письмо лучше звонка.

Пройдя по эстакаде в обратную сторону, он вышел на широкий проспект и зашагал по тротуару, среди плотной толпы. Жара уже вовсю давала о себе знать. Но именно в тот миг, когда он ощутил это, его потная кожа вдруг оледенела и он встал как вкопанный, словно приклеившись к красному паласу, расстеленному на тротуаре перед отелем, откуда, судя по всему, кондиционеры гнали прохладу даже на улицу. Надев пиджак, он вошел в гостиницу. Там действительно было холодно и торжественно, словно он в мгновение ока перелетел в другой мир. Кожаные кресла, столики из темного дымчатого стекла, зелень в кадках, лоджия по всему периметру холла, роскошные бутики, бронзовые барельефы на стенах — смесь модерновых перекрученных фигур и кошмарных псевдоазиатских мотивов. Таблички со стрелками указывали расположение нескольких ресторанов и кафе-магазина, где он и решил позавтракать и куда направился, предварительно застегнув пиджак.

Он с аппетитом поел и попил, затем спросил писчей бумаги. Но, глядя на белый листок и составляя первую фразу письма к Аньес, он вдруг осознал, что его ночные страхи были обоснованны, тем более обоснованны, что сейчас, задним числом, его прожекты внушали недоверие. Его желание провести остаток жизни на катере, плавая между Гонконгом и Каулунгом, прикидки насчет бюджета, а главное, само отношение к этому плану как к единственной альтернативе французской глубинки для психов выглядели теперь, как он и предвидел, смехотворными, впрочем, как и страх заговора, якобы устроенного против него Аньес. Все его ночные доводы, вся твердая решимость рухнули, осталось лишь тоскливое беспокойство: во что же выльется его возвращение? Яркий дневной свет, тихое позвякивание столовых приборов в кафе ставили под сомнение реальность дела с усами и его последствия, несмотря на то что присутствие здесь, в отеле «Мандарин», успокаивая его, одновременно напоминало, что на него свалилась непоправимая беда и он зашел слишком далеко, чтобы вернуться. Терзавший его вопрос «почему?», оставаясь без ответа, мало-помалу трансформировался в другой — «как?»; правда, и это «как?» — если речь не шла о том, как передвигать ноги при ходьбе, совать монеты в щель автомата или еду в рот, — тоже начинало расплываться, утрачивать плотность слова, способного определять линию поведения, и превращалось в зыбкое «ну что?..» или «а теперь?..», и с этими парализующими волю, полувопросительными возгласами можно было разделываться только шаг за шагом, ставя себе конкретные ближайшие цели, преодолевая конкретные безобидные препятствия, и он с радостью сокрушал их, ибо они скрывали от его внимания наиглавнейшую цель — выбор между «уехать» и «не двигаться с места». В данный момент этот вопрос оставался открытым. Но если он собрался написать Аньес, нужно сперва принять какое-то решение. А может, просто утешить ее, отослав коротенькую записку: «Не волнуйся, я переживаю кризис, скоро сообщу о себе подробнее». Нет, лучше отложить это дело. Самое разумное, конечно, позвонить: пусть хотя бы знает, что он жив и что его не нужно разыскивать.

Отказавшись на время от эпистолярных сообщений, он все-таки воспользовался бланком отеля, записав на нем номера телефонов своей квартиры, родителей и агентства — на всякий случай, чтобы не забыть. Листок он сложил вчетверо, спрятал во внутренний карман пиджака и, расплатившись с официантом, направился к телефонным кабинам в нише холла, которые приметил, еще входя в отель. Служащий назвал ему код Франции, который он также записал на листке. Потом набрал все три номера, один за другим. Никто не отвечал. Согласно его подсчетам, в Париже сейчас было 11 часов утра, что объясняло молчание в агентстве, но уж никак не оправдывало Аньес, которая, видимо, забыла включить автоответчик, уходя на работу. Если бы она сделала это, он мог бы с помощью бипера прослушать последние звонки в квартиру и выяснить, какая атмосфера царит там в его отсутствие. Разумеется, при условии, что бипер сработает на таком расстоянии. Кстати, он уже думал над этим, когда они его покупали: действует ли этот

аппаратик на больших расстояниях? В принципе, должен бы. А впрочем, по этому поводу нетрудно навести справки — чего-чего, а магазинов электроники в Гонконге хватает. Правда, эта информация будет совершенно бесполезна, поскольку Аньес не включила автоответчик. Но ведь когда-нибудь она же сделает это, если только не сломала его или... Он невесело ухмыльнулся: или если Аньес не объявит, когда они встретятся — *если* встретятся! — что у них никогда не было автоответчика. Он-то прекрасно помнил форму аппарата, где и когда они его приобрели, тысячи записанных, а потом стертых звонков, среди которых звонок его отца, напоминавшего о воскресном обеде; кроме того, опустив руку в карман, он мог нащупать острые металлические края бипера, но что это доказывает?! Он опять набрал свой номер, долго ждал ответа. Не выпуская трубку, откуда по-прежнему неслись монотонные гудки, вынул из кармана аппаратик, внимательно прочел инструкцию на задней крышке: «1) Наберите номер вашего телефона. 2) Сразу же после гудка приложите бипер к микрофону трубки и в течение двух-трех секунд посылайте сигнал. 3) Записывающее устройство остановится, пленка с сообщениями перемотается к началу, и вы сможете прослушать звонки...» Он машинально тронул кнопку сбоку и жал на нее до тех пор, пока слабые, но довольно пронзительные сигналы «бип-бип-бип» не вывели из себя могучего китайца в соседней кабине, который яростно забарабанил в стекло. Опомнившись, он снял палец с кнопки, убрал бипер в карман, повесил трубку и вышел. Его угнетало не столько молчание на другом конце провода, сколько бесполезность аппарата, с помощью которого он надеялся разведать, как там, дома, среагировали на его исчезновение. Он чувствовал себя преданным, обезоруженным: если предположить, что автоответчик реально существует — в отличие от его усов, отца и друзей, — то возможно ли, чтобы Аньес сознательно выключила его, заметив отсутствие бипера? Неужели она пренебрегла возможностью узнать что-нибудь о нем, только бы лишить его удовольствия прослушивать сообщения? И вообще где она? Что делает? О чем думает? Продолжает ли разговаривать, есть, пить, спать? Вести прежнее обычное существование, несмотря на мучительную неизвестность? Да и помнит ли она еще, что он исчез? И что он когда-то существовал в ее жизни?

Прислушиваясь к безответным гудкам, он одновременно имел полную возможность созерцать себя в матовом зеркале, служившем задней стенкой кабины: не по климату плотный, мятый пиджак, серая от грязи и пота рубашка, всклокоченные волосы и трехдневная щетина. Он решил, для собственного успокоения, сменить одежду. Прошелся по холлу со сверхдорогими бутиками и не торопясь выбрал себе легкую рубашку с большими нагрудными карманами, которые избавят его от труда носить пиджак, полотняные брюки, пару трусов, кожаные сандалии и, наконец, элегантнейший несессер для бритья; вещи стоили уйму денег, но ему было наплевать, и вообще, поразмыслив, он счел необходимым «перенести ставку» сюда, в отель «Мандарин». Сам факт, что он пошел на такие безумные расходы, уже выглядел так, словно он принял важное решение. Кроме того, ему особенно нечего делать в Каулунге, и этот переезд, возможно, отвадит его от искушения кататься на катере. Правда, у него и в Гонконге никаких дел нет, но и бог с ним...

Его здешний номер представлял собой просторную, светлую, удобную комнату с двумя широкими кроватями; окно выходило не на проспект, идущий параллельно набережной, а на боковую улочку, двойные герметичные стекла не пропускали шума извне. Как только грум вышел за дверь, он разделся, принял душ и сбрил щетину, осторожно манипулируя непривычно короткой бритвой. Усы приближались к прежней длине, и это вселило нелепую надежду, что возврат к былой внешности повлечет за собой исчезновение, нет, даже полную отмену всех тайн, вызванных к жизни его дурацкой затеей. Что, если он вдруг снова обретет не только привычный физический облик, но и свое душевное здоровье, свою биографию, а от нынешнего хаоса не останется ни следа?! И он вернется из Гонконга в абсолютной уверенности, что прибыл из командировки от агентства (почему бы и нет?), а в портфеле у него — ибо он купит себе портфель — документы, отчеты о проделанной работе, о завязанных контактах. Аньес устроит ему нежную встречу

в аэропорту — ведь она будет точно знать время приземления самолета. И она ни о чем не станет вспоминать, он тоже, так все и войдет в прежнюю колею. В дальнейшем им тоже не грозят никакие осложнения: тайна просто исчезнет, канет в Лету, словно ее никогда и не было. Вот это, пожалуй, наилучший вариант, который, если вдуматься, настолько же реален, как и то, что случилось раньше. Ему почудилось, что нужно лишь слегка подтолкнуть неведомые силы, сыгравшие с ним эту мрачную шутку, и они, может быть, согласятся все поставить на свои места. Впрочем, на бога надейся, а сам не плошай... Это-то верно, однако в его конкретном случае не оплошать значило собрать нужные документы, которые подтвердили бы необходимость и полезность этого делового вояжа, связаться с Жеромом, попросить его оформить, как полагается, только задним числом, его неожиданное исчезновение, а заодно провести психологическую обработку Аньес, внушив, что все случившееся — плод ее воображения; словом, опять запустить эту сумасшедшую карусель, дав, таким образом, новое доказательство своего безумия, и в результате самому напроситься на госпитализацию — можно не сомневаться, что «психовозка» будет ждать его прямо у трапа самолета... Нет, одни только небеса, если можно считать их всемогущими, способны помочь ему; главное ни в коем случае не подделывать реальность, а просто сотворить чудо, сделать так, чтобы все происшедшее как бы не имело места. Стереть начисто этот эпизод и его последствия, а потом стереть след резинки и след этого следа. Не фальсифицировать и не забыть, а именно уничтожить то, что хочется забыть, иначе воспоминание вернется и неизбежно погубит их... Да, верно: единственное, чем он в состоянии помочь себе, если ждет божьей милости, это отращивать усы, заботиться о них и верить в это волшебное средство. Растянувшись на кровати, он ощупывал верхнюю губу и любовно поглаживал отросшие волоски — свой единственный шанс на спасение.

Позже, днем, он сделал еще одну попытку дозвониться Аньес и родителям, и снова безуспешно. Потом надел купленные вещи, подвернул неподшитые, слишком длинные штанины и рассовал по нагрудным и брючным карманам все свое имущество — паспорт, кредитные карточки, наличные деньги, листок с номерами телефонов. Поразмыслив, стоит ли брать с собой бипер, он решил, что аппарат слишком обременителен, и сунул его между помазком и чашечкой в кожаный бритвенный несессер, оставленный в ванной. Затем вышел и направился к дебаркадеру по виадукам, проложенным над улицами. Небо было подернуто серой дымкой, стояла тяжелая влажная жара. Матрос на палубе сразу узнал его и приветливо замахал руками, но он сошел на берег в Каулунге и вновь поднялся на катер лишь через полчаса, когда расплатился в отеле «Кинг» и забрал из номера початый блок сигарет. Странно: со времени приезда в Гонконг он ни разу не закурил, ему это даже в голову не пришло.

Вернувшись на остров, он бесцельно побрел по городу, стараясь держаться набережной; это, впрочем, было невозможно: дорогу на каждом шагу преграждали подъездные пути к пирсам, стройки и щитовые барьеры, в которых он тщетно искал просветы, чтобы увидеть бухту. По расположению световых реклам на крышах небоскребов он узнал кварталы, показавшиеся ему прошлой ночью с катера сильно удаленными от центра. Увидев другой роскошный отель — «Causeway Bay Plaza», — он попытался прозвониться в Париж оттуда, но ему опять никто не ответил. С наступлением темноты он вернулся на такси в «Мандарин», выпил в баре коктейль «Сингапур», затем поднялся в номер, чтобы взглянуть на себя в зеркало и еще раз побриться — словно выздоравливающий, который упрямо проверяет, вернулись ли к нему силы. Чем более гладкими становились его щеки, тем ярче выделялась черная щетина над губами. Он уже знал, что ему предстоит тяжкая ночь, что его опять замучат противоречивые, неотвязные, диковинные мысли: то ему вздумается сесть на катер, то мчаться в аэропорт, то выброситься из окна, — и каждое решение покажется ему единственно возможным и верным в его положении; главный фокус в том, чтобы не делать ничего этого, а продержаться до утра и встретить рассвет живым, с отрастающими усами, оставив позади безумные грезы о непоправимых деяниях. Больше всего на свете он страшился того, что какая-нибудь новая прихоть вынудит

его сбрить усы; тогда все нужно будет начинать сначала. Ему на миг представилась череда дней и ночей, заполненных попеременно сбриванием усов и ожиданием их роста — нескончаемым и мучительным, ибо нетерпение, неуверенность, противоречивые желания помешают ему сделать выбор. На него опять нахлынули черные мысли — конечно, куда же им деваться, он ждал этого. Нужно держаться, держаться во что бы то ни стало!

Он подумал: а не напиться ли? — но нет, это было слишком опасно. Еще раз позвонив в Париж и слегка волнуясь при мысли о том, что он скажет, если Аньес каким-то чудом снимет трубку, он решил купить снотворное и вышел из отеля в поисках аптеки, однако, найдя ее и выразив свое намерение с помощью детски-усердной жестикуляции — зажмуренных глаз, подложенных под щеку ладоней — и мощного храпа, увидел, как продавщица неодобрительно покачала головой и знаками объяснила, что нужен рецепт. Затем он без всякого аппетита поужинал лапшой и рыбой в ресторанчике на открытом воздухе, долго шагал по улицам, стараясь нагулять усталость, и наконец сел в трамвай. Устроившись на верхней площадке и облокотясь на бортик незастекленного окна, он курил сигарету за сигаретой, невзирая на запрещение, которым пренебрегал не он один, и разглядывал фасады домов, огни рекламы, бесчисленные то пустынные, то оживленные кварталы, встречные трамваи, проносившиеся так близко, что он всякий раз пугливо убирал локоть. В окна врывались запахи горелого масла, жареной рыбы. Трамвайный маршрут пролегал вдоль острова, параллельно набережной, и на конечной остановке он прямо-таки заставил себя сойти, преодолев искушение отправиться назад. Если уж он решил изучить возможности местного городского транспорта, то на его долю оставалось еще метро — завтра, а потом фуникулер, поднимавший туристов на вершину горы. Ну а дальше придется либо начать по новой, либо ходить взад-вперед в своем номере. Спать попеременно то на одной, то на другой кровати, размышлять над альтернативой — прикрыть усы простыней или выставить их наружу; в общем, он всегда отыщет некий эрзац для физического выражения своей мучительной душевной раздвоенности, которой, однако, твердо решил придерживаться. «Твердо? Как бы не так! — усмехнулся он. — Временно, лишь временно, пока другая, даже и не новая, идея не увлечет меня к иным берегам». Но, в общем-то, если не считать этих регулярных и даже не удивлявших его импульсов, он начинал обретать нечто вроде бесстрастного спокойствия, что уже можно было рассматривать как прогресс хотя бы в сравнении со вчерашней лихорадкой. «Временный прогресс! — твердил он себе, шагая по улицам. — Только временный!»

Ближе к двум часам ночи он почти случайно наткнулся на свой отель и, войдя в номер, побрился — третий раз за день. Потом, уже в пятый раз, набрал все номера телефонов, сверяясь с листком, не получил ответа и принялся звонить наугад, рискуя разбудить какого-нибудь неизвестного парижанина, лишь бы убедиться, что хоть сам город еще существует. Некоторые из этих случайных номеров могли быть пустыми, но тогда он услышал бы: «Вы набрали неабонированный номер; сверьтесь со справочником или позвоните в центральную справочную...» Он вызвал и справочную, и 12[1], и «говорящие часы», и службу такси, и, наконец, портье своего отеля, который подтвердил ему код Франции; все это продолжалось около часа, в течение которого он курил сигарету за сигаретой. Вытащив из несессера бипер, он сжимал его в руке как талисман, пусть и бесполезный, но мало-помалу его захлестнула волна паники: теперь уже не только прошлое, не только воспоминания, но и весь целиком Париж ухнул в пропасть, разверзавшуюся за каждым его шагом. А что, если сходить завтра в консульство? Да нет, ему, конечно, объявят, что телефонная связь работает безупречно; может быть, даже, в виде исключения, позвонят в Париж, чтобы доказать это, но его-то номера все равно будут молчать. «Значит, просто никого нет дома, дозвонитесь в другой раз!» — вполне логично заметит услужливый консул — не исключено, что именно тот самый, который известит Аньес о его трагической кончине, и уж на этот-то раз она наверняка снимет трубку!

Он включил телевизор, стоявший в номере, убрал звук и задремал на постели, не

---

[1] Номер справочной службы в Париже.

раздеваясь, то и дело открывая глаза и с отвращением вдыхая висящий в воздухе табачный дым. На экране немо, по-рыбьи, шевелили губами элегантные китайцы. Позже, когда он вскинулся в очередной раз, китайцев уже сменили ковбои, скачущие по прерии, без сомнения снятой где-нибудь в Испании — конечно, если Испания не исчезла с лица земли, как о том свидетельствовал глобус с часами в Бахрейне. Наверное, телевидение Гонконга работало всю ночь, как американское, хотя не исключено, что завтра он узнает, что все местные программы заканчиваются в полночь... И снова началась мучительная пытка безвестностью, снова он метался на постели, то и дело хватаясь за телефон и судорожно стискивая ненужный бипер. В какой-то момент, желая услышать хоть чей-нибудь голос, он набрал номер без международного кода и разбудил, скорее всего, обитателя Гонконга, который сердито заверещал на непонятном языке. Повесив трубку, он встал, еще раз побрился и опять лег в постель. На рассвете, так и не заснув, он вышел, побродил по улицам среди любителей утренней гимнастики, сел на катер и, к великому удовольствию матроса, прокатался целый день. Его внимание поглощали пронзительные крики чаек, метавшихся в облачном небе, густой лес мачт в бухте, чужие лица, запах горячего асфальта, сверкающие стены небоскребов — весь этот поток уже знакомых впечатлений. И когда ему являлась мысль поехать в консульство или в аэропорт, он просто говорил себе: сейчас это пройдет, и ждал, и это действительно тут же проходило. Он много курил, не выпуская из рук блок сигарет. Его кожа бронзовела под солнечными лучами, и он подумал, что надо бы купить солнечные очки, а потом, даже не особенно удивившись, спросил себя, когда же это он успел вытащить из кармана пиджака те, которыми пользовался несколько дней назад на бульваре Вольтера, разыгрывая слепого. Ну да, конечно, он тогда носил пиджак, который теперь валялся скомканным на дне стенного шкафа в его номере. Сняв темные очки в кафе на площади Республики и сунув их в карман, он уже больше нигде не вынимал их, ни в «Саду праздности», ни у себя в квартире, ни в аэропорту «Руасси». Пытаясь восстановить в памяти этот машинальный жест, он начинал мысленно перебирать все случившееся за последние сутки перед отъездом, но тщетно — какой-то туман заволакивал его действия, и они потихоньку уплывали, соскальзывали в небытие, в неясную легенду, героем которой он уже не был. И та же апатия поглощала нынешние долгосрочные планы на будущее: постоянную жизнь на катере, беззаботные странствия по портам Китайского моря, инспекционную поездку на Яву, возвращение в супружескую обитель — все становилось безразличным; вопросы, прежде острые, как бритва, переставали беспокоить, насущная необходимость выбирать — или не выбирать — отпадала сама собой.

К середине дня подошел матрос и, тронув его за плечо, объявил на ломаном английском, что он может, если есть желание, не сходить каждый раз на берег, а просто отдавать ему, вместо кассира, плату за проезд, притом со скидкой. Неизвестно, делалось ли это по доброте душевной или в расчете на незаконный приработок, но он отклонил предложение, объяснив, что ему приятно регулярно сходить на берег и возвращаться обратно, и сказал правду: теперь его занимало только одно — пересчитывание пятидесятицентовых монеток. Он ненадолго прервал свое челночное плаванье лишь затем, чтобы наспех съесть горячий куриный шашлык, стоя прямо у прилавка, где заодно торговали дешевыми кассетами с концертами варьете, а потом забежать в «Мандарин» и взять бритвенный прибор; брился он в грязном туалете катера. Иногда, в свободные от службы минуты, матрос подходил и обращал его внимание на какие-нибудь детали пейзажа со словами «Nice, nice!»[1], и он одобрительно кивал в ответ.

К вечеру разразилась гроза, катер сильно раскачивало с боку на бок. Пассажиры сбегали по сходням на пристань, укрываясь газетами с черно-красными заголовками. Потом наступила ночь, а с ней и последний рейс, и он, как двое суток назад, снова очутился в одиночестве на приморском бульваре, подсвеченном крошечными фонариками, вделанными в бетон и слабо мигавшими под беззвездным небом. Пройдя вдоль на-

[1] Красиво, красиво! (*англ.*)

бережной, он обнаружил другой причал, еще не закрытый, и устало опустился на скамью; напротив сидел человек лет шестидесяти, краснолицый, в теннисных туфлях и в желтом чесучовом костюме, тут же заговоривший с ним.

— О, Париж!.. — воскликнул он, выслушав ответ на традиционное «Where are you from?»[1]. Сам он, судя по произношению, мог быть родом хоть из Австралии, хоть из Назарета. — Nice place![2] — мечтательно добавил он. Здесь он дожидался пароходика, уходившего в 1.30 на Макао, где он поселился не то два года, не то десять лет назад[3].

— Ну и как там, в Макао?

— Ничего, спокойно, — ответил незнакомец, — потише, чем в Гонконге.

— А трудно найти место на этом пароходе?

— Нет, нетрудно.

Они смолкли, и когда пароходик подошел к пристани, оба поднялись на палубу. Каждый пассажир должен был оплатить спальное место — в общем кубрике на пятьдесят человек, в каюте первого класса на четверых или в люкс-апартаменте на двоих; его новый знакомый советовал взять люкс, где они смогут ночевать вдвоем. Он так и сделал, но не лег, а остался на палубе, держа в руках бритвенный несессер и глядя на темное море и удалявшиеся огни города, а потом уже только на море.

Иногда ветер доносил до него — несомненно, из общего кубрика — пронзительные возгласы, хохот и, главное, щелканье костяшек домино, которые игроки шумно выкладывали на металлические столики. У него мелькнула мысль, что хорошо было бы совершить это ночное путешествие вместе с Аньес, стоя вот так на палубе и обнимая ее за плечи; сквозь новую перестрелку костяшек ему вдруг почудились скорбные, безнадежные звонки телефона в пустой квартире. Он вынул из несессера бипер, прижал его к уху, надавил на кнопку и, вдоволь наслушавшись писка аппаратика, занес руку над бортом; не снимая палец с кнопки, он медленно ослаблял хватку. Тарахтение мотора и шум волн, ударявших в борт, заглушали сигналы бипера, и уж конечно он не услыхал плеска воды, когда совсем разжал пальцы и выпустил аппарат в море. Он знал одно: больше он никуда звонить не будет — и разорвал листок с номерами. Поэтому, когда ему через несколько минут опять вспомнилась Аньес, она уже стала совсем недосягаемой, и от ее прильнувшего к нему тела, от смешливого голоска, возбужденного началом любовной игры, остался лишь зыбкий мираж, унесенный и бесследно развеянный вдали теплым ночным ветерком, а еще — бесконечная, неодолимая усталость, которой уже не на что было опереться.

На рассвете пароходик пристал к чему-то вроде промышленного предместья, густо заставленного многоэтажками в бамбуковых лесах. У выхода с причала теснились шоферы такси, в основном китайцы, оспаривая друг у друга пассажиров; он уже хотел было взять машину, как его окликнул вчерашний знакомец, сошедший на берег следом за ним и предложивший подвезти его в город. Пройдя над многополосной, разделенной барьерами автострадой по виадуку — из тех, что пересекали дороги, как и в Гонконге, каждые десять километров,— они добрались до стоянки, где их ждал пыльный джип «тойота». Сев за руль, австралиец — если он действительно был таковым — извинился, что не может пригласить его к себе, туманно намекнув на визиты женщин, нарушающие покой в доме, и посоветовал не останавливаться в отеле «Лисабон», куда его доставило бы, в расчете на комиссионные, любое такси, а снять номер в гостинице «Bela vista», с ярко выраженным местным колоритом и более спокойным укладом; особенно он хвалил ее открытую террасу. Они могли бы встречаться там по вечерам за стаканчиком.

Полчаса спустя «австралиец» уже высадил его у гостиницы, и теперь он сидел на пресловутой террасе колониального стиля, положив ноги на беленные известью перильца; над головой у него мерно, убаюкивающе гудели потолочные вентиляторы, их лопас-

---

[1] Откуда вы приехали? (*англ.*).

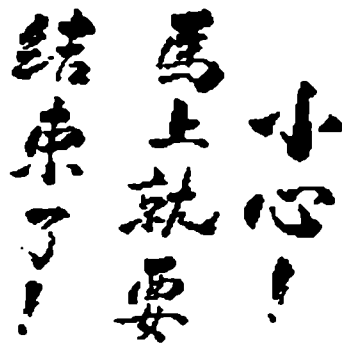
[2] Красивое место! (*англ.*).

[3] При невнятном произношении французские «два» и «десять» звучат почти одинаково.

ти были украшены лампочками-миньонами, зачем-то включенными среди бела дня. Перед ним расстилалось Китайское море, оно ярко рдело между бело-зелеными колоннами, подпиравшими разделенный на черные квадраты потолок. Администратор выдал ему ключ от номера — без особых удобств, но большого и прохладного — и многоязыкий рекламный буклет, посвященный Макао, где он вычитал, что «постояльцам обычно ставят в номера кипяченую воду не столько по гигиеническим соображениям, сколько с целью отбить запах хлора. Тем не менее все, и туристы и коренные обитатели Макао, предпочитают следовать местным обычаям, а именно заменяют воду вином». Проникшись этим намеком, он заказал на завтрак бутылку «vinho verde», которую принесли в огромном ведре со льдом. Он осушил ее, ни о чем не думая, с одним только смутным, но приятным ощущением прохлады, затем, пошатываясь, добрался до своей комнаты; одно ее окно выходило на террасу, другое, над дверью, — в широкий коридор, где пахло, как в прачечной, влажным бельем.

Он выключил кондиционер — один из тех громоздких, похожих на телевизор ящиков, что уродовали своими ржавыми задниками обшарпанный фасад гостиницы. Подумал: не побриться ли? — но отказался от этой мысли, чувствуя, как разбирает его хмель; растворил окно, улегся на кровать и заснул. Он то и дело полупросыпался с намерением встать, взяться за бритье, выйти на террасу или наведаться в те казино, о которых «австралиец» рассказал ему в машине как о главной местной достопримечательности, если не считать «Crazy Horse», импортированного из Парижа; однако все его проекты тонули в вязкой дреме и еще в странной уверенности, что скоро налетит тайфун. Ветер уже трепал листву дерева, глядевшего в открытое окно, а в комнате слышалось завывание урагана и шум дождя — на самом же деле это пыхтел, истекая влагой, кондиционер, который он включил на полную катушку, вместо того чтобы остановить.

Проснувшись окончательно, он побрился перед зеркальцем, стоявшим прямо на раковине; неизвестно, почему его не повесили, а прислонили к стене — в этом заведении вообще все делалось спустя рукава. Затем он вышел, еле волоча ноги, и побрел по улицам с двухэтажными домишками, то побеленными известкой, то розовыми или голубыми, как леденцы. В этих кварталах жили китайцы; все улицы носили пышные названия, вроде rua del bom Jesu, estrada do Repuso[1] и тому подобное; встречались тут и церкви в барочном стиле, и монументальные каменные лестницы, и даже современные многоэтажные дома, особенно в северной части города, там, где он высадился с парохода; чем дальше, тем назойливее становились запахи восточных курений и жареной рыбы, а главное, дух наивного, покорного упадка, векового смирения перед жизнью. В какой-то миг его охватил страх заблудиться, нелепый в таком маленьком городке, и он несколько раз повторил название своей гостиницы китайцу-полицейскому, который долго вслушивался, а потом, просияв, возгласил : «Very fast!»; невозможно было понять, означало ли это, что гостиница очень близко, или что нужно очень быстро бежать, чтобы попасть в нее, или что она очень далеко — «very far». Для того чтобы ему легче было спрашивать дорогу у аборигенов, не владеющих английским, полицейский вывел название китайскими иероглифами на оборотной стороне спичечного коробка, который он только что купил заодно с пачкой местных сигарет; выглядело оно примерно так:



[1] Улица милосердного Христа, проспект Отдохновения (*порт.*).

Но ему не представилось случая воспользоваться этой шпаргалкой: бродя наугад, он вышел на берег моря и тут же углядел свою стоявшую на отшибе гостиницу, похожую издали на старый, отслуживший свое корабль в сухом доке. Конец дня и вечер он провел на террасе, под бронзовым барельефом с изображением Бонапарта на Аркольском мосту[1] и с надписью «There is nothing impossible in my dictionary!»[2]; правда, тот факт, что надпись сделали по-английски — видимо, чтобы напомнить о главном историческом враге, Англии, — слегка обескуражил его. Он поужинал легкими блюдами, напомнившими ему бразильскую кухню, выпил много вина в надежде, что это поможет уснуть, и оказался прав.

Так прошло два дня. Он спал, курил, ел, пил «vinho verde», гулял по полуострову, словом, сам того не желая, вел жизнь настоящего туриста. Посещал он и казино — либо роскошное заведение при отеле «Лисабон», либо «поплавок», где стоял оглушительный треск костяшек домино, который потом еще долго звучал у него в ушах. Кроме того, он дремал на солнышке в городских парках, проехался вдоль границы с Китайской народной республикой[3], посетил музей Камоэнса и, сидя под деревом, блаженно улыбнулся поразительно четкому воспоминанию о романе Жюля Верна, где географ Паганель хвастается тем, что освоил испанский язык, выучив наизусть «Лузиады», эпическую поэму этого португальского поэта эпохи Великих открытий. Говорил он лишь с официантами, заказывая еду; «австралиец», без сомнения с головой ушедший в домашние хлопоты, не явился на свидание, которое назначил ему на террасе. Иногда где-то на окраине его дремлющего сознания шевелились зачатки неприятных, тревожных мыслей об Аньес, отце, относительной близости Явы, о вероятных поисках с целью напасть на его след, о том, что ждет его впереди. Но ему достаточно было потрясти головой, надолго закрыть глаза или выпить несколько глотков вина, чтобы отогнать, развеять эти обескровленные, бестелесные образы, почти уже призраки, такие же безобидные, как утопленный в Китайском море бипер, как смутное впечатление «déjà vu»[4]. Он больше не пытался звонить домой и только бродил под солнцем, среди запахов сушеной рыбы и пота, пропитавшего его одежду, перемежая эти бесцельные скитания долгими сиестами. Однако он неукоснительно брился дважды в день, перекроив на свой лад известную шутку, гласившую, что безделье помогает слушать, как растет борода. Он же слушал — хотя и не очень внимательно, — как растут его усы, и временами, развалившись где-нибудь в парке на скамейке, смаковал абстрактную и отныне совсем не важную мысль о том, как ему удалось избежать... избежать чего? Мысль таяла, не успев оформиться.

На третий день он отправился на пляж. В самом Макао пляжа не было, но недавно выстроенная дамба соединяла полуостров с двумя маленькими островками, где все купались, как сообщил ему услужливый портье гостиницы «Bela vista». Трижды в день от «Лисабона» до островов ходил микроавтобус, но он предпочел пешую прогулку и пустился в дорогу около одиннадцати часов утра. Он шагал, глядя то под ноги, на бетон, то на воду по сторонам дамбы, в полном одиночестве, если не считать редких машин. Одна из них внезапно остановилась, водитель открыл дверцу, приглашая его сесть, но он вежливо отказался — спешить было некуда. Пообедал он рыбой в ресторанчике на первом острове — Таипа, — сидя лицом к морю; около двух часов дня ушел оттуда и шагал по охряной дороге до тех пор, пока не завидел внизу пляж с черным песком, куда сбегала извилистая тропинка. Несколько машин и японских мотоциклов указывали на присутствие отдыхающих, но это его не смутило. У моря и в самом деле оказались люди — главным образом

---

[1] На Аркольском мосту (Италия) Наполеон Бонапарт одержал в 1796 г. блестящую победу над австрийскими войсками.

[2] В моем словаре нет слова «невозможно» (*англ.*).

[3] Город Макао, расположенный на полуострове, неподалеку от Гонконга, был захвачен португальцами в XVI веке и является португальским анклавом в Южном Китае.

[4] Виденного прежде (*франц.*).

молодые японцы, с радостными криками игравшие в гандбол. И чайки в небе тоже кричали. Было жарко. Перед тем как искупаться, он заказал содовую воду и выкурил сигарету в пляжном буфетике с соломенной крышей, увешанной динамиками, откуда неслись американские эстрадные шлягеры; среди них он узнал «Woman in love» в исполнении Барбры Стрейзанд. Затем он разделся, скатал одежду, поставил сверху сандалии и неторопливо вошел в теплую, довольно мутную воду. Поплавал несколько минут (для чего пришлось отойти далеко от берега), вернулся назад и, не выходя на песок, улегся на мелководье, где его окатывали небольшие волны. Начался отлив, и он последовал за морем, отползая от берега на локтях, лицом к пляжу. Пляшущие на воде блики слепили глаза, и он прикрыл их, лишь время от времени поглядывая, на месте ли его одежда. Метрах в двадцати от него барахтался в воде другой приезжий с Запада, похоже его ровесник. Видимо, на какой-то миг он задремал, но тут же встрепенулся, услышав голос, громко произносивший английские слова, и, открыв глаза, стал тревожно озираться: ему почудилось, что обращаются к нему, и действительно, второй белокожий купальщик глядел в его сторону и кричал, стараясь перекрыть шум волн: «Did you see that?»[1]

Ослепленный солнцем, он плохо различал его черты, однако подумал, что тот не похож на англичанина или американца; бросив взгляд на пляж, он убедился, что ничего особенного не происходит: японцы по-прежнему гоняли мяч, какой-то парень, с виду китаец, в майке и шортах, с плейером на поясе, удалялся прочь мелкими шажками. «What?»[2] — спросил он, больше из вежливости, но человек, все еще лежа на животе в воде, отвернулся, крикнув во всю глотку: «Nothing, forget it!»[3]. Он снова закрыл глаза, радуясь, что беседа тем и ограничилась.

Позже он вышел на берег, натянул одежду прямо на мокрое тело и зашагал обратно в город. Рядом с ним остановился микроавтобус, ехавший в Макао; на сей раз, чувствуя усталость, он вошел и сел на заднее сиденье. По тому, как зудела кожа, он понял, что сильно обгорел, и с удовольствием предвкушал, как укроет обожженное тело прохладной, чуть шершавой простыней. Когда автобус проезжал по тенистым улицам, он старался уловить свое отражение в пыльном стекле с налипшей мертвой мошкарой. Волосы склеились от соленой воды, усы черной полосой пересекали лицо, но это его уже почти не трогало. Никаких планов, никаких дел впереди — только доехать до гостиницы, принять ванну, усесться на террасе и созерцать Китайское море.

Гвоздик на доске, где он обычно оставлял ключ, пустовал. Портье, старый тощий китаец в слишком широкой для него белой нейлоновой рубашке, с улыбкой сказал: «The lady is upstairs»[4], и он почувствовал, как по его обожженной спине пробежал холодок.

— The lady?

— Yes, Sir, your wife... Didn't she like the beach?[5]

Он не ответил — у него перехватило дыхание — и еще с минуту постоял перед сверкающей стойкой. Затем медленно взошел по лестнице, с которой сняли ковровую дорожку — наверное, для чистки. Медные прутья, сваленные охапкой у стены, ловили блики закатного солнца. На втором этаже из открытого окна косо падал столб света, в нем роились пылинки. Дверь его номера в конце коридора была не заперта. Он толкнул ее и вошел.

Лежа на кровати, озаренная все тем же мягким предвечерним светом, Аньес читала журнал — то ли «Тайм», то ли «Asian week», взятый, наверное, в вестибюле. На ней было легкое коротенькое платьице, напоминавшее скорее просторные шорты. Голые смуглые ноги ярко выделялись на белой простыне.

---

[1] Видали это? (*англ.*).
[2] Что? (*англ.*).
[3] Ничего, не важно! (*англ.*).
[4] Леди уже в номере (*англ.*).
[5] — Леди?
— Да, сэр, ваша жена... Надеюсь, ей нравится у нас на побережье? *(англ.)*.

— Ну как? — спросила она, услышав его шаги. — Купил наконец?

— Что... купил?

— Да эту гравюру?

— Н-нет, — ответил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал нормально.

— Значит, этот тип так и не снизил цену?

Она закурила и придвинула к себе пепельницу с рекламой «Bela vista».

— Да, именно, — сказал он, глядя на море за окном.

У самого горизонта ползло грузовое судно. Вынув из кармана рубашки пачку сигарет, он тоже закурил, но сигарета оказалась влажной — видимо, промокла, когда он одевался на пляже. Тщетно он затягивался, сжимая в зубах размякший фильтр; наконец он раздавил сигарету в пепельнице, задев попутно колено Аньес, и пробормотал:

— Пойду приму ванну.

— А я после тебя! — откликнулась Аньес, когда он уже зашел в ванную комнату, оставив дверь открытой. И добавила: — Ну и дурацкие же здесь ванны, такие маленькие!

Он пустил воду, опершись на край ванны, и в самом деле небольшой — в ней можно было только сидеть, и уж конечно не вдвоем. Подойдя к раковине, он увидел на полочке две зубные щетки, полупустой флакон жидкой пасты made in Hong-Kong, множество баночек с кремами и прочей женской косметикой. Он чуть не опрокинул одну из них, беря с полочки прямоугольное зеркало, чтобы водрузить его на край ванны, прислонив к стене. Убедившись, что оно не упадет, он разделся, достал свой бритвенный прибор, положил его рядом с зеркалом и уселся в теплую воду. Ванная освещалась только крошечным, размером с отдушину, оконцем; в ней царил уютный, какой-то подводный сумрак, в лад которому приятно звучала мерная капель из разлаженного кондиционера. Было прохладно, в такой прохладе хорошо дремлется. Сидя по пояс в воде, он развернул зеркало так, чтобы лучше видеть лицо. Усы были густые — как прежде. Он разгладил их.

— Сходим вечером в казино? — лениво спросила Аньес.

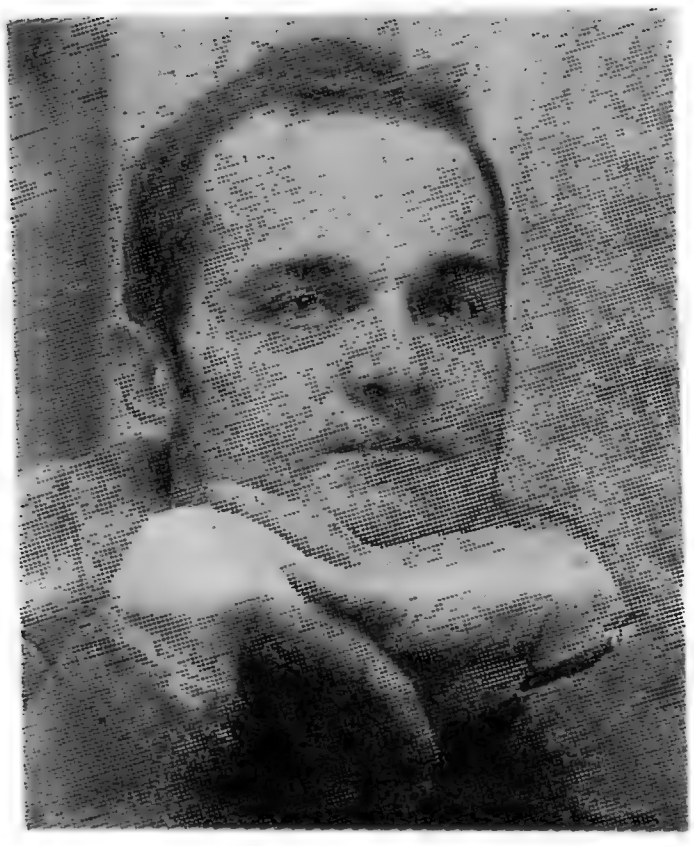
— Если хочешь.

Он тщательно взбил пену в чашке, наложил ее на щеки и подбородок и дочиста выбрил их. Потом, не колеблясь, взялся за усы. Ножниц у него не было; в результате первичная расчистка отняла довольно много времени, зато бритва быстро делала свое дело — волоски градом сыпались в воду. Чтобы лучше видеть, он переставил зеркало себе на живот, прислонив к коленям, — так было удобнее исследовать лицо вблизи. Твердая рамка резала тело, ощущение было неприятное. Он вторично наложил пену, снова выбрился — еще старательнее. Пять минут спустя на лице его не осталось ни единого волоска, но этот факт никак не отозвался в нем, он просто констатировал: я делаю то, чего нельзя не сделать. Еще немного пены; пышные белые хлопья падали то в воду, то на зеркало, которое он несколько раз вытер ребром ладони. Он опять прошелся бритвой по верхней губе, да так усердно, что ему почудилось, будто лезвие добралось до самых потайных, доселе скрытых неровностей кожи в этом узком месте лица. Странно: выбритая губа не отличалась цветом от щек, хотя они сильно загорели под жарким солнцем; впрочем, это можно было объяснить царившим в ванной полумраком. Отложив на минуту бритву, но не складывая ее, он взял в обе руки зеркало, приблизил его к лицу так, что оно даже слегка затуманилось от его дыхания, потом снова прислонил к коленям. В окошечке ванной виднелись ветви дерева и синий клочок неба. Стояла тишина, нарушаемая только капелью кондиционера да шелестом страниц, которые переворачивала Аньес. Ему нужно было бы передвинуться, вытянуть шею и заглянуть в приоткрытую дверь, но он этого не сделал. Вместо того он взял бритву и опять принялся скоблить верхнюю губу. Всего лишь раз он отвлекся и провел бритвой по щеке — вот так же он, погрузив язык в лоно Аньес, на миг высвобождал его, чтобы поцеловать ее бедра, — но тотчас вернулся обратно, на место бывших усов. Теперь он уже достаточно хорошо изучил рельеф этой полоски, чтобы все время вести бритву строго перпендикулярно, и заставил себя держать глаза открытыми, когда под нажимом лезвия, которое он ни разу не наклонил, кожа расступилась. Он нажал сильнее, увидел текущую кровь, скорее черную, чем красную, — но это тоже мог

исказить тусклый свет. И вовсе не боль (как ни странно, боль не ощущалась!), а дрожь пальцев, стиснувших роговую рукоятку бритвы, побудила его продолжить надрез в обе стороны: там лезвие, как и ожидалось, рассекало плоть гораздо легче. Он вздернул губу, стараясь остановить темную струйку, но несколько капель все-таки брызнуло на язык, а гримаса еще больше расширила рану. Вдруг стало больно; он понял, что смаковать ощущения уже не придется, и начал кромсать лицо как попало, не заботясь об аккуратности порезов, сжимая зубы, чтобы не закричать, особенно когда лезвие вонзалось в десны. Кровь хлестала в потемневшую воду, на грудь, на плечи, на белый фаянс ванны, на зеркало, которое он снова протер свободной рукой. Другая рука, вопреки его опасениям, не ослабела; она как будто срослась с бритвой, и он старался только не отрывать лезвие от своего растерзанного лица, глядя, как багровые — точь-в-точь тухлое мясо! — кусочки плоти мягко шлепаются на гладкую поверхность зеркала, а оттуда медленно сползают в воду, между сведенными болью коленями; пальцы ног судорожно впились в стенки ванны, словно пытались раздвинуть их, а он все продолжал кромсать лицо и так и эдак, сверху вниз, справа налево, ухитряясь при этом почти не задевать нос и рот. Потоки крови буквально ослепили его, но он упорно держал глаза открытыми и изо всех сил старался сосредоточиться на очередном уголке лица, который неутомимо рассекала бритва; самое трудное было не кричать, сдерживать рвущийся из горла вопль, чтобы ничем не нарушить мирную тишину ванной и комнаты, где Аньес шелестела страницами журнала. Еще он боялся, что она задаст какой-нибудь вопрос, а он не ответит, ибо не сможет разжать сведенные, как клещи, челюсти, но она хранила молчание и только переворачивала страницы — правда, чуточку быстрее, чем раньше, как будто ей это надоело; а бритва тем временем уже достигла кости. Он уже ничего не видел и мог только мысленно вообразить себе перламутровый блеск зубов на обнаженных деснах, среди багровой мешанины перерезанных сосудов; этот блеск, эти яркие блики кружились и слепили глаза, которые он считал открытыми, тогда как на самом деле крепко зажмурил их — так же крепко, как стиснул зубы, сжал колени, напряг каждый мускул до предела, лишь бы одолеть жгучую, огненную боль, не потерять сознание и завершить начатое, не уступив никаким колебаниям. Его мозг существовал как бы отдельно от тела и продолжал работать, одновременно спрашивая себя, долго ли еще продержится, сможет ли рука, до того как ослабеет и упадет, рассечь кость, просунуть бритву далеко в горло, уже захлебывающееся кровью; когда же он понял, что так своей цели не достигнет, он вырвал бритву из раны, испуганно подумал, что ему не хватит сил поднести ее к шее, однако поднес и, в последних проблесках сознания, хотя нечеловеческое напряжение всего тела уже покинуло его руку и жест вышел неверный, вялый, полоснул по горлу, от уха до уха, ничего не видя и даже не чувствуя, но до самого конца следя цепким рассудком за собственным предсмертным хрипом, за конвульсиями ног и живота, за звоном расколотого зеркала — цепким и вместе с тем наконец-то убаюканным мыслью, что теперь уж дело сделано и все снова в порядке.

Биарриц — Париж
22 апреля — 27 мая 1985

■



АЛОЙЗ ИХАН

Стихи

Перевод со словенского ЖАННЫ ГИЛЕВОЙ

Современная словенская поэзия многолика, восприимчива к новому, хорошо вписана в европейский контекст. В ней конкурируют различные стили, авторские поэтики и индивидуальности. В подобном многообразии молодому поэту легко и затеряться. Однако с Алойзом Иханом этого не случилось. Его очень «земные» стихи подкупают ощущением полноты бытия, вкусом к жизни. Поэт не стремится уйти от действительности в виртуальный мир художественной условности, а обнажает истинную суть вещей. Жизнь интересна ему в ее самых бытовых проявлениях, без патетики и иллюзий. В основе его мировидения — «овеществленная», «реанимированная» повседневность, просвечиваемая то ироническим, то саркастическим рентгеном. Ихан — певец того самого «сора», тех мелочей, маленьких радостей, неудач, разочарований, побед, из которых, по сути, и складывается жизнь.

Объяснение этому, вероятно, можно найти и в фактах его биографии. Он не только поэт, но и ученый-иммунолог. В родной Любляне, где он родился в 1961 году и закончил университет, он преподает, ставит эксперименты в лаборатории и одновременно редактирует литературно-критический журнал «Содобност».

Литературный дебют студента-медика состоялся в 1985 году, и первый сборник стихов «Сребреник» был отмечен тремя премиями — в Словении, Хорватии и Македонии — как лучшая книга молодого автора. С тех пор вышло еще четыре стихотворных сборника, книга эссе и два романа. В 1996 году Алойз Ихан был удостоен одной из самых престижных литературных наград, которую может получить поэт в Словении, — премии Симона Енко. Его стихи переведены на европейские языки.

«От Водника до Ихана» — так озаглавлено вступление к антологии словенской поэзии «Полуденные подсолнухи», вышедшей в 1993 году и представляющей всю двухвековую историю словенского стихосложения. Попасть в такое издание — честь и признание, завершать ряд его авторов — большая ответственность.

НАДЕЖДА СТАРИКОВА

Диплом

Она подошла ко мне прямо на улице
и сказала, что приглашает выпить,
потому что как раз дописала диплом по моей поэзии.

Ее пышные бедра, как у фаршированной курочки,
казались хрустящими, как запеченная корочка,
и я не смог отказать,
мысленно отменив все важные встречи
и уже предвкушая много пива и пиццу.

© Alojz Ihan, 1985, 1995
© Ж. Гилева. Перевод, 1999
© Н. Старикова. Вступление, 1999

В своей работе она отнеслась удивительно строго
к стихам моим, рифмам и языку.
Меня забавляло, как страстно она, эта женщина,
судила мои творения.
У нее от экстаза подрагивал подбородок,
что я понимал как волнующую прелюдию,
про себя задаваясь вопросом,
когда же она свернет на конкретную тему,
чего я, признаться, желал каждой клеточкой, каждою жилкой.

Съев пиццу и выхлебав пиво,
я заказал еще здоровенную кружку,
и тут меня насторожило,
что она продолжает вещать о поэзии, в то время как я
готов облизать ее всю, с головы и до пят.
Она талдычила о моем поэтическом языке,
будто я не имел настоящего языка,
исходившего сладкой слюной!
И тогда я разгневался на эту женщину,
которой поэзия представлялась важнее, чем все мои
жизненно важные органы,
тем паче что их усмирить я уже был не в силах.

«Я тебя раскусил, о садистка!» — вскричал я,
высосал пиво
и ушел, преисполнен презрения
к этой ничтожной женской душонке,
что готова лишь брать, ничего не давая взамен.
Я поклялся, что впредь ни одна из подобных особ
не введет меня в заблуждение,
терпеливо дождался ее ухода, схоронясь за углом,
затем вернулся и заказал еще одну кружку —
давно я не пил такого хорошего пива!

Присяга

Когда присягают солдаты, у всех, кто при этом присутствует,
к глазам подступают слезы. Подступают, лишь стоит подумать
обо всех этих юных жизнях, обо всех этих людях,
с каким упорством они когда-то, в околоплодной слизи,
жадно ловили воздух и наконец задышали,
как неуклюже карабкались, поднимались, держась за стул,
и вот научились ходить,
как висели на волоске между оспой и скарлатиной
и все же пошли на поправку, и стали
узнавать первые буквы, прочитали первую книжку,
за ней — другую, третью, десятую, сотую и попутно
задирали ровесницам юбки,
метко бросали мячи в корзину, собирали наклейки
с портретами лыжников и футболистов, мечтали... мечтали
о чем только можно, головы их полны были грез,
полны были планов, желаний, любви,
а теперь, не колеблясь, они готовы пожертвовать всем,

абсолютно всем, чтобы грудью встретить врага,
чтобы его застрелить, заколоть
или как-то еще уничтожить; нет, не в силах никто
удержаться от слез при виде такой решимости;
плачьте, матери, плачьте, отцы, плачьте, сестры, плачьте, девчонки, —
плачьте все, плачьте же, плачьте вовсю,
другого не остается.

Кормушки

Среди зимы повесишь в саду кормушку
для птиц и видишь: ее захватили
большие и сильные птицы, а маленьких
не подпускают. Тогда насыплешь
побольше пищи, чтобы хватило
на всех, но те, что помельче, по-прежнему
голодают, падают в снег и коченеют.
Тогда развесишь побольше кормушек,
а крупные птицы по ним рассядутся
и прогоняют меньших. Тебя это сердит,
и ты, увидев большую птицу,
пытаешься отогнать ее, только первыми в страхе
разлетаются мелкие и дольше не смеют вернуться.
Тогда, чтобы с этим покончить, берешь ружье
и стреляешь по крупным птицам. И вот уж
их нет, однако наглеют средние;
постепенно кормушки пустеют,
птицы их избегают, но ты
решаешь не отступаться.
И вдруг вспоминаешь,
что просто хотел покормить
птиц.

Мирко

Вчера ни свет ни заря приплелся ко мне мой приятель Мирко,
славный малый, известный профессор; снова ныл,
что ему тяжело в институте, что все его угнетает,
хоть плачь: полчаса просидишь в кабинете —
и хочется пить валерьянку или грушевую водку,
после которых его как магнитом тянет к кому-то из нас,
друзей и коллег, знающих, что его погубила
чрезмерная доброта: когда-то он, увлеченный преподаватель,
выбрал из множества лучших студентов длинноногую Минцу,
взял ее в штат, вырастил до магистра, а эта лахудра
вышла замуж и стала качать права — подавай ей декретный отпуск
и пособие на детей; потом — грудастая Петра:
девица казалась святошей, ни мальчиков, ни развлечений,
только наука да вечерами лабораторные опыты,
под его руководством она защитила в рекордные сроки

докторскую и, когда наконец дозрела духовно,
ясно дала понять, что она лесбиянка,
предоставив беднягу наставника его сварливой жене;
или вот секретарша Весна, которую удалось вытащить на пикник
лишь однажды, когда решался вопрос о приеме ее на работу,
а после — ни-ни,
а случится, повысишь голос — она тебе в нос долгосрочный контракт, —
я вполне соглашался с Мирко, что такие контракты изжили себя,
ибо только мешают начальству налаживать
отношения в коллективе, но тут вся беда в политике,
бюрократии и централизме, а также имеет место скрытый диктат:
политикам ненавистны творческие работники,
им что бельмо на глазу ведущие институты, рассадник
свободомыслия, —
так утешал я его, и, выпив стакан или два, он согласился,
что надо терпеть, что поделаешь, страдание возвышает,
главное — не отчаиваться, до последнего вздоха! —
с жаром откликнулся я на эту мудрую фразу,
и мы наливали еще и еще, пока не иссякли запасы живительной влаги,
так что пришлось размышлять, не пойти ли в ближайший кабак.

Гены

В лаборатории бросили жребий,
кто пожертвует порцию крови.
Выпало мне — отвертеться было нельзя.
Выделив гены из моего материала,
ввели их в мышиный зародыш.
Мышка с моими генами родилась у меня на глазах.
Я наблюдал, как она развивалась,
каждый день измерял ее рост и вес,
следил за ее самочувствием,
подвергал испытаньям,
оценивал интеллект.
Результаты были не бог весть какие:
мышь не блистала смекалкой,
грызла пшеничные зернышки,
а насытясь, сорила объедками.
Еще полгода тоскливых замеров —
и мы решили сворачивать эксперимент.
Мышь поместили в камеру,
я уже собирался пустить смертоносный газ,
но, сжалившись, передумал:
при всей ее бестолковости —
родные все-таки гены...
И я спас мою мышь. Теперь
она живет у меня —
уж не знаю, где она поселилась.
Я не стесняю ее свободы
и под столом для нее оставляю крупу и сыр.
Вечерами я слышу, как она скребется за шкафом.

Порой мне приходит на ум,
что она где-то там в темноте сочиняет стихи —
возможно, ей достался и этот ген.
Уходя, я всегда проверяю — хорошо ли закрыты окна,
а у дверей ставлю блюдечко с молоком,
не забыв размешать в нем яд,
даже в малейших дозах смертельный для кошек.

Фотография

Я не мог и мечтать, что у них это выйдет,
ведь я был без работы
и без жилья, и все было так безнадежно.
Я пришел к ним, заранее зная,
что у них ничего не выйдет.
Но когда меня усадили на стул
и сказали: «Сейчас вылетит птичка!» —
рот сам собой растянулся от уха до уха.
Вспышка — и все было кончено,
и уже ничего не поделаешь,
так и останусь навеки счастливым, и каждый
восхитится: «Вот это улыбка!» —
не допуская и мысли, что все
совершенно не так, просто у них, как всегда,
отчаянно здорово вышло!

Я стою на земле

Я стою на земле
на шаре
где все так шатко
и нелогично
ибо кто преклонит колени
достигнет высот где обитают ангелы
и укрытый навек землею
приблизится к небесам
Потому надлежит молчать
чтоб исповедать душу
и пребывать в покое
если хочешь кратчайшим путем
добраться до края света
Ведь если не двигаться с места
то через десять часов к тебе приползет Китай
а через пятнадцать прибьется Америка
как потерянная собачонка
вновь обретшая своего хозяина

■

МАРГАРЕТ ЭТВУД

Та самая Грейс

ФРАГМЕНТЫ РОМАНА

Перевод с английского И. ЯНСКОЙ

Поиски Маргарет Этвуд

Силу мастерства Маргарет Этвуд я впервые ощутил двадцать с лишним лет назад, познакомившись с ранними ее стихами — очень своеобразными и, на поверхностный взгляд, до странности «непоэтичными». Они, словно минуя естественных «посредников» — слух и зрение, — апеллировали прямо к подкорке, сигнализируя о чем-то имманентно важном, но прочно забытом, потерянном в суете расчетливых будней. Как, например, это стихотворение 1966 года:

...мы что-то утратили,
некий ключ к тому, что нас окружает,
это должно быть послание,
и оно заперто от нас,
а может (как богатая залежь
или неоткрытая жила руды в скале),
это что-то не потеряно, не спрятано —
просто не найдено еще...

(«Место в мире: сколы». Перевод Валерия Минушина)

Непреходящая важность того, о чем напоминала Этвуд, осознается при чтении первых же ее романов: «Лакомый кусочек» (1969, рус. пер. 1980) и «Постижение» (1972, рус. пер. 1985) — необычных как на национальном, так и на европейском фоне того времени книг об универсальном для второй половины нашего века недуге психологического отчуждения. Героинями писательницы — автора десятка поэтических сборников, нескольких книг рассказов и девяти романов, одной из ведущих фигур в мощном общенациональном движении «Канадское культурное возрождение» в 60—70-е годы и безусловном лидере феминистского крыла в литературе Страны кленового листа — раз за разом делались ее молодые соотечественницы, отчаянно бунтовавшие против своего жизненного удела и тернистым путем проб и ошибок приходившие к горькому пониманию того, что прорвать мертвящую пелену отчуждения, преодолеть духовный анабиоз потребительского существования можно, лишь бесстрашно и нелицеприятно вглядевшись в себя и окружающий мир, восстановив хотя бы в собственной душе естественную иерархию этических ценностей.

Какую бы книгу М. Этвуд мы ни открыли, в центре каждой — неблагополучная женская судьба; в фокусе каждой — отчетливая философская доминанта, продиктованная упрямым стремлением романистки во что бы то ни стало доискаться, говоря словами русского поэта, «До сущности протекших дней, / До их причины, / До оснований, до корней, / До сердцевины».

На переломе 80-х и 90-х в романах «Кошачий глаз» (1988) и «Невеста-разбойница» (1993) Маргарет Этвуд, анализируя духовные недуги настоящего, обращает-

© 1996 by O.W. Toad Ltd.
© И. Янская. Перевод, 1999
© Н. Пальцев. Вступление, 1999

ся к их истокам в прошлом двадцати-, тридцатилетней давности. Иными словами, историческая составляющая здесь налицо, но произведения в целом все же скорее отвечают жанру «романов-ретро». А еще через несколько лет, на исходе века, в свет выходит неожиданный и озадачивающий роман, который можно назвать *историческим* без всяких оговорок. У читающего этот роман поначалу возникает подозрение: а уж не стремится ли известная своим творческим и гражданским (замечу в скобках: к заслугам М.Этвуд в прошедшие десятилетия относится отважная и бескомпромиссная моральная поддержка диссидентского движения в СССР и странах соцлагеря) мужеством писательница на сей раз спрятаться в уютном историческом «вчера» своего отечества — так детально прописаны черточки быта и культуры, так тщательно проработаны портретные и языковые характеристики, так аккуратно подобраны эпиграфы к каждой главе, сообщающие своеобразную «панорамность» центральной — детективно-криминальной — линии повествования... Но нет, это впечатление обманчиво: просто, осуществляя очередной подступ к тому, что ее всегда волновало в человеческой душе и в обществе, Маргарет Этвуд решила изучить эти проблемы в их историческом развитии. То есть пытается в очередной раз дойти «до оснований, до корней, до сердцевины».

Непривычное жанровое сочетание: производящий впечатление строго документального роман-расследование сенсационного судебного случая — и галлюцинативно-исповедальное повествование о жизни одновременно преступницы и жертвы — шестнадцатилетней иммигрантки из Северной Ирландии Грейс Маркс, прислуги в доме преуспевающего жителя торонтского предместья Томаса Киннэра, зверски убитого вместе с молодой домоправительницей неким Джеймсом Макдермотом 23 июля 1843 года. Причем повествование намеренно обрывистое, фрагментарное, плутающее в тайниках помраченного сознания Грейс, рассказывающей во время психотерапевтических сеансов о себе молодому врачу-американцу с передовыми для того времени взглядами.

Что здесь главное: история преступления или жизненная одиссея вольной либо невольной преступницы? Правда о виновности — или невиновности — якобы совершившей злодеяние девушки из низов или более масштабная правда об обществе, где такое оказалось возможным? Вопросы, занимающие читателя от первой страницы книги до последней, возникающие на каждом шагу и в тех наиболее выразительных ее фрагментах, что представлены в данном журнальном варианте.

Личность Грейс Маркс остается загадкой, свидетельствует М. Этвуд в «Послесловии автора». Иначе говоря, пытаясь — спустя полтора века — реконструировать таинственную историю самой знаменитой канадской преступницы, романистка следует методике, опробованной, по сути, еще творцами древнегреческой трагедии. Ведь зрители шедевров Софокла и Еврипида заранее знали, каков будет финал, — заботой автора и его аудитории были мотивировки. Так и М. Этвуд: выбрав реальную «героиню» — или антигероиню, кто как предпочтет, — она выстраивает свою, авторскую, модель происходящего, произошедшего, того, что могло произойти и не произошло. Отнюдь не детективная пружина «кто убил?» движет ее воображением. И даже не феномен «двойного сознания» — предвосхищение фрейдовско-юнгианских открытий в психоанализе, ранним вестником которых предстает симпатичный молодой американец Саймон Джордан. Нет, в центре ее внимания то, что за рамками и официального права, стоящего на защите сословного «истеблишмента», и делающей первые робкие шаги психиатрии. Вопрос, что такое личность и чем она определяется.

После нейрогипнотического сеанса возникает спор; его участники отвечают на этот вопрос по-разному. Француз Жером Дюпон утверждает: «Я бы сказал: мы — это то, что мы помним». Саймон Джордан возражает: «Быть может, мы также — и даже в большей мере — то, что забыли».

И тут вновь приходят на память стихи молодой Маргарет Этвуд о «послании», которое «не потеряно, не спрятано — просто не найдено еще...»

Н.ПАЛЬЦЕВ

Прямо из гравия растут пионы. Они пробиваются наверх сквозь неплотную россыпь серых камешков, их бутоны ощупывают воздух, точно глаза улитки, после чего набухают и раскрываются, превращаясь в огромные темно-красные цветы, сверкающие и глянцевые, как атлас. Потом лепестки их облетают, падают на землю.

На один короткий миг, перед тем как осыпаться, они становятся похожи на пионы, что цвели в саду перед домом мистера Киннэра в самый первый день; только те были белые. Нэнси как раз срезáла их. Я помню ее светлое платье в мелкую красную розочку с тремя оборками на юбке и соломенную шляпку, скрывающую лицо. В руке она держала неглубокую корзинку, куда складывала цветы; она наклонялась к ним, как настоящая леди, — с прямой спиной. Услышав, что мы приехали, она повернулась и вдруг взялась рукой за горло, будто чего-то испугавшись.

Во время прогулки, шагая в ногу с остальными, я не поднимаю головы, глаза мои смотрят в землю. Пара за парой мы молча обходим двор, бредем внутри квадрата, образованного высокими каменными стенами. Стиснутые руки я держу перед собой; они в трещинах, костяшки покраснели. Не припомню, чтоб у меня когда-нибудь были другие руки. Подошвы моих ботинок постукивают под подолом юбки — бело-голубой, бело-голубой, — и гравий хрустит под ногами. Ботинки очень удобные, никогда прежде я таких не носила.

Стоит 1851 год. В следующий день рождения мне исполнится двадцать четыре. Я сижу за решеткой с шестнадцати лет. Я образцовый арестант, со мной никаких хлопот. Так, по крайней мере, считает жена Хозяина — мне удалось подслушать, как она это говорила. Подслушивать я наловчилась просто замечательно. Но раз уж я добросовестна и покорна, то, может быть, в конце концов они меня отпустят. Правда, быть добросовестной и покорной не так-то легко, это все равно как уцепиться за край моста, когда ты уже почти упала в воду: вроде бы и не движешься, просто висишь себе и висишь, а силы это отнимает все до капельки.

За пионами я наблюдаю украдкой. Я знаю, им здесь быть не положено: сейчас апрель, пионы не цветут в апреле. Вот еще три — как раз передо мной, выросли прямо из дорожки. Я незаметно протягиваю руку, чтобы коснуться одного из них. Ощущение чего-то безжизненного; я понимаю: пион матерчатый.

И тогда где-то впереди я вижу Нэнси. Она на коленях, волосы рассыпались по плечам, с головы течет кровь, заливая ей глаза. Шея Нэнси повязана белой ситцевой косынкой, разрисованной синими цветами, это цветы чернушки; косынка моя. Нэнси подни-

---

В публикации использован рисунок из материалов судебного процесса: «Грейс Маркс, она же Мэри Уитни, и Джеймс Макдермот у зала суда после вынесения им приговора за убийство Томаса Киннэра и Нэнси Монтгомери».

мает лицо, протягивает ко мне руки, умоляя о милосердии, в ушах у нее маленькие золотые сережки, которые всегда вызывали мою зависть, больше я не завидую, пусть остаются у Нэнси, потому что на этот раз все будет по-другому, на этот раз я обязательно помогу, я подниму ее с колен, оботру ей кровь своей юбкой, от нижней юбки я отдеру длинный лоскут и сделаю бинт; тогда ничего этого не случится. Днем мистер Киннэр вернется домой, подъедет по дорожке к дому, и Макдермот возьмет у него лошадь, и мистер Киннэр пойдет в гостиную, и я сварю ему кофе, и Нэнси отнесет чашку на подносе, как она любит, и мистер Киннэр скажет: «До чего вкусный кофе», и вечером в сад прилетят жуки-светлячки, и при свете лампы в саду зазвучит музыка. Джейми Уэлш. Мальчик с флейтой.

Я уже почти рядом с Нэнси, почти добралась туда, где она стоит на коленях. Но я не сбилась с ноги, я не бегу, а продолжаю идти, как все, в паре; и тут Нэнси улыбается, одним ртом, потому что глаз не видно, глаза залиты кровью, скрыты волосами; потом она распадается на цветные пятна неправильной формы, а красные матерчатые лепестки медленно уплывают за каменную стену.

Я прижимаю ладони к глазам, потому что вдруг становится темно, и какой-то человек стоит со свечой, загораживая лестницу, ведущую наверх, и стены подвала вырастают вокруг, и я знаю — отсюда мне не выбраться.

Вот что я рассказала доктору Джордану, когда мы подошли к последней части моей истории.

***

Во вторник, едва только пробило полдень, перед зданием новой городской тюрьмы был приведен в исполнение приговор суда и Джеймс Макдермот, убийца мистера Киннэра, подвергся высшей мере наказания. Казнь состоялась при огромном скоплении мужчин, женщин и детей, жаждавших воочию увидеть предсмертную агонию грешного человеческого существа. Мы бессильны угадать, какого рода чувства владели всеми этими женщинами, сквозь дождь и грязь из разных мест стекавшимися к тюрьме лишь для того, чтобы присутствовать при чудовищном зрелище. Рискнем, однако, предположить, что их чувства не были ни *тонкими,* ни *благородными.* В ужасный миг гнусный преступник обнаружил те же хладнокровие и бесстрашие, какие сопутствовали его поведению с самого ареста.

«Торонто миррор», 23 ноября 1843 г.

ПРОСТУПОК	НАКАЗАНИЕ
Смех и разговоры	*6 ударов плеткой-девятихвосткой*
Разговоры в умывальне	*6 ударов плетью из сыромятной кожи*
Угроза вышибить мозги другому заключенному	*24 удара плеткой-девятихвосткой*
Разговоры с надзирателями на темы, не связанные с их работой	*6 ударов плеткой-девятихвосткой*
Жалобы на еду, невзирая на приказ охраны прекратить ропот	*6 ударов плетью из сыромятной кожи; на хлеб и воду*
Взгляды по сторонам и невнимательность за столом во время завтрака	*На хлеб и воду*
Прекращение работы и уход в уборную, когда там находится другой заключенный	*36 часов в темной камере на хлебе и воде*

КНИГА НАКАЗАНИЙ,
КИНГСТОНСКИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ, 1843 г.

***

Она невысокая, худенькая, очень изящная. В лице ее словно застыла безнадежная печаль, и видеть это нестерпимо больно. У нее довольно сносный цвет лица; до того как ее коснулась страшная беда, он наверняка был просто великолепен. Глаза ярко-голубые, волосы золотисто-каштановые, и она казалась бы даже красивой, если бы не слишком длинный, искривленный подбородок, придающий ее лицу, как это почти всегда бывает у людей с таким же дефектом, хитрое и жестокое выражение.

Грейс Маркс смотрит на собеседника искоса, осторожно; ее взор ни за что не встретится с вашим, и, неприметно бросив на вас быстрый взгляд, она обязательно опустит глаза в землю. Она отнюдь не производит впечатление человека, поставленного в столь унизительное положение.

Сусанна Муди,
«Жизнь на вырубках», 1853 г.

***

Мне выплеснули в лицо стакан холодной воды, и я очнулась, но продолжала кричать, хотя доктор уже исчез; меня все еще крепко держали две судомойки и мальчишка, помощник садовника, усевшийся мне на ноги. Жена Хозяина послала в тюрьму за сестрой-хозяйкой, та явилась в сопровождении двух надзирателей и с силой шлепнула меня наотмашь сначала по одной щеке, потом по другой; я сразу смолкла. Доктор, во всяком случае, был новый. Он только напоминал прежнего. Тот же холодный, жадный взгляд. И ненависть.

— Другого способа прекратить истерику нет, можете не сомневаться, мэм, — сказала сестра-хозяйка, — у нас большой опыт по части таких вот припадков. Эта арестантка очень к ним предрасположена, но мы ей никогда не потакали, мы старались ее отучить и считали, что отучили и с истериками покончено, просто, я думаю, вернулась ее старая болезнь, — несмотря на все, что говорили про нее в Торонто, семь лет назад она точно была буйнопомешанная, и вам повезло, что поблизости не случилось ни ножниц, ни какого другого острого предмета.

Потом надзиратели почти волоком потащили меня обратно, в главное тюремное здание, и заперли в этой комнате до тех пор, пока, как они сказали, я не приду в себя, хотя я говорила им, что мне уже лучше, раз доктор со своими ножами убрался прочь. Я сказала, что у меня просто страх перед докторами, и всё, страх, что они меня разрежут, бывает же у людей боязнь змей, например. Но они мне не поверили.

— Кончай свои штучки, Грейс, — сказали они. — Ты просто хотела привлечь к себе внимание, он и не собирался вспарывать тебе живот, у него и ножей никаких при себе не было, то, что ты видела, — всего лишь кронциркуль для измерения головы. Ты сегодня нагнала на жену Хозяина будь здоров какого страху, но так ей и надо, она только и делала, что баловала тебя, хорошего в этом мало, ты у нее теперь любимица (так ведь?), и наше общество уже едва ли тебя устроит. Что ж, тем хуже для тебя, все равно придется с нами смириться, никуда не денешься, потому что на какое-то время ты хоть и не останешься без внимания, да только оно будет другого сорта. Пока не решат, что с тобой делать.

В этой комнате только одно маленькое окошко, оно прорублено высоко под потолком и зарешечено изнутри, на полу матрас, набитый соломой. Еще — корка хлеба на оловянной тарелке, глиняный кувшин с водой и пустая деревянная бадья, заменяющая ночной горшок. Меня поместили сюда перед отправкой в психиатрическую больницу. Я говорила им, что я не сумасшедшая и никогда сумасшедшей не была, но они слушать не захотели.

Они вообще вряд ли умели с виду распознать психически больного, потому что добрая половина женщин в больнице была безумна не больше английской королевы. Многие оставались нормальными лишь в трезвом виде, болезнь к ним являлась из бутылки, я таких людей очень хорошо изучила. Одна женщина попала сюда в надежде спас-

тись от мужа, который бил ее смертным боем, это он был помешанный, а не она, но его никто даже не подумал посадить под замок, а другая объяснила, что сумашествие овладевает ею осенью, от страха, потому что она бездомная, а в психушке тепло, и если бы она так здорово не прикидывалась тронутой, то зимой замерзла бы до смерти; весной она снова выздоравливала: в хорошую погоду можно было бродить по лесам и ловить рыбу, а она была наполовину индианка и ловко умела справляться с такими вещами. Мне и самой хотелось бы все это уметь, если бы я знала как и не боялась медведей.

Но некоторые не притворялись. Одна бедная ирландка потеряла всех своих родных, половина умерла от истощения в годы великого голода, остальные погибли от холеры на корабле, плывшем в Америку. Несчастная целыми днями бесцельно блуждала по больнице, выкликая их имена. Я рада, что покинула Ирландию до наступления этих времен, потому как страдания, о которых она рассказывала, были ужасны; повсюду грудами лежали мертвые тела, и никто их не хоронил. Еще одна пациентка убила свое дитя, и ее стали преследовать видения, ей казалось, что ребенок ходит рядом, держась за ее юбку, иногда она брала его на руки, обнимала, целовала, а порой страшно кричала на него и яростно била. Вот ее я боялась.

Была среди больных очень религиозная женщина, она без конца молилась и пела псалмы, и когда выяснила, какое, по словам людей, я совершила преступление, то принялась мучить меня при каждом удобном случае. «На колени, — говорила она то и дело. — Заповедь гласит: «не убий», но милость Господа почиет и на грешниках, покайся, пока не поздно, иначе осуждена будешь на муки вечные...» Она была точь-в-точь как проповедник в церкви и однажды попыталась совершить надо мной обряд крещения с помощью супа. Ну и жидкий был тот суп, в котором плавали кусочки капусты; она вылила мне на голову целую ложку. Когда я пожаловалась, старшая сестра строго на меня поглядела, плотно сжала тонкие прямые губы, точно крышку сундука захлопнула, а потом сказала:

— Знаешь, Грейс, тебе, пожалуй, следует прислушаться к ее словам, лично я ни разу не видела, чтобы ты по-настоящему каялась, хотя раскаяние очень не помешало бы твоему жестокому сердцу.

И тогда я вдруг жутко разозлилась и закричала:

— Я ничего не делала! Ничего не делала! Это все она, это была ее вина!

— Кого ты имеешь в виду, Грейс? — спросила старшая сестра. — Успокойся немедленно, иначе тебя ждут холодные ванны и смирительная рубашка. — Она бросила взгляд на свою товарку: — Видишь? Что я тебе говорила? Совсем спятила.

Сестры в сумасшедшем доме все как одна были толстые и сильные, с большими жирными руками, с подбородками, переходившими прямо в шеи, с аккуратными белыми воротничками; волосы их, закрученные валиком, напоминали растрепанную веревку. Чтобы стать старшей сестрой в нашем заведении, требовалось обладать изрядной физической силой — на случай, если какая-нибудь безумная вспрыгнет вам на спину и начнет рвать ваши волосы; но сила не улучшала характер. Иногда они нас нарочно доводили до бешенства, особенно часто — перед самым приходом посетителей, которых ждали заранее. Им хотелось показать, во-первых, до чего мы опасны, а во-вторых, как они с нами управляются: думали, их за это будут больше ценить.

Потом я уже никому ничего не говорила. И доктору Бэннерлингу тоже. Доктор приходил в комнату, где я лежала в темноте со связанными шарфом руками. «Не шуми, мне нужно тебя осмотреть, и не лги мне — это бесполезно». Я молчала, когда с визитами сюда являлись и другие доктора: «Подумать только, какой потрясающе любопытный случай!» — словно я была теленком о двух головах. В конце концов я вообще перестала разговаривать, разве что время от времени вежливо произносила: «Да, мэм», «Нет, мэм», «Да, сэр», «Нет, сэр». И тогда меня отослали обратно в тюрьму, но только после того, как они все собрались посовещаться в своих черных одеяниях. «Ага, гм, что касается моего мнения...» и «Уважаемый коллега, сэр, позвольте мне с вами не согласиться». Конечно, они ни за что бы не признали, что совершили ошибку, засадив меня сюда.

Люди в одежде определенного типа никогда не ошибаются. Они также никогда не издают непристойных звуков. Мэри Уитни часто повторяла:

— Если в комнате, где сидят люди в таких одеждах, кто-то пукнул, можешь не сомневаться — это сделавши ты сама. И даже если ты ничего такого не делала, не вздумай оправдываться, иначе сразу услышишь: «Что за наглость, черт побери!» — получишь пинок под зад и вылетишь на улицу.

Она часто говорила с ужасными ошибками. Например: «Ты *сделавши*» вместо «ты *сделал*». Никто не учил ее говорить по-другому. Я раньше тоже так разговаривала, но в тюрьме многое узнала, и речь моя улучшилась.

Я сижу на соломенном матрасе. Матрас шуршит, словно успокаивает. Как прилив на морском берегу. Я специально на нем ерзаю, чтоб послушать это шуршание. Можно закрыть глаза и представить, что ты у моря, а день погожий, безветренный. За окном, где-то поодаль, рубят дрова; каждую минуту топор с силой опускается, я словно вижу быстрые движения, а затем доносится тупой звук; но откуда известно, что это именно дрова?

В комнате довольно прохладно. Шали у меня нет, я сама обхватываю себя руками, здесь ведь это больше некому сделать. Когда-то, когда была маленькой, я часто думала, что, если крепко-крепко обнять себя, можно стать меньше, я так думала из-за того, что для меня всегда не хватало места — и дома, и вообще везде, — а если б я уменьшилась, то, может, где-нибудь бы и уместилась.

Волосы мои выбиваются из-под шапочки. Рыжие волосы кошмарного убийцы. Дикий зверь, писали а газетах. Чудовище. Когда принесут обед, я напялю на голову помойное ведро, спрячусь за дверью и напугаю их как следует. Если им так хочется чудовища, нельзя лишать их удовольствия.

Но это я только обещаю, а делать ничего подобного никогда не делаю. Я лишь себе представляю, как бы все выглядело. Иначе они решат, что я снова сошла с ума. «Сойти с ума» — это их слова; иногда они еще говорят «тронуться умом». Как будто ум — что-то вроде санного пути, дороги. Как будто, став безумным, входишь в особое помещение или даже в особую страну. Но если ты действительно сдвинулся, спятил с ума,ты не меняешь место, ты остаешься там же, где был. А другие приходят к тебе.

Я не хочу больше быть одна в этой комнате. Стены здесь пустые, картин нет, нет и занавесок на маленьком окошке наверху, абсолютно не на что посмотреть, поэтому смотришь на стену; смотришь, смотришь не отрываясь и через некоторое время видишь, что на ней висят картины и растут красные цветы.

Наверное, я сплю.

***

Отворяется дверь, и входит мужчина. Он молод, одних со мной лет или чуть старше; для мужчины это совсем немного — в отличие от женщины: в моем возрасте женщина уже старая дева, а мужчина не считается старым холостяком, пока ему не стукнет аж за пятьдесят, да и тогда, как говаривала Мэри Уитни, с дамским полом еще не завязано. Он высокого роста, у него длинные ноги и руки, но дочери Хозяина не назвали бы его красавцем; они предпочитают томных юношей из модных журналов, очень элегантных, тише воды, ниже травы на вид, в узких остроносых башмаках. От этого человека веет живостью и энергией, что в наши дни совсем не модно, и ступни у него довольно широкие, хотя он джентльмен или близок к этому. Он вряд ли англичанин, но точно сказать трудно.

Он шатен, волосы его вьются от природы; их можно назвать непослушными, так как ему явно не удается щеткой заставить лежать свои кудри. Пальто добротное, хорошего покроя, однако поношенное: блестит на локтях. На нем жилет из шотландки, шотландка стала популярна с тех самых пор, как королева завела дружбу с Шотландией и построила там замок, набитый оленьими головами, — во всяком случае, так я слышала; но теперь мне видно, что шотландка на жилете ненастоящая, это просто ткань в клетку. Желто-коричневую. У молодого человека золотые часы на цепочке; стало быть, несмотря на мятую одежду и вообще неухоженность, он не беден.

Бакенбарды, которые теперь в большой моде, отсутствуют; мне лично они не слишком-то нравятся, мне подавай лучше усы или бороду или вообще ничего. Джеймс Мак-

дермот и мистер Киннэр оба ходили чисто выбритыми, и Джейми Уэлш тоже — хотя ему не особенно было что сбривать; кроме того, мистер Киннэр носил усы. По утрам, выливая воду из тазика для бритья, я брала немножко жидкого мыла — мистер Киннэр пользовался только хорошим мылом, из Лондона, — и мазала себе ладони, и потом весь день чувствовала его запах — по крайней мере, до тех пор, пока не наступало время скрести полы.

Молодой человек закрывает за собой дверь. Он не поворачивает ключ в замке, но это делает кто-то снаружи. Теперь мы вместе заперты в комнате.

— Доброе утро, Грейс, — говорит он. — Понимаю, ты боишься докторов. Но должен тебе сразу признаться: я доктор. Меня зовут доктор Джордан. Доктор Саймон Джордан.

Я быстро вскидываю на него глаза и тут же их опускаю. Потом спрашиваю:

— А другой доктор сюда вернется?

— Тот, что тебя напугал? Нет, не вернется, — говорит он.

— Тогда, я полагаю, вы пришли измерить мне голову.

— И в мыслях у меня такого не было. — Он улыбается, но тем не менее оценивающе смотрит на мою макушку. Однако я в шапочке, и он ничего не увидит. Теперь, когда он заговорил, я думаю, что он, скорее всего, американец. У него белые зубы, все целые, по крайней мере спереди, а лицо удлиненное и худощавое. Мне нравится его улыбка, хотя, когда он улыбается, правый уголок рта у него делается выше левого, и это придает лицу насмешливое выражение.

Я смотрю на руки гостя. Они пусты. В них ничего нет. Колец на пальцах тоже не видно.

— А у вас есть сумка с ножами? — спрашиваю я. — Кожаная, большая?

— Нет, — говорит он, — я доктор не совсем обычный. Я никого не режу. Ты боишься меня, Грейс?

Покамест я не могу сказать, что боюсь. Об этом слишком рано судить. И ему рано говорить, чего он хочет. Сюда ко мне никто не приходит, если не надеется что-нибудь получить.

Мне бы его спросить, что же он за доктор, если он не такой, как все, я открываю рот, но он меня опережает:

— Я из Массачусетса. Вернее, там родился. Я много путешествовал. Ходил по земле и обошел ее. — И он глядит мне в глаза, желая проверить, дошел ли до меня смысл его слов.

Я знаю, это книга Иова, та часть, где Иов еще не обзавелся своими язвами и гнойными болячками и другими бедами. Это то, что Сатана говорит Богу. Новый доктор, наверно, дает понять, что пришел испытать меня, хотя, по-моему, поздновато явился: Бог меня уже столько испытывал; хочется верить, что он наконец притомился от этой работы.

Но ничего такого я не говорю. Я только глупо смотрю на доктора. Есть у меня один подходящий глупый взгляд, я им часто пользуюсь.

— Вы бывали во Франции? — спрашиваю я.— Оттуда ведь к нам приходят все моды.

Вижу, я его разочаровала.

— Да, — говорит он. — И в Англии был, и в Италии, и в Германии, и в Швейцарии тоже.

До чего же странно в запертой комнате, в тюрьме беседовать с незнакомым мужчиной о Франции, об Италии, о Германии. Путешественник. Он, должно быть, странник, как Джеремайя-разносчик. Но Джеремайя странствует, чтобы заработать себе на хлеб, а люди того сорта, что новый доктор, уже достаточно богаты. Они отправляются в путешествия из любопытства. Они неспешно прогуливаются по миру и рассматривают всякие диковины, они переплывают океан, как будто в этом нет ничего особенного, а если у них не заладится в одном месте, просто перебираются в другое.

Но теперь моя очередь что-нибудь сказать.

— Не знаю, сэр, — говорю я, — как вы ухитряетесь общаться со всеми этими ино-

странцами, никогда ведь не поймешь, про что они толкуют. Когда бедняги переселенцы приезжают сюда, они поначалу трещат и гогочут, словно гуси, хотя их ребятишки быстро схватывают новый язык.

— Это правда, детям учеба дается легко.

Он улыбается, а затем делает странную вещь. Опускает левую руку в карман и вынимает яблоко. После чего медленно идет ко мне, держа яблоко перед собой; так человек протягивает кость разъяренной собаке, чтобы смирить ее злобу, восторжествовать над ней.

— Это тебе, — говорит он.

Я до смерти хочу пить; яблоко представляется мне огромной круглой водяной каплей, холодной и красной. Я могла бы выпить ее одним глотком. Сперва я колеблюсь, но потом, подумав: «А что, собственно, плохого в яблоке?» — беру его. Давным-давно никто не дарил мне яблока. Это, наверно, сняли с дерева поздней осенью, потом хранили в бочонке, в погребе, но оно и сейчас совсем свежее.

— Я не собака, — говорю я.

Почти любой на его месте спросил бы, что я подразумеваю под этими словами, но он смеется. Смех его словно вздох: «Ха!» — как будто он нашел потерянную вещь; и он говорит:

— Я вижу, что ты не собака, Грейс.

Что он замышляет? Я стою, держа яблоко в ладонях. На ощупь оно изумительное и тяжелое, как ларец с драгоценностями. Я подношу его к лицу и нюхаю. Оно так пахнет прохладным уличным воздухом, что мне хочется плакать.

— Ты не собираешься его съесть? — говорит он.

— Пока нет, — говорю я.

— Почему же? — говорит он.

— Потому что тогда оно исчезнет.

На самом деле я не хочу, чтоб он смотрел, как я ем. Не хочу, чтобы понял, до чего я голодна! Если у вас есть какая-то надобность и они о ней пронюхают, они обязательно используют это против вас. Самое лучшее — удерживаться от желаний.

Он снова смеется своим удивительным смехом.

— Можешь сказать мне, что это такое?

Я смотрю на него, потом отворачиваюсь.

— Яблоко.

Должно быть, он считает, что я придурковатая, или это какая-то хитрость, а может, он сумасшедший, ага, вот почему дверь закрыли на ключ. Они заперли меня в одной комнате с безумцем. Но люди в такой одежде, как у него, не бывают безумцами; взять хотя бы золотые часы на цепочке — родственники или надзиратели быстренько отобрали бы их, будь он и вправду психом.

На губах у него все та же «кривобокая» улыбка.

— Что ты вспоминаешь, глядя на яблоко? — спрашивает он.

— Прошу прощения, сэр, — говорю я. — Я вас не понимаю.

Наверно, это загадка. Я вспоминаю Мэри Уитни и яблочную кожуру, которую в ту ночь мы кидали через плечо, чтобы узнать, за кого нам суждено выйти замуж. Но рассказывать ему об этом мне не хочется.

— Полагаю, ты достаточно хорошо меня понимаешь, — говорит он.

— Мой узор, — говорю я.

Теперь его черед не понимать меня.

— Твой — что?

— Мой узор, который я вышивала ребенком. *А* — это яблоко[1]. *Б* — бабочка,— говорю я.

---

[1] Слово «яблоко» в английском языке начинается с «а». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

— О, конечно, — кивает он. — А еще?

Я пускаю в ход проверенный глупый взгляд.

— Яблочный пай, сэр.

— Ясно, — говорит он. — То, что ты ешь.

— Вы, сэр, надеюсь, тоже это едите, — говорю я. — Яблочный пай для еды только и готовится.

— А существует такой сорт яблок, которые не следует есть?

— Гнилые, наверно, — говорю я.

Он играет в отгадывание загадок, как доктор Бэннерлинг в сумасшедшем доме. В этой игре всегда есть правильный ответ — правильный уже потому, что именно он им и нужен, и по их лицам видно, когда вы отгадали загадку; хотя для доктора Бэннерлинга все ответы оказывались неправильными. Или, может, он доктор богословия, это совсем другие доктора, и они любят задавать вопросы в таком духе. Я их столько перевидала — сыта по горло.

Яблоко с Древа Познания, вот что он имеет в виду. Добро и Зло. Любой ребенок мог бы сообразить. Но я не собираюсь облегчать ему задачу.

Я опять тупо на него гляжу.

— Вы проповедник, сэр?

— Отнюдь, — говорит он. — Я врач, излечивающей не тела, но души. Болезни души, разума и нервов.

Я убираю руку с яблоком за спину. Я ему ни капельки не верю.

— Нет, — говорю. — Я туда не вернусь. В психиатрическую лечебницу. Живой человек не в силах это вынести.

— Не бойся, — говорит он. — Ты же вовсе не сумасшедшая, правда, Грейс?

— Нет, сэр, не сумасшедшая, — отвечаю я.

— Значит, и причины нет отправлять тебя назад в больницу. Верно?

— На причины тут внимания не обращают, сэр, — говорю я.

— Вот именно оттого я и приехал, — говорит он. — Я здесь, чтобы разобраться в причинах. Мне нужно выслушать тебя, и ты не должна отказываться разговаривать со мной.

Я вижу, чего он добивается. Он коллекционер. Ему кажется, что стоит протянуть мне яблоко, и уже можно включать меня в свою коллекцию. Может, он из газеты. Или просто путешественник, осматривающий достопримечательности. Эти господа приходят сюда и глазеют по сторонам, что-то высматривают, а потом замечают тебя — сразу чувствуешь себя крохотной, как муравей, — поднимают двумя пальцами, подносят к глазам и начинают поворачивать из стороны в сторону. А после опускают обратно на пол и уходят.

— Вы же мне все равно не поверите, сэр, — говорю я. — Но как бы там ни было, все решено, суд давным-давно состоялся, приговор вынесен, и то, что я скажу, ничего не изменит. Вам бы лучше потолковать с юристами и судьями, и с газетчиками тоже, они, кажется, про мою жизнь знают больше меня самой. В любом случае мне не вспомнить... Я помню другие вещи, но ту часть своей памяти полностью потеряла. Вас об этом должны были предупредить.

— Я бы хотел помочь тебе, Грейс, — говорит он.

Вот так они проникают вам в душу. Предлагают помощь, но взамен требуют благодарности, они нежатся в ней, как коты в кошачьей мяте. Он хочет вернуться домой и сказать себе: «Я просто сунул в землю палец, и тотчас выросло сливовое дерево, ну и молодец же я!» Но я не хочу быть ничьим сливовым деревом. Я молчу.

— Если ты хоть немного поговоришь со мной, — продолжает он, — я внимательно тебя выслушаю. Интерес мой чисто научный. И нам вовсе не обязательно беседовать только об убийствах. — Голос у него добрый, добрый на слух, но за ним прячутся совсем другие, недобрые цели.

— Быть может, я буду вам лгать, — говорю я.

Он не восклицает: «Грейс, какое ужасное предположение, ты во власти греховных фантазий!» Он говорит:

— Может, и так. Может, ты будешь говорить неправду, сама того не желая, а может, станешь лгать умышленно. Может быть, ты лгунья.

Я гляжу на него.

— Тут, в тюрьме, меня уже называли лгуньей.

— Мы непременно должны использовать предоставленную возможность, — говорит он.

Я смотрю в пол. И спрашиваю:

— Меня отошлют обратно в психушку? Или посадят в одиночную камеру на хлеб и воду?

— Даю тебе слово, — говорит он, — что, покамест мы будем спокойно беседовать и ты не потеряешь контроля над собой, не начнешь буйствовать, все останется как было. У меня на этот счет есть личное обещание Хозяина.

Я смотрю на него. Отворачиваюсь. Смотрю снова. Яблоко я теперь держу обеими руками. Он ждет.

Наконец я поднимаю руки и прижимаю яблоко ко лбу.

***

В первые два дня разговор не слишком-то клеился: нельзя сказать, что от нетерпения мы перебивали друг друга. Я сидела с опущенной головой, на него не глядела и трудилась над квадратами лоскутного одеяла, которое шила для жены Хозяина; мне осталось всего пять квадратов. Я внимательно следила за иголкой, хотя точно знала, что могла бы вышивать с закрытыми глазами и даже во сне. Этой работе я выучилась четырех лет от роду: крохотным стежкам, словно их мышка сделала. Начинать учиться надо именно в детстве, иначе никогда не станешь настоящей мастерицей. Основными цветами у меня были густо-розовый, а на нем светло-розовые веточки и пионы, да еще сине-фиолетовый — с белыми голубями и виноградом.

Иногда я посматривала на верхнюю часть стены над головой мистера Джордана. Там в рамке висела картина (кувшин с цветами, ваза с фруктами). Вышила ее крестом жена Хозяина, да только получилось топорно, некрасиво — яблоки и персики нескладные, прямоугольные, будто их вырезали из дерева. Это было не лучшее ее произведение, видно, потому она и повесила его здесь, а не в спальне для гостей. Я бы и не глядя вышила лучше.

Начать беседу было трудно. Подолгу я ни с кем не вела разговоров вот уже пятнадцать лет, да и вообще ни с кем не говорила, как когда-то с Мэри Уитни и с Джеремайей-разносчиком, и с Джейми Уэлшем — пока он не повел себя по отношению ко мне как предатель; если честно, я уже почти забыла, как говорят нормальные люди. Я сказала доктору Джордану, что не знаю, какие слова он хочет от меня услышать. А он ответил, что дело не в том, чего хочет он, а в том, что я сама хочу сказать; именно это ему важно. Тогда я сказала, что у меня нет желания что-либо говорить и вообще я это делать не обязана.

— Послушай, Грейс, — сказал он, — зачем ты упрямишься? Мы ведь с тобой заключили соглашение.

— Да, сэр, — сказала я. — Но я ни о чем не могу думать.

— Тогда давай обсудим сегодняшнюю погоду, — сказал он. — У тебя наверняка есть какие-нибудь соображения по этому поводу; все ведь обыкновенно с погоды и начинают.

Я улыбнулась, услышав его слова, но скованность не исчезла. Я не привыкла, чтобы кто-нибудь интересовался моим мнением, даже о погоде, и уж тем более, чтоб это делал человек с блокнотом. Правда, мне такие встречались, например мистер Кеннет Макен-

зи, эсквайр, мой адвокат, я его боялась, да еще те, что присутствовали в зале суда, а потом приходили в тюрьму; они все служили в газетах и врали обо мне что ни попадя.

Я так и не смогла первой начать беседу, и доктор Джордан заговорил сам. Он рассказал мне про то, как теперь повсюду строят железные дороги, прокладывают рельсы, как с помощью пара по рельсам движутся локомотивы. Слушая его, я почувствовала себя более непринужденно и призналась, что хотела бы проехаться в поезде, и он сказал, что, возможно, однажды так оно и случится. Я ответила, что вряд ли, я ведь приговорена сидеть в тюрьме до конца жизни, но, с другой стороны, никто не знает, что и сколько ему отпущено.

Потом он рассказал мне о городе, где живет; город называется Лумисвилл и расположен в Соединенных Штатах, он объяснил, что это город ткацких фабрик, хотя уже не такой процветающий, каким был раньше, когда из Индии еще не привозили дешевые ткани. Его отец некогда владел фабрикой, и девушки-ткачихи приезжали в Лумисвилл из деревень и жили в очень недурных условиях, в пансионах, на всем готовом, и хозяйки пансионов были дамы почтенные, с приличными манерами, и пить запрещалось, и в залах иногда стояло фортепьяно, и рабочий день продолжался только двенадцать часов, и в воскресенье утром все отправлялись в церковь; глядя в его увлажнившиеся от воспоминаний глаза, я решила, что не удивлюсь, если окажется, что одна из этих девушек была его зазнобой.

Еще он сказал, что девушек учили читать, и у них был собственный журнал, они его сами издавали и публиковали там свои литературные пробы. И я спросила, что такое литературные пробы, и он ответил, что девушки писали стихи, рассказы и печатали их в журнале, и я спросила: «Под собственными именами?» Он оказал: «Да»; и я заметила, что это было большой дерзостью с их стороны и, наверное, отпугивало молодых людей, потому что кому же нужна такая жена, которая пишет всякие штучки и выставляет их на общее обозрение, и вообще сочиняет небылицы, и добавила, что сама никогда бы не отважилась на подобное бесстыдство. И он улыбнулся и сказал, что молодых людей это явно не тревожило, так как девушки откладывали часть своих заработков, чтобы скопить приданое, а приданое — вещь, которая любому придется по вкусу. И я сказала, что уж, по крайней мере, после свадьбы они были слишком заняты, чтоб и дальше придумывать свои истории, хотя бы из-за детей.

Потом мне стало очень грустно: я вспомнила, что сама никогда не выйду замуж или даже просто не нарожаю кучу детишек, хотя, как говорится, что Бог ни делает, все к лучшему: я бы не хотела иметь девять или десять малышей и от этого умереть, как со многими случается. Но все-таки жалко.

Когда вам грустно, самое правильное — сменить тему. Я спросила, жива ли его мать, он сказал, что жива, хотя здоровье у нее оставляет желать лучшего; и я сказала, что он счастливый человек, у него есть мать, а моя умерла. И потом опять сменила тему и призналась, что очень люблю лошадей, и он мне рассказал про свою лошадь, которая была у него в детстве, звали ее Бесс. А немного погодя, сама не знаю, как это вышло, я обнаружила, что мало-помалу начинаю разговаривать с ним все свободнее и уже могу придумать, что сказать.

Вот так у нас дальше и пошло. Он спрашивает, я отвечаю, он записывает ответ. В суде каждое слово, слетевшее с моих губ, как будто намертво врезáлось в протокол, куда они все заносили, и стоило мне что-нибудь сказать, я уже знала, что ни одного слова назад взять не смогу; только это были неправильные слова; ведь что бы я ни произнесла, все немедленно выворачивалось наизнанку, даже если речь шла о самой очевидной правде. И то же самое происходило у нас с доктором Бэннерлингом в больнице для помешанных. Но теперь мне кажется, что все мои слова — правильные. Пока я что-то говорю, неважно что, доктор Джордан улыбается и записывает за мной, и говорит, что я все делаю как надо.

Когда он пишет, у меня такое чувство, будто он меня рисует, вернее, рисует не меня,

а на мне — на моей коже; рисует не карандашом, который у него в руке, а старомодным гусиным пером, только не острым, отточенным концом, а другим, где мягонькие перышки. Точно сотни бабочек сели мне на лицо и потихоньку, нежно то открывают, то закрывают крылышки.

Но где-то глубоко внутри живет и другое чувство — словно сна у тебя ни в одном глазу и ты настороженно смотришь в темноту. Это как пробудиться среди ночи оттого, что на лоб твой будто бы легла чужая рука, и сесть в кровати с гулко бьющимся сердцем, но вокруг никого нет. А еще глубже — ощущение, словно тебя вскрыли; только не так, как вскрывают плоть, а как персик, это менее больно, его, пожалуй, даже не вскрыли: переспев, он сам собой распался надвое.

А в сердцевине персика — камень.

* * *

Сегодня девятый день как я сижу с доктором Джорданом в этой комнате. Разговариваем мы, правда, не ежедневно — были воскресенья, а раза два доктор и сам отчего-то не появлялся. Я по-разному отсчитывала время: сперва от дня своего рождения, потом от первого дня жизни в этой стране, потом от последнего дня пребывания Мэри Уитни на нашей земле; затем вела отсчет от того июльского утра, когда случилось самое худшее, а спустя несколько месяцев — от прибытия в тюрьму. Но теперь я считаю время от того дня, который впервые провела в комнате для шитья вместе с доктором Джорданом, потому что нельзя всегда начинать с одной и той же точки, это слишком нудно, и время тогда тянется гораздо дольше, и выносить эту тягомотину уже нет почти никаких сил.

Доктор Джордан уселся прямо напротив меня. От него пахнет мылом для бритья, кажется, английским, кукурузными початками и кожей, из которой сшиты башмаки. Это успокаивающий запах, я всегда с радостью его предвкушаю, мужчины, которые моются, в смысле запаха куда приятнее тех, которые обходятся без мытья. На стол сегодня доктор водрузил картофелину, но пока о ней не спрашивал, так что она просто торчит между нами. Не представляю, каких слов он ждет от меня; кроме того, я столько картошки в своей жизни перечистила, да и съела тоже, это истинное удовольствие — молодой картофель с капелькой масла, и солью, и с петрушкой, если она есть под рукой, и даже старые большие картофелины можно великолепно испечь; однако вряд ли тут получится долгий разговор. Некоторые картофелины напоминают лица младенцев, другие похожи на животных; как-то мне попалась одна — ну прямо вылитая кошка. Но эта — самая обыкновенная картофелина, не более того. Порой я думаю, что мистер Джордан чуть-чуть с приветом. Но я лучше поговорю с ним про картофель, если ему это нравится, чем вообще буду молчать.

Нынче у него незнакомый галстук, то ли красный в синюю крапинку, то ли синий в красную крапинку; на мой вкус, галстук, пожалуй, немножко ярковат, хотя я не решаюсь разглядывать его слишком пристально. Мне нужны ножницы, я прошу передать их мне, а потом он предлагает приступить к беседе, так что я начинаю:

— Сегодня я закончу последний квадрат для одеяла, после этого все квадраты сошьют вместе и простегают; одеяло предназначено одной из барышень — дочек Хозяина. Это «Бревенчатый домик».

Одеяло под названием «Бревенчатый домик» — вещь, которую следует иметь каждой молодой женщине перед замужеством. Оно как бы означает родное жилье; в центре у него всегда красный квадрат, символ семейного очага; так объяснила мне Мэри Уитни. Но вслух я ничего этого не говорю, потому что не уверена, заинтересуют ли доктора эти самые обыкновенные вещи. Хотя они не более обыкновенные, чем картофелина.

Он спрашивает:

— Что же ты теперь будешь шить?

А я говорю:

— Не знаю, наверно, скажут что; стегать они меня обычно не заставляют, я только вышиваю квадраты, потому что эта работа очень тонкая, и жена Хозяина велела освободить меня от обычного шитья, которым занимаются в тюрьме, от всяких там сумок для почтальонов и униформ и прочего в том же роде; но одеяла все равно стегают в самом конце дня, это что-то вроде вечеринки, а меня на вечеринки не приглашают.

Он спрашивает:

— Если бы ты могла сделать одеяло для себя, какой бы рисунок ты предпочла?

Ну, тут-то сомневаться не приходится, ответ у меня готов. Это было бы «Райское древо» — такое же, как хранилось в сундуке с одеялами у миссис Элдермен Паркинсон. Я его часто доставала оттуда, притворяясь, будто смотрю, не порвалось ли оно, не нуждается ли в ремонте; на самом деле я им просто любовалась, это была красивейшая вещь, составленная из треугольников — темных там, где листья, и светлых, где яблоки, — замечательно выполненная, стежки были такие же крохотные, как у меня, только, будь это мое одеяло, я бы сделала другую кайму. Там изобразили «Охоту на диких гусей», а я бы вышила сплетенные ветви, темные и светлые, это называется «Виноградная лоза», вьющиеся стебли переплетаются, как на раме зеркала в гостиной. Работа нелегкая, да и времени ушло бы уйма, но если бы одеяло было мое, если б я им потом сама укрывалась, то, уж конечно, не пожалела бы сил на эту затею.

Ему я рассказываю совсем другое.

— Не знаю, сэр, — говорю. — Может, это были бы «Горести Иова», или «Райское древо», или «Изгородь», а может, «Головоломка старой девы», потому что я сама старая дева, не возражайте, сэр, и, конечно, над многим ломаю голову.

Последнее было произнесено только из озорства. Я не дала ему прямого ответа, потому что, если вслух сказать про то, чего сильно желаешь, удачи не видать, ничего хорошего тебе не дождаться. И без этого, ясное дело, можно не дождаться, но лучше не рисковать, лучше вести себя осторожно и помалкивать насчет того, чего очень хочешь или даже хочешь совсем чуть-чуть, потому что за это легко поплатиться. С Мэри Уитни так и вышло.

Он записывает названия одеял.

— «Райские древеса» или «Райское древо»?

— «Древо», сэр, — отвечаю я. — На одеяле их может быть несколько, я сама видела целых четыре, и верхушки сходились в центре, но это все равно называлось «Древо».

— А почему, как ты полагаешь, Грейс? — говорит он. Иногда он похож на ребенка, все спрашивает, почему да почему.

— Потому что это название рисунка, сэр, — объясняю я. — Есть еще «Древо жизни», но там совсем другой узор. Можно вышить, кроме того, «Древо искушения», а можно просто «Сосну» — тоже очень красиво.

Он все пишет себе в блокнот. Потом берет в руки картофелину и смотрит на нее. И говорит:

— Разве не чудо, что такая вещь растет под землей, созревает, можно сказать, во сне, во тьме, укрытая от наших глаз?

Ну уж не знаю, откуда, по его мнению, должна расти картошка. Что-то я не видела, чтоб картофелины свисали с кустов. Я молчу, и он спрашивает:

— А что еще есть под землей, Грейс?

— Свекла, наверное, — говорю я. — И морковь, сэр, растет оттуда же. Такова уж их природа.

Кажется, его опять разочаровал мой ответ, и он ничего не записывает. Только глядит на меня и думает. Потом говорит:

— У тебя бывают грезы, Грейс?

А я говорю:

— Что вы имеете в виду, сэр?

Должно быть, он хочет знать, мечтаю ли я о будущем, строю ли планы на дальнейшую жизнь; по-моему, это жестокий вопрос. Ведь я понимаю, что пробуду здесь до са-

мой смерти, откуда же взяться радужным надеждам? Или, может, он интересуется, грежу ли я наяву, придумываю ли себе роман с каким-нибудь мужчиной, подобно молоденьким девушкам; предполагать это столь же жестоко, если не больше, и я отвечаю, чуть-чуть сердито и с упреком:

— К чему же мне грезы, сэр, не очень-то красиво с вашей стороны спрашивать такое.

— Ты, я смотрю, неправильно истолковала мой вопрос. Я всего только спросил, видишь ли ты сны по ночам?

Я говорю, немного резко, потому что все это одно его господское неразумие, да к тому же я еще сержусь:

— Все видят, сэр, по крайней мере, я так считаю.

— Конечно, Грейс, но ты... ты видишь? — говорит он. Он не заметил моего тона или предпочел не обращать на него внимания. Я могу ему бог знает что нарассказать, и он, думаю, не упадет в обморок, не будет потрясен и даже не очень удивится, он только запишет мои слова. Допускаю, что его и впрямь интересуют мои сны, ведь сон может многое значить, во всяком случае, в Библии про это сказано — там, например, где фараону снятся тучные коровы и тощие, а Иаков вместе с ангелами ходит вверх и вниз по лестнице. Есть даже одеяло в честь этого. Так и называется — «Лестница Иакова».

— Вижу, сэр, — говорю я.

Он говорит:

— Что ты видела прошлой ночью?

Мне снилось, что я стою в дверях кухни дома мистера Киннэра. Это летняя кухня; я только-только кончила отскребать пол, я знаю это, так как юбка моя еще подоткнута, ноги босые и мокрые, я даже не успела обуть башмаки на деревянной подошве. Тут же, почти рядом, какой-то мужчина, он снаружи, на ступеньках, ведущих к крыльцу, это разносчик, вроде Джеремайи, у которого я однажды купила пуговицы для нового платья, а Макдермот приобрел четыре рубашки.

Но это не Джеремайя, это совсем другой человек. Короб его раскрыт, товары рассыпались по земле — ленты, пуговицы, гребни, куски тканей, до чего же они яркие во сне; шелка, кашемировые шали, набивные ситцы блестят на солнце, потому что день ясный и на дворе разгар лета.

Я чувствую, что где-то видела этого человека, но разносчик стоит, отвернув лицо, и я не могу понять, кто он такой. Я сознаю, что он глядит вниз, на мои голые ноги, голые от самых колен и не слишком-то чистые после мытья полов, но все равно — ноги есть ноги, чистые они или грязные, и я не опускаю юбку. Я думаю: «Пусть себе смотрит, бедняга, там, откуда он явился, ничего такого, видно, нету. Он, должно быть, чужой в здешних краях, проделал долгий путь, и еще у него мрачноватый и какой-то несытый взгляд; или, может, мне это кажется во сне».

Но вот он уже никуда не глядит, он пытается мне что-то продать. У него оказалась одна моя вещь, она мне нужна, но я без денег и не могу ее выкупить. «Давай меняться, — предлагает он, — давай поторгуемся. Ну, отвечай, что дашь взамен?» В голосе его звучат поддразнивающие нотки.

То, что он присвоил, — моя рука, точнее, кисть. Теперь я это вижу, она белая, высохшая; держа кисть за запястье, он размахивает ею в воздухе, словно перчаткой. Но потом я вижу и другое: обе руки у меня на месте, в целости и сохранности, и кисти, как обычно, выглядывают из рукавов, и я уже знаю, что третья рука принадлежит какой-то другой женщине. Та повсюду ищет ее, и если сейчас я снова заберу обратно эту руку, женщина скажет, что я воровка; нет, я больше не хочу этой руки, потому что ее наверняка отрезали. И в самом деле, вот она — кровь, она каплет вниз, густая, словно сироп; но я совсем не испытываю того ужаса, который наяву всегда нападает на меня при виде крови; я волнуюсь из-за другого. Где-то позади слышатся звуки флейты, они действуют мне на нервы.

— Уходи, — говорю я разносчику, — уходи сию же минуту. — Однако мужчина по-прежнему стоит, отвернув голову, и не собирается двигаться с места, и меня охватывает подозрение, что он, может быть, смеется надо мной.

Но следующая моя мысль о другом: «Кровь зальет чистый пол».

— Не помню, сэр, — говорю я. — Не могу вспомнить, что видела во сне прошлой ночью. Что-то неясное, мутное. — И он записывает мои слова.

У меня так мало своего собственного — ни родственников, ни имущества; о свободе, о покое и поминать не стоит, мне надо хоть что-то сохранить для себя самой; да и без этого даже — какая ему, по совести сказать, польза от моих снов?

И тут я слышу:

— Что ж, на одной ночи свет клином не сошелся; есть, как гласит старинная поговорка, много способов убить кошку.

Мне эта логика кажется странной.

— Я не кошка, сэр, — говорю я.

А он говорит:

— О, я помню, ты и не собака тоже. — И улыбается. И продолжает: — Вопрос вот в чем, Грейс: что ты такое? Рыба, или мясо, или вкусная копченая селедка?

— Прошу прощения, сэр? — говорю я.

Мне совсем не нравится, что меня называют рыбой, я охотно ушла бы из этой комнаты, да только не смею.

А он говорит:

— Давай начнем сначала.

А я говорю:

— С начала чего, сэр?

А он говорит:

— С начала твоей жизни.

— Я родилась, сэр, так же, как все остальные, — говорю я, все еще раздосадованная.

— У меня с собой твое признание, — говорит он, — позволь я прочту тебе, что там написано.

— На самом деле это не мое признание, — возражаю я, — это всего лишь то, что велел мне сказать адвокат и что сочинили газетчики; «признанию» можно верить не больше, чем дрянным листкам с печатным текстом, которые они всем навязывают. Когда я впервые увидела газетчика, я подумала: «Ну и ну, а мама твоя знает, что ты отлучился из дому?» Этот паренек был не старше, чем я, он не имел права писать в газету, потому что едва достиг возраста, когда начинают бриться. Они все были такие, у всех молоко на губах не обсохло, они бы не распознали правды, даже если б правда сама далась им в руки. Они лгали, что мне восемнадцать, или девятнадцать, или что почти двадцать, когда мне только-только исполнилось шестнадцать; они даже не могли толком запомнить, кого как зовут, писали имя Джейми Уэлша на разный лад: Уэлш, Уэлч, Уолч; фамилию Макдермот тоже путали, то одно «т», то два, а Нэнси у них вообще звалась Энн, хотя ее отродясь никто так не называл; разве можно было ждать, что они разберутся во всем остальном? Да они что угодно выдумают, лишь бы им самим это было на руку.

— Грейс, — говорит он, когда я умолкаю, — кто такая Мэри Уитни?

Я вскидываю на него глаза.

— Мэри Уитни, сэр? Да где же вы раздобыли это имя?

— Оно стоит под твоим портретом, — говорит он. — И перед твоим признанием. *Грейс Маркс, она же Мэри Уитни.*

— Ах да, — говорю я. — Конечно. Я там на себя не слишком-то похожа.

— А на Мэри Уитни? — говорит он.

— О, это просто имя, сэр, которым я назвалась в Льюистоне, в таверне, когда мы с Макдермотом бежали из дому. Макдермот сказал, что никто не должен знать, как меня зовут по-настоящему, — на случай, если нас уже разыскивают. Помню, в этот момент он

крепко сжал мою руку. Хотел убедиться, что я сделаю как велено.

— И ты произнесла первое же имя, пришедшее тебе в голову?

— Нет, сэр, — говорю я. — Мэри Уитни была когда-то моим близким другом. К тому времени она уже умерла, сэр, и я подумала, что Мэри вряд ли стала бы возражать, если б я взяла ее имя. Иногда ведь она давала мне поносить свою одежду.

С минуту я молчу, соображая, как правильно все объяснить.

— Она всегда очень по-доброму ко мне относилась, — говорю я. — Без нее это была бы совсем другая история.

***

От доктора Сайлона Джордана,
проживающего в доме майора С. Д. Хамфри, Лоуэр-Юнион-стрит,
Кингстон, Канада-Уэст,
доктору Эдварду Мэрчи, Дорчестер, Массачусетс,
Соединенные Штаты Америки.

Май, 15-е, 1859 г.

Дорогой Эдвард,

пишу тебе, допоздна засидевшись за работой (когда-то — помнишь? — мы засиживались вместе), пишу в стенах дьявольски стылого дома; в этом смысле он вполне может соперничать с нашим лондонским обиталищем. Впрочем, скоро здесь станет слишком тепло, наступит пора влажных испарений, летних хворей и моих новых сетований — теперь уже на жару.

Спасибо тебе за письмо и за приятные новости, в нем содержащиеся. Итак, ты сделал предложение очаровательной Корнелии и получил согласие! Надеюсь, старый приятель будет прощен, если не выразит крайнего изумления при этом известии: тема близкой женитьбы слишком явственно проступала между строк твоих писем — адресату не требовалось особой проницательности, дабы догадаться, чем кончится дело. Прими, пожалуйста, мои искренние поздравления. Судя по тому, что мне ведомо о мисс Рутерфорд, ты счастливчик. В минуты, подобные этой, я испытываю зависть ко всем, кто обрел земной рай, отдав свое сердце; но, быть может, я завидую лишь тому, что у каждого из них имелось сердце, которое можно отдать. Мне часто кажется, что я его лишен, что у меня на месте сердца — обыкновенный камень, принявший его форму, и я, стало быть, обречен, если вспомнить слова Уордсворта, «блуждать одиноко, как облако»...

Ты был так добр, что, утопая в блаженстве, не позабыл осведомиться о течении моих дел с Грейс Маркс. Пока что мне почти не о чем тебе доложить, но поскольку методы, мною используемые, дают эффект не сразу, я и не ждал скорых результатов. Моя цель — пробудить спящую часть ее мозга, проникнуть в подсознание и отыскать воспоминания, волей-неволей там погребенные. К памяти Грейс Маркс я приближаюсь, точно к запертому ящику, мне необходимо подыскать к нему ключ, но на данный момент, должен признаться, я не особенно продвинулся в поисках.

Мне бы помогло, если бы она действительно была безумна или, по крайней мере, чуть более безумна, нежели кажется; до сих пор она проявляла самообладание, которому могла бы позавидовать герцогиня. Никогда прежде я не знал женщины до такой степени сдержанной. Кроме инцидента в день моего приезда — к сожалению, я опоздал и не смог его наблюдать, — не было никаких взрывов. Голос у нее тихий и мелодичный, и речь более грамотная, чем обычно у слуг, — этому она бесспорно научилась во время длительной работы в домах людей, стоящих выше ее по общественному положению; она сохранила лишь следы североирландского акцента, с которым, видимо, приехала, — лишь следы, что не столь уж и удивительно, ибо тогда она была ребенком и больше половины жизни провела на нашем континенте.

Она сидит на диванной подушке и вышивает своим идеальным швом, сидит с невозмутимым видом, поджав губы, точно благовоспитанная гувернантка, а я, примостившись напротив и уперев локти в стол, ломаю голову и тщетно пытаюсь раскрыть ее, словно устрицу. И хотя она ведет беседу в манере внешне вполне открытой, она ухитряется сказать мне очень и очень мало, вернее — очень мало о том, что я хочу выяснить; мне удалось порядочно узнать о положении ее семьи до эмиграции, о ее раннем детстве, о том, как они переплывали Атлантический океан, но все это выглядит довольно заурядно — постоянная бедность, невзгоды и прочее в том же роде. Люди, верящие в наследственный характер безумия, могли бы возрадоваться, услышав, что отец ее был пьяницей и, возможно, даже поджигателем; однако, вопреки ряду теорий, я отнюдь не убежден, что подобные склонности непременно наследуются.

Что до меня, то, если бы случай Грейс Маркс не был так захватывающе увлекателен, я мог бы сам сойти с ума — от невообразимой скуки; здесь почти не с кем общаться и уж точно нет никого, кто разделял бы мои взгляды и интересы; единственное исключение — доктор Дюпон. Он здесь тоже гость, как и я; но еще он — горячий приверженец шотландского безумца Брейда, да и сам со странностями. Короче, тут не отдохнешь как следует и не развлечешься; я решил испросить у своей хозяйки разрешения покопаться в саду за домом — сад в полном запустении,— вырастить несколько кочнов капусты и еще что-нибудь, просто забавы ради. Видишь, до чего довели человека, в жизни своей, кажется, ни разу не бравшего в руки лопаты!

Глубокая ночь, пора завершать письмо и отправляться в свою ледяную одинокую постель. Желаю тебе от души всего самого лучшего; уверен: ты ведешь жизнь куда более полезную и менее бестолковую, чем

твой давний друг
Саймон.

***

Макдермот был мрачен и груб. В характере его не проявлялось ничего, чем можно восхищаться... Он был шустрый малый, ловкий настолько, что скакал, точно белка, по кольям забора и, разбежавшись, перепрыгивал через ворота на пяти замках; лишь бы не возиться с ключами.

Грейс имела живой нрав, приятные манеры и вполне могла стать объектом ревности для Нэнси... Немало поводов полагать, что вовсе не по ее наущению совершились эти кровавые злодеяния, что она была не зачинщицей в этом кошмарном деле, а только несчастной жертвой обмана. Абсолютно ничто не подтверждало, будто в натуре Грейс есть черты, которые, развившись, могут превратить ее в то самое воплощение лютого зла, каким пытался представить девушку Макдермот; в своем признании он, можно сказать, обошел половину обвинений, ему предъявленных. Его пренебрежительное отношение к истине было известно всем...

Уильям Харрисон,
«Воспоминания о трагедии Киннэра»,
написанные для газеты «Ньюмаркит эра», 1908 г.

***

Грейс Маркс была... девушка хорошенькая и очень толковая в работе, но по природе своей молчаливая и угрюмая. Трудно бывало понять, довольна она чем-нибудь или нет... Когда заканчивалась дневная работа, мы с ней обычно оставались в кухне, предоставленные самим себе, [домоправительницу] на весь вечер забирал наверх хозяин. Грейс очень ревниво относилась к тому, что между ней и домоправительницей делались различия, женщину эту она ненавидела, часто вела себя с ней дерзко и вызывающе. «Чем она лучше нас? — то и дело говорила Грейс. — С какой стати с ней положено обращаться как с леди, почему она ест и пьет все самое вкусное? Она и по рождению не выше нас, и по образованию...»

Красота Грейс, конечно, влекла меня к ней, хотя я чувствовал: что-то в девушке мне не нравится; но я был парень необузданный, гуляка, и характер женщины, если она молодая и симпатичная, меня мало интересовал. Грейс была замкнутой, гордой, и добиться успеха оказалось совсем не легко. Но чтоб завоевать ее расположение, я с готовностью выслушивал все ее возмущенные речи и жалобы.

Джеймс Макдермот — Кеннету Макензи
в пересказе Сусанны Муди;
«Жизнь на вырубках», 1853 г.

***

Уже середина ночи, но время не останавливается, оно движется по кругу, возвращаясь назад, как солнце и луна на высоких часах в гостиной. Скоро рассветет. Скоро новый день придет. Я не могу отменить ни этот ранний взрыв света, ни — потом — крушение, гибель дня и наступившую тьму; день всегда один и тот же, он обязательно возвращается, совершив свой путь вокруг оси, словно стрелка циферблата. Он начинается с позавчера, за позавчера следует вчера, а за вчера — уже и самый день, который однажды закончится не так, как остальные. Суббота. День *катастрофы*. День, когда приходит мясник.

Как описать доктору Джордану этот день? Мы ведь уже почти до него добрались. Я могу припомнить, что сказала при аресте и что велел мне сказать мистер Макензи, адвокат, и что я не сказала даже ему, и что сказала на суде, и что потом — кстати, это было совсем другое. Я не забыла, что́ будто бы сказала, по словам Макдермота, и что должна была сказать по мнению других, потому что всегда найдутся люди, которые сами сочинят для тебя речи да еще вложат их тебе в уста для твоей же пользы; такие люди напоминают ярмарочных фокусников, умеющих говорить твоим голосом, и ты тогда делаешься просто глупой куклой у них в руках. На то и было похоже во время суда. Я сидела на скамье подсудимых, вроде бы живая, но с таким же успехом я могла быть сделана из тряпья, набита ватой и могла вдобавок иметь фарфоровую голову; меня заперли внутри куклы, изображавшей меня самое, и мой настоящий голос не сумел прорваться наружу.

Я сказала, что помню кое-что из того, что делала. Но есть другие вещи, сказали они, которые я делала, но про которые говорю, что совершенно не могу их вспомнить.

Сказал ли он: «Я видел тебя во дворе ночью, при свете луны, в ночной рубашке»? Сказал ли он: «Кого ты ждала? Мужчину?» Сказал ли он: «Я плачу хорошее жалованье, но требую взамен хорошей работы»? Сказал ли: «Не тревожься, я ничего не открою твоей госпоже, это будет наша тайна»? Сказал ли: «Ты славная девушка»?

Могло быть и так, что сказал. Но все это с тем же успехом могло мне присниться.

Сказала ли она: «Думаешь, я не знаю, что́ ты затеяла?» Сказала ли: «В субботу я отдам тебе твое жалованье и можешь убираться; все наконец закончится, и слава Богу!»?

Да, это она действительно говорила.

Сидела ли я потом съежившись на ступеньке за кухонной дверью и плакала? Обнял ли он меня? Позволила ли я ему это сделать? Сказал ли он: «Грейс, почему ты плачешь?» Сказала ли я: «Хочу, чтоб она сдохла»?

Нет, нет. Конечно, я этого не говорила. По крайней мере, вслух. И на самом деле я не желала ей смерти. Я только хотела, чтоб ее тут не было, — то есть хотела того же, чего и она от меня.

Оттолкнула ли я его? Сказал ли он: «Скоро я заставлю тебя переменить обо мне мнение»? Сказал ли: «Я открою тебе один секрет, если пообещаешь его хранить. А если выдашь, то жизнь твоя и гроша ломаного не будет стоить»?

Такое могло случиться.

Я пытаюсь вспомнить, как выглядел мистер Киннэр, чтобы рассказать про него доктору Джордану. Мистер Киннэр всегда был добр ко мне, — во всяком случае, я произне-

су что-нибудь вроде этого. Но точно я ничего не в силах восстановить. По правде говоря, несмотря на все, что я когда-то думала о нем, он полностью исчез из моей памяти; он исчезал постепенно, год за годом, выцветал, как платье после бесчисленных стирок, и что теперь от него осталось? Расплывчатый контур. Несколько пуговиц. Иногда — голос; но ни глаз, ни рта. Каким же он действительно был при жизни? Об этом нигде не писали, даже в газетах; газетчики, все как один, толковали про Макдермота, ну и про меня тоже — про то, как мы были одеты да как выглядели, мистер Киннэр их ничуточки не занимал, потому что гораздо важнее быть убийцей, чем убитым, убийца намного интереснее; а теперь его больше нет. Помню, как он спал в своей кровати и, наверное, видел сны, когда по утрам я вносила чай и лицо его было прикрыто смятой простыней. Здесь, в темноте, я умею видеть многое, но его не вижу никогда.

Я перечисляю, пересчитываю памятные мне вещи мистера Киннэра. Золотая табакерка, телескоп, небольшой компас, перочинный нож, золотые часы, серебряные ложки, которые я чистила, канделябры, украшенные фамильным гербом. «*Живу надеждой*». Жилет из шотландки. Не знаю, куда все это подевалось.

Я лежу на жесткой и узкой кровати, на матрасе, обшитом грубым тиком, тик называется чехлом, хотя непонятно почему — это ведь матрас, а не часы. Матрас набит сухой соломой, она трещит, как дрова в огне, когда я переворачиваюсь, а если просто шевелюсь, то бормочет еле слышно: «Тише, тише». Тьма в этой комнате кромешная, а жарко, как в печи; если широко открытыми глазами пристально вглядываться в черноту, наверняка что-нибудь увидишь. Надеюсь, это будут не цветы. Но сейчас ведь время, когда они распускаются — красные цветы, блестящие, словно атлас, пунцовые пионы, похожие на пятна густой краски. Они растут из пустоты; их почва — голое пространство и безмолвие. «*Поговори со мной*», — шепчу я, потому что уж лучше разговоры, чем эти садовые кусты, медленно поднимающиеся в тишине, и темно-алые атласные лепестки, каплющие со стены.

Наверное, я сплю.

Я в коридоре, вошла в дом через черный ход, ощупью двигаюсь вперед. Едва могу различить обои; вообще-то они были зеленые. Вот лестница, ведущая наверх, вот перила. Дверь спальни полуоткрыта, и все слышно. Босые ноги шлепают по ковру в красных цветах.

«Я знаю, ты от меня прячешься, выходи немедленно, или я тебя найду, схвачу, а уж когда ты будешь у меня в руках, тогда один Бог знает, что я сделаю».

Затаив дыхание, я стою за дверью, слушаю, как бьется мое сердце. Ой, нет, ой, нет, нет, ой, нет.

«Я иду, уже иду, слышишь? Ты никогда мне не повинуешься, никогда не делаешь то, что я велю, скверная ты девчонка. Теперь тебя ждет наказание».

Я не виновата. Как же мне поступить, куда бежать?

«Ты должна отпереть дверь, ты должна растворить окно, ты должна впустить меня».

— Взгляни же, — шепчу я, — взгляни на эти распавшиеся лепестки. Что ты сделала!

Скорее всего, я сплю.

Ночь; я во дворе. В сиянии месяца видны деревья, дорожка, колья забора и мои голые ноги на гравии. Но едва я подхожу к парадной двери, оказывается, что солнце только-только садится; белые колонны дома порозовели, белые пионы пламенеют в закатном свете. Руки у меня онемели, я не чувствую кончиков пальцев. Зато ощущаю запах свежего мяса; поднимаясь от земли, он разливается вокруг, хотя я сказала мяснику, что мясо нам не нужно.

На ладони у меня знак беды. С ним я, должно быть, родилась на свет. Я несу его с собой повсюду. Когда *он* прикоснется ко мне, несчастье перейдет на *него*.

Мне кажется, что я сплю.

Я просыпаюсь с петухами и знаю, где нахожусь. Я в гостиной. Я в буфетной. Я в подвале. Я в своей камере под кусачим тюремным одеялом, которое, вероятно, сама и подшивала. Все, что мы носим, все, чем пользуемся днем или ночью, сделано нашими руками; эту кровать я тоже сделала сама и теперь лежу в ней.

Сейчас утро, пора вставать, сегодня я должна продолжить свою историю. Или она должна продолжить наше общее с ней движение, неся меня в себе по намеченному пути, прямо к концу, неся рыдающую, точно целая похоронная процессия, и глухую, и полуослепшую, и накрепко запертую на замок, хотя я билась о стены своей тюрьмы, и кричала, и плакала, и молила самого Бога выпустить меня на волю.

Когда ты еще в гуще событий, это вообще не история, а всего только неразбериха: неясный шум, ослепление, осколки разбитого вдребезги стекла и разрубленного дерева; это как дом в бурю, как судно, стиснутое айсбергами либо увлекаемое быстриной, когда люди на борту бессильны сопротивляться течению. Только потом все становится похожим на историю. Когда ты ее рассказываешь — себе или кому-то другому.

***

— Меня не занимает проблема твоей вины или невиновности, — говорит Саймон. — Я не судья, я врач. И просто хочу знать, что́ в действительности ты можешь вспомнить.

Они наконец уже дошли до убийств. Он снова просмотрел все имевшиеся у него в руках документы — судебные отчеты, газетные статьи, признания подсудимых, даже пространные умозаключения миссис Муди. Он хорошо подготовился, но все равно очень напряжен; от него сегодня зависит, как поведет себя Грейс: расколется ли в конце концов, отдаст ли спрятанные сокровища или, наоборот, испугается и затаится, замкнется в своей скорлупе, словно улитка.

То, что он принес с собой, на сей раз к овощам отношения не имеет. Это серебряный канделябр, взятый на время у преподобного отца Верринджера и похожий — он надеется — на канделябры, которыми пользовались в доме мистера Киннэра и которые стащил оттуда Макдермот. Он его еще не предъявил, подсвечник лежит в плетеной корзине для покупок, позаимствованной у прислуги и скромно прислоненной сейчас к ножке стула. Саймон пока не решил, как распорядиться им во время беседы.

Грейс склонилась над своим вышиванием. Глаз она не поднимает.

— Раньше это никого не волновало, сэр, — произносит Грейс. — Все говорили мне, что я наверняка лгу, все хотели узнать больше. Кроме мистера Кеннета Макензи, адвоката. Но убеждена, даже и он мне не верил.

— Я тебе поверю, — говорит Саймон. Он сознает, что эти слова — весьма серьезное обязательство.

Грейс слегка поджимает губы, хмурит брови, ничего не отвечает. Он берет быка за рога.

— Итак, мистер Киннэр уехал в город в четверг, правильно?

— Правильно, сэр, — отвечает Грейс.

— В три часа? На лошади?

— Точно в это время, сэр. И предполагал вернуться в субботу. Я была во дворе, сбрызгивала водой полотняные носовые платки, разложенные на солнце для отбелки. Макдермот подвел ему лошадь. Мистер Киннэр ехал на Чарли, потому что повозку отправили в деревню, ее снова нужно было красить.

— Он что-нибудь сказал тебе в этот момент?

— Он сказал: «А вот и твой самый удачливый поклонник, Грейс, подойди и поцелуй его на прощанье».

— Он имел в виду Макдермота? Но Макдермот никуда не собирался, — недоумевает Саймон.

Грейс обращает к нему взгляд, в котором безразличие граничит с презрением.

— Он имел в виду лошадь, сэр. Он знал, что я очень люблю Чарли.

— И что ты сделала?

— Подошла и погладила Чарли, сэр. По носу. Но за всем этим из дверей зимней кухни наблюдала Нэнси, и она слышала, что он сказал, и ей его слова не понравились. Макдермоту тоже не понравились. Но тут не было ничего дурного. Просто мистер Киннэр любил всех поддразнивать.

Саймон глубоко вздыхает.

— Мистер Киннэр когда-нибудь делал тебе непристойные предложения, Грейс?

Она снова смотрит на него; теперь у нее на губах слабая улыбка.

— Не возьму в толк, что вы подразумеваете под «непристойными», сэр. Он никогда не сквернословил, разговаривая со мной.

— Он к тебе прикасался? Позволял себе вольности?

— Только самые обычные, сэр.

— Самые обычные? — повторяет Саймон. Он озадачен. Как объяснить, о чем идет речь, без грубой прямолинейности? Грейс ведь особа строгих правил.

— Обычные в обращении со слугами, сэр. Он был добрый хозяин, — говорит Грейс с глубокой серьезностью. — И щедрый, когда хотел.

У Саймона больше нет сил сдерживаться. Что значат ее слова? Она что, дает понять, будто ей платили за услуги определенного рода?

— Он лез к тебе под платье? Вы спали вместе?

Грейс поднимается со стула.

— Этих вещей я уже наслушалась досыта, — произносит она. — Мне здесь больше нечего делать. Вы такой же, как те, в сумасшедшем доме, и как тюремный священник, и как доктор Бэннерлинг со своими грязными мыслями.

Неожиданно для себя Саймон начинает извиняться перед ней, ничего к тому же не выяснив.

— Сядь, пожалуйста, — просит он, когда Грейс успокаивается. — Давай вернемся к ходу событий. Мистер Киннэр уехал в четверг, в три часа дня. Что было дальше?

— Потом Нэнси сказала, что послезавтра мы оба должны оставить дом и что у нее есть деньги рассчитаться с нами. Она сказала, что мистер Киннэр полностью на ее стороне.

— Ты этому поверила?

— Поверила насчет Макдермота. А насчет себя нет.

— Насчет себя нет? — переспрашивает Саймон.

— Она боялась, что мистер Киннэр станет относиться ко мне лучше, чем к ней. Я уже говорила вам, сэр, — она ждала ребенка, а с мужчинами такое часто бывает: женщине в интересном положении они предпочитают другую, не беременную, то же самое происходит у коров и лошадей, и если бы это случилось, Нэнси могла оказаться на улице. Все ведь ясно: она хотела убрать меня с дороги и чтобы, когда мистер Киннэр вернется, духу моего в доме не было. Голову даю на отсечение — он даже не догадывался о ее планах.

— И что ты потом делала?

— Плакала, сэр. В кухне. Я не хотела уходить, мне некуда было устроиться, все произошло так внезапно, я даже не успела поискать себе работу. И еще был страх, что в конце концов она вообще не заплатит мне жалованье и отошлет прочь, не дав рекомендательного письма. А что тогда? Макдермота пугало то же самое.

— А дальше? — спрашивает Саймон, потому что она вдруг умолкает.

— И как раз в это время, сэр, Макдермот сказал, что у него есть секрет, и я обещала держать язык за зубами, а надо вам знать, сэр, что раз я дала обещание, то считаю себя им связанной. И тогда он рассказал, что собирается зарубить Нэнси топором, да еще и удавить, и хочет пристрелить мистера Киннэра, когда тот возвратится домой, и взять все ценности; он объяснил, что я должна ему помочь, а затем уйти вместе с ним, если не хочу навлечь на себя беду, потому как иначе во всем обвинят меня. Если бы я не была так

расстроена, я бы над ним посмеялась, но я этого не сделала, сказать по совести, мы с Макдермотом уже пропустили по стаканчику-другому виски мистера Киннэра: зачем отказывать себе в удовольствии, раз нас все равно выгоняют? Нэнси ушла в гости к Райтсам, и нам была предоставлена полная свобода.

— Ты поверила, что Макдермот выполнит свои угрозы?

— Не вполне, сэр. С одной стороны, хотелось думать, что он просто хвастается — какой, мол, он смельчак и на что способен, это с ним бывало в пьяном виде; мой отец вел себя точно так же. Но при этом он был довольно серьезен, и мне стало страшно; в то же время у меня возникло ощущение, очень явственное, что все это предопределено и ничего нельзя избежать, что бы я ни делала.

— И ты никого не оповестила? Даже Нэнси, когда та вернулась из гостей?

— С чего бы это Нэнси мне поверила, сэр? — говорит Грейс. — Предостерегать ее было глупо до невозможности. Она могла подумать, будто я стараюсь отомстить ей за то, что она меня увольняет, или что это обыкновенная ссора между слугами и я свожу счеты с Макдермотом. Ведь кроме моих слов, никаких доказательств не было, Макдермот стал бы все отрицать и сказал, что я просто-напросто истеричка и дура. Но в то же время, если он и вправду решился на убийство, он мог прикончить нас с Нэнси прямо на месте, а я не хотела, чтоб меня убили. Самым правильным было бы уговорить Макдермота отложить задуманное до возвращения мистера Киннэра. Сначала он сказал, что собирается привести в исполнение свой план ближайшей ночью, но потом я все-таки убедила его этого не делать.

— Как же тебе это удалось? — спрашивает Саймон.

— Я сказала ему, что, если убить Нэнси в четверг, надо будет еще целых полтора дня всем, кто ни придет, отвечать на вопрос, куда она девалась. А если повременить, то нас, может быть, не успеют заподозрить.

— Понятно, — говорит Саймон. — Очень, очень разумно.

— Пожалуйста, не подсмеивайтесь надо мной, сэр, — говорит Грейс с достоинством. — Это нервирует и сбивает с толку, что совсем ни к чему, особенно если учесть, какие вещи вы просите меня вспомнить.

Саймон бормочет, что ничего такого не имел в виду. Он, кажется, готов все время просить у нее прощения.

— А потом? — спрашивает он, стараясь говорить мягко и ничем не выдать своего нетерпения.

— Потом Нэнси вернулась от соседей, оживленная, веселая, очень благодушная. Она всегда так вела себя: сначала вспылит, а потом притворяется, что ничего не произошло и мы все самые добрые друзья. По крайней мере, такое часто случалось в отсутствие мистера Киннэра. Она держалась дружелюбно, будто не велела нам только что убираться вон из дому, не говорила грубых слов, и все шло как обычно. Мы втроем поужинали в кухне, сделали салат из холодной ветчины с картошкой, добавив туда чеснока с грядки, и она смеялась и болтала. Макдермот был мрачен, неразговорчив, но это ничего не изменило, а потом мы с Нэнси отправились вместе в постель — когда уезжал мистер Киннэр, мы спали в одной комнате, потому что Нэнси боялась ночных грабителей. Она ничего не подозревала, но сама-то я проверила, хорошо ли заперта дверь спальни.

— Зачем?

— Я уже вам говорила, что всегда сплю с запертой дверью. А тут еще Макдермот придумал новую глупость — прогуляться по дому с топором. Он хотел убить Нэнси, пока она спит. Я сказала, что этого нельзя делать, так как он может по ошибке раскроить голову мне, но переубедить его оказалось трудно: он не хотел, чтобы Нэнси смотрела на него, когда он будет ее убивать.

— Это понять можно, — сухо говорит Саймон. — А что дальше?

— Ну, пятница началась совершенно мирно — на посторонний взгляд, сэр. Нэнси была весела и беспечна и даже не бранилась или бранилась не больше обычного. Макдермот с утра выглядел поприветливее вчерашнего: я ему объяснила: если он будет хо-

дить с такой угрюмой физиономией, Нэнси обязательно заподозрит, что он замышляет недоброе.

В середине дня явился молоденький Джейми Уэлш со своей флейтой: Нэнси просила его зайти. Она сказала, что, раз мистер Киннэр уехал, мы можем устроить вечеринку и отпраздновать... Что предстояло отпраздновать, я толком не помню, но Нэнси, когда бывала в хорошем настроении, становилась живой, общительной, любила петь и танцевать. Мы великолепно поужинали холодным жареным цыпленком с пивом, а затем Нэнси велела Джейми поиграть нам, и он спросил, нет ли мелодии, которую я хотела бы послушать, и был ко мне очень добр и внимателен; это пришлось не по нраву Макдермоту, и Макдермот сказал Джейми, чтоб тот перестал пялиться на меня, словно влюбленный идиот, потому что его от этого тошнит, и бедный Джейми стал красным как рак. Тогда Нэнси сказала Макдермоту, чтобы он прекратил дразнить мальчика, разве он не помнит, как сам был когда-то таким же точно, и пообещала Джейми, что тот вырастет красавцем — она легко говорила подобные вещи, — куда красивее Макдермота с его вечно раздраженным, надутым видом, и что в любом случае о мужчине судят не по красоте, а по делам; и Макдермот поглядел на нее с откровенной ненавистью, а она притворилась, что ничего не заметила. Потом она послала меня в подвал принести еще виски, поскольку к тому времени графины, которые были наверху, мы уже осушили до дна.

После этого мы смеялись и пели; точнее, сначала смеялась и пела одна Нэнси, а потом я к ней присоединилась. Мы спели «Розу Трэли», и я вспомнила Мэри Уитни, и мне ужасно захотелось, чтобы она была здесь; она-то уж знала бы, что делать, и вытащила меня из передряги. Макдермот петь отказался: настроение у него ничуть не улучшилось; он и не танцевал, хотя Нэнси всячески его подбивала, говоря, что теперь у него есть шанс показать, какой он ловкий танцор. Она хотела, чтобы мы расстались друзьями, но он к этому вовсе не стремился.

Постепенно веселье наше иссякло. Джейми пожаловался, что устал и больше играть не в силах, а Нэнси сказала, что пора спать. Макдермот вызвался проводить Джейми через поле, думаю, с намерением убедиться, что мальчик в порядке и действительно отправился домой. Но к тому времени, когда Макдермот возвратился, мы с Нэнси уже поднялись в комнату мистера Киннэра и заперли дверь на ключ.

— В комнату мистера Киннэра? — удивляется Саймон.

— Это Нэнси придумала, — говорит Грейс. — Она сказала, что его кровать шире и в такую жару прохладнее, а еще у меня, мол, есть привычка брыкаться во сне, и мистер Киннэр все равно об этом не узнает, потому как постель-то убираем мы сами, а не он, а если и узнает — не рассердится; ему, без сомнения, понравилась бы идея уложить в свою постель двух служанок разом. Она выпила несколько бокалов виски и несла всякую чушь.

В конце концов, сэр, я все-таки предупредила Нэнси. Когда она расчесывала волосы, я сказала: «Макдермот хочет вас убить». Она засмеялась и сказала: «Ничего странного. Я бы сама охотно его прикончила. Любви между нами никогда не было». «Он серьезно хочет», — сказала я. «Он ни в чем не бывает серьезным, — сказала она беззаботно. — Кичится, хвастается без конца, да только все это сплошное сотрясение воздуха».

И тогда я поняла, что ничего не могу сделать для ее спасения.

Она уснула, едва коснувшись головой подушки. Я сидела, причесываясь перед зеркалом при свете одной-единственной свечи, и обнаженная женщина на картине смотрела на меня из рамы — та, что мылась во дворе, и другая, с павлиньими перьями, тоже смотрела; они обе улыбались мне, и улыбка у них была какая-то нехорошая.

В ту ночь во сне мне явилась Мэри Уитни. Это случилось не впервые; она приходила и раньше, но никогда не произносила ни слова; она развешивала выстиранное белье и смеялась, или снимала кожуру с яблока, или пряталась за простыней, сушившейся на чердаке; все это она делала до той поры, пока с ней не стряслась беда, и, если она мне снилась такой, я пробуждалась спокойная, словно она еще жила и радовалась жизни.

Но то все были видения прошлого. На этот раз Мэри возникла в комнате, где я лежала, то есть в спальне мистера Киннэра. Она стояла возле кровати в знакомой ночной ру-

башке, волосы ее струились по плечам, как в тот день, когда ее погребали; на левой стороне груди я видела ее сердце, ярко-красное, просвечивающее сквозь белую ткань. Но потом я поняла, что это вовсе не сердце, а красный войлочный игольник, который я сшила ей на Рождество и потом положила в гроб, под цветы и разбросанные лепестки; и я ощутила радость от того, что игольник все еще с ней и она не забыла меня.

Она держала в руке стеклянный стакан для вина, внутри сидел жук-светлячок, и от него шло холодное зеленоватое сияние. Мэри была очень бледна, но глядела на меня с улыбкой, а затем убрала руку, прикрывавшую стакан, и светлячок вылез наружу и заметался по комнате, и я поняла, что это ее душа, пытающаяся найти выход, но окно было закрыто, потом жук незаметно куда-то исчез. Я проснулась, горько плача; слезы текли у меня по щекам, потому что я потеряла Мэри во второй раз.

Я лежала в темноте, слушая ровное дыхание Нэнси, в ушах моих отдавался стук собственного сердца — оно билось устало, глухо, словно я шла по бесконечно длинной дороге, которую была обречена пройти, независимо от того, хочу я этого или нет, и кто мог сказать, где она обрывается. Я боялась заснуть опять — до смерти боялась увидеть еще один такой же сон, и страх мой был ненапрасным, и предчувствия мои сбылись.

В этом новом приснившемся мне сне я ходила по какому-то чужому месту, и вокруг высились стены, серые и мрачные, как те камни, из которых делают дома в деревне, где я родилась, далеко отсюда, по другую сторону океана. Земля была усыпана серой галькой, и прямо из гравия росли пионы. Сперва это были только бутоны, маленькие и твердые, точно неспелые яблоки, но потом они раскрылись, превратившись в огромные темно-красные цветы с блестящими, как атлас, лепестками; а потом лепестки осыпались под ветром и легли на землю.

Если не считать красного цвета, они были очень похожи на пионы в саду перед домом мистера Киннэра, которые я увидела в первый же день — Нэнси как раз срезала последние, а теперь я смотрела на нее во сне, она была точно такая же, как в тот день: очень светлое платье в мелкую красную розочку с тремя оборками, соломенная шляпка, заслонявшая лицо. На руке у нее висела неглубокая корзинка для цветов; она обернулась и прижала руку к горлу, словно в испуге.

После этого я снова очутилась в каменном дворе, снова куда-то шла, и подошвы ботинок постукивали под подолом бело-голубой полосатой юбки. Я помнила, что такой юбки прежде никогда не носила, и, глядя на нее, ощутила страшную тяжесть и одиночество. Пионы продолжали прорастать сквозь камни; я знала, что их там не должно быть. Я протянула к одному из них руку, на ощупь он оказался каким-то высохшим, и я догадалась: он матерчатый.

Затем впереди, в отдалении я увидела Нэнси, она стояла на коленях с рассыпавшимися волосами, и кровь заливала ей глаза. Шею Нэнси обвивала белая бумажная косынка с синими цветами чернушки; косынка была моя. Нэнси протягивала ко мне руки, умоляя о пощаде, в ушах ее сверкали маленькие золотые сережки, я так часто завидовала ей, глядя на них. Я хотела побежать к ней, но не сумела; ноги мои продолжали двигаться тем же мерным шагом, точно они мне не принадлежали. Когда наконец я почти дошла до Нэнси, до того места, где она стояла на коленях, она улыбнулась. Одним ртом, глаз ее не было видно, их скрывали волосы и кровь, а потом она распалась на цветные пятна неправильной формы, рассеялась в воздухе; красные и белые матерчатые лепестки неторопливо уплыли за камни.

Потом внезапно стало темно, и я увидела человека со свечой, он стоял, загораживая лестницу, ведущую наверх, и стены подвала окружили меня со всех сторон, и я поняла: мне отсюда никогда не выбраться.

— Это снилось тебе до убийства? — спрашивает Саймон, не поднимая головы. Он лихорадочно пишет.

— Да, сэр, — говорит Грейс. — И много раз после. — Голос ее понижается до шепота. — Поэтому меня и отослали туда.

— Туда?

— В психиатрическую больницу, сэр. Из-за нехороших снов. — Она откладывает в сторону шитье и сидит, глядя на руки.

— Только из-за снов? — осторожно и тихо спрашивает Саймон.

— Они сказали, что это вообще были не сны, сэр. Что я не спала и все происходило наяву. Но об этом я не хочу больше говорить.

* * *

Листья на деревьях мало-помалу приобретают августовский вид — поблекшие, запыленные, сникшие, — хотя август еще не наступил. Саймон медленно идет к дому по невыносимо жаркой послеполуденной улице. Он несет обратно серебряный канделябр; он даже не подумал им воспользоваться. Канделябр оттягивает руку; на самом деле обе его руки от плеча до кисти до сих пор странно напряжены, будто его кто-то упорно тащит на толстой веревке. Чего он ждал? Конечно, возвращения памяти: о тех немногих решающих часах. Что ж, ожидания не сбылись.

Внезапно он вспоминает далекий вечер; в ту пору он учился в Гарварде. На экскурсию в Нью-Йорк его повез отец, тогда еще богатый и здоровый. Они слушали оперу. Это была «Сомнамбула» Беллини: простодушную и скромную деревенскую девушку по имени Амина обнаруживают спящей в спальне графа, куда она явилась в бессознательном состоянии; ее жених, другие крестьяне обвиняют девушку в том, что она шлюха, невзирая на протесты графа, который все понимает благодаря своим научным познаниям; потом, однако, все видят, как Амина, спящая, идет по шаткому мосту, который у нее за спиной рушится в бурные воды. Невинность ее с этой минуты считается целиком доказанной, и она пробуждается, дабы вкусить заслуженное счастье.

Это притча о душе, нравоучительным тоном объяснял учитель латыни, поскольку «Амина» есть анаграмма слова «анима»[1]. Но почему, спрашивал себя тогда Саймон, душа изображена как нечто бессознательное? И еще одно, даже более интригующее: по чьей воле совершались прогулки, пока Амина спала? Вот вопрос, в котором для него теперь таятся важные смыслы, и разгадка не терпит отлагательств.

Была Грейс без сознания столько времени, сколько сама определила, или, напротив, все отчетливо понимала, как свидетельствовал Джейми Уэлш? Что в ее рассказе можно без колебаний принять на веру? К чему до́лжно отнестись скептически — к одной, двум, трем подробностям? Это действительно случай амнезии сомнамбулического типа или он, Саймон, попался на удочку? Нельзя делать категорические выводы: почему надо было ждать от нее одной только правды — чистой, абсолютной, исчерпывающей? Любой в ее положении стал бы что-то подправлять, перетолковывать — лишь бы произвести хорошее впечатление. Да и многое из того, что Грейс описывала, совпадает с ее признанием, опубликованным в печати; но в самом ли деле это довод в защиту? Не слишком ли очевидны совпадения? Интересно, думает Саймон, а что, ежели она готовилась по тому же тексту, которым пользовался и он сам? Желая получше его убедить?

Трудность в одном: он хочет, чтоб его убедили. Хочет, чтоб она была Аминой. Чтоб ее полностью оправдали.

Надо быть осмотрительным, говорит он себе. Надо как бы отступить назад. Если издали объективно оценить положение, то все происходившее между ними, несмотря на ее явный ужас перед убийством и внешнюю уступчивость, было борьбой интересов. Она не отказывалась отвечать; совсем нет. Она рассказала ему очень многое, но только то, что сама хотела рассказать. Чего хочет он, того именно она и не говорит; а что говорит, то, пожалуй, не содержит главных сведений. Сведения о вине и невиновности — они могли быть умышленно скрыты. Но он все равно выпытает их у нее во что бы то ни стало. Она уже попала к нему в руки, но хватит ли у него сил вытащить ее? Вытащить из бездны — наверх, к свету? На свободу из темных морских глубин?

---

[1] Душа (*лат.*).

Ему самому странно, что он размышляет о Грейс в столь высокопарных выражениях. Но он желает ей добра, объясняет он себе. Он стремится спасти ее, ну конечно же спасти, просто он обдумывает пути к спасению.

А она? Как она рассуждает? Если ей есть что утаивать, она может захотеть остаться в воде, во тьме, в привычной стихии. Может испугаться, что не сумеет дышать на свету.

Саймон строго велит себе положить конец всем этим пышным метафорам, прекратить эту театральщину. Грейс, вполне вероятно, и вправду страдает амнезией. Или нет. Или она просто-напросто виновна.

Разумеется, Грейс может быть психически больна, и отсюда это изумительно ловкое умение внушать доверие, присущее опытным маньякам. Некоторые из ее воспоминаний, особенно те, что связаны с днем убийств, наводят на мысль о фанатизме религиозного толка. Однако их же легко истолковать как наивные суеверия и страхи простой души. Единственное, чего он добивается, — это ясность, какова бы она ни была, но ясность есть именно то, что она от него прячет.

Быть может, во всем виноваты его методы. Конечно, примененные им способы внушения не дали результатов: затея с овощами катастрофически провалилась. Быть может, он был слишком мягок, слишком сговорчив; быть может, более решительное поведение принесло бы плоды. Быть может, наконец, ему следовало благословить Жерома Дюпона на нейрогипнотический эксперимент и постараться самому при этом присутствовать и даже подготовить список вопросов. Он не верит в этот метод. Однако как знать, вдруг всплывет что-то новое; вдруг откроется нечто такое, что сам он оказался не в силах обнаружить. Попробовать, по крайней мере, стоит.

***

Адвокатские конторы Брэдли, Портера и Макензи размещаются на Кинг-стрит-уэст в новом и несколько вычурном здании из красного кирпича. В самом дальнем офисе за высокой конторкой восседает тощий юноша с бесцветными волосами и прилежно скребет по бумаге пером с металлическим наконечником. При виде Саймона он вскакивает, разбрызгивая вокруг чернильные капли, словно собака, отряхивающаяся после купанья.

— Мистер Макензи ждет вас, сэр, — говорит юнец. Перед словом «Макензи» и после него он делает почтительные паузы.

«Совсем мальчик,— думает Саймон. — Это, наверное, первая его должность». Паренек ведет посетителя по коридору, устланному ковром, и стучит в массивную дубовую дверь.

Кеннет Макензи пребывает в своем укромном святилище. Точно рамой, он окружен полированными книжными полками, где красуются юридические фолианты в богатых переплетах. Среди полок три картины, на них изображены скачки. На письменном столе высится чернильный прибор в пышном византийском стиле — замысловатое витье и слепящий блеск желтого металла. Хозяин кабинета совершенно не похож на то, что предполагал увидеть Саймон; это не герой-избавитель Персей и не рыцарь Красного Креста. Макензи — приземистый человечек, сложением напоминающий грушу: узкие плечи, уютный круглый животик, вспухающий под жилетом из шотландки; нос покрыт оспинами и бугорками, а за очками в серебряной оправе посверкивают маленькие, но зоркие глазки. Он поднимается из кресла, простирая к гостю руки и улыбаясь; два передних зуба у него длинные, словно у бобра. Саймон пробует представить себе, как он выглядел шестнадцать лет назад, когда был молод, моложе, чем Саймон теперь, но у него ничего не выходит. Кеннет Макензи наверняка казался зрелым мужчиной даже в пятилетнем возрасте.

Тем не менее это человек, который некогда спас жизнь Грейс Маркс, одолев все препоны: неопровержимые факты, оскорбленное общественное мнение, путаные и недостоверные показания самой подсудимой. Саймону было бы любопытно выяснить, как это ему удалось.

— Доктор Джордан. Весьма рад.

— Очень любезно, что вы согласились уделить мне время, — говорит Саймон.

— Пустяки. Я получил письмо от преподобного Верринджера; он весьма лестно отзывается о вас и кое-что рассказал мне о вашей деятельности. Я готов в любой час послужить интересам науки; кроме того, как вы бесспорно слышали, для нас, адвокатов, похвастать своими подвигами — одно наслаждение. Но прежде чем мы перейдем к делу...

Приносят графин, сигары. Шерри отличный. Мистер Макензи себе явно ни в чем не отказывает.

— Вы не из семейства знаменитого мятежника?[1] — спрашивает Саймон, чтобы как-то начать беседу.

— Отнюдь; хотя, знаете, я был бы, пожалуй, не прочь набиться ему в родственники. Сейчас это уже не опасно, в отличие от прежних лет; старика давно амнистировали, теперь он у нас прямо отец реформ. Но в то время страсти вокруг него кипели бурные; такое родство могло в два счета затянуть петлю на шее Грейс.

— Каким образом? — осведомляется Саймон.

— Если бы вы перелистали старые газеты, вы бы заметили, что доброе слово для Грейс нашлось только у сторонников Макензи. Враги его были за то, чтоб девушку повесить — и Уильяма Лайона Макензи заодно; кто-то еще, возможно, захотел скрыть свои республиканские пристрастия.

— Но ведь связи никакой!

— Ни малейшей. В таких делах никогда не надо искать связь. Мистер Киннэр был членом консервативной партии, а Уильям Лайон Макензи принял сторону бедных шотландцев и ирландцев, вообще поселенцев-эмигрантов. Все и решили, что они с Грейс одного поля ягоды. Признаюсь честно — на процессе я обливался холодным потом от страха. Это было мое первое дело, понимаете, самое первое. Я только-только стал адвокатом. Я знал: процесс или вознесет меня, или погубит; и, как выяснилось, он действительно помог мне встать на ноги.

— Как же вы взялись за это дело? — интересуется Саймон.

— Дорогой вы мой, мне его *всучили*. Ситуация сложилась щекотливая, никто больше не хотел за него браться. Фирма приняла дело pro bono[2] — у обвиняемых деньги, разумеется, отсутствовали,— и поскольку я был самый молодой, выбор пал на меня, да еще почти в последнюю минуту: на подготовку оставалось меньше месяца. «Ну, голубчик, — объявил мне старый Брэдли, — вот оно, твое первое дело. Всем ясно, что ты его проиграешь, поскольку сомнений в их вине никаких; но значение имеет, *как* ты это сделаешь. Тут важен стиль. Можно проиграть некрасиво, неуклюже, а можно изящно. Дай нам полюбоваться тобой — пусть все будет очень элегантно. А уж мы с коллегами станем тебя подбадривать». Старина Брэдли думал, что делает мне одолжение; возможно, так оно и было.

— Вы, конечно, защищали обоих, — говорит Саймон.

— Да. Оглядываясь назад, я вижу, что допустил ошибку, ибо их интересы нисколько не совпадали. На процессе вообще было много неправильного, но судебная практика в ту пору не отличалась особой строгостью установлений. — Макензи хмуро глядит на свою потухшую сигару.

Саймона вдруг осеняет, что бедняга не получает от курения даже крохотного удовольствия; он просто считает, будто обязан курить, ибо сигара хорошо сочетается со скачками на картинах.

— Значит, вы познакомились с нашей Повелительницей Беспамятства? — спрашивает Макензи.

---

[1] Уильям Лайон Макензи (1795—1861) — канадский политический деятель и публицист, в 1837 г. возглавивший восстание в Верхней Канаде и образовавший «временное правительство Канадской республики». В 1851—1858 гг. был членом парламента.

[2] *Здесь*: бесплатно (*лат.*)

— Вы так ее называете? Да, я провел много времени наедине с ней, пытаясь установить...

— Виновна ли она?

— Безумна ли она. По крайней мере, была ли безумна во время совершения убийств. Это, полагаю, отчасти явилось бы доказательством ее невиновности.

— Пошли вам Бог удачи, — говорит Макензи. — Лично я это так и не смог определить.

— Судя по ее словам, она не помнит об убийствах, во всяком случае об убийстве Нэнси Монтгомери.

— Дорогой мой, — улыбается Макензи, — вы бы рот раскрыли от изумления, узнав, до чего распространены такие провалы памяти среди уголовников. Им очень редко удается припомнить, что они вообще совершили нечто нехорошее. Ведь как поступает эта публика? Изобьют человека до полусмерти, изрежут на мелкие кусочки, а потом заявляют, что всего-навсего легонько стукнули его по плечу горлышком бутылки. Забывчивость в подобных случаях гораздо выгоднее способности запоминать.

— Амнезия Грейс, по-моему, вполне правдоподобна, — возражает Саймон, — я пришел к этому выводу на основе прежнего своего клинического опыта. С другой стороны, у Грейс — хотя видно, что она не помнит сами убийства — бывают краткие проблески памяти, связанные с деталями тех дней: она может, например, перечислить все вещи, которые стирала, описать состязание по гребле, предшествовавшее ее собственному бегству через озеро. Она не забыла даже названия лодок.

— И как же вы проверили эти факты? По газетам, должно быть? — говорит Макензи. — А вам не пришло в голову, что ей ничего не стоило извлечь нужные подробности из того же источника? Преступники, если дать им возможность, готовы читать о себе до посинения. Они тщеславны не меньше писателей. Макдермот, признавшийся, что Грейс помогала ему в известном нам обоим предприятии с удушением, прекрасно мог позаимствовать свою идею у кингстонской «Кроникл энд гэзет», поскольку та выдвинула ее как непреложный факт еще даже до начала расследования. Кто-то из тамошних журналистов написал, что узел на шее жертвы не мог завязать один убийца: для этого, мол, требовались двое. Полная чепуха; уж коли на то пошло, никто не может, глядя на узел, точно сказать, сколько народу его завязывало — два человека, или двадцать, или вообще кто-то один. На суде я камня на камне не оставил от этого построения.

— А теперь вы переменили мнение и защищаете другую точку зрения...— говорит Саймон.

— Единственный способ упредить ход противника — держать в голове одновременно обе точки зрения. Не скажу, что в данном случае мне досталась непосильная задача. Но все-таки, знаете ли, я делал, что умел; человек может только то, что может, заметил где-то Вальтер Скотт. Людей в зале суда набилось видимо-невидимо, и духота — невзирая на ноябрьскую погоду — тоже стояла адская, да еще и пахло отвратительно. Но я все равно больше трех часов вел перекрестный допрос свидетелей. Клянусь вам, это потребовало недюжинной выносливости; впрочем, тогда я был моложе.

— Помнится, вы начали с того, что признали арест недействительным.

— Верно. Видите ли, Маркс и Макдермот были схвачены на территории Америки и без ордера на задержание. Я произнес превосходную речь о нарушении государственных границ, вспомнил про Хабеас корпус[1], про другие аналогичные вещи, но главный судья Робинсон пропустил это мимо ушей.

Потом я сделал попытку доказать, что мистер Киннэр был чем-то вроде паршивой овцы в стаде и не очень тверд в морали; тут я не погрешил против истины. К тому же он страдал ипохондрией. Ни один из этих фактов не имел касательства к его гибели, но я старался изо всех сил и особенно напирал на моральный аспект; не секрет же, что эти четверо то и дело прыгали из одной постели в другую, как во французском фарсе, и трудно было точно определить, кто где спал.

---

[1] Хабеас корпус акт — английский закон 1679 г. о неприкосновенности личности.

Затем я принялся гробить репутацию несчастной Нэнси Монтгомери. Я не чувствовал за собой вины оттого, что поносил ее самым последним образом: бедняжку это уже не могло задеть. Она, как вам известно, когда-то родила ребенка, он умер — и я склонен предполагать, по милости акушерок; на вскрытии обнаружилось, что она опять была беременна. Отцом несомненно являлся Киннэр, однако я из кожи вон лез, создавая образ некоего безвестного Ромео, который удавил свою возлюбленную из ревности. Тем не менее кролик, сколько я ни тянул его за уши, отказывался вылезать из шляпы.

— Наверное, потому, что никакого кролика в шляпе не было, — говорит Саймон.

— Совершенно правильно. Следующий мой фокус должен был состоять из манипуляций с рубашками. Какую кто носил, когда и почему. Макдермота поймали в одной из рубашек Киннэра; что отсюда следует? Я установил: Нэнси имела привычку продавать слугам поношенные вещи хозяина — с его разрешения и без оного; значит, ничего преступного в том, что Макдермот надел свою «тунику Несса»[1], могло не быть. К сожалению, на мертвое тело Киннэра кто-то напялил рубаху Макдермота, что, понятно, стало камнем преткновения; я старался замять сей факт, однако представитель обвинения обрушился на меня за это, и, слов нет, обрушился справедливо.

Наконец я решил навлечь подозрения на торговца мелочами; след от окровавленной рубашки, брошенной за дверь, вполне мог вести к нему, ибо он сбывал свой товар повсеместно. Успеха я не добился; согласно показаниям свидетеля, разносчик именно эту самую рубашку продал Макдермоту — на деле тот скупил у него целый мешок рубашек, — продал и был недостаточно деликатен, чтобы тут же бесследно исчезнуть. По какой-то причине, правда, он не пожелал явиться на процесс и подвергнуть риску собственную голову.

— Трусливый малый, — говорит Саймон.

— Еще бы! — со смехом кивает Макензи. — А когда очередь дошла до Грейс, тут уж, должен заметить, помощи я не получил вообще. Глупую девчонку нельзя было уговорить не надевать на себя пышный наряд убитой, у прессы и публики зрелище это вызвало вопль ужаса. Впрочем, если б я не растерялся, следовало бы использовать поступок Грейс как доказательство ее невиновности: мол, совесть у нее спокойна. Или — оно было бы даже лучше — ее невменяемости. Но в давние те времена мне недоставало хитрости.

В добавление скажу, что Грейс изрядно запутала суд. При аресте она уверяла, будто не знает, где находится Нэнси. Потом, на следствии, — будто догадывается, что Нэнси мертва и лежит в подвале, хотя сама не видела, как ее туда притащили. Однако на суде и в своем мнимом признании — это небольшое сообщение напечатала газета «Стар», ох и кругленькую же сумму отхватили они за него — девушка заявила, что видела, как Макдермот волочит Нэнси за волосы и сбрасывает с лестницы. Но она ни разу не призналась в своей причастности к удушению.

— Вам-то она позже призналась, — говорит Саймон.

— Разве? Не припоминаю.

— В тюрьме. Она сказала, что ее преследуют залитые кровью глаза Нэнси; во всяком случае, миссис Муди писала, что вы ей об этом доложили.

Макензи как-то неловко ерзает в кресле и опускает глаза долу.

— Разумеется, Грейс была в тяжком душевном состоянии. В смятении и тоске...

— А глаза?

— Миссис Муди, безмерно мною уважаемая, — говорит Макензи, — обладает довольно банальной фантазией и склонностью к преувеличениям. Своих персонажей она заставляет произносить безвкусно-напыщенные речи, совершенно невероятные в их устах. Макдермот — прощелыга и хам, даже я, защитник, с трудом наскреб несколько слов, умаляющих его вину; Грейс же — совсем дитя и к тому же ничему не учившееся. А насчет глаз... Понимаете, то, что напряженно предвосхищаешь в уме, часто потом воспринимается как реальность. Это можно наблюдать каждый день, слушая свидетельские показания.

---

[1] «Туника Несса» (в греческой мифологии) — роковой подарок, смертоносный дар.

— Значит, глаз не было?

Макензи снова ерзает на сиденье.

— Клясться всем святым не стану, но Грейс точно не произнесла ничего такого, что судьи могли бы счесть признанием, хоть и говорила, что ей жаль покойную Нэнси. Но это мог бы сказать любой.

— Безусловно, — кивает Саймон. Теперь он подозревает, что глаза изначально придумала вовсе не миссис Муди; ему интересно, чем еще в своем повествовании она обязана Макензи-рассказчику и его цветистому стилю. — Но ведь мы располагаем также заявлением Макдермота, сделанным буквально перед казнью, — произносит он вслух.

— Помню, помню; признание на эшафоте всегда успевает попасть в газеты.

— Чего же он так долго ждал?

— Просто до самого конца рассчитывал на смягчение наказания, поскольку Грейс оно было пожаловано. Он полагал, что они виновны в равной мере, а значит, и приговор должен быть одинаков; он не мог прилюдно обвинить девушку, не затянув как следует веревку на собственной шее, ибо тогда ему пришлось бы взять на себя баловство с топором и кое-что еще.

— А Грейс, в свою очередь, могла обвинять его почти безнаказанно, — говорит Саймон.

— Именно, — подтверждает Макензи. — И когда настал момент, она не преминула использовать удобную возможность. Sauve qui peut![1] У этой женщины железные нервы. Будь она мужчиной, из нее мог бы выйти неплохой адвокат.

— Но Макдермоту не отсрочили приведение в исполнение смертного приговора, — говорит Саймон.

— Разумеется, нет! Он безумно надеялся на отсрочку и все же исходил злобой. Он считал, что и тут виновата Грейс: в его глазах она, можно сказать, монополизировала рынок милосердия, и — я сам это читал — он возжаждал отмщения.

— Что до известной степени объяснимо, — говорит Саймон. — Насколько я помню, он заявил, что Грейс вместе с ним спустилась в подвал и задушила Нэнси собственной косынкой.

— Ну, косынку-то действительно нашли. Однако остальные показания не подтвердились, других улик не было. Макдермот уже изложил следствию несколько историй, вдобавок он всегда славился своей лживостью.

— Тем не менее, — возражает Саймон, — если стать на минуту адвокатом дьявола[2], то легко возникает другой вывод: из того, что у человека репутация лгуна, отнюдь не следует, будто он никогда не произносит ни слова правды.

— Резонно, — соглашается Макензи. — Обворожительная Грейс, вижу, втянула вас в веселенькую игру.

— Не такую уж веселенькую, — вздыхает Саймон. — Должен сознаться, я полностью сбит с толку. То, что она рассказывает, звучит правдоподобно; манера держаться у нее простодушная, искренняя; и все же я не могу избавиться от ощущения, что так или иначе, точно не знаю в чем, но она мне лжет.

— Лжет, — повторяет Макензи. — Жестокое слово. Вы спрашиваете, лжет ли она вам? Давайте я поставлю вопрос иначе: лгала ли Шехерезада? Не по собственному, ясное дело, разумению; суть в том, что ее сказки нельзя числить по ведомству правды или неправды. Они принадлежат иной сфере. Быть может, Грейс Маркс просто рассказывала вам то, что хотела, дабы достичь желанной цели.

— Какой же? — недоуменно спрашивает Саймон.

— Развлечь султана, — отвечает Макензи. — Продлить настоящее. Заставить вас отложить отъезд и сидеть вместе с ней в комнате возможно дольше.

---

[1] Спасайся кто может! (*франц.*)

[2] Адвокат дьявола — человек, защищающий неправое дело; спорщик из любви к искусству; тот, кто все подвергает сомнению.

— Да какой же, черт побери, в этом смысл?! — изумляется Саймон. — За то, что она будет меня развлекать, ее из тюрьмы не выпустят.

— А я и не предполагаю, будто она этого ждет, — спокойно отвечает Макензи. — Однако что тут непонятного? Бедное создание, она в вас влюбилась. Одинокий мужчина, довольно молодой, отнюдь не урод, является пред очи женщины, давно отрезанной от мира и лишенной мужского общества. Вне всякого сомнения, вы — предмет ее мечтаний.

— Бог с вами! — восклицает Саймон, невольно заливаясь краской. Если Грейс в него влюблена, то уж слишком хорошо она скрывает эту тайну. — Конечно нет!

— А я говорю — да! Со мной произошло то же самое, поскольку я вынужден был провести с ней массу времени в ее тюремной камере в Торонто, пока она плела мне свои немыслимо длинные истории. Грейс подпала под власть моего обаяния и хотела, чтоб я подольше был рядом. Эти взгляды — такие долгие и нежные! Коснись я ее руки, она бы мигом упала в мои объятья.

Саймон чувствует отвращение. Самодовольный маленький тролль в щегольском жилете и с носом картошкой!

— Неужели? — произносит он, стараясь не выказать свой гнев.

— О да! — восклицает Макензи. — Вы же знаете: она думала, что ее повесят. А страх необыкновенно обостряет половой инстинкт, советую вам как-нибудь лично в этом удостовериться. Нам, адвокатам, очень часто приходится играть роль святого Георга, по крайней мере временно. Отыщите молоденькую девицу, прикованную цепями к скале и ждущую, что ее вот-вот сожрет чудовище, освободите, а потом владейте ею на здоровье. Так обычно и происходит с молоденькими девицами. Разве я не прав? Не скажу, что сам избежал искушения. Она была юна и ужасно мила в ту пору; тюремная жизнь ее, должно быть, ожесточила.

Саймон кашляет, чтобы скрыть ярость. Как же он раньше не заметил, что рот у адвоката, точно у похотливого старого греховодника? Провинциальный ходок по борделям. Расчетливый сластолюбец.

— Даже намека на это я не заметил, — говорит он. — В моем случае. — Он-то считал, что мечтания — его прерогатива, но теперь начинает сомневаться. А что в самом деле думает о нем Грейс, когда сидит над вышивкой и повествует о себе?

— Мне страшно повезло, — ухмыляется Макензи, — ну и Грейс, разумеется, тоже, что убийство Киннэра суд рассматривал первым. Всем было очевидно: девушка не помогала отправить своего хозяина на тот свет, что же до убийства Нэнси, тут улики — это касалось обоих подсудимых — имелись исключительно косвенные. Грейс вынесли приговор не как главному виновнику, а за недоносительство. Доказать удалось лишь то, что, зная заранее о кровопролитных намерениях Макдермота, она о них не сообщила; подобным же образом она пренебрегла обязанностью поставить власти в известность о том, что эти намерения реализованы. Даже главный судья толковал о милосердии, и с помощью нескольких убедительных петиций в защиту Грейс я сумел спасти ей жизнь. К этому моменту смертный приговор был объявлен и ей и Макдермоту; процесс закончился, ибо судьи сочли необязательным входить в подробности второго преступления. Словом, Грейс вообще не судили за убийство Нэнси Монтгомери.

— А если бы судили? — спрашивает Саймон.

— Я бы не сумел ее вытащить, — признается Макензи. — Мощное общественное мнение мне было не победить. Ее бы повесили.

— Но, с вашей точки зрения, она невиновна, — говорит Саймон.

— Напротив, — отвечает Макензи. Он отхлебывает шерри, потом аккуратно вытирает губы, улыбаясь приятным воспоминаниям. — Напротив. С моей точки зрения, она виновнее самого сатаны.

***

Вместе с Макдермотом мы начали упаковывать ценные вещи — все, что удалось отыскать, потом спустились вниз, в подвал. Мистер Киннэр лежал на спине в винном погребе, я держала свечу, Макдермот вынул у него из карманов ключи и какие-то деньги, о Нэнси не было сказано ни слова; я ее не видела, но я знала, что она в подвале, а около одиннадцати Макдермот запряг лошадь, мы погрузили сундуки в повозку и отправились в Торонто, он сказал, что поедет в Штаты и что женится на мне. Я согласилась ехать; мы прибыли в Торонто, в городскую гостиницу, около пяти часов, перебудили людей; там мы позавтракали, я отперла сундук Нэнси и надела кое-что из ее вещей, а в восемь часов мы сели на пароход и около трех приплыли в Льюистон. Нашли какую-то таверну, вечером поужинали за общим столом, и я пошла спать в одну комнату, а Макдермот — в другую; перед тем, как идти спать, я сказала Макдермоту, что останусь в Льюистоне и дальше не поеду; он сказал, что заставит меня ехать с ним; а около пяти утра пришел мистер Кингмсил, главный судебный пристав, и арестовал нас и отвез в Торонто.

Признание Грейс Маркс,
«Стар энд трэнскрипт», Торонто, ноябрь 1843 г.

***

Ожидая начала, они сидят в библиотеке дома миссис Куиннел, каждый — в кресле с прямой спинкой, каждый — слегка повернувшись к приоткрытой двери. Портьеры из темно-бордового плюша с черной каймой и кистями, напоминающие Саймону погребение членов епископальной церкви, задернуты; лампа с круглым абажуром зажжена. Лампа стоит посреди прямоугольного дубового стола, а они разместились вокруг — безмолвные, чинные и настороженные, как присяжные перед судебным процессом.

Миссис Куиннел, однако, совершенно безмятежна, руки ее покойно сложены на коленях; она предвкушает чудеса, но явно не будет удивлена, что бы ей ни показали. У нее вид профессионального гида, для которого восхищение Ниагарским водопадом — дело привычное, но который надеется получить удовольствие, переживая чужой экстаз, восторги только что прибывших неофитов. На лице жены Хозяина выражение смиренно-тоскливого благочестия, преподобный Верринджер ухитряется выглядеть сразу и кротким и осуждающим. Вокруг его глаз что-то поблескивает, словно он в очках, хотя очки не носит. Слева от Саймона сидит Лидия в платье из непрозрачной блестящей ткани, розовато-лиловой с белой ниткой; декольте у платья достаточно глубокое, чтобы видны были прелестные ключицы молодой леди. Лидия распространяет вокруг себя влажный аромат ландышей. Она нервно теребит пальцами носовой платок, однако, встретившись взглядом с Саймоном, улыбается.

Что до Саймона, то он сознает: на лице его сейчас играет противная скептическая ухмылка; впрочем, это притворство — в глубине души он умирает от нетерпения, как школьник на карнавале. Он ни во что не верит, ждет надувательства и стремится разгадать его механизм, но одновременно дьявольски хочет испытать изумление. Он знает, что такое состояние ума опасно: надо сохранять беспристрастный взгляд на вещи.

В дверь стучат, она распахивается, и в комнату входит доктор Жером Дюпон, ведя за руку Грейс. Она без шапочки, ее кудри отливают красным в свете лампы. На платье у нее белый воротник, которого Саймон прежде не видел, и она выглядит поразительно юной. Ступает Грейс неуверенно, точно слепая, но глаза ее широко открыты; они неотрывно смотрят на Дюпона с робостью, даже боязнью, и со слабой немой мольбой; это взгляд, понимает вдруг Саймон, на который он тщетно надеялся сам.

— Вижу, все в сборе, — говорит доктор Дюпон. — Меня радует ваш интерес и — полагаю, я имею право так выразиться, — ваше доверие. Лампу надо убрать со стола. Миссис Куиннел, могу я возложить на вас эту обязанность? Еще убавьте, пожалуйста, свет. И закройте дверь.

Миссис Куиннел поднимается и молча переносит лампу на маленький столик в углу. Преподобный Верринджер плотно прикрывает дверные створки.

— Грейс сядет здесь, — продолжает доктор Дюпон и усаживает пациентку спиной к портьерам. — Тебе удобно? Очень хорошо. Не бойся, здесь никто не хочет причинить тебе зло... Я объяснил ей, что делать придется совсем немного — внимательно слушать меня, а потом заснуть. Поняла, Грейс?

Грейс кивает. Она сидит выпрямившись и точно окоченев, губы сомкнуты, зрачки глаз в слабом свете кажутся огромными. Руки с силой сжимают подлокотники кресла. Саймону доводилось видеть такие позы в больничных палатах — в момент сильной боли или ожидания операции. Животный страх — вот что это такое.

— Наша процедура сугубо научного свойства, — говорит Дюпон. Он обращается скорее к публике, чем к Грейс. — Избавьтесь, пожалуйста, от мыслей о месмеризме и других мошеннических теориях. Система Брэйда абсолютно логична и разумна, что без тени сомнения подтвердили европейские эксперты. Она предполагает, в частности, постепенное расслабление и восстановление нервных клеток, необходимые для того, чтобы вызвать нейрогипнотический сон. Ту же реакцию можно наблюдать и у рыбы, если гладить ее по спинному плавнику, и даже у кошек; с более высоко организованными существами, разумеется, не все так просто. Настоятельно прошу вас избегать резких движений и громких возгласов, поскольку они могут напугать испытуемую и, возможно, даже принести ей вред. Прошу всех также хранить полное молчание, пока Грейс спит; потом можно будет тихо переговариваться.

Грейс смотрит на запертую дверь с таким видом, словно замышляет бегство. Она страшно взволнована. Саймон почти ощущает, как вибрирует ее тело — точно натянутая струна. Никогда он не видел ее до такой степени испуганной. Что сказал ей, что сделал с ней Дюпон перед тем, как вести сюда? Похоже, он чем-то ей угрожал, однако, когда он заговаривает с ней, она глядит на него доверчиво. Нет, ее страшит не Дюпон, а что-то другое.

Дюпон подкручивает фитиль в лампе еще больше. Сгустившийся воздух библиотеки, кажется, обратился в едва различимый дым. Черты Грейс теперь в тени, виден только блеск застывших глаз.

Дюпон приступает к опыту. Сначала он внушает пациентке ощущение вялости, дремоты; потом убеждает ее, что она медленно плывет, двигая ногами и руками, что, рассекая воду, погружается все глубже, глубже, глубже. Голос его уже обрел убаюкивающую монотонность. Ресницы Грейс смыкаются, она дышит спокойно и ровно.

— Ты спишь, Грейс? — спрашивает Дюпон.

— Да, — отвечает она тихо, сонно, но совершенно отчетливо.

— Ты меня слышишь?

— Да.

— Ты слышишь только меня? Хорошо. Проснувшись, ты не вспомнишь ничего из того, что здесь происходит. Ну, погружайся еще глубже. — Он делает паузу. — Подними, пожалуйста, правую руку.

Рука медленно идет вверх, словно ее тянут на веревке, а потом, простертая, замирает в воздухе.

— Твоя рука — железный брус, — говорит Дюпон. — Его никому не согнуть.

Он оглядывается.

— Есть желающие попробовать?

Саймон почти готов поддаться соблазну, но в конце концов все-таки решает не рисковать: в этом частном случае он не жаждет ни подтверждения, ни утраты иллюзий.

— Никто не хочет? — спрашивает Дюпон. — Тогда позвольте мне.

Он кладет ладони на вытянутую руку Грейс, наклоняется вперед.

— Я давлю что есть силы, — говорит он. Рука не сгибается. — Хорошо. Можешь опустить руку.

— У нее глаза открыты, — встревоженно произносит Лидия; и правда, две полукруглые полоски видны между ресниц Грейс.

— Это нормально, — говорит Дюпон. — Но значения никакого не имеет. В состоянии, которое мы наблюдаем, субъект способен различать определенные предметы даже с закрытыми глазами. Таково свойство нервной системы, в которую, видимо, входит некий сенсорный орган; изучить его детально обычными средствами пока не удается... Однако продолжим.

Он склоняется над Грейс, будто слушает ее сердце. После чего достает из потайного кармана квадратный кусок ткани — это обыкновенный женский платок светло-серого цвета, довольно большой — и бережно окутывает им голову Грейс; платок вздымается и опадает в такт дыханию. Теперь уже не разглядеть ничего, кроме головы и зыбкого контура лица под тканью. Намек на саван очевиден.

«До чего же это театрально, безвкусно, — думает Саймон, — до чего отдает лекцией в крохотном городишке лет этак пятнадцать назад, где аудитория — доверчивые приказчики из местных лавчонок, немногословные фермеры да их унылые жены, а наглый шарлатан с хорошо подвешенным языком морочит им головы потусторонней чепухой и дает идиотские медицинские советы в порядке компенсации за то, что очистил их карманы». Саймон рад бы высмеять происходящее; тем не менее по спине у него бегут мурашки.

— Она выглядит так... странно, — шепчет Лидия.

— «Надежды нет, ответ сокрыт... Под покрывалом, под покрывалом», — говорит нараспев преподобный Верринджер, и всем ясно, что он кого-то цитирует. Саймон не знает, впрямь ли хотел пошутить достопочтенный джентльмен или это у него получилось невольно.

— Не поняла, простите? — раздается голос жены Хозяина. — Ах да, наш обожаемый мистер Теннисон.

— Это помогает сосредоточиться, — негромко объясняет Дюпон. — Когда человек под гипнозом скрыт от посторонних взоров, внутреннее зрение обостряется. Что ж, доктор Джордан, теперь мы можем без помех отправиться в прошлое. Какой вопрос я должен задать Грейс?

Саймон соображает, с чего начать.

— Спросите что-нибудь о доме Киннэра.

— О какой его части? — осведомляется Дюпон. — Тут нужна точность.

— О веранде, — отвечает Саймон, решивший, что начинать лучше издалека.

— Грейс, — говорит Дюпон, — ты на веранде дома мистера Киннэра. Что ты там видишь?

— Вижу цветы, — произносит Грейс. Голос у нее усталый и какой-то приглушенный. — Садится солнце. Я ужасно счастлива. Мне хочется остаться здесь.

— Попросите ее, — говорит Саймон, — подняться и войти в дом. Пусть подойдет к той двери в парадном холле, которая ведет в подвал.

— Грейс, — говорит Дюпон, — тебе надо...

Неожиданно раздается громкий стук, однократный, похожий на небольшой взрыв. От стола он донесся или от двери? Взвизгнув, Лидия стискивает руку Саймона; вырываться было бы бестактно, поэтому Саймон сидит неподвижно, да и как вырвешься, если она дрожит точно осиновый лист...

— Тихо! — пронзительным шепотом восклицает миссис Куиннел.

— Уильям! — слабо вскрикивает жена Хозяина. — Я знаю, это он, мое солнышко! Мой малыш!

— Прошу вас, перестаньте, — раздраженно морщится Дюпон. — Здесь не спиритический сеанс!

Грейс беспокойно задвигалась под своим покрывалом. Жена Хозяина сморкается в платок. Саймон бросает взгляд на достопочтенного Верринджера. В тусклом свете трудно разглядеть выражение лица, но Саймону кажется, что на губах его преподобия играет страдальческая улыбка, как у младенца, у которого болит живот.

— Мне страшно,— говорит Лидия. — Прибавьте свету.

— Потерпите — шепчет Саймон. И похлопывает ее по руке.

Раздаются еще три резких удара; похоже, кто-то стучится в дверь, повелительно требуя впустить его внутрь.

— Ну, это уж чересчур, — ворчит Дюпон. — Пожалуйста, велите им удалиться.

— Я попробую, — отзывается миссис Куиннел. — Но сегодня четверг. Они всегда приходят по четвергам. — Она наклоняет голову, сжимает руки. Спустя несколько секунд слышатся короткие дробные постукивания, словно в водосточную трубу швырнули пригоршню мелких камешков. — Ну вот, — говорит она. — Кажется, получилось.

«У них должен быть сообщник, — думает Саймон, — сообщник или специальный механизм — за дверью, под столом. В конце концов, это ведь дом самой миссис Куиннел. Кто знает, как она ухитрилась все так ловко подстроить?» Однако под столом нет ничего, кроме ног присутствующих. Как же работает эта система? Только от одного того, что он сидит здесь, он становится кретином, безголовой пешкой, жертвой наглого обмана. Но уйти сейчас выше его сил.

— Спасибо, — говорит Дюпон. — Доктор, простите нам, пожалуйста, нечаянную заминку. Давайте вернемся к делу.

Саймон все отчетливее ощущает руку Лидии в своей руке. Маленькая такая ручка и горячая. Неудивительно: комната набита людьми, в ней душно. Ему бы хотелось высвободиться, но Лидия вцепилась в него как клещ. Он надеется, что другим это не видно. Рука выше локтя немеет; он скрещивает ноги. Внезапно в его воображении возникают ноги его квартирной хозяйки Рэйчел Хамфри, обнаженные, если не считать чулок, и его руки, пригибающие эти ноги книзу, пока женщина борется с ним. Борется довольно вяло, сквозь полуопущенные ресницы следя, какое действие она на него оказывает. Извивается, точно хитрый угорь. Молит о пощаде, словно пленница. Скользкая, вся в поту — своем или его, взмокшие волосы разметались по лицу, попадают ему в рот, и так каждую ночь. Точно приговоренный. Кожа у нее там, где он лизнул, блестящая, будто атлас. Хватит. Это больше не может продолжаться.

— Спросите, — говорит он, — были у нее когда-нибудь отношения с Джеймсом Макдермотом. — Он не намеревался спрашивать про Макдермота, уж с самого-то начала наверняка, и, конечно, не думал ставить вопрос с такой прямотой. Но разве это — теперь он видит воочию — не единственное, что ему смертельно хочется знать?

Дюпон бесстрастным голосом повторяет девушке слова Саймона. Наступает пауза, потом Грейс смеется. Или смеется кто-то другой; смех совсем не такой, как у Грейс.

— Отношения, доктор? Это что же вы имеете в виду? — Голос тонкий, колеблющийся, глуховатый, но при этом вполне живой и в иные мгновения даже задорный. — Ей-богу, доктор, вы настоящий лицемер! Вам хочется знать, целовала ли я его, спала ли с ним. Была ли его любовницей. Правильно?

— Да, — говорит Саймон. Его трясет, но он старается скрыть дрожь. Он ждал односложных ответов, простых «да» и «нет», вытянутых у Грейс, из ее летаргии и оцепенения; ждал вынужденных, полуосознанных откликов на свои четкие требования. Но такой грубой насмешки он не предвидел. Этот голос не может принадлежать Грейс; чей же он в таком случае?

— Делала ли я то, что вам самому не терпится сделать с этой потаскушкой, которая в вас вцепилась?

Она хихикает.

Лидия в ужасе отдергивает руку, словно обжегшись. Грейс снова смеется.

— Хотите знать? Ладно, я вам скажу. Мы встречались с ним в саду при свете луны. Я выбегала в ночной рубашке, прижималась к нему, позволяла целовать себя и трогать тоже, трогать повсюду, в тех местах, где и вы не прочь потрогать меня, доктор, потому что я каждый раз могу сказать, о чем вы думаете, сидя передо мной в душной комнатенке для шитья. Но это было все, доктор. Все, что я ему разрешала. Я его держала на коротком поводке, и мистера Киннэра тоже. Они оба плясали под мою дудку!

— Спросите ее почему, — говорит Саймон. Он не понимает происходящего, однако

это, быть может, его последний шанс понять. Собственный голос отдается у него в ушах хриплым карканьем.

— И еще я дышала... вот так, — добавляет Грейс. Она издает громкий чувственный стон. — Изгибалась и обвивалась вокруг него. После этого он говорил, что сделает все на свете. — Она прыскает со смеху. — Почему? Ах доктор, вы всегда спрашиваете почему. Всегда суете свой нос куда не надо, и не только нос. Вы жутко любопытный! А любопытство, как вам известно, доктор, до добра не доводит. Вы бы лучше последили за этой маленькой мышкой, что сидит рядом, и за ее маленькой пушистой норкой тоже!

К изумлению Саймона, преподобный Верринджер сдавленно смеется; впрочем, может быть, это он кашлянул.

— Какое безобразие!— возмущается жена Хозяина. — Я не собираюсь больше сидеть здесь и слушать мерзкие непристойности! Лидия, мы уходим! — Она приподнимается, шурша юбками.

— Прошу вас, не уходите, — говорит Дюпон. — Пожалуйста, будьте снисходительны. В интересах науки можно пожертвовать стыдливостью.

Саймон видит, что события вышли из-под контроля. Он должен взять инициативу в свои руки, по крайней мере, должен попытаться; надо во что бы то ни стало помешать Грейс читать его мысли. Ему рассказывали, как люди под гипнозом обретают ясновидение, но раньше он в такие вещи не верил...

— Спросите ее, — голос Саймона суров, — была ли она в подвале дома мистера Киннэра в субботу, 23 июля 1843 года.

— Подвал, — говорит Дюпон. — Ты должна описать подвал, Грейс. Вернись в то время, сойди в то пространство...

— Ладно, — откликается Грейс своим новым тонким голосом. — Придется пройти через холл, поднять опускную дверь, спуститься по ступенькам. Бочки, бутылки виски, овощи в ящиках с песком на полу. Да, я была в подвале.

— Спросите, видела ли она там Нэнси.

— О да, я ее видела. — Пауза. — Так же, как вижу вас, доктор. Сквозь платок. К тому же я вас еще и слышу.

У Дюпона изумленный вид.

— Не по правилам, — бормочет он себе под нос. — Но случается.

— Она была жива? — спрашивает Саймон. — Она была еще жива, когда ты ее видела?

Голос иронизирует:

— Частично жива. Или частично мертва. Она нуждалась, — голос теперь звучит громко, насмешливо, — чтобы кто-нибудь избавил ее от страданий.

Из угла, где сидит преподобный Верринджер, доносится глубокий, тяжкий вздох. Саймон чувствует, с какой силой колотится у него сердце.

— Ты помогала душить ее? — говорит он.

— Ее душила моя косынка. — Голос откровенно веселится:— Какой красивый был на ней рисуночек!

— Отвратительно... — шепчет себе под нос Верринджер. Должно быть, он думает обо всех молитвах, которые вознес за Грейс, о потраченных чернилах и бумаге. Письма, петиции, вера...

— Такая жалость — лишиться этой косынки; она служила мне бог знает сколько времени. Ее надевала еще моя мать. Следовало снять косынку с шеи Нэнси. Но Джеймс не разрешил, и золотые серьги из ушей тоже не дал вытащить. На них была кровь, но ведь кровь можно смыть.

— Ты убила ее, — едва слышно бормочет Лидия. — Я всегда это знала. — Похоже, она скорее восхищена, чем негодует.

— Косынка ее убила. Руки только держали косынку, — растолковывает голос. — Она должна была умереть. Возмездие за грех — смерть. На этот раз мужчина тоже погиб; в виде исключения. Оба получили свое, и оба поровну!

— Боже мой, Грейс, — стонет жена Хозяина. — Я думала о тебе куда лучше! Все эти годы ты нас обманывала.

Голос ликует:

— Перестаньте молоть вздор! Вы сами себя обманули! Я не Грейс! Грейс обо всем этом и понятия не имела!

Никто в библиотеке не издает ни звука. А голос уже что-то напевает, мелодия несложная, монотонная, как пчелиное жужжание: «Расколись, твердыня вечная, чтобы было счастье мне; чтобы было счастье мне, дай мне спрятаться в тебе! И пускай вода и кровь...»

— Ты не Грейс? — говорит Саймон. В комнате жарко, однако ему кажется, что он промерз до костей. — Если ты не Грейс, то кто же ты?

— Чтобы было счастье мне... Дай мне спрятаться в тебе...

— Ты обязана отвечать, — говорит Дюпон. — Я тебе приказываю!

Снова неведомо откуда сыплются негромкие стуки — частые, ритмичные, будто кто-то пляшет на столе в деревянных башмаках. Потом слышен шепот:

— Ты не можешь приказывать! Ты должен догадаться!

— Я знаю, ты дух, — говорит миссис Куиннел. — Духи умеют говорить через людей, пока те в трансе. Они используют наши физические органы. Этот дух говорит через Грейс. Но знаете, они иногда лгут.

— Я не лгу! — сердится голос. — Я выше лжи! Мне больше не нужно лгать!

— Верить им можно не всегда, — продолжает миссис Куиннел, словно речь идет о ребенке или слуге. — Наверное, это Макдермот явился сюда с намерением опорочить Грейс. Снова обвинить ее. Это было его последнее деяние при жизни, а те, кто умирает с жаждой мести в сердце, иногда не порывают с нами, оставаясь на уровне житейских дел.

— Перестаньте, пожалуйста, миссис Куиннел, — говорит Дюпон. — Это не дух. То, что мы здесь наблюдаем, есть, вернее всего, природный феномен. — В тоне его звучит нотка отчаяния.

— При чем тут Джеймс? — возмущается голос. — Старая ты мошенница!

— Тогда Нэнси, — не уступает миссис Куиннел; оскорбление, видно, ее ничуть не задело. — Они часто ведут себя очень невежливо. Обзывают нас по-всякому. Некоторые злятся — это духи, не расставшиеся с земными заботами; им быть мертвыми — что нож острый к горлу.

— Нэнси ты тоже зря приплела, дура бестолковая! Нэнси и сказать ничего не может; с такой шеей, как у нее, слова не вымолвишь. А до чего красивая была шейка! Но Нэнси больше не злится, на случившееся ей теперь плевать. Нэнси — мой друг, она все понимает, про все думает так же, как я. Слушайте, доктор... — произносит вдруг голос с льстивой интонацией, — вы любите загадки. Вы знаете ответ. Я же вам сказала: это была *моя* косынка, оставленная Грейс, когда я... Когда я... — Она снова принимается петь: — «О нет, только правда одна в глазах ее вечно светилась... Как же было не любить, нашу Мэри не любить...»

— Только не Мэри, — говорит Саймон. — Не Мэри Уитни.

Громкий хлопок. Впечатление такое, что звук идет с потолка.

— Я велела Джеймсу сделать это. Я его заставила. Я была там с самого начала!

— Там? — переспрашивает Дюпон.

— Здесь! Вместе с Грейс; мы и сейчас вместе. Было до того холодно лежать на полу; я чувствовала себя ужасно одинокой, и мне надо было согреться. Но Грейс не знает, она и раньше не знала! — Голос уже никого не поддразнивает. — Ее чуть не повесили, а это было бы нечестно. Она ничего не знала! Я только позаимствовала ее одежду.

— Одежду? — повторяет Саймон.

— Ее земной покров, телесную оболочку. Она забыла открыть окно, и оттого я не смогла вырваться на волю! Но я не желала бы вредить Грейс. Вы не должны ей ничего рассказывать. — Тонкий голосок звучит умоляюще.

— Почему? — спрашивает Саймон.

— Вам известно почему, доктор Джордан. Хотите, чтобы ее отправили обратно в

сумасшедший дом? Мне там поначалу нравилось, я могла громко разговаривать, могла хохотать. Могла объяснять, как все случилось. Но никто не откликнулся на мои слова. — Она тихо всхлипывает. — Меня вообще не слушали.

— Грейс, — говорит Саймон. — Прекрати свои фокусы!

— Я не Грейс, — отзывается голос менее решительно, чем прежде.

— Это действительно ты? — спрашивает Саймон. — Ты говоришь правду? Не бойся.

— Вот видите? — жалобно отвечает голос. — Вы такой же, вы не станете меня слушать, вы не верите мне, вы хотите настоять на своем, вы не услышите... — Голос замолкает; наступает тишина.

— Она ушла, — говорит миссис Куиннел. — Всегда легко понять, когда они возвращаются в свое царство. Чувствуешь что-то странное в воздухе; это электричество.

Все долго молчат. Потом доктор Дюпон делает шаг вперед.

— Грейс! — Он наклоняется над девушкой. — Грейс Маркс, ты меня слышишь? — Он кладет руку ей на плечо.

Опять наступает долгое безмолвие; дыхание Грейс прерывисто — так дышат, забывшись тревожным сном.

— Да,— наконец отвечает она своим обычным голосом.

— Я собираюсь вернуть тебя сюда, к нам, — говорит доктор Дюпон. Легким движением он снимает платок с головы Грейс, откладывает в сторону. Лицо у спящей ясное, спокойное. — Ты всплываешь все выше и выше. Всплываешь из глубин наверх. Ты не вспомнишь того, что здесь было. Когда я щелкну пальцами, ты проснешься.

Он отходит к лампе, прибавляет свет, возвращается и подносит руку к голове Грейс. Потом щелкает пальцами.

Грейс шевельнулась. Открывает глаза, удивленно оглядывает сидящих в комнате, улыбается им. Улыбка умиротворенная, в ней нет ни скованности, ни страха. Улыбка послушного ребенка.

— Я, должно быть, спала, — говорит она.

— Ты что-нибудь помнишь? — с беспокойством спрашивает Дюпон. — Из того, что здесь происходило?

— Нет, — отвечает Грейс. — Я спала. И, наверное, видела сон. Мне снилась мама. Она плыла по морю. Она ушла в лучший мир.

Саймон испытывает облегчение. Дюпон, судя по его взгляду, тоже. Дюпон берет Грейс за руку, помогает подняться с кресла.

— Ты можешь почувствовать легкое головокружение, — произносит он ласково. — Это часто случается. Миссис Куиннел, не приглядите ли за тем, чтоб ее проводили в спальню и уложили?

Миссис Куиннел покидает комнату, ведя Грейс под руку, точно калеку. Та, однако, ступает довольно легко и выглядит почти счастливой.

***

Мужчины остаются в библиотеке. Саймон рад, что сидит в удобном кресле; дорого бы он сейчас дал за стакан хорошего крепкого бренди — увы, в этой компании надежда на бренди невелика. Перед глазами у него все слегка плывет, и он думает, не вернулась ли к нему опять давняя лихорадка.

— Джентльмены, — начинает Дюпон,— я в полной растерянности. Подобного опыта у меня ни разу не было. Результаты в высшей степени неожиданные. Как правило, субъект остается под воздействием гипнотизера. — Похоже, доктор потрясен не на шутку.

— Двести лет назад никто бы не пришел в растерянность, — говорит преподобный Верринджер. — Это сочли бы явным случаем одержимости. Признали бы, что Мэри Уитни обитает в теле Грейс Маркс и, следовательно, несет ответственность за подстрекательство к преступлению и участие в убийстве Нэнси Монтгомери. Процедура изгнания беса — вот что решило бы дело.

— Но на дворе девятнадцатый век, — мягко возражает Саймон. — Возможно, это одна из разновидностей психического заболевания.

Ему бы хотелось сказать не «возможно», а «наверняка», однако незачем слишком резко противоречить Верринджеру. И вообще — он по-прежнему выбит из колеи и за собственную голову пока ручаться не может.

— Случаи такого рода известны, — продолжает Дюпон. — Еще в 1816 году доктор С. Л. Митчелл из Нью-Йорка зафиксировал странный сдвиг в психике некой Мэри Рейнолдс; вы знакомы с ее случаем, доктор Джордан? Нет? Потом Уэкли из «Ланцета» пространно описал это явление; он называет его *двойным сознанием*, хотя категорически отвергает самую возможность выявления так называемой «второй личности» с помощью нейрогипноза, поскольку тут слишком вероятно влияние гипнотизера на субъекта. Уэкли всегда был яростным противником месмеризма и связанных с ним методов; в этом отношении консерватизм его неколебим.

— Нечто сходное, если я правильно помню, описывает Пьюсеже, — говорит Саймон. — Данный случай, видимо, есть то самое, что французами именуется словом «dédoublement» и означает раздвоение, расщепление; это когда личность субъекта, находящегося в сомнамбулическом трансе, полностью отлична от той, какую он являет всем в нормальном состоянии; причем обе половинки не имеют друг о друге даже малейшего представления.

— Джентльмены, поверить в такое невероятно трудно, — качает головой Верринджер. — Но на свете случались вещи и более странные.

— Природа иногда создает две головы на одном теле, — говорит Дюпон. — Почему же тогда в одном мозгу не ужиться двум людям? Мы ведь с вами это видели. Возможна не только смена *состояний* сознания, которую наблюдал Пьюсеже, возможны две конкретные личности, способные сосуществовать в общем теле и даже иметь совершенно разные устройства памяти, а во всем, что связано с практической жизнью, вести себя как два разных индивидуума. Не знаю, согласитесь ли вы, формулировка спорная, но я бы сказал: мы — это то, что мы помним.

— Быть может, — задумчиво произносит Саймон, — мы также, и даже в большей мере, — то, что забыли.

— Если вы правы, — возражает преподобный Верринджер, — тогда во что превращается душа? Мы не можем быть всего только кучей мертвого хлама! Эта мысль чудовищна, и если она справедлива, то предметом издевательств станут все наши представления о моральной ответственности и, в сущности, о самой морали — в том смысле, какой мы вкладываем в это понятие сегодня.

— Второй голос, что бы он ни означал, — говорит Саймон, — был совершенно замечателен в своем неистовстве.

— И не лишен способности рассуждать логически, — сухо добавляет Верринджер, — а также видеть в темноте.

Саймон вспоминает горячую руку Лидии и чувствует, что краснеет. В эту минуту ему очень хочется, чтобы его преподобие провалился сквозь землю.

— Если два человека в одном теле, то почему и не две души? — размышляет Дюпон. — Разумеется, при условии, что душа вообще обязательно находится внутри. Или не три тела и три души? Возьмем, к примеру, Святую Троицу.

— Доктор Джордан! — Преподобный Верринджер игнорирует теологический выпад гипнотизера. — Что вы напишете в своем отчете? Ведь события, развивавшиеся на ваших глазах сегодня вечером, едва ли нормальны с медицинской точки зрения.

— Мне надо будет все обдумать, — говорит Саймон, — и очень тщательно. Хотя, конечно, вам и самому ясно, что, если принять на веру предположение доктора Дюпона, с Грейс Маркс полностью снимаются все обвинения.

— Поверить в его гипотезу — значит, отступиться от своих убеждений, — говорит преподобный Верринджер. — Я сам из тех, кто будет молиться о ниспослании сил на свершение этого, ибо я всегда считал, что Грейс невиновна; или, скорее, надеялся... Хотя,

признаться по чести, сегодняшнее меня в известной степени потрясло. Но если то, чему мы стали свидетелями, есть явление природы, кто мы такие, чтобы подвергать его сомнению? Причина всех явлений — Бог, и, стало быть, у него свои резоны, пусть они и выглядят необъяснимыми в глазах смертных.

***

Саймон в одиночестве возвращается домой. Ночь светла и тепла, все озарено сиянием луны, почти полной, в нимбе тумана; в воздухе пахнет скошенной травой и конским пометом с примесью собачьего.

Весь вечер он сохранял внешнее самообладание, но теперь голова его горит, точно поджариваемый на огне каштан или баран на вертеле. Беззвучные вопли раздирают грудь; в душе бурлит доходящий до безумия хаос, там идет борьба, там бушует вихрь, швыряя все из стороны в сторону. Что же произошло в библиотеке? Грейс действительно погрузилась в транс или играла комедию, исподтишка посмеиваясь над зрителями? Он помнит то, что наблюдал и слышал, но, может, все это была ложь, хотя доказать, что ложь, невозможно.

Если в своем отчете он честно опишет увиденное, а отчет попадет в какую-нибудь из петиций, составленных от имени Грейс Маркс и отосланных в правительство, то шансов на оправдание вообще не останется. Ведь прошения читают министры юстиции да чиновники помельче, очень похожие на своих начальников; все это трезвые, практичные люди, им требуются надежные доказательства. Стоит отчету получить известность, широкое хождение, и он, Саймон, немедленно превратится в посмешище, особенно в кругу авторитетных медиков. Это будет означать гибель надежд на собственную психиатрическую лечебницу: кто же пожертвует деньги на такое учреждение, зная, что им собирается руководить безумец, верящий в потусторонние голоса?

Нет, варианта, дающего возможность написать отчет, которого жаждет Верринджер, и не стать клятвопреступником в собственных глазах, не существует. Самым безопасным было бы вообще ничего не писать, да только Верринджер вряд ли позволит ему так легко сорваться с крючка. Дело еще и в том, что он ничего не может утверждать с полной определенностью и, стало быть, не знает правды — правда от него ускользает. Вернее, ускользает сама Грейс. Она бесшумно плывет впереди, не даваясь в руки, и оглядывается, чтобы увидеть, все ли он еще следует за ней.

***

Подъезжает экипаж, больше похожий на повозку, и Саймон забрасывает внутрь свои два чемодана.

— На вокзал, — говорит он.

Пусть только Кингстон останется далеко позади — он тотчас напишет Верринджеру и пообещает прислать отчет; это чтобы оттянуть время. В конце концов, может, он и сумеет что-нибудь сочинить, что-нибудь такое, что его хотя бы не полностью дискредитирует. Но первым делом нужно выбросить из головы кошмарный «промежуточный эпизод» с хозяйкой квартиры. После короткого визита к матери и приведения в порядок семейных финансовых дел он уедет в Европу. Даже если его мать сумеет прожить на меньшую сумму — а она сумеет, — он все равно еле-еле наберет денег на поездку.

Страх преследует Саймона до той самой минуты, пока за ним не захлопываются двери вагона. Присутствие кондуктора, да еще в униформе, приносит некоторое успокоение. Какой ни есть, а все-таки порядок; это возвращает уверенность в себе.

Едва он доберется до Европы, он продолжит изыскания. Изучит главнейшие течения современной философии, но ни к одному не примкнет; во всяком случае пока. Он приблизился к порогу бессознательного и бросил взгляд через порог; точнее говоря, заглянул вглубь. Он мог упасть. Мог провалиться. Утонуть.

Впрочем, может быть, лучше предать забвению теории и сосредоточиться на методах и средствах. Вернувшись в Америку, он энергично возьмется за работу. Начнет читать лекции, привлечет на свою сторону жертвователей. Он построит образцовую психиатрическую клинику с прекрасным ухоженным парком, первоклассными санитарными условиями, с канализацией. Американцы всему на свете предпочитают комфорт, о каком бы заведении ни шла речь. Лечебница с большими благоустроенными комнатами, с оборудованием для гидротерапии, с современной аппаратурой будет процветать. Придется завести каталки на колесах для перевозки больных, чтоб разъезжали по территории и стрекотали, резиновые кровососные банки. Электропровода, которые подключаются к черепу, измерительные приборы. Слово «электрический» он обязательно вставит в свой проспект. Самое важное, чтобы пациенты пребывали в опрятности и послушании — таблетки помогут, — а их родственники — в состоянии восторга и признательности. Главными, как водится, будут не больные, а те, кто оплачивает счета. Конечно, он идет на компромисс. Но что поделаешь? Так уж получилось, что он совершенно неожиданно достиг возраста, когда компромисс неизбежен.

Поезд отходит от вокзала. Всплывает облако черного дыма, потом слышится протяжный жалобный вой; точно обманутый призрак, он тянется вдоль рельсов следом за Саймоном.

Пока не проехали половину пути до Корнуолла, Саймон запрещал себе возвращаться мыслями к Грейс. Она подумает, что он бросил ее на произвол судьбы? Решит, что потерял в нее веру? Если Грейс действительно ничего не знает о событиях вчерашнего вечера, она будет оправдана в глазах многих разумных людей. Теперь *он* приведет ее в недоумение, а ведь прежде она все время ставила его в тупик.

О том, что он уехал из города, Грейс еще не подозревает. Саймон представляет, как она сидит в знакомом кресле, склонившись над шитьем, может быть, что-то напевает; ждет, пока за дверью послышатся его шаги.

Снаружи моросит дождик. Понемногу мерный стук колес убаюкивает Саймона. Он засыпает, прислонясь головой к стене. И вот уже Грейс, освещенная солнцем, идет к нему через широкий луг, неся в руках охапку красных цветов; цветы видны так ясно, что он различает даже капли росы на лепестках. Волосы Грейс распущены, ноги босы; она улыбается. Потом он видит, что движется она не по траве, а по воде; он протягивает руки, чтобы обнять ее, но она тает в воздухе, словно туман.

Саймон открывает глаза; он все еще в поезде, серый дым струится за окном. Он прижимается губами к стеклу.

***

1 апреля 1863 г. Осужденная Грейс Маркс повинна в двойном убийстве, и, позволю себе сказать, в убийстве жестоком и страшном, как в Библии. Ее наглость не свидетельствует о тонкости натуры, а отсутствие у нее чувства благодарности есть убедительное доказательство ужасного нрава.

1 августа 1863 г. Эта горемычная женщина стала опасной и, боюсь, еще покажет нам, на что способна. К несчастью, многие оказывают ей поддержку. Она не осмелилась бы лгать так, как лжет, если б поблизости не было заступников.

Журнал надзирателя,
тюрьма провинции Онтарио.
Кингстон, Канада-Уэст, 1863 г.

...Ее образцовое поведение в течение ни много ни мало тридцати лет заключения, последнюю часть которого она провела в доме Хозяина, пользуясь там общим доверием, а также мнение многих и многих уважаемых и влиятельных жителей Кингстона, считавших, что она заслуживает помилования, — все

это дает повод серьезно усомниться в том, что она была воплощением сатаны в женском обличье; а именно в это пытался Макдермот заставить поверить общество.

Уильям Харрисон,
«Воспоминания о трагедии Киннэра»,
написанные для газеты «Ньюмаркит эра», 1908 г.

***

Д-ру Саймону Джордану от Грейс Маркс,
тюрьма провинции Онтарио, Кингстон, Канада-Уэст,

19 декабря 1859 г.

Дорогой доктор Джордан!

Пишу Вам благодаря помощи Клэри; Клэри всегда была моим другом, и раздобыла для меня этот листок бумаги, и опустит его в почтовый ящик, когда придет срок, — в обмен на дополнительную помощь с красителями и кружевами. Беда в том, что я не знаю, по какому адресу послать письмо: мне же неизвестно, куда Вы уехали. Но если удастся выяснить, сразу отправлю. Надеюсь, Вы разберете мой почерк, я ведь не очень привычна к писанию и ежедневно могу уделять этому занятию совсем немного времени.

Когда я услышала, что Вы так внезапно исчезли и ни словечка мне не передали, я очень расстроилась, поскольку решила, что Вы, наверное, заболели. Я не могла понять, как это можно — покинуть город, даже не попрощавшись, после всех разговоров, которые мы с Вами вели, и упала замертво в верхнем холле, и горничная в панике опрокинула на меня вазу с цветами, да-да, вместе с водой и цветами, меня это быстро привело в чувство, хотя ваза разбилась. Горничная подумала, что начинается припадок и я снова сойду с ума, но тут она ошиблась и мне удалось быстро взять себя в руки; это был только шок от неожиданной новости, я имею в виду Ваш отъезд, и еще было учащенное сердцебиение, которым я часто страдала и раньше. Рана на лбу от вазы, очень глубокая, долго болела. Прямо поразительно, сколько крови может вытечь из головы, даже если голова пустая.

Я очень переживала из-за того, что Вы уехали, потому что любила наши беседы; к тому же мне сказали, будто Вы должны были написать письмо правительству от моего имени, чтобы меня освободили, и я испугалась, что теперь Вы этого не сделаете. Руки совсем уж опускаются, когда надежда вроде бы есть, а потом от нее ничего не остается; это, пожалуй, даже хуже, чем если бы надежды и вовсе не было.

Очень, очень надеюсь, что Вы найдете в себе силы написать письмо ради моего спасения, я от всей души буду благодарна Вам за это; и еще я надеюсь, что у Вас все хорошо.

Грейс Маркс.

***

Пятница, 2 августа 1872 г.

С двенадцати до двух был в муниципалитете на приеме у министра юстиции по поводу Грейс Маркс, решение о помиловании которой получил нынче утром. Сэр Джон лично просил, чтобы я и какая-нибудь из моих дочерей сопровождали эту женщину в Нью-Йорк в заранее обеспеченное ей прибежище.

Вторник, 7 августа 1872 г.

Допросил и освободил Грейс Маркс, помилованную после двадцати восьми лет и десяти месяцев заключения в этой тюрьме. В час дня по распоряжению министра юстиции вместе с ней и своей дочерью отбыл в Нью-Йорк.

Выдержки из поденных записей в журнале надзирателя,
тюрьма провинции Онтарио.
Кингстон, Доминион Канада.

Послесловие автора

«Та самая Грейс» — художественное произведение, хотя в основе его лежат подлинные факты. Главная героиня романа Грейс Маркс, осужденная за убийство шестнадцати лет от роду, в сороковые годы прошлого века стала одной из самых знаменитых канадских женщин.

Убийство Киннэра и Монтгомери произошло 23 июня 1843 года; его широко освещали не только канадские, но и английские, и американские газеты. Подробности приводились сенсационные: Грейс была необыкновенно хороша собой и к тому же очень молода. Нэнси Монтгомери, домоправительница и любовница Киннэра, за несколько лет до описываемых событий родила внебрачного ребенка; при вскрытии обнаружилось, что она снова беременна. Грейс и Макдермот, служившие у Киннэра, вместе бежали в Соединенные Штаты, и пресса не исключала, что они любовники. Сочетание секса, насилия и прискорбного неповиновения закону представителей низших слоев казалось журналистам тех времен в высшей степени заманчивым.

Судебный процесс состоялся в начале ноября. На нем разбиралось только убийство Киннэра; обвиняемых приговорили к смертной казни, поэтому слушание дела об убийстве Монтгомери суд счел необязательным. 21 ноября Макдермот был повешен на площади перед тюрьмой при огромном стечении народа. Мнения по поводу Грейс, однако, разделились с самого начала; благодаря усилиям ее адвоката Кеннета Макензи и петиции группы почтенных граждан, просивших о снисхождении к возрасту, полу и вероятному умопомешательству девушки, приговор был изменен: Грейс получила пожизненное заключение и 19 ноября 1843 года переступила порог тюрьмы в канадском городе Кингстоне.

О ней продолжали писать до начала нынешнего столетия, и она неизменно вызывала к себе противоречивое отношение. Суждения о Грейс отражали тогдашнюю двойственность самих представлений о женской натуре; общество не могло решить, кем она была — дьяволом в женском обличье, хитрой искусительницей, инициатором преступления и действительным палачом Нэнси Монтгомери или безвинной жертвой, которую Макдермот угрозами принудил молчать и подчиняться. Выяснению истины не помогло, конечно, и то, что сама девушка изложила следствию три версии убийства Монтгомери, тогда как Джеймс Макдермот дал только две.

Впервые об истории Грейс Маркс я узнала из книги Сусанны Муди «Жизнь на вырубках» (1853). Известность С. Муди приобрела более ранним своим сочинением, оно называлось «На диких землях тяжело». Это был пугающий рассказ о житье-бытье первых поселенцев в местах, что некогда носили имя Верхней Канады, а теперь зовутся провинцией Онтарио. «Вырубки» — его продолжение; на сей раз автор имел целью изобразить существование канадского запада в более цивилизованном виде и включил в свой труд восторженные описания кингстонской тюрьмы и психиатрической больницы в Торонто. В заведения такого рода люди тогда ходили, как в зверинец; и там и тут С. Муди просила показать ей главную достопримечательность — Грейс Маркс.

Повествование Муди об убийстве — это информация уже из третьих рук. Однако сочинительница ни капли не сомневается, что инициатива изначально принадлежала Грейс, движимой любовью к Томасу Киннэру, ревностью к Нэнси и обещавшей Макдермоту свою благосклонность ради того, чтобы подбить его на злодеяние. Макдермот в изображении Муди — человек, ослепленный страстью; Грейс поэтому могла вертеть им как угодно. Писательница не устояла и перед искушением внести в текст элементы пошлой мелодрамы; четвертование Нэнси убийцами — не только чистой воды вымысел, но еще и чистой воды Харрисон Эйнсуорт[1]. Влияние «Оливера Твиста», любимого романа Муди, явственно дает себя знать в фантазиях про залитые кровью глаза, якобы неотступно преследующие Грейс Маркс.

Вскоре после встречи с Грейс в исправительном учреждении Муди внезапно обнаруживает девушку среди обитателей сумасшедшего дома в Торонто; та и здесь содержится под строжайшим надзором. Собственные наблюдения Муди, как правило, достоверны, и если она пишет, что видела, как Грейс пронзительно вопит и скачет, значит, так оно несомненно и было. Тем не менее вскоре после публикации книги Муди — и тотчас после назначения главным врачом лечебницы гуманного

---

[1] Уильям Харрисон Эйнсуорт (1805 — 1882) — английский писатель, весьма склонный к изображению кровавых ужасов и мелодраматических ситуаций.

Джозефа Уоркмана — Грейс признали нормальной, во всяком случае, достаточно нормальной, чтобы отправить назад в тюрьму; в тюрьме, как свидетельствуют поденные записи надзирателей, девушку заподозрили в том, что она забеременела во время пребывания в Торонто. Тревога оказалась ложной, но все-таки любопытно: кого в психушке могли счесть виновником? Больные и охрана между собой практически не общались, единственными мужчинами, имевшими доступ к пациентам женского пола, были врачи.

В течение последующих двух десятилетий имя Грейс продолжает время от времени возникать в тюремных отчетах. Она безусловно знала грамоте, ибо в журнале одного из надзирателей отмечено, что девушка часто писала письма. Она произвела такое сильное впечатление на многих своих респектабельных соотечественников, в том числе и на лиц духовного звания, что все эти годы они не оставляли попыток смягчить ее участь, подавали властям прошение за прошением, настаивая на ее освобождении, и даже старались заручиться в этом деле поддержкой авторитетных медиков. Двое из тех, кто составлял ходатайства в защиту Грейс, утверждают, будто она долгие годы работала служанкой в доме Хозяина (имеется, вероятно, в виду начальник тюрьмы) и пользовалась там полным доверием. Правда, в тюремных отчетах об этом ничего не сказано, однако, по общему признанию, отчеты дошли до нас в неполном виде. Так или иначе, но в ту пору в Северной Америке действительно существовал обычай брать напрокат узников из тюрьмы для дневной работы.

В 1872 году Грейс Маркс наконец даровали помилование; тюремные журналы свидетельствуют, что, освободившись, она тотчас в сопровождении надзирателя и его дочери уехала в штат Нью-Йорк, в какое-то «заранее приготовленное убежище». Впоследствии ее жизнеописатели объявили, что она вышла там замуж, хотя никаких доказательств этому нет. Далее следы Грейс Маркс теряются. Совершенно неясно, была или не была она соучастницей убийства Нэнси Монтгомери и возлюбленной Джеймса Макдермота; никто также не знает, страдала она на самом деле психическим расстройством или только притворялась безумной — как поступали многие, чтобы облегчить свое положение. Личность подлинной Грейс Маркс остается загадкой.

Повальное увлечение спиритизмом в Северной Америке зародилось в конце сороковых годов прошлого века на территории штата Нью-Йорк; начало ему положили «постукивания» сестер Фокс, бывших родом из Белвилла, а именно в Белвилле к тому времени поселилась Сусанна Муди, именно там она сделалась рьяным адептом мистической веры в возможность общения с умершими. Невзирая на то что спиритизм вскоре привлек к себе изрядное число шарлатанов, популярность его быстро росла и достигла пика на исходе пятидесятых; особенно широко он распространился в северных областях штата Нью-Йорк, а также в районе между Кингстоном и Белвиллом. В ту эпоху он стал единственным квазирелигиозным течением, в котором женщинам было разрешено играть важную роль, хотя важность эта в данном случае сомнительна: сами женщины считались всего только проводниками воли духов.

Месмеризм как достойный уважения научный метод вышел из доверия в самом начале прошлого столетия; однако в сороковых годах его весьма успешно практиковали отдельные подозрительные шоумены, знающие, чем привлечь публику. Подобно нейрогипнотизму доктора Джеймса Брэйда, покончившему с магнетизмом, месмеризм начал понемногу возвращать себе утраченную репутацию и к середине века обрел немало сторонников среди европейских врачей, хотя в ту пору ему было еще далеко до широкого признания, которым он пользовался у психиатров в последние десятилетия века.

Для середины девятнадцатого столетия характерно возникновение и быстрое развитие множества теорий, связанных с душевными болезнями. Появлялись не только теории, но и клиники, и сумасшедшие дома (государственные, частные). Такие феномены, как память и амнезия, сомнамбулизм, истерия, состояние транса, нервные болезни, сновидения, воспламеняли любопытство, в равной мере волнуя умы и ученых и литераторов. Интерес медиков к снам повсеместно был так велик, что даже сельский доктор Джеймс Лэнгстаф заносил в журнал ночные видения своих пациентов. «Раздвоение личности» (doublement) описано в самом начале века; в сороковых годах по поводу этого явления уже велись серьезные дебаты, хотя гораздо большая его известность приходится на три последние десятилетия. Я пыта-

лась основать размышления и гипотезы доктора Саймона Джордана на тех идеях эпохи, что могли быть ему доступны.

Разумеется, я беллетризовала реальные события (как и большинство толкователей этой истории, клявшихся, что они ни на йоту не отступают от исторической правды). Я не переиначивала известные факты, хотя письменные свидетельства столь противоречивы, что бесспорно «известного» — раз-два и обчелся. Неясности возникают на каждом шагу. Впрямь ли Грейс доила корову или рвала лук в огороде, когда Нэнси ударили топором? Почему на мертвом Киннэре была рубашка Макдермота и где последний раздобыл эту рубашку — у разносчика или у армейского приятеля? Каким образом книга (или журнал) вместе с окровавленной рубашкой могли очутиться в постели у Нэнси? Какой из нескольких возможных Кеннетов Макензи выступал адвокатом на суде? Когда меня одолевали сомнения, я старалась выбрать наиболее вероятный вариант, используя любую возможность усилить жизненное правдоподобие сюжета. Но там, где в документах имелись всего только туманные намеки или явные пробелы, я ощущала себя свободной и давала волю воображению.

■

РОБЕРТ ОЛЕН БАТЛЕР

Три рассказа из книги «Таблоидные фантазии»

Перевод с английского М. ГАЛЬПЕРИНОЙ

Женщина подглядывает за неверным мужем с помощью стеклянного глаза

Вот как я обнаружила, что могу видеть и по-другому. Как-то вечером мы с Роем полаялись, и в этом, собственно, ничего необычного не было, но он ругался на чем свет стоит, и каким-то образом случилось так, что мой стеклянный глаз вдруг выпал. Рой меня никогда не бил. Не то что муженьки тех теток, напротив которых я сижу, когда они стоят на свидетельском месте в зале суда, и чьи показания заношу в протокол. Зато Рой умеет сказануть. И вот он говорит: «Лоретта, ты просто безмозглая сучка. Во-во, о чем и речь! Видела бы ты сейчас, какая у тебя глупая физиономия. Никогда не видал рожи глупее».

Не знаю, что на это можно ответить. Конечно, это очень обидно. На мгновение наступила тишина, и внутри у меня стало пусто-пусто. Тишина была, как в суде, когда мои руки строчат по сто семьдесят слов в минуту и такое ощущение, будто слушаю я тоже руками, и вдруг они перестают стучать по клавишам. Женщина, которая стоит на свидетельском месте, плачет, пытаясь приглушить всхлипы — ей неловко. Я просто сижу и жду и знаю, что она плачет, но даже не поднимаю на нее глаз. Внутри у меня пусто-пусто. И перед Роем, когда он сказал, что физиономии, глупее моей, никогда не видел, я стою точно так же, и он, наверное, думает, что я ему скажу: да, мол, ты прав, — и тут я сама себя ударила. Моя рука сама взметнулась вверх и влепила мне пощечину. На мой взгляд, это логично. Он бы этого не сделал, оставалось мне самой себе врезать.

Я, опешив, смотрю на Роя и вижу, что он несколько ошарашен, но кроме его лица у меня в голове возникает еще одно изображение. Рябь ослепляющих пятен, китайский шкафчик, потом потолок, потом розовый восточный коврик, и снова потолок, и снова коврик, и вновь потолок. А затем в моей голове произошло совмещение, и то и другое стало видно отчетливо и натурально, как обычно: пульсирующие жилки на висках у Роя и красный огонек противопожарного датчика. Мой стеклянный глаз упал и лежит на коврике, метрах в трех от меня, он пялится в потолок, и я им вижу.

Рой сказал:

— Ну это уж слишком, Лоретта. Ты нарочно.

Я закрыла глаз — свой родной, — чтобы проверить и убедиться, что я все еще смотрю в потолок. Когда я открыла глаз, Роя уже не было. Из комнаты донеслось:

— Вставь стекляшку обратно, Лоретта. Смотреть противно.

© 1996 by Robert Olen Butler
© М. Гальперина. Перевод, 1999

С тем, что у меня один глаз стеклянный, я давно смирилась. Протез очень хороший. Отлично подходит по цвету. Так что мне совсем даже не противно. Я подошла к тому месту, где он лежал, и посмотрела вниз. И в то же время я смотрела вверх. Вот мой васильковый глаз лежит на розовом коврике, и все, что я могу сказать, так это то, что вид у него удивленный. Он как бы широко раскрыт. А на лице у меня еще один васильково-голубой глаз, который смотрит вниз, и сморщенное веко ждет, когда в него вложат начинку.

— Ну разве ты не красотка, — сказала я себе. И это было для меня не меньшим сюрпризом, чем пощечина.

В тот вечер мы с Роем помирились, как всегда. Мы лежим в постели, вокруг темно, а я размышляю о случившемся. Я слыхала о том, как это бывает. От него. От женщин, которые рассказывают свою историю в зале суда по семейным делам. Есть несколько признаков. В какой-то момент мужчины начинают злиться по пустякам. И перестают вас трогать. А как только их в чем-то заподозрят, они некоторое время стараются быть лапочками. Совсем недолго. Я думаю, что в этих мужчинах совесть еще не окончательно заглохла и они понимают, что когда-то любили эту женщину, а теперь предают. Рой пару недель назад ни с того ни с сего подарил мне цветы.

— Чего это вдруг? — спросила я.

А он сказал:

— Ну, это просто потому, что мы муж и жена. И ты хорошая женщина.

Я достаточно наслышалась рассказов, чтобы понять, какие это страшные слова. Я сказала:

— Что за чушь, Рой. Ты не дарил мне цветы... бог знает сколько лет.

Я чуть не сказала «четырнадцать». Я-то знаю, что именно четырнадцать. Но я не хотела, чтобы он знал, что я знаю. Однажды меня поразило, что прошло уже невесть сколько времени с тех пор, когда он в последний раз делал подобные жесты, и я осознала, сколько именно, и с тех пор жду и считаю. Это весьма печально, право же, годами ждать, и подмечать все это, и даже не знать, что сказать.

Но мне не пришлось называть точную цифру, потому что у него резко изменилось настроение. Он разъярился очень быстро и очень сильно. Тоже один из признаков.

— Ну и к черту все это, — сказал он, отнял у меня цветы и швырнул их в угол.

Вот и лежала я в темноте в ту ночь, когда у меня выпал глаз и оказалось, что я им вижу, и размышляла о нас с Роем. Он собирает в гараже аэроплан. Настоящий аэроплан из строительного набора. Он уже однажды собрал такой, полетал на нем недельки две и продал. Это он делал для себя. Теперь вот завелся новый самолет, и он каждый день к нему ходит, и все косточки, ребра, хребет у самолета наружу, а мой с ними возится, пока я записываю слова всех женщин, которым нужно выговориться, ведь того, что у них когда-то было, уже не спасти.

Это заставило меня задуматься над тем, что же есть у меня. Мне нравится Рой. Рой — он такой: он был пилотом, когда мы познакомились, и учил людей улетать с аэродрома на «цессне». Во время нашего первого свидания он говорит: «Я хочу показать тебе Сидар-Рапидс так, как ты еще никогда его не видела». И он берет меня в воздух, и мы летим за город и вычерчиваем восьмерки над васильками, и мы опускаемся низко-низко и гоняемся за телятами по пастбищу, и мы сминаем верхушки каких-то черных дубов, и мы лениво кружим над элеватором, и он все говорит: посмотри сюда, посмотри туда, гляди, что это там, Лоретта. И он заставляет «цессну» скакать и парить, и он смеется и трогает меня за руку, чтобы удостовериться, что я все это вижу. А вижу я взрослого ребенка мужского пола, который с бешеной скоростью мчит на трехколесном велике и выпендривается перед своей девчонкой, и мне это нравится. Мне хочется протянуть руку и взъерошить ему волосы. И он приводил меня потом в гараж и показывал, что́ он собрал. Даже теперь. Даже несколько дней назад. «Посмотри, Лоретта. Я надел на него шкуру».

Но я ревную не к самолету в гараже. Если бы только это. Я думаю о том, что он до сих пор мне показывает, что́ он собрал; потом думаю о женщине, с которой он встречается; потом снова думаю о нем, о «цессне», о нашем первом свидании, когда он увидел

что-то с левой стороны, вскрикнул от удовольствия, но на этот раз не сказал «смотри». Вместо этого он развернул самолет, и мы сделали петлю и полетели в обратном направлении, и он наклонился ко мне и сказал: «Вон там, Лоретта», и я увидела блеск чешуи на солнце в маленьком пруду посреди пастбища. «Я всегда буду разворачиваться в нужную тебе сторону», — сказал он, имея в виду мой глаз. Сообщение о том, что один глаз у меня стеклянный, он воспринял не поморщившись, и это было еще до того, как он назначил мне свидание, и он даже сказал, что это помогает ему понять, как красив мой здоровый глаз.

Но он умел говорить зло. И он мог лечь в постель с другой бабой. Это я знала благодаря тому опыту, который приобрела в суде. И еще он на днях стирал постельное белье и ничего мне не сказал. Белье с нашей же собственной кровати. Это плохой знак.

Я думаю обо всем об этом и обнаруживаю, что мои пальцы незаметно шевелятся под одеялом. Ведут протокол. Для них это обычное дело. И вдруг они замерли. Потому что в голове у меня наступила тишина. И полились слезы. Я не взъерошила ему волосы тогда, когда впервые у меня был такой порыв. Я дождалась того момента, когда мы в первый раз занялись любовью, это было в первую брачную ночь, и так было задумано. Так было задумано еще тогда, когда мы описывали круги над Сидар-Рапидсом, хотя было начало семидесятых и нравы уже везде были довольно-таки свободные. И в ту ночь, когда у меня выпал глаз, я кое-что поняла о тех десяти или двенадцати месяцах, когда я говорила: «Нет, Рой, нет, только после свадьбы». Я поняла, что это были последние месяцы, когда я сама строила свою жизнь. Надо признаться, это было чудесное время — те несколько месяцев до нашей свадьбы. Не то чтобы мне не хотелось запустить руки ему в волосы или еще куда. Просто строить свою жизнь самой было еще лучше.

Теперь я ворочаюсь в постели, а он лежит ко мне спиной и тихонько посапывает, я протягиваю руку к его голове, но не дотрагиваюсь до него. Его волосы такого же цвета, как те бычки на лугу. И такие же непослушные. Вьются и вечно путаются. И мне все так же хочется продираться сквозь них кончиками пальцев. А она ему тоже так делает? Теперь мне хочется пройтись по ним как плуг. Словно острый тяжелый лемех. Кто-то побывал в нашей постели. Может быть, даже сегодня. Я сдержала крик. Я лежу на спине и смотрю в темноту, думая о красном огоньке, который увидел мой стеклянный глаз. Лицо мое горит, как этот огонек, когда тревоги нет. Глаз. Я знаю массу случаев, когда брак распадался даже от такой малости, как постиранная простыня или подозрительные вспышки доброты. Я так не хочу. Внезапно у меня созрел план.

На следующую ночь Рой сидит в ванной за закрытой дверью. Он задирает голову и пускает ветры протяжным жалобным «му-у»: он никогда за все время, что мы женаты, не делал этого при мне, за что я, с одной стороны, благодарна ему, а с другой стороны, на него обижаюсь. То ли он меня настолько уважает, то ли у него нет со мной настоящей близости. Но я все слышу из-за двери и уже готова действовать, однако прежде, повинуясь порыву, я откидываю покрывало и пристально изучаю простыни. Нет, их не стирали. Я наклоняюсь поближе и принюхиваюсь, стараясь уловить аромат ее духов или страсти, но не унюхиваю ничего, кроме слабого, двухдневной давности, запаха «Тайда». Потом звуки в ванной затихают, и я выпрямляюсь, у меня приготовлен стакан с водой — обыкновенный прозрачный стакан для воды, — я беру его в руки и жду.

Приходит Рой в наглухо застегнутой пижаме, готовый ко сну, и даже не смотрит на меня. Он направляется к своей половине ложа, стягивает покрывало и взбивает подушку. Потом он замечает, что я того же самого не делаю, и поднимает голову. Теперь, когда я привлекла его внимание, хоть и притворяюсь, что его не замечаю, я берусь за веко, нажимаю, и вот он — мой стеклянный глаз. Я бережно погружаю его в воду, и, хотя мое лицо повернуто в другую сторону, передо мной возникает зыбкое изображение Роя и другой половины спальни, потом оно проясняется, и кажется, что Рой поднимается, но на самом деле это глаз мой опускается на дно, и Рой изумленно привстает, а потом я устраиваюсь на дне стакана и смотрю на него оттуда, ясно и твердо.

— Лоретта, что это ты делаешь?

— Я звонила врачу. Он велел на ночь давать веку отдохнуть.

Мне не понравилось, как Рой пожимает плечами, дескать, ему все равно. Но это то, к чему мы с ним пришли. Итак, он забирается в кровать, а я осторожно ставлю стакан с водой на ночной столик. Оттуда мне видно всю кровать. Я даже ставлю на столик вазу с цветами, чтобы стакан не так бросался в глаза. Цветов он не заметил.

Потом свет гаснет, и мы лежим рядышком, и Рой еще не повернулся ко мне спиной. Мы оба лежим лицом вверх с закрытыми глазами, и, разумеется, я все это вижу. И я не ожидала, что меня это так взволнует. Одеяла натянуты до подбородков, и наши лица плывут рядышком в полумраке, и мы вместе погружаемся в небытие, я и Рой, со всем, что было и есть, с полетом над Айовой, с домашним житьем-бытьем. И даже со скандалами — со всем. Между нами даже мерещится какая-то близость. Так мы тихо лежим, в профиль к стакану, чтобы виден был только здоровый глаз, и меня охватывает сладкое чувство от того, что я вижу, а потом вдруг горькое чувство от того, что я делаю. Я едва не выуживаю свой глаз из стакана, чтобы вставить его на место. Но все же я этого не делаю. Я должна знать. Что-то в этой жизни выскакивает из глазниц, и я должна все видеть.

Странная была ночь. Я спала и в то же время не спала. Как бы глубоко я ни погружалась в сон, в моей голове неизменно были мы с Роем, лежащие рядышком. Он довольно быстро отвернулся от меня, но позже опять повернулся и даже на некоторое время обвил мою закутанную талию сонной рукой, и этот жест показался таким естественным, что я подумала: сколько же таких бессознательных объятий я, сама того не зная, прозевала!

Утром я вставила глаз на место и пошла на работу, а Рой пошел к своему самолету и, в каком-то смысле, к той, другой женщине. Или она пришла к нему. Но я еще не была готова к решительным мерам. Мне нужно было, чтобы Рой привык к глазу в стакане. И так прошла неделя, две, и однажды ночью я почувствовала запах дешевых духов в постели, а на следующий день, придя с работы, я обнаружила, что простыни опять постираны, и тогда я поняла — пора.

В тот вечер, пока Рой попукивал в одиночестве, я поставила стакан с водой прямо напротив вазы и расправила цветы, чтобы они прикрывали края стакана. А утром я поднялась пораньше и шепнула Рою, что мне надо вести протокол в суде, надела солнечные очки и ушла, оставив стеклянный глаз лежать на ночном столике. Я чуть не убилась на шоссе. Но уж больно трудно было просто так смотреть, как он переворачивается на спину, на его спутанные, всклокоченные волосы. Он по-прежнему хорош собой. Он заслонил локтем глаза от солнца, пробившегося сквозь щели в ставнях. Он подтянул ноги, и во мне тут же вспыхнула похоть, и меня понесло на соседнюю улочку — по направлению к его ногам. Я вырулила обратно и посмотрела в зеркало заднего вида, там было мое лицо, скрытое пустым взглядом солнечных очков. Я знала, что́ там, под ними, а для суда очки не годятся.

Итак, я остановилась у аптеки возле здания суда. Там было из чего выбирать: пластырь из марлевки белого цвета, пластыри телесного цвета, повязка через голову белая, в мелкий розовый цветочек, как детская пижамка, черная повязка, как в фильме про пиратов. Но я была не героем фильма, а зрителем, и хотя Рой пока что еще спал, он становился все беспокойнее, голова его запрокинулась, и рот был широко открыт, его ноги медленно гребли под одеялом, словно он куда-то плывет. Рой был главным героем этого фильма, готовым к своей звездной сцене. Я схватила упаковку пластырей телесного цвета и понесла ее к кассе, а там была молодая девушка, очень хорошенькая, но еще не до конца одолевшая прыщики периода цветения, и я задумалась, какого возраста та, которая вскоре предстанет перед моим жаждущим оком. Такая же молоденькая?

Я вытащила двадцатидолларовую банкноту и протянула этой несчастной девушке, уже готовая выплеснуть на нее свой страх, и тут Рой внезапно проснулся.

— Что тебе послышалось? — сказала я.

— Прошу прощения? — это продавщица.

— Ничего-ничего, — сказала я ей, а Рой поднял голову. — Это она?

— Кто — она?

— Что? — сказала я продавщице. Я не могла взять в толк, о чем она говорит.

Девушка окинула меня каким-то странным взглядом и начала поспешно отсчитывать сдачу. В тот момент мне показалось это подозрительным: как будто она опаздывает на свидание к Рою.

— У вас перерыв? — спросила я ее, хотя уже почти простилась с этой безумной мыслью.

— Нет.

Рой дернул головой, и мне стало ясно, что у него хрустнула шея. Теперь он двигался неторопливо.

— Рано еще, — сказала я. — Сволочь.

В руку мне сунули монеты.

— Пересчитайте. А вообще ты старая сука.

Я удаляюсь, а девушка говорит:

— Когда я ухожу с работы, меня у выхода ждет бой-френд.

Я иду прочь, а Рой садится на кровати, пошевеливая пальцами ног. Самодовольный болван. Созерцает пальцы ног и переполняется самодовольством. Мне захотелось медленно вернуться домой и найти на кухне что-нибудь, чем его можно было бы стукнуть. Но наконец я сообразила, что он не собирается переться в аптеку за девушкой с прыщиками к концу ее рабочего дня.

Сегодня я в суде по семейным делам, и мне надо проверить свою пишущую машинку. Рой на время пропал из виду, наверное, в туалет пошел. Я сижу и заправляю листы бумаги и вытаскиваю линейку на всю длину. Мы до сих пор пользуемся старой пишущей машинкой, и она под моими пальцами издает такой настоящий негромкий хлюпающий звук. Приятный звук. Я вытащила из каретки листок с пробным текстом, и вдруг передо мной возник голый Рой. Он еще не обсох. Как давно он не входил при мне в комнату голышом. Особенно при свете дня. И несмотря на то что видит его только мой глаз, а Рой даже не знает о его присутствии, мне на мгновение показалось, что все это он делает нарочно, только ради меня. Потом вдруг мысли мои перескакивают на другое, и меня бросает в жар: он это делает ради нее, сейчас она войдет. Потом я слегка успокаиваюсь. Я соображаю, что это вообще не для нас с ней. Он слишком беспечно поглядывает по сторонам, а потом, почесывая брюшко, направляется к бельевому шкафу. Я обнаружила, что мои руки трудятся вовсю. Я заставляю себя отвлечься от Роя, достаю папки со стенограммами и перевожу заученные слова-коротышки на нормальный язык. *Он голый,* написала я. *Он стоит около кровати, и я уже бог знает сколько времени не видела этой соблазнительной штуки. Соблазнительная у тебя штука, старичок. Жалко, что ты не выходишь ко мне в таком виде. Но Ее пока не видать. Я Ее уже почуяла. И эта штука — для нее. Другая женщина знает ее теперь лучше меня, самодовольный ты сукин сын. Надень-ка ты лучше трусы, я не удостою твое тело даже проклятием.*

Мне немножко страшно. Я рву эти каракули и запихиваю в сумку. Я поднимаюсь, с кем-то разговариваю, и все встают, а в голове у меня ничего, кроме крадущегося солнца. Тонкие полоски солнца просачиваются сквозь ставни и ползут по кровати, слишком медленно, чтобы мгновенно достичь цели, но все же ясно, что через некоторое время дотянутся, как стрелки часов.

У меня тут время летит быстрее. Руки так и порхают. Женщина говорит, что она сыта по горло. Она хочет уйти. Она сидит на свидетельском месте, и у нее круглое как луна лицо и опухшие глаза, она так близко, что я могу до нее дотянуться рукой. У нее дети, и она хочет безраздельной опеки. У нас с Роем детей никогда не было, и мы никогда не выясняли почему. К тому времени, когда этот факт дошел до нашего сознания, нам уже было все равно.

В тот самый момент, как я об этом подумала, наступил перерыв на слезы, и я почувствовала, как мои руки строчат: *печальная история,* — и, скорее всего, я имела в виду себя. В зале суда никто не произнес этих слов. Я приказала рукам быть повнимательнее. Кровать сейчас пуста. Солнце из нее вылезло. Судья передает женщине салфетку, а я пока

печатаю: *Ты летаешь и выводишь восьмерки над присыпанным солнцем озером, а потом ты лежишь в темной комнате, и тебе плевать на то, что я рядом, тебе плевать на то, что от тебя не происходит никакой новой жизни.*

Я поднимаю руки, сжимаю-разжимаю кисти, складываю ладони вместе. Я вас отучу отвлекаться. Рядом тихо шмыгают носом. Будь повнимательнее, говорю я себе. Опускаю руки на клавиши. Женщина говорит, что можно продолжать.

Тут на меня обрушиваются Рой и его баба. Они уже сплелись и кружатся по комнате. Я судорожно хватаю ртом воздух. Громко, я знаю. У судьи тоже круглое лицо. Оно поднимается над кафедрой, и я превращаю свой вздох в кашель и пригибаюсь к машинке. Мои руки боятся судьи, они слушают свидетельские показания, но остальная часть меня видит перед собой женщину, которой еще нет тридцати, с длинными, спутанными волосами, как будто она спала с мокрой головой и не расчесалась. И она обхватывает моего мужа руками, а теперь уже и ногами, и они с Роем валятся на кровать.

Я крепко зажмуриваю свой целый глаз. Но я хочу закрыть тот, стеклянный. Я видела достаточно. *Он не оставит меня одну*, пишут мои руки, это слова женщины на свидетельском месте. Но потом я продолжаю: *они сдирают друг с друга одежду. Сегодня вечером в постели будет полным-полно пуговиц.* Я открываю глаз, но больше не могу слышать руками, я заклинаю свои пальцы повиноваться. «Не надо, пожалуйста», — шепчу я еле слышно, обращаясь к своим рукам и к своему мужу, я чувствую гнев свидетельницы и снова шепчу: «Не надо, не надо».

Они оба голые, и живот у нее больше моего и какой-то откляченный. «Толстуха», — шепчу я. Но разве я могу ее критиковать? По крайней мере, эта толстуха сейчас там, с Роем, и, значит, он этого хочет, и она залезает на него, а он лежит на спине. И лежит на моей половине. На *моей.*

— Отодвинься, — говорю я вслух.

— В чем дело? — спрашивает судья.

— Можно повторить еще раз? — спрашиваю я.

Судья поворачивается к истице:

— Пожалуйста, повторите свой ответ для стенографистки.

Сосредоточься. Я снова закрываю свой здоровый глаз и прислушиваюсь к своим рукам, а они говорят что-то о муже, который не желает слушать, которому наплевать, и, может быть, я записываю показания этой женщины, а может, пишу, что придет в голову. Но честно говоря, мне тоже наплевать. И честно говоря, я уже не слушаю. Женщина разметала свои спутанные волосы, голова ее запрокинулась, лицо уставлено в потолок. Я смотрю на Роя. Из стакана с водой, стоящего возле кровати, я всматриваюсь в лицо своего мужа. Оно мне скажет все как есть.

— Ему наплевать, — я понимаю, что говорю вслух. Лицо Роя мне сразу все сказало. Рот крепко сжат. Глаза мертвы.

— Вы опять что-то пропустили? — спрашивает судья.

— Да, ваша честь. Кажется, было сказано: «Ему наплевать»?

— Вы правы, — говорит, поворачиваясь ко мне, женщина, сидящая на свидетельском месте. Судья — мужик. Адвокат этой женщины — мужик. И адвокат ее мужа — мужик. Она поворачивается ко мне, радуясь, что кто-то ее понимает. — Вы правы, — говорит она.

Судья обращается к ней:

— Повторите, что вы сейчас сказали. Нас не интересует, согласны ли вы с тем, что послышалось стенографистке.

Она снова говорит, повторяя свои слова, мои руки работают. Но потом они замирают. Женщина в моей постели опустила голову и посмотрела прямо на меня. Глаза ее расширились. Губы шевелятся. Лицо Роя тоже поворачивается ко мне.

И судья произносит мое имя. Он тоже смотрит на меня, привстав со стула.

— Что случилось? С вами все в порядке?

Женщина скатывается с моего мужа, вылезает из кровати, и я понимаю, что она идет

ко мне. Я встаю с места. Как будто сейчас я могу с ней справиться, выбить из нее всю дрянь.

Судья говорит адвокатам:

— Лоретта, моя лучшая стенографистка.

Женщина наклоняется, ее космы свешиваются вперед, она приближает ко мне лицо, и ее нос сквозь выпуклые стенки стакана кажется расплывшимся.

— В чем дело, Лоретта? Вас беспокоит глаз?

— Да, — отвечаю я. Хорошо, что я выбрала этот пластырь.

У женщины большие глаза цвета грязного машинного масла. Я рычу оттого, что мне приходится в них смотреть, и прикрываю рукой глаз, но это только повязка.

— Вы можете продолжать? — спрашивает судья.

Я думаю о мертвом лице Роя. Он мог бы сбросить эту женщину. Может быть, он все еще хочет меня. Я говорю:

— Я не знаю, могу или нет.

— Но вы попробуете?

— Не знаю.

Но потом передо мной невесть откуда появляется рука женщины, вода покрывается рябью, я ничего не вижу, а потом я очутилась глаз к глазу с этой женщиной, комната завертелась, потом куда-то провалилась, и вновь я обрела равновесие, но теперь смотрю на Роя сбоку. Лицо его больше не безжизненно. Рот раскрылся, и глаза удивленно расширились, и я поняла, что эта женщина прицепила мой глаз к своему пупку, как украшение восточных танцовщиц.

— О нет! — кричу я.

— Что такое? — спрашивает судья.

Мой глаз приближается к застывшему лицу Роя.

— Мой глаз, — говорю я.

Рой не может ничего сделать, и мне кажется, он знает, что я смотрю на него, что я совсем рядом, и лицо его медленно опускается. Она стоит перед ним и толкает его на кровать.

— Стойте! — кричу я.

— Мы вас заменим, Лоретта, — говорит судья.

— Нет! — кричу.

— Так для вас будет лучше, — говорит судья. — У вас явно сильные боли. Не надо себя мучить.

Рой снова вскакивает, и они с судьей стоят передо мной бок о бок. Потом Рой поднимает на нее взгляд и улыбается ей тепло и гадко.

— Мне больно, — говорю я.

— Тогда достаточно, Лоретта, — говорит судья.

Рука Роя тянется ко мне, хватает мой глаз, и я лечу куда-то в постель и в темноту.

Теперь передо мною только судья. Моя рука поднимается и прикасается к повязке. Гладит меня по лицу. Очень-очень нежно.

— Я могу уйти? — говорю я.

— Да, — говорит он.

Что я и сделала.

Женщина проигрывает в конкурсе на лучшее печенье и поджигает себя

В день, когда умер мой муж, я испекла печенье. Шоколадные ромбики «Держите меня крепче». Простое печенье, которое можно жевать целую вечность, которое вязнет в зубах и липнет к деснам, от которого начинают трястись руки и кажется, что язык вот-

вот растворится бесследно. Я положила две чашки сахару. В моей жизни начался новый отсчет времени. Конец времени, и единственным известным мне способом получить от этого удовольствие было прожить его как всегда. Поэтому в тот вечер я положила две чашки сахару, три чашки шоколадной крошки и съела целый противень печенья. Я все еще тряслась от него через три дня, во время похорон, и все думали, что от горя.

Даже Ева. Конечно, ничего другого она и не могла подумать. Добрая душа. Моя подруга Ева. Она встала со мной перед открытым гробом, и от нее пахло лавандой. Однажды она попыталась испечь лавандовое печенье — из некухонных запахов это был ее самый любимый. Лаванда того же семейства, что мята, и теперь, задним числом, я преклоняюсь перед Евой за эту попытку. Она не могла всерьез рассчитывать на то, что лавандовое печенье придется по вкусу ее домашним. А может, у нее была такая надежда. Во всяком случае, Вольф, ее муж, швырнул Евину стряпню через всю комнату. Она чувствовала себя виноватой.

И вот у гроба она сказала:

— Бедная моя Герти. Мне очень жаль, — она взяла меня за руки, которые даже тогда все еще пронизывала сахарная дрожь, и закатила глаза. — Я знаю, что́ ты сейчас чувствуешь.

Вольф умер почти на десять лет раньше. Ему едва исполнилось шестьдесят. Я полагаю, артерии закупорились от ее «Превосходных масляных шариков». Не потому, что она специально этого добивалась. Я тогда рыдала вместе с ней и думала: как же она несчастна; думала: о боже, как же я сама такое перенесу. Но когда настал черед моего мужа, когда Карл, сидя за столом, взял в руки фаянсовую супницу, а потом вдруг побелел и, осторожно поставив ее на скатерть, упал лицом прямо в шницель по-венски, — в тот же самый момент я начала это переносить, и мысли мои, как это нередко бывало в моей жизни, обратились к печенью.

Конечно, Ева воображала, будто знает, что́ я чувствую. Ее нельзя за это винить. Почти все сорок лет, что мы дружим, каждая из нас прожила в уверенности, что знает, какие чувства испытывает ее подруга. В эту минуту мои дочери сидели с каменными лицами в зале для панихиды, и я воображала, будто знаю, что они чувствуют, хотя сейчас, когда я стою возле одной из сотни электрических печей в Выставочном центре Луисвилльской ярмарки и жду, когда подведут итоги Большого американского конкурса на лучшее печенье, я уже в этом не так уверена. Может быть, я вообще ничего и ни о ком не знаю.

Но Ева держала меня за руку и даже не догадывалась, что на самом деле происходит во мне. Мы с ней не раз вот так же колыхались над нашими кухонными столами, смеясь над тем, что сами же и сделали: напечем, бывало, печенья и все съедим сами. Мы вдвоем могли оставить всех с носом. Но потом мы заводили все сначала и успевали испечь новую порцию, прежде чем Карл, Вольф и дети возвращались домой. В конце концов эти маленькие сладкие штучки делались для них. Прежде всего для них.

Поэтому, когда Ева, держа меня за руку, стояла со мной у гроба, я глянула ей в лицо и испугалась. Испугалась того, что меня не покидает это ужасное чувство облегчения — единственное слово, которым я могу выразить свое отношение к смерти человека, с которым прожила более сорока лет, — и того, что моя любимая подруга, моя вторая душа, совершенно не видит, что со мной происходит на самом деле. Мне страшно захотелось развернуться и побежать. Через зал для гражданской панихиды, потом по улице домой, к себе на кухню, потом напечь еще печенья — «Букетики с арахисовым маслом»; вот что занимало мои мысли у гроба: хорошо бы напечь целый противень песочных «Букетиков с арахисом», и слопать их все, и даже не слышать тиканья часов над раковиной, или гудения полуденного ветра в водосточных трубах, или шума дневной телепередачи из открытых соседских окон; и мне не пришлось бы смотреть, как колышется развешанное для просушки белье, как оно хлопает на ветру, опадает и снова вздымается или как солнце заливает пустую лужайку, а потом уступает место тени от нашей крыши и тень дома всасывает ее в себя — так клочок яркой тряпки, который валялся на ковре, исчезает в недрах пылесоса. Вот еще один звук. Пылесос. Рев. И запах горелой резины. А у меня

руки пахнут «Лимонной радостью». Или лизолом. Чистота. Все чисто. Пахнет чистотой. Но все изменил тот новый оборот, который приняла моя жизнь. Я могла печь печенье и сидеть за столом: Карл в этот вечер не должен был прийти домой, а девочки все были на своих кухнях в разных отдаленных местах, и я могла есть, есть, и, если бы вдруг мне захотелось еще, я бы испекла себе добавки.

Ева думала, что на сегодняшний конкурс я представлю свои «Букетики с арахисовым маслом». За шесть месяцев до того дня, когда Карл не смог закончить ужин, мы с ней сидели у нее на кухне, а на дворе было яркое солнце и висели свежевыстиранные простыни — мы с ней обе не любим запаха белья, которое вынимаешь из электросушилки, — и слышно было, как простыни хлопают. Мы с Евой сидели у нее на кухне, на столе между нами лежал раскрытый номер «Домашнего очага», где было объявление на целую страницу о том, что именно печенье превращает жилище в дом и та, которая испечет самое лучшее печенье, получит сто тысяч долларов.

— Вот было бы здорово выиграть эти деньги, — сказала Ева.

— Да уж, — сказала я.

— Не то чтобы они мне нужны. Вольф был так предусмотрителен.

Это была чистая правда. Жизнь Евы нисколько не изменилась после его кончины. Как в Библии брат покойного женится на овдовевшей невестке, так и Ева теперь обвенчалась с его счетами, приносящими большие проценты. И хотя это был не Вольф, а всего лишь деньги Вольфа, она продолжала вести хозяйство так же точно, как при нем, и спала одна на тех же простынях, которые неизменно пахли солнцем и свежим воздухом. И я всегда за это ею восхищалась. С великим волнением в груди и комом в горле я рассказала бы всем своим подругам о Еве, и слова мои были бы полны восхищения.

— Ты можешь приготовить свои «Букетики с арахисовым маслом», — сказала она.

— Лучше ты иди одна, Ева, — сказала я. — Ты выиграешь в этом году, а я — в следующем.

— Мы же с тобой не будем соревноваться, — сказала она и накрыла ладонью мою руку на середине стола. — Мы будем друг друга поддерживать. Я хочу, чтобы мы пошли вместе.

Итак, мы отправили свои рецепты на конкурс и в тот же четверг получили письма с ответом. Я сидела у себя за кухонным столом и бумажка за бумажкой разбирала гору почты. И вот, просмотрев, что мне может предложить Лилиан Вернон и Гарриет Картер, в сотый раз решив купить лампочки, которых хватает на 20 000 часов, я откопала записку от спонсоров конкурса. Я прочла, что они тепло поздравляют меня, миссис Гертруду Шмидт, и с нетерпением ждут, когда мы вместе с остальными девяноста девятью мастерицами соберемся осенью в Луисвилле, и еще они написали, что мой чудесный рецепт «Букетиков с арахисовым маслом» прекрасно меня аттестует, но, если мне захочется придумать что-нибудь новенькое, на заключительном соревновании я могу испечь любое печенье, какое пожелаю. Сотню самых лучших они уже отобрали, и теперь им хочется сюрпризов. Можно использовать любые продукты, если только я соглашусь побрызгать противень их антипригарным аэрозолем для выпекания. С уважением. Потом зазвонил телефон, и это была Ева, и она рыдала от воодушевления.

— Я обязательно сделаю что-нибудь новенькое, — сказала она.

— Но мне нравятся твои «Превосходные масляные шарики», — сказала я. — Вольф ведь так любил это печенье.

Наступило такое долгое молчание, что я уже испугалась, не расстроила ли ее столь неуместным упоминанием Вольфа. Я хлопнула себя по лбу и стала ждать, когда она наконец заговорит. Помолчав, Ева задумчиво, но без тени грусти спросила:

— Ты думаешь, это будет дань его памяти?

— Нет-нет. Неправильно я сказала. Сделай что-нибудь новенькое. Так будет интереснее.

— Ты так думаешь?

— Ну конечно!

— Да, — сказала она, — я представлю себе, что он жив, и испеку печенье его мечты.

В тот момент эта ее мысль меня очень тронула. Сейчас меня от нее тошнит. Ева сегодня утром застолбила печь рядом с моей и старается теперь для него каждую секунду. Перед началом конкурса мы все стояли у своих печей, а зрители сидели так тихо, что я подумала: вот сейчас услышу, как где-то хлопают на ветру простыни. Перед каждой из нас был разделочный столик, и я взглянула на Еву, и лицо ее было опущено, а за ним другое лицо, потом еще — длинный ряд; и все мы ждали сигнала, чтобы приступить к делу своей жизни, и я снова посмотрела на Еву, и она думала о Вольфе, я знаю, и старалась не замечать меня, не до того ей, и мне тоже нужно было о ней забыть, но мы стояли в этом зале, а в тот день, когда мы обе узнали, что прошли в финал, мой муж был еще очень даже жив.

— Да, — сказала я Еве, — дух Вольфа несомненно витает на вашей кухне. Сделай печенье мечты его призрака.

Не знаю, кто меня дернул за язык. Наверное, я хотела сказать, что он по-прежнему присутствует в ее жизни и тому подобное. Но я неудачно выразилась, и она какое-то время молча переваривала эту мысль, а потом сказала: «Да». Она произнесла это с трепетом внутренней готовности в голосе, и мы положили трубки.

Я посидела с минуту, размышляя, как бы сообщить Карлу нашу с Евой новость.

И не только привычные звуки дома или те сиюминутные вещи, которые я видела каждый божий день, не запах, исходивший от моих рук или простынь или обоев, мешались у меня в голове, бурлили и едва не выпрыгивали из печи, когда Карл упал лицом в тарелку. Был еще и он. Был он. И была я, я сидела и не знала, как ему сказать, что у меня есть свои причины ехать в Луисвилл, штат Кентукки, и чего-то добиваться. Черт бы побрал эту Еву, сбила меня с толку, думала я. В мыслях «черт» прозвучало сладко и притом сопровождалось объятием, но черт бы ее побрал с этой дурацкой затеей, думала я. Мне не нужно было бы тогда уведомлять об этом мужа. Мне не нужно было бы сидеть за кухонным столом, пытаясь себе представить — руки у меня тряслись, но не от переизбытка сахара, — как я расскажу своему мужу про печенье, которое будет не для него. Но я ничего не придумала.

Вышло так, что я вообще ему не сказала. В тот вечер я отложила объяснения. Он пришел домой, клюнул губами пустоту между собой и мной, и пошел к своему креслу, и уселся, и раскрыл газету. Потом был обед: жаркое в горшочке, и молодая картошка, и красная капуста, и сладкая кукуруза со сметаной, и кой-какой салат, и «Медовые капельки черного леса» — маленькие пряные печеньица, которые меня учила делать еще моя бабка, — и кофе, и никакого разговора не было, не было сказано ни словечка о печенье, хотя не так давно, всего несколько лет назад, я пекла те же самые «Капельки» и он уплетал их с удовольствием, подбирая крошки с блюда влажными пальцами, и в тот вечер я его таким образом проверила. Раз он ни слова не сказал о моем печенье, я ни словом не обмолвлюсь о Луисвилле. После того как был съеден последний кусочек и выпит последний глоток кофе, он откинулся назад, и сделал глубокий вдох, и, хрюкнув, сказал: «Хорошо».

Это не считается. Это он говорил каждый вечер в течение сорока с лишним лет и думал, будто это считается, но это не засчитывалось. Уж во всяком случае — не в тот вечер, уж во всяком случае — ни в какой другой вечер. Сейчас-то я чувствую внутри этот жар — мое печенье выносится на суд, и сотня печей остывает, и я стою здесь, а огромная стальная паутина потолка нависает надо мной, как в соборе, — сейчас-то я чувствую жар от этого краткого одобрения, которое в тот момент меня не задело. Я не рассердилась. В конце концов, я хотя бы на один вечер избежала неприятного разговора. Мне не пришлось говорить ему о поездке в Луисвилл.

А на следующий вечер он умер, не успев даже съесть горячее. И может быть, он умер от того печенья. Ведь оно было приготовлено по бабушкиному рецепту и начало брало от тех дней моего детства в Германии — как далеко они, но как ясно я их вижу: моя бабушка, и мама, и я вместе трудимся за грубым дубовым столом, возле раскаленной

угольной печки, и вся кухня полна запахами душистого перца, и мускатного ореха, и корицы, и гвоздики, и мы стряпаем целые противни этого печенья, и, может быть, вся доброта, какую только способны вместить руки трех поколений женщин, рождает такую сильную вкусовую признательность в том, кто ест, что если он не даст ей выхода просветлением лица, потеплением взгляда, нежностью ласкового прикосновения, то под напором этой силы сердце его испытает страшнейшие перегрузки и он в течение двадцати четырех часов умрет. Может быть, так все и было.

Хочется думать, что так. Он умер, и когда санитарная машина уехала, я замесила тесто для «Держите меня крепче» и, даже не успев смазать противень жиром, уже поняла, какие чувства испытываю в связи со смертью мужа. Не могу сказать, что именно такие, как я ожидала, но и неожиданностью они для меня не явились. Я знала, что не смогу ни с кем поделиться. Меня бы сочли жестокой и бесчувственной. Ева-то уж точно. Она была бы просто потрясена. Что для меня явилось неожиданностью, так это чувства, которые я начинала питать к ней.

Она пришла ко мне на следующее утро и позвонила в дверь, а я еще была в постели. Я даже глаз не сомкнула. Я каталась, как кошечка, по двуспальной кровати, по обеим половинкам, и вся тряслась от сахара, но не только. Кровать была пустая. Я легла на спину, скрестив ноги, и стала водить руками, как делают на снегу, чтобы получился отпечаток «ангела», и никак не могла выкинуть из головы старые эстрадные мотивчики, и мурлыкала их в темноте, двигая в такт ногами и руками. «Старик-река», и «Оружием его не завоюешь», и про самую старую из идиотских нью-йоркских игр. Вся ночь прошла в песнях и танцах.

Потом взошло солнце, и раздался звонок. Я выглянула в окно из-за занавески и увидела Еву. У нее было блюдо с печеньем. Я догадалась, что́ это за печенье. Злополучные «Масляные шарики». Обсыпанные сахарной пудрой. (У меня тоже был вечером порыв насчет пудры.) Но мысль о сладости из Евиных рук привела меня в напряженное и обидчивое состояние, и я опустила занавеску, и забралась обратно в постель, и свернулась калачиком, и не открыла.

Днем я разговаривала с ней по телефону и соврала.

— Дорогуша, — сказала Ева, — я тебе очень долго звонила.

— Я спала, — сказала я, — я приняла снотворное.

— Я тебя понимаю.

Разумеется, ничего она не понимала. Это я точно знаю. Я и сама-то себя в тот момент с трудом понимала.

— Я приносила тебе печенье, — сказала она.

— Очень жаль, не довелось мне его отведать.

— Я положила его в сумку и сунула в почтовый ящик, — сказала она.

— Я его достану, — сказала я.

— Бедный, бедный Карл. — Она заплакала.

— Ну не плачь, — сказала я, пожалуй, чересчур резко. Но Ева даже не заметила.

— Теперь мы обе осиротели, — сказала она.

— Пойду-ка я заберу печенье, а то еще почтальон решит, что это ему, — сказала я и положила трубку.

Но это были не «Масляные шарики». Я вынула печенье из ящика, оно было круглое и красное и немножко слипшееся. Ева экспериментировала. Я раскрыла сумку, и от запаха — сладкого и пьянящего — у меня закружилась голова. Оно предназначалось Вольфу. И Карлу, которого еще даже не успели похоронить, оно бы тоже понравилось. Я представила себе, как он облизывает липкие пальцы. Я застегнула сумку на молнию, и занесла печенье в дом, и нажала носком на педаль своего цинкового мусорного бачка, и печенье исчезло в нем, и крышка с лязгом захлопнулась.

Я встала посередине кухни и вдруг заметила, что тяжело дышу. Как я проживу оставшуюся жизнь? Это был насущный вопрос. Но ответа на него у меня не было, и я боролась с другим вопросом: как я прожила всю свою жизнь? Я стояла, задыхаясь, посреди

кухни и слышала только собственное дыхание. Я не слышала тиканья часов. На улице ветер качал деревья и обязательно должен был греметь в водосточной трубе, но я и этого не слышала. Я слышала только свое собственное дыхание. И несмотря на то что «Держите меня крепче» все еще циркулировало по моим венам, я вынуждена была испечь печенье.

Что-нибудь простенькое. Обычное шоколадное. Вязкое. Люблю я его пережевывать. И я резво направилась к шкафам и вытащила все необходимое для теста: овсяную крупу, муку, пекарский порошок, пищевую соду, соль, несоленое масло, яйца, ваниль, корицу, молочношоколадную крошку, сахарный песок, коричневый сахар. И «Криско». Налью побольше «Криско». Когда я была маленькой, мне всегда хотелось, чтобы печенье долго жевалось, и в этом отношении я так и не повзрослела.

Мои дочери тоже такие. На этой же самой кухне мы с ними стряпали печенье, непременно вязкое, и мне, похоже, повезло еще и потому, что Карл тоже любил, когда печенье долго жуется, и в первое утро своего вдовства я увидела, как здесь стояли мои девчонки и печенье в форме шариков уже лежало на железном листе, и я сказала: «Подите сюда, мои хорошие, подите, отпечатайте-ка свои пальчики на печенье», и они послушались, они подошли и прижали большие пальцы к шарикам, и эти маленькие оттиски моих дочерей отправились в печь.

Я опять тяжело дышала. Итак, я испекла шоколадное печенье, как умею, без изысков. Две с половиной чашки овсяных хлопьев. Две неполные чашки муки. Одна чашка сахарного песку. Одна чашка коричневого сахару. И так далее. Все смешать и немедленно сунуть в духовку, не охлаждая в холодильнике, тогда оно получится вязким. И когда печенье было готово, я выложила его на стол и почуяла его сладость, но руки мои почему-то никак не могли успокоиться, а от мысли о молочном шоколаде заныли зубы. И я оставила его лежать. Так ни кусочка и не съела.

Но сегодня я опять о нем вспомнила. Шеф-повар обходил со своими подручными шеренгу печей, а мы стояли в непомерно больших бумажных фартуках с эмблемой Большого американского конкурса на лучшее печенье, и за нами следили телекамеры, и у повара был пухлый блокнот, и он спрашивал каждую конкурсантку, что она собирается испечь в этот чудесный день, и женщина, стоящая передо мной, сказала: «Брызги грязи с мостовой», и он записал, и после этого они направились ко мне, и я даже чувствовала с другого боку Евин взгляд, она думала затмить мои «Букетики с арахисовым маслом», но я сказала:

— Печенье с шоколадной крошкой.

Авторучка шеф-повара замерла над блокнотом. Он определенно ожидал более экзотического названия.

— Прописными буквами, — сказала я.

— Да-да, — сказал он и понимающе кивнул, хотя совершенно ничего не понял. Я увидела, как он записывает название заглавными буквами: ПЕЧЕНЬЕ С ШОКОЛАДНОЙ КРОШКОЙ.

Он двинулся дальше. Мне было все равно. Я чувствовала, что могу победить. Где-то в зале были дегустаторы, и мир для них состоял из тех же вещей, что и для нас, пришедших сегодня сюда печь печенье: из противней, форм и бесчисленных рядов этих маленьких сладких обманок.

После похорон я сидела на кухне у Евы.

Она месила резиновой лопаточкой тесто для печенья и рыдала.

— Нечего за меня переживать, — сказала я ей.

Она повернула ко мне заплаканное лицо и сказала:

— Ты такая мужественная.

— Вот уж не сказала бы.

— Да-да, не спорь.

— Это не мужество, — сказала я. До сей поры я говорила правду, но не знала, как сказать остальное. Даже себе самой.

— Нет, это именно мужество.

— Это корка, — сказала я. — Хуже того. Это... Я слишком долго сидела в печи. Сахар кристаллизовался, почернел и выгорел. Его изначально было слишком много.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Да я тоже, — сказала я. — Никогда у меня так сильно печенье не подгорало. Разве что донышко почернеет. Поначалу. Когда я только училась. Но не настолько. Что, если у тебя весь день и всю ночь включена духовка, а потом опять весь день и всю ночь и печенье испечется, сгорит и превратится в золу? Что будет со всеми этими сладостями, если они простоят на огне много лет?

— Ты меня пугаешь, — сказала Ева, но не отложила миску и не подошла ко мне, она не подошла, и не обняла, и не отправила меня домой, в постель, дав печенья с собой. Она отвернулась и принялась мешать свое тесто.

И я не имела представления о том, что со мной творится. Ни малейшего.

Я не позвала ее к себе на следующий день, хотя была моя очередь. И на послеследующий тоже. Мы больше не разговаривали. Как это мы додумались не разговаривать после стольких лет сплошных разговоров?

Шеф-повар двинулся дальше, и местная тележурналистка, молодая женщина, которая явно ни разу в жизни не пробовала настоящего печенья, разве что из пачки, купленной в бакалейной лавке, сунула мне под нос микрофон. В лицо мне ударил яркий свет, и она сказала:

— Почему вы здесь?

Что и говорить, хороший вопрос. Но тут был только один ответ.

— Я всегда пекла печенье, — сказала я. — Когда вся жизнь к этому сводится, уже невозможно сменить занятие.

Она, микрофон и свет двинулись дальше, и я не взглянула на Еву, которая была следующей. Но я слышала ее голос, чистый и громкий, когда она объявляла свое печенье: «Вишневая прелесть щечек херувима». Шеф-повар аж вскрикнул от наслаждения самой идеей такого печенья, и я наклонилась к своим рукам, лежавшим на крышке стола. Мой большой американский бумажный фартук зашуршал. Есть вещи, которые нельзя изменить, но кое-что все-таки можно. Я принесла с собой крошку из молочного шоколада, но что-то подсказывало мне взять еще и из черного. Карл считал, что она горькая, крошка из черного шоколада. Но Карла уже нет в живых. Ему теперь приходится иметь дело с горечью иного рода. Я тоже никогда не любила горький шоколад, но вкусы меняются. Сегодня мне показался уместным горький.

И потом мы все повернулись к плитам, в зале раздался голос шеф-повара, и он сказал: «Хозяйки, включайте духовки», и мы начали. И все ингредиенты были у меня с собой, и я выложила их на стол, совсем как в то утро, после смерти Карла. Я сбрызнула противень этим аэрозольным кулинарным жиром, смешала овсянку, муку, корицу, пекарский порошок, пищевую соду, соль и взглянула на Еву. Руки у нее были алого цвета. То, что должно было придать щечкам херувимов их румянец, — все было у нее на руках. Я смотрела на нее, и мне показалось, что в глазах у Евы стоят слезы, и я поняла, что она готовит для Вольфа.

Я повернулась к своему печенью. Настало время добавить сахару. Рука моя потянулась за сахарным песком, но я медлила. По рецепту нужна была чашка песку. Но с меня довольно. Я положила одну чашку коричневого сахару. Только чашку коричневого. Жюри будет мне благодарно, подумала я. После «Грязи с мостовой» и «Щечек херувима» их будет уже тошнить от всего чрезмерного и необычайного, и мое печенье тронет их как нечто настоящее, родное, словно материнские объятья. И они будут жевать и жевать и отложат вынесение оценок, потому что им не захочется прекращать жевание, и я вернусь вечером к себе домой, и испеку еще порцию точно такого же, и буду жевать его ночь напролет, пока не взойдет солнце.

Я лежала в кроватке, когда была маленькой, и это было в горах в Бадене, и моя мама с моей бабушкой дружно подтыкали мне одеяло, и я тайно прятала печенье в рукаве

ночной рубашки, и они, конечно, знали и улыбались мне и друг другу, и было не то Рождество, не то канун Рождества, так мне обычно это вспоминается, и неважно, что отец мой сидел у камина, и курил, и раскачивался в кресле, и говорил только с другими мужчинами — они для меня вообще не существовали, на свете не было никого, кроме этих двух женщин и меня, и в рукаве я прятала печенье, которое мы стряпали втроем, и моя мама и моя бабушка укрывали меня, и я хотела вырасти и стать такой же, как они, вырасти большой, теплой и умной, в том смысле, в каком женщина бывает умна, и, пока на моих щеках еще оставались влажные следы поцелуев мамы и бабушки, я съедала под одеялом печенье, и оно было вязкое, и оно все длилось и не кончалось, и мне казалось, что я никогда его не проглочу и у меня во рту навсегда останется эта сладость.

Но, конечно, я заблуждалась. На меня обрушилась другая жизнь, и теперь я знаю, что печенье, которое я прятала в рукаве, может, и было хорошо для ребенка, но предназначалось тому мужчине у камина, и если даже я, придя сегодня вечером домой, испеку это же самое печенье, кровать, в которую я его возьму, вся пропитана запахом другого человека, даже если он уже умер. Это ему. Это всегда для него. Вот чему учили меня две женщины, которых я люблю. И я, само собой, пыталась внушить это своим дочерям. Мне ведь почти семьдесят лет.

И победительница уже объявлена, и Ева снова ревет, теперь уже от радости. Ее «Щечки херувима» признаны лучшими, и я за нее счастлива. Ей никогда не отмыть дочиста свои красные руки. И теперь в руке у меня спичка, и я зажигаю ее, и фартук на мне из бумаги, и аэрозоль для выпекания смажет мне обратную дорогу.

«JFK[1] тайно присутствует на аукционе Джеки»

Когда мы свернули на Семьдесят вторую улицу и увидели, что́ нас там ждет, мой охранник вздрогнул и вцепился в руль мертвой хваткой. Подозреваю, что он хотел прибавить газу и дунуть мимо, сорвав весь план, но он знал, что Главный дал добро, и покосился на меня.

— Вы уверены, господин президент?

Из всего «Сотби» был виден только белый навес. Фасад совершенно исчез за телевизионными автобусами и спутниковыми антеннами. Конечно рискованно. Но те вещи, с которыми мы с Джеки когда-то жили, исчезали в руках чужих людей, и от этого мне начинало казаться, будто я уже умер. ЦРУ отпустило меня только на третий день, и я уже точно знал, что на четыре тысячи долларов, которые мне удалось наскрести из карманных денег, не купишь, наверное, и зажима для галстука. Но мной двигали другие соображения. Я должен был пойти.

Мы проехали автобус Эн-эйч-кей, вещавшей на Токио, потом — автобус Би-би-си, и я сказал своему стражу:

— Пусть каждая нация, желает ли она нам добра или худа, знает, что мы за ценой не постоим.

— Господин президент? — Он надавил мне на плечо, чтобы убедиться, что я не собираюсь дать деру. Он был совсем еще молодой.

— Вы, вероятно, не читали никогда моей инаугурационной речи, — сказал я.

Он потянулся к сотовому телефону.

— Дейв, не надо никуда звонить. Я шучу. Все в порядке. Мы с Главным обо всем договорились. Только на самом свету и можно спрятаться.

Дейв снова положил руку на руль.

— Прошу прощения, господин президент.

— Ничего, Дейв. В случае беспорядков президент намерен укрыться в безопасном домике в Арлингтоне, штат Виргиния.

---

[1] Джон Фицджеральд Кеннеди.

Он снова потянулся к телефону.

— Остынь, Дейв. Это был план президента Джонсона. Устаревшие новости. Я сказал это нарочно, в шутку.

— Я попросил бы вас больше так не шутить, господин президент.

Мой страж не зря нервничает. В конце концов, именно из-за своей болтливости мне сейчас приходится тайком пробираться на публичный аукцион вещей моей покойной жены. Из-за этого моя многострадальная Джеки вынуждена была, сама того не зная, жить в двоебрачии, став женою грека, у которого такое лицо, что можно запросто остановить тысячу кораблей.

Пули, выпущенные в тот роковой полдень в Далласе, убили только цензора у меня в голове. После этого я уже не мог держать язык за зубами. Я очнулся на каталке в больничном коридоре и начал сразу же выбалтывать все государственные тайны этого очень скрытного времени. К чему они теперь? Но слишком поздно объяснять это все тому миру, который, как очень скоро решило Управление, никогда больше не будет иметь ко мне никакого отношения.

Я полностью согласился с этим решением. Ведь умер только лишь цензор. Мои мыслительные способности остались в сохранности, а это был единственный разумный выход из положения. Любой, кто вступит со мной в контакт, станет угрозой для государства. К тому же — для ЦРУ это совершенно неважно, зато крайне серьезно для меня — я без конца говорил бы с Джеки о тех вещах, которые мы с ней условились никогда не обсуждать. Наряду с секретными подробностями нашей внешней политики из меня полились бы слова о запахах, особенностях и вкусе всех женщин, которых я когда-либо знал. Не оставалось ничего иного, как только похоронить вместо меня восковую куклу. Мало того что мои мыслительные способности остались при мне, память тоже не пострадала. Милая память. Она была мне большим утешением в изоляции.

Однако сейчас я очень рад, что мы подъезжаем к этому белому тенту. Я знаю, что способен перенести заточение внутри тишины. Я понимаю, что это все по-прежнему очень важно. Я говорю, что мои знания никому не нужны. Но я подозреваю, что если бы я заговорил сейчас о судьбоносном ракетном бункере в двадцати милях к северу — северо-востоку от Бургдорфа, штат Айдахо, в Госпел Хамп Уилдернес, то я говорил бы о том, что сохранилось до сих пор, хотя, возможно, список основных мишеней, куда входили Москва, Пекин, Пхеньян и Ханой, слегка изменился. Но мне запрещено даже слегка намекать на эти вещи.

Я напомнил Главному, что никогда не отпрашивался ни на похороны, ни на свадьбы. Я не просил отпустить меня к Тэдди, когда он бросил ту девочку в темной воде на Чаппакуиддике, или к племяннику, который так ни разу меня и не видел, когда мне стало ясно, что ему нужно кому-нибудь честно рассказать о том, что он сделал с той девочкой во Флориде. Я даже не попросился к Джон-Джону, чтобы уговорить его не связываться с журнальным бизнесом. Но этот аукцион — совсем другое дело.

Я выхожу из машины. Я уверен, что у Главного есть свои наблюдатели в толпе. Меня не оставляют без присмотра. Но на мгновение я снова чувствую себя живым. Я чувствую, что живу в своем теле, здесь и сейчас. За тридцать два года изгнания я понял, как это чудесно. Как часто в своей прошлой жизни я бывал в тех местах, которые могли бы наполнить меня воспоминаниями, но разум уносил меня в другие края. Я упустил время. Теперь на тротуаре перед «Сотби» я пристраиваюсь в хвост длинного ряда людей, чьи лица когда-то были обращены ко мне, чьи руки некогда касались меня. Я долго привыкал к их прикосновениям. Так толком и не привык. Но теперь я их жажду. И во сне люди меня трогают. Руки дрожат от возбуждения, теплеют от вожделения. Я тоже к ним прикасаюсь, к каждому в отдельности.

Но здесь горят телевизионные софиты и толпы людей стремятся потрогать всего лишь те вещи, которые трогал я. Наверное, нечто подобное видел во сне Авраам Линкольн за день до того, как его убили. Ему приснилось, что он просыпается после долгого сна и слышит вдали рыдания. Он встает и идет по пустым залам Белого дома в Восточную ком-

нату, а там стоит огромный катафалк, покрытый черным крепом. Рядом с ним — часовой, и Линкольн спрашивает у него: «Кто это умер?» А тот отвечает: «Президент». Я могу спросить любого в этой очереди: «Кому принадлежал этот французский посеребренный футляр для зубной щетки, что уходит с молотка в чужие руки?» И ответ был бы: «Президенту».

Я прошел мимо всех этих рук, засунутых в карманы, сжатых в кулаки или порхающих в разговоре. Я прошел мимо всех этих лиц, отвернувшихся от бородатого человека с коротко подстриженными волосами, слабым, едва заметным шрамом с одной стороны черепа, хромающей походкой и больной спиной. Я знаю: надо только радоваться тому, что ни в чьих глазах нет даже намека на узнавание. У нас с Главным полное взаимопонимание. Он за меня головой отвечает. Жалеет старика и его прошлое. Он верит, что с годами я стану поменьше болтать, но какая-то часть меня готова в ответ на первый же взгляд незнакомца рассказать, как майор Ричард Дейли ради процветания государства и успеха президентских выборов нашел четырнадцать тысяч голосов на Чикагском кладбище. Я особо подчеркнул бы ту благодарность, которую вся планета должна испытывать к этим мертвым избирателям. Никто из нас не знал во время ракетного кризиса 1962 года, что советский генерал, командующий войсками на Кубе, был уполномочен использовать тактическое ядерное оружие. После того как Советский Союз распался, генерал появился на телевидении — я ловлю все кабельные каналы — и сказал, что если бы американский президент отправил войска на остров, то был бы ядерный взрыв. Будь президентом Ричард Никсон, он бы обязательно послал туда войска. О чем это говорит? Это говорит о том, что мертвые чикагцы предотвратили ядерный холокост. Меня так и подмывает рассказать всем о том, что мы должны благодарить этот некрополь американских героев.

Но никто на меня даже не взглянул. Я иду в конец очереди, у меня болит спина, но здесь, на публике, боль даже успокаивает. Женщина передо мной медленно поворачивается. У нее волосы цвета старого футбольного мяча модели «Красная усадьба», который был у нас в Хайаннисе в ту осень, когда я в туго набитом кресле своего сенатского кабинета занимался любовью с женщиной, состоявшей сплошь из костей, зубов и веснушек. И волосы у нее были такого же цвета, чалые, и она сидела у меня на коленях и осыпала меня своими волосами. В последнее время она часто бывает со мной в воспоминаниях. А женщина в очереди быстро скользит по мне взглядом и больше мной не интересуется. Ей лет тридцать пять. В моих воспоминаниях мне тоже тридцать пять, но женщина, стоящая впереди меня, видит старика. А я по-прежнему сижу на туго набитом кресле, и кожаная обивка скрипит подо мной, я потею, и вдыхаю запах волос той женщины, и говорю ей об их цвете, цвете футбольного мяча «Красная усадьба», и она хохочет. Женщина из очереди тоже хохочет. С ней кто-то есть, но я не смотрю туда. Я смотрю, как ее лицо расплывается в улыбке, и, если бы она была со мной, я бы заговорил с ней о той, другой женщине, имени которой я не помню и глаз не помню, хотя часто пытался вспомнить за эти годы изгнания. Я так хочу вспомнить ее глаза, потому что все остальное помню очень живо, и мне кажется, что воспоминание о ее глазах у меня тоже где-то должно храниться, но оно было отложено отдельно и продано — или отдано, — и это было большой ошибкой. Я хочу его вернуть.

Еще я хочу вернуть свои запонки с гербом Гарварда. Я думаю о них в тот момент, когда наконец подходит моя очередь войти в парадные двери «Сотби» и молодая негритянка в форме подает мне руку, помогая пройти через детектор металла. В лицо я бы ее негритянкой не назвал, я знаю, что язык изменился, — но я все-таки дитя своего времени, а Мартин называл себя негром. Я никогда не забуду, где был в тот день, когда застрелили Мартина. Я был в маленьком садике охраняемого коттеджа в Виргинии, обнесенном каменными стенами. Я как раз собирался ударить по мячику на пятнадцатифутовом поле, там была одна лунка, которая по тысяче раз в год притягивала меня к себе. И только я нацелился ударить своей короткой клюшкой — кстати, я хотел бы вернуть себе эту клюшку, хотя она явно не приносила мне удачи, — только я направил головку клюшки вверх,

когда какой-то помощник, который был при мне в те времена, — о нем помню только, что он был молод, — вышел в сад из задней двери и сказал: «Господин президент», и голос его дребезжал, и мне стало ясно, что стряслось нечто ужасное. Бедный Мартин. Как было бы хорошо, если бы убит был только его внутренний цензор, а его привезли бы ко мне. Мы бы вдоволь наговорились о тех вещах, которые по недомыслию избегали обсуждать, когда жили общественной жизнью. И Бобби тоже. Мы бы прекрасно ужились втроем, и я болтал бы с Мартином, и валял в пыли своего братишку — даже с больной спиной, — и с подстреленным цензором Бобби наконец смог бы сказать, что́ он на самом деле обо мне думает, и ему стало бы легче.

Так вот, эта молоденькая негритянка приближается к старику, который заходит в дверь, старику, который не может держаться прямо, старику, который только что сделал несколько шагов с очень больной спиной, и ее рука ловит меня за локоть. И хотя между моей рукой и ее ладонью два рукава, я вздрагиваю от этого прикосновения. Я выпрямляюсь, я не ждал, что она подхватит под руку сгорбленного старикашку, и, наверное, мне больно, только я этого пока не почувствовал. Она взглянула мне в глаза за секунду до того, как я шагнул внутрь, и мне показалось, что в ее глазах мелькнула искра узнавания.

— Вы меня знаете? — спросил я.

— Нет, сэр, — сказала она.

Я понял, что еще чуть-чуть — и я расскажу ей о том, какого замечательного киллера мы наняли, чтобы убить Фиделя Кастро в 1963 году. Педро Антонелли. Не знаю, с чего я взял, что ей будет это интересно. Зато я знаю, что мне ничего говорить не положено. Поэтому я прохожу в арку детектора, и машина верещит так, будто увидела привидение. Женщина, которая взяла меня под руку, оказывается рядом со мной, и я прихожу в замешательство.

Прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, она говорит:

— У вас с собой есть что-то металлическое, сэр?

И я понимаю.

Я склоняю голову набок, демонстрируя шрамы, и говорю:

— Металлическая пластинка. За службу на благо родины. — Я полагаю, она услышала звон под моими пальцами.

— Простите, сэр, — говорит она, и я надеюсь, что она дотронется до этого места сама. Но она снова берет меня за локоть и направляет к столу. — Спасибо, — говорит она. — Покажите там свою регистрационную карточку.

Я иду прочь от нее, и в голове у меня продолжает звенеть. У стола мне выдают номерок. И, подталкиваемый сзади напирающей толпой, я поднимаюсь наверх по каменным ступенькам, у меня снова болит спина, и я на ходу старею, хотя все еще чувствую ее прикосновение.

Главный не особенно заботился об удовлетворении моих мужских потребностей. А я всегда понимал, что это очень рискованно. Не так уж много было женщин из высшего состава Управления, которые были готовы открыться мне. Одна или две за долгие годы. И каждый раз мне давали наркотик, чтобы я поменьше болтал, потому что даже высший состав крепко связан проверкой на благонадежность. Я полагаю, что наркотик действовал на все остальное и, уж конечно, на сознание, поскольку этих женщин я помню довольно смутно. Жаль, что не было другого способа, безопасного, но совершенно сознательного способа ощутить прикосновение женщины. Но я не спрашивал, что еще они могут для меня сделать. Я спрашивал только, что я могу сделать для своей страны.

Зал очень большой, и я пробираюсь вперед, но ряды откидных бежевых кресел забиты так, что свободные места есть только позади меня. Я оглядываюсь и снова выпрямляюсь, на этот раз мне действительно больно, но плевать на боль. Я вижу Джеки в одном из рядов. Она еще не села. У нее шляпка-таблетка и взбитая прическа. Но я напоминаю себе, что она не может быть такой молодой. И она умерла. Я снова смотрю на нее. Ее глаза — она разглаживает свое ярко-розовое платье и рассматривает зал, — глаза у нее азиатские. Взгляд ее сосредоточивается и становится жестким, я следую за ним, и он ве-

дет меня через проход к другой Джеки, не азиатской, в мятно-голубом платье, еще не знающей о том, что у нее есть соперница.

Я усаживаюсь. Я сижу у самого прохода и тяжело дышу. Подозреваю, что в зале находится также несколько моих двойников, и надеюсь, что не почувствую на себе их даже мимолетного взгляда. Я не могу удержаться и поднимаю глаза. В это время вторая Джеки, у которой волосы чуть длиннее и на концах вьются, протискивается мимо меня. Она поворачивается ко мне лицом и смотрит прямо на меня. Я не вижу ни малейшего признака, что она почувствовала, кто я. И пусть она даже фальшивая — глаза у нее слишком близко посажены, и рот слишком тонкий, — все же я слегка разочарован, что она меня не узнала. Я отвожу взгляд и закрываю глаза. Джеки все равно была со мной все эти годы.

Когда Джон и Каролина спали днем, я освобождал себе полчасика от государственных забот, приказывал прислуге оставить нас вдвоем, и мы с Джеки занимались любовью в комнате, где занимались любовью все президенты Соединенных Штатов. В эти минуты я просил ее говорить со мной об искусстве. Я хотел, чтобы в этом акте участвовало ее сознание и ее голос с придыханием, как у старлетки. На меня без конца клеветали в книгах. Сматерс пошел дальше всех, рассказав о наших холостяцких днях в сенате. Должно быть, я действительно говорил ему все, что там написано, — мужчины всегда очень глупо говорят между собой о женщинах. И это правда, что мое сознание частенько отсутствовало, когда я прикасался к женщинам, которые мне открывались. Но это не потому, что я их не ценил. Не потому, что они были для меня всего лишь предметами, которые берут и отбрасывают даже более холодно, чем вещи, выставленные на продажу в этом зале. Почему-то в моей голове крутится сразу много всего. Иногда такое случается. Теперь в ней голос женщины. «Новый покупатель справа от меня — шестьдесят тысяч». Я не знаю, что́ сейчас продают, у меня с собой всего четыре тысячи, и я весь сжимаюсь от отчаяния, хотя причину своего состояния не могу вполне осознать. Джеки встает надо мной голая, а я неподвижно лежу, стараясь не дать своей спине меня отвлечь. Она встает в солнечном луче, льющемся из окна, и кожа ее смугла, а голос тих, и на ней одинарная нитка жемчуга — единственное, что осталось на ее теле. И она говорит о геометрии аттической керамики в X веке до нашей эры, на сливочно-светлой глине — темная лента орнамента, меандры, шевроны и свастики. Потом постепенно, когда миновал IX век и наступил VIII, началось нашествие звероподобных форм. Она говорит о всяких чудесных сосудах: амфорах с двумя огромными ручками, о пузатых кратерах с широким горлом, тоненьких лекитах для разливания. Джеки откидывает голову и от того, какая она умная, у меня захватывает дух. Уже VIII век до нашей эры в полном разгаре, и глиняные горшки покрывают всадники, колесницы, батальные сцены и сцены, где мужчины и женщины оплакивают умерших, и глаза ее наполняются слезами, хотя в это время наши тела соприкасаются и она падает вперед. Я кладу руки ей на спину и чувствую ее ребра.

— Нет, мадам, сейчас не ваше предложение. — Длинное и очень приятное лицо, на мой взгляд, бостонского типа, склоняется над пюпитром, перебирая номера лотов. — Сто десять от телефонов. Теперь сто двадцать в центре. Да, мадам, ваши сто тридцать. Сто тридцать долларов. Сто сорок в заднем ряду.

Я отвел взгляд в сторону, и на минуту мне показалось, что продают греческую чашу. Я всегда надеялся, что Онассис купит ее Джеки, но она никогда с ним об этом не говорила. Потом на телемониторе в углу я вижу тройную нить жемчуга. Сто сорок, уже пятьдесят, потом шестьдесят. Я крепко зажмуриваюсь. Джеки идет ко мне через спальню в Белом доме, оставляя за собой сброшенную одежду, и жемчуг туго охватывает ее шею, и от него ее нагота становится поразительной, как будто ни одна женщина никогда не была такой обнаженной. И чтобы увидеть это, нужен контраст, тщетная попытка прикрыться тонкой ниткой жемчуга.

Зал разразился аплодисментами. Я поднимаю взгляд, и вторая Джеки, у которой глаза слишком близко посажены, но очень большие и очень темные, глядит на меня. Она сидит прямо через проход и пристально на меня смотрит.

— Лот номер 454А, — говорит женщина на помосте.

Джеки в голубом не отводит взгляда. Она узнала меня.

— Одинарная нить искусственного жемчуга и клипсы.

Я отвлекаюсь от взгляда искусственной Джеки и вижу на телевизионном экране ожерелье, которое было на моей жене в воспоминаниях, где мы занимались любовью. В день нашей свадьбы на ней тоже была одинарная нитка жемчуга. Когда Джеки надевала жемчуг, я ощущал ее наготу всегда, даже в одетом виде. Я смотрю на это ожерелье на экране, и оно запросто может быть одним из тех, что я храню в воспоминаниях о сотне бесконечных ночей своей прежней жизни. Я чувствую, что слегка приподнимаюсь с кресла, я убираю за спину руки, которые сами тянутся к экрану, к изображению жемчуга Джеки. Я ужасно хочу получить этот жемчуг.

— Начальная цена десять тысяч долларов, — говорит женщина с вытянутым лицом.

Я кричу от горя, но в тот же момент раздается двадцать одинаковых криков : «Десять тысяч!» Так что никто меня не слышит. За исключением, пожалуй, Джеки, которая сидит через проход от меня. Это ожерелье для меня уже вне досягаемости. Все фрагменты моей жизни для меня здесь вне досягаемости. Я смотрю направо, и она буравит меня взглядом, эта тонкогубая ложная первая леди. Ее губы шевелятся.

Я встаю, поворачиваюсь, роняю свой номер и на тяжелых ногах двигаюсь вперед, и боль в спине с каждым шагом усиливается. Двадцать тысяч. Тридцать. Взмывают вверх руки покупателей, размахивающих карточками. Доллары гонятся за мной по проходу. Сорок тысяч от телефонов. Пятьдесят с переднего ряда. Я трогаю впадинку на ее шее, прямо под ожерельем. Джеки поднимается и выпрямляется, сидя в центре меня, как в гнезде, и я поднимаю руку и касаюсь кончиками пальцев впадинки у нее на шее. Я выхожу из центральных дверей зала, пробиваясь сквозь толпу репортеров, которые не обращают на меня никакого внимания. Я останавливаюсь, грудь моя тяжело вздымается, по всему телу разливается боль, я оглядываюсь через плечо и, прежде чем репортеры успевают сомкнуть ряды, я вижу ее. Она направляется ко мне. Джеки в голубом поднялась и идет за мной.

Ее заслоняют газетчики, но я знаю, что скоро она меня догонит. Теперь мне хочется, чтобы здесь были люди Главного. Я хочу, чтобы они подхватили меня под локти, хочу, чтобя они прошептали: «Сюда, господин президент», и хочу, чтобы они увели меня назад, в пустой садик, на солнышко, где я могу просто сидеть и копаться в тех странных вещах, которые происходят во мне. Но похоже, я тут один. Прямо передо мной главная лестница, но там репортеров еще больше, и ложная Джеки поймает меня как раз у них на глазах.

Я слепо поворачиваю вправо и иду по коридору, пряча лицо, пытаясь стать невидимым, и передо мной возникает другая лестница, скромненькая, покрытая линолеумом, с металлическими перилами. Моя рука уже потянулась к ним, я спустился на одну ступеньку, и тут у меня в ушах раздался ее голос:

— Извините, — говорит она.

Я останавливаюсь.

— Я вас узнала, — говорит она.

Я поворачиваюсь к ней.

— Но я не хотела вас спугнуть.

Какие же у нее прекрасные глаза! Этот карий цвет такой, как будто ты выкопал в земле глубокую-глубокую лунку для самого себя — место, где ты сам себя похоронишь и заснешь навеки. Глаза Джеки были такого же карего цвета. Я хочу открыть ей секреты. О себе. О ракетном бункере. Обо всем. Все секреты, какие я знаю.

— По-моему, я где-то читала, что вы умерли, — говорит она.

В ее голосе звучит очаровательная ирония. Но глаза у нее сейчас какие-то не такие, будто не в фокусе. И она одета совсем как моя жена, которая уже умерла.

— Я в это не поверила, — говорит она.

— Хорошо, — говорю я, сдерживая свой язык, который хочет сказать гораздо больше.

Тут она говорит :

— Я видела все ваши фильмы.

Это меня останавливает.

— Больше всего мне нравится «Гроздья гнева».

— Спасибо, — говорю я. — Бегите-ка обратно на аукцион. Вы обязательно должны купить жемчуг Джеки.

В ответ на мой настоятельный совет она кивает.

Я поворачиваюсь к ней спиной и начинаю спускаться.

— Да! — кричит она мне вслед. — Я так и сделаю.

Я выхожу через боковую дверь на Йорк авеню. Здесь гораздо спокойнее. Никто на меня не смотрит. Я снова стал привидением. Я разворачиваюсь и иду прочь, сам не зная куда. Но одно я знаю точно: я люблю Джеки. Я это знаю, потому что во мне живут ее ладони, ее волосы, ее соски, ее пальцы ног, ее костлявые локти и коленки, ее туфельки, пояса и шарфики, ее тени, ее смех, ее стоны, ее ожерелье из искусственного жемчуга, ее желтые цыганские браслеты, ее серебряная конфетница в форме сердечка, ее серебряная солонка и перечница. А в ком-то живут мои гольф-клубы. А у кого-то есть моя коробка для сигар. И у кого-то — мои запонки с гербом Гарварда. А кто-то владеет жемчугом Джеки в одну нитку. Но и у меня он есть. Что же в них такого, в этих вещах, принадлежащих человеку, что они не тускнеют? В тех вещах, которые ищешь снова и снова, рассматриваешь и вертишь в руках. Прикасаешься к ним пальцами или безмолвным движением мысли в долгую одинокую ночь. Несомненно, эти вещи — знаки любви. В мире, где мы не умеем оставаться друг с другом, мы пытаемся остаться с этими вещами. В мире, где смерть приходит неожиданно и пугает нас окончательным забвением, мы пытаемся помнить, ибо так мы побеждаем ее и так идем вперед в любви и согласии — и в глубоком страхе, мои дорогие американцы, Джеки, я и все вы. Примите мою немеркнущую благодарность.

■

ГАБРИЕЛА МИСТРАЛЬ

Стихи

Перевод с испанского и вступление Н. ВАНХАНЕН

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1945 ГОДА

Нобелевских лауреатов, как известно, немного. Нобелевских лауреатов — женщин — единицы, и Габриела Мистраль — среди них.

Девочке из затерянной на севере Чили андской деревушки, сельской учительнице, преподававшей в лицее испанскую грамматику и историю средних веков, суждено было объездить весь мир, побывать в качестве консула в Италии, Испании, Франции, Португалии, Бразилии, завоевать множество литературных премий и, наконец, в 1945 году предстать перед членами Нобелевского комитета в Стокгольме на торжественном вручении самой знаменитой премии. Ну чем не волшебная история Золушки!

Лусила Годой Алькаяга родилась в 1889 году. В 1914-м ей, уже под псевдонимом Габриела Мистраль, была присуждена главная премия на столичном конкурсе за цикл стихотворений «Сонеты смерти». Как выбирался псевдоним — по названию ли ветра (помните, «холод, блеск, мистраль» у Бунина) или по имени провансальского поэта и филолога Фредерика Мистраля, кстати тоже Нобелевского лауреата, которым она восхищалась, называя его среди наиболее значимых для себя литературных имен, — неведомо.

Современники вспоминают высокую, молчаливую, несколько угрюмую женщину. Тем удивительнее оказывалась неожиданно детская улыбка, освещавшая порой ее лицо.

Четыре книги стихов, вышедшие при жизни — «Отчаяние», «Нежность», «Тала», «Давильня», — привлекли к ней внимание отечественной и, пожалуй в большей степени, зарубежной публики. В предисловии к «Отчаянию» она писала: «Да простят мне эту горькую книгу Господь Бог и те из читателей, для которых жизнь — радость». И все-таки не горечь определяет суть ее поэзии, а сила, напор, энергия. Кровь басков, индейцев, евреев, как уверяла сама Габриела, кипела в ней, не давая принять общепринятое: несправедливость, любовь без ответа, неотвратимость смерти. Это неприятие того, с чем вынужден мириться весь свет, вызывает пылкий разговор поэта с Богом, разговор, восходящий к страстным речам ветхозаветных пророков, а если брать более близкие времена — к проповеди святой Тересы Авильской, основательницы ордена босоногих кармелиток и знаменитой испанской писательницы-мистика, трудами которой Габриела Мистраль зачитывалась и восхищалась.

Русский поэт Николай Языков писал: «Будет буря: мы поспорим / и помужествуем с ней». Столь же отважно бросает вызов небесам и Габриела — она готова поспорить и помужествовать с самим Создателем. Глубинная же цель этого спора — борьба за милосердие. Цер-

© Н. Ванханен. Перевод, вступление, 1999

ковь навек отказывает самоубийцам в прощении? Габриела Мистраль через головы всех церквей взывает к Всевышнему — ведь Он сама любовь, а значит, не может не простить. Но и такого еретического заявления ей мало. Она идет дальше, давая самому Богу право быть усталым и хрупким и призывая эгоистичное человечество пожалеть наконец своего Творца.

Милосердие, бережение слабого приводит ее от громоподобных пророчеств, где образы громоздятся один на другой, словно грубые глыбы пирамид, к самой тихой песне человечества — колыбельной. Никогда не имевшая ни семьи, ни детей, Габриела Мистраль была прозвана на родине — не без латиноамериканской пафосности — «матерью всех детей», а ее колыбельные стали классическими.

Ночь стояла сиро,
путь далёко вился,
посредине мира
мальчик народился.
Где, в каком жилище?
За каким порогом?
Мы его отыщем
по путям-дорогам...

Для детского уха она готова приглушить могучий голос до шепота, чтобы, перефразируя Шекспира, отдать «нежнейшее — нежнейшим».

1889—1957 — годы жизни Габриелы Мистраль — вмещают гигантскую творческую биографию вечно одинокого человека, кипящего в котле людей и событий. Ее стихи, в которых христианство странно сплелось с индейскими мифами, а лирика неотделима от оды, наверняка будут и впредь привлекать переводчиков и читателей, стремящихся глубже понять этот безоглядно смелый и независимый дар.

Грустный Бог

Под ветхий шорох осени-калеки,
где дряхлость рощ прикрыта желтизною,
я подымаю горестные веки,
и мой Господь встает передо мною.

Глухих часов медлительные слезы,
кармин листвы и золото заката,
осенний Бог забыл псалмы и грозы,
в его глазах смятенье и утрата.

И мнится мне, что Тот, в огне и громе,
воспетый слепо, с опьяненьем страсти,
едва ли есть; да есть ли кто-то, кроме
того, кто сам нуждается в участьи?

Поблекли щеки, руки ослабели,
а в сердце — рощей стонет непогода,
туманный взгляд не достигает цели,
и нас Ему не видно с небосвода.

И я из человеческого ада
иду к Нему с молитвой небывалой:
— Верь, Отче наш, нам ничего не надо,
наш всемогущий, хрупкий и усталый!

Марфа и Мария

Доктору Крус Коке

Зачаты в одной постели,
вдвоем с рассветом вставали.
и вместе пили и ели,
и вместе век вековали,
к одним родникам ходили,
к одним ключам припадали.

Кипело все под руками
у Марфы, жизнью наполнясь,
и пенился хохолками
курятник в гомоне горлиц,
звенели плошки с горшками,
котлы распирала гордость.

И Марфа шагом веселым
спешила, чуждая смутам,
к своим давильням и пчелам,
годам, часам и минутам...

К ней всё, ожидая встречи,
тянулось, вниманью радо:
так на бубенец овечий
спешит послушное стадо.
И лишь Мария — далече,
в углу, где тишь да лампада.

В углу, где замерли звуки,
прядет, а не видно нитки.
И что там детские руки
рисуют по синей плитке?
Что варит она незримо,
а нет ни огня, ни дыма?

И полднем золотоглазым,
пока сестра хлопотала
о всех нуждавшихся разом,
ее Марии не стало.

Без сборов и суматохи
отправилась в путь далекий,
бесшумно замерли вздохи,
слегка побледнели щеки.
В углу, тишиной повита,
одета прохладной тенью,
она — как лед сталактита,
как сон сухого растенья.

Шли годы. Марфа старела.
Забило копотью вьюшки.
Молчал котел помертвело,
остыл очаг у старушки,
и стала белее мела
ее коса огневая.

Все чаще, забыв про дело,
кому-то в ответ кивая,
она в уголке сидела,
как в юности та, другая...

И по́д нос себе устало,
прикрыв глаза неживые,
«Мария», — она шептала,
а после опять: «Мария!»
И раз, не окончив фразу,
одно затаив желанье,
шагнула к сестре, и сразу
порвалась нитка дыханья...
А Марфа шагала небом,
не зная, кто был, кто не был...

Два ангела

Два ангела, как на го́ре,
всю жизнь стоят за плечами,
баюкают, точно море,
покуда не укачали.
Один трепещет крылами,
другой недвижно витает.
Один приходит с дарами,
другой дары отбирает.

Который пребудет с нами?
Который канет в былое?
Один опалит, как пламя,
другой осыплет золою.
А я им душу вверяю —
стелюсь покорной волною.

Лишь раз в едином усилье
согласно они запели,
смыкая белые крылья
любви и крестной купели.

Лишь раз друг с другом в союзе
забыли разлад старинный,
и жизнь завязала узел,
со смертью неразделимый.

Мои книги

Жильцы дубовых полок, безмолвны ваши страсти,
как вы красноречивы, хотя молчите глухо,
хранительницы смысла, целительницы духа,
исполненные скорби, дарующие счастье!

Под тяжестью вседневной согбенная устало,

я с наступленьем ночи сумею распрямиться:
поглажу переплеты и угадаю лица,
и мне кивнут с улыбкой все те, кого не стало.

Кипят псалмы Давида разливом жаркой лавы,
и в огненную бездну я сердце окунаю,
о Библия, едва ли найдется даль иная,
чьи вечные просторы настолько величавы!

Ты лучших в этом мире своим вином вспоила,
несокрушимый стержень и твердая основа.
Когда я повторяю твое святое слово,
ко мне опять приходят спокойствие и сила.

Бессмертный Флорентиец[1] был первым человеком,
разбередившим сердце своим протяжным стоном —
во мне его дыханье, как в тростнике зеленом,
и я плыву доныне по алым адским рекам.

Идя сквозь дым и пламя, томясь по розам сада,
с гортанью пересохшей, безумная от жажды,
на цветники Ассизи[2] я набрела однажды,
и освежила губы нездешняя прохлада.

К Франциску из Ассизи меня вела дорога,
он вышел мне навстречу, бесплотный, как туманы,
целуя чаши лилий, гноящиеся раны,
в любом явленьи божьем целуя имя Бога.

Мистраль[3], певец Прованса! Я помню и поныне
земли разверстой комья, пьянящий запах пашен.
Взгляд девочки влюбленной беспомощно-бесстрашен,
и суждено ей сгинуть в обугленной пустыне.

И ты, Амадо Нерво[4], сладчайший голос горлиц,
из выжженного сердца невынутое жало.
Цепочка гор далеких ломалась и дрожала,
когда я вдаль глядела, от строчек не опомнясь.

О доблесть книг старинных, о ветхая бумага,
ты не сдаешься тленью, чтоб утолять печали.
Иов, как прежде, страждет, и безответны дали,
и жив Фома Кемпийский[5], и горечь, и отвага!

Как Иисус, свершая свой крестный путь с любовью,
вы раны отирали стихом, и ваши лики
на книгах проступили, и платом Вероники[6]
глядит творенье — роза, запекшаяся кровью!

---

[1] Данте Алигьери. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Имеется в виду книга «Цветочки св. Франциска Ассизского».
[3] Фредерик Мистраль (1830—1914) — провансальский поэт, автор знаменитой поэмы «Мирей» (1859). Лауреат Нобелевской премии 1904 года.
[4] Амадо Нерво (1870—1919) — мексиканский поэт.
[5] Фома Кемпийский (ок. 1380—1471) — нидерландский латинский писатель, монах, автор религиозных трактатов «О подражании Христу», «Размышления», «Духовные упражнения».
[6] Согласно легенде, святая Вероника вытерла своим платком пот с лица Христа, когда он нес крест на Голгофу, и на платке чудесным образом запечатлелся его лик.

Целую ваши губы, ушедшие поэты!
Вы стали горстью пыли, но остаетесь рядом,
спеша меня ободрить и голосом, и взглядом,
и вечным кругом лампы мы в сумраке согреты.

О мертвые, вы с нами во славе бестелесной!
Прильну во мраке ночи к распахнутым страницам —
к глазам неутоленным, сожженным страстью лицам,
скипевшимся во прахе в земле глухой и тесной.

Сухая сейба

Сухая сейба — как мало
таких гигантов родится.
В ней жизнь давно отпылала,
но сейба еще царица.

Где силы ее источник?
Исчахла, а не согнете!
И прям ее позвоночник,
свободный от бренной плоти.

В вершине гуляет ветер,
молчит песок у подножья,
и нет никого на свете,
кто в землю ее уложит.

Не ест ее червь упорный,
и мимо, робостью движим,
ручей муравьиный черный
течет за таким же — рыжим.

Не зной, не людская сила,
не злой суховей округи —
пустыня ее убила:
вокруг ни одной подруги.

Как быть с ней? Ширь да откосы —
никто не подаст мне знака.
В ногах ее стынут росы,
в ветвях — огни зодиака.

Небесная Матерь Божья,
да станет она свободной!
Огнем обовью подножье,
читая слова отходной.

Дарю ей синее пламя,
багряным жаром объемлю,
и даждь ей, иже над нами,
Вторую, вышнюю, Землю!

Ночь

Растушеваны отроги.
Стадо тянется с полей.
Скрылось солнце у дороги
в красной кузнице своей.

Хутор спрятался в тумане,
сад растаял и поник,
и вершина перед нами
в темноту зарыла крик.

Существа теряют имя,
соскользнув в небытие,
и торопимся за ними
ты и я, дитя мое.

В хлеву

Только полночь опустилась,
родила младенца Дева.
Сто голов зашевелилось
в темноте родного хлева.

И приблизились, робея,
любопытства не скрывая,
закачались к шее шея,
точно роща вековая.

И, дохнув травой оврага,
вол склонился в изголовье,
и на миг одела влага,
как туман, глаза воловьи.

И овца прильнула сбоку
к тельцу теплому ребенка,
и его лизнули в щеку
два дурашливых козленка.

Сто дроздов, десятки галок
разгорланились, незваны.
Налетели с верхних балок
утки, селезни, фазаны.

Гуси служат, как родному,
человеческому сыну:
взбили клювами солому,
точно пухлую перину.

А щеглы, чей век недолог,
запорхали, и запели,
и повисли, будто полог
небывалой колыбели...

И слегка робела Дева
в этой доброй суматохе,

где парят во мраке хлева
и молочно тают вздохи.

А Иосиф ждал спокойно,
что уснут ее тревоги,
и всю ночь шумело стойло,
будто роща у дороги.

Голуби

Плоскую полдневную крышу
солнце раскаляет веками,
я сквозь сон полуденный слышу —
горлицы стучат коготками.

Белый день и дом — тихий омут,
плачет чья-то хворая дочка,
и жильцам не слышно из комнат —
горлицы стучат коготочком.

Дар мой материнский, глубинный
сыплет им зерно потаенно,
и глухой возней голубиной
полнится поющее лоно.

Три голубки бьются в подоле,
раздувают крыльями юбку.
Две — пусть погуляют на воле,
а одну оставлю голубку.

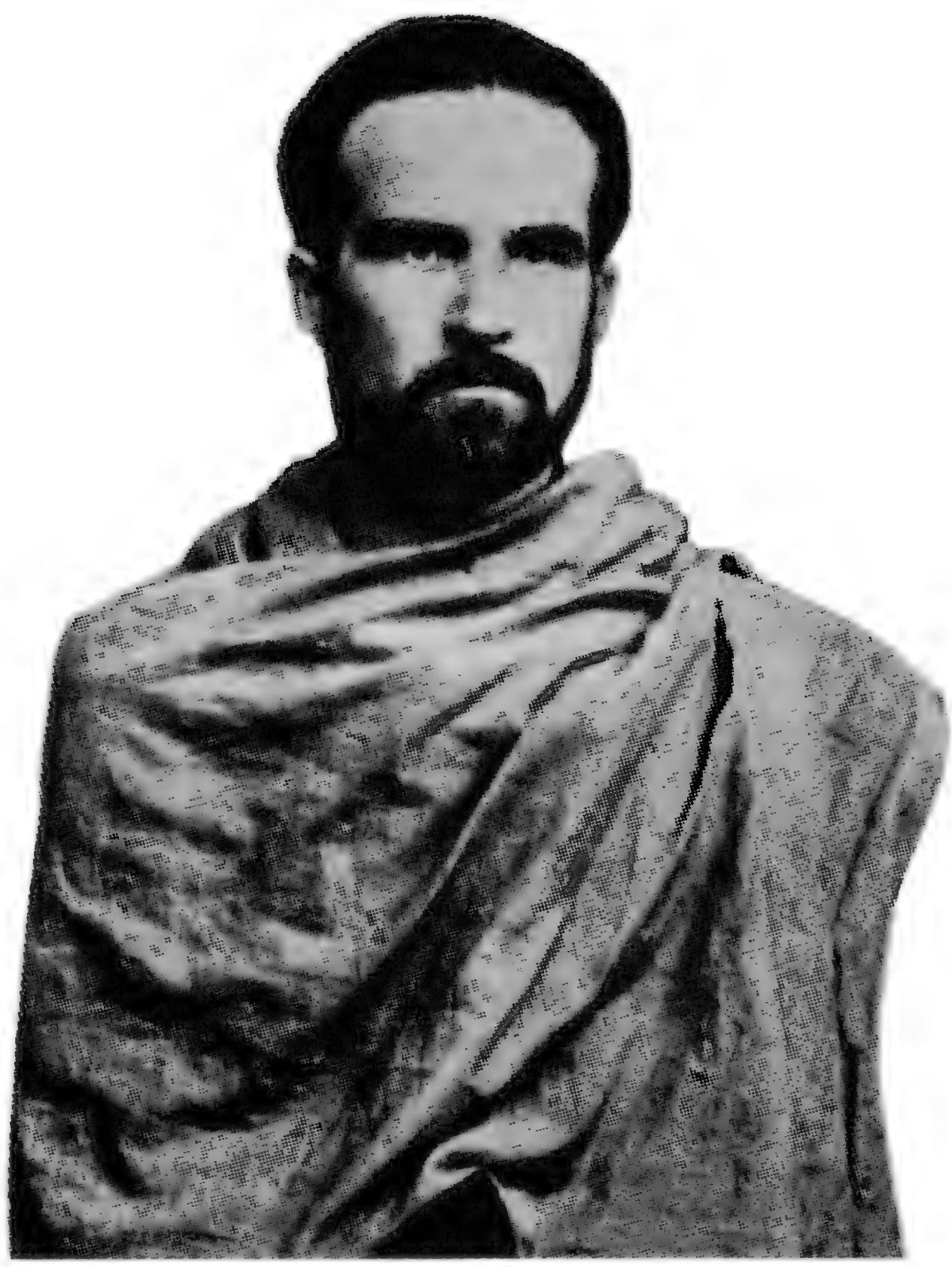
Я не слышу слов и рыданий,
зной не надо мною клубится:
мой подол омыт в Иордани,
горлица моя, голубица!

■

ЛИТературный гид

Мирча Элиаде: Одиссей в лабиринте

Составление и переводы АНАСТАСИИ СТАРОСТИНОЙ



Камуфляж и откровение

Ближе к закату Элиаде перестал заботиться о прижизненной славе. Если бы не его румынский издатель М. Хандока, не увидело бы свет, даже посмертно, его рукописное наследие (вторая часть мемуаров, последние новеллы) и чудом отысканные и собранные юношеские сочинения: «Как я нашел философский камень», «Роман о близоруком подростке», великое множество статей и очерков. Встретившись со знаменитым соотечественником в Париже в 1985 году, г-н Хандока, волнуясь, зачитал Элиаде все обнаруженные им неточности в мемуарах — уже вышедших и тех, что он готовил к печати. Элиаде не стал ничего переписывать. С тихой улыбкой — воплощение «отказа от плодов содеянного» — он разрешил издателю привести свои коррективы в предисловии.

В Советском Союзе Мирча Элиаде, по разным меркам, считался автором спецхрановским. Тем не менее его безусловно впитала наша семиотическая школа. Первый, с фрагментарным составом, сборник пробился в печать в 1987 году. Сейчас публикации приобретают все более и более систематический характер, множатся толкования его творчества, обзорные статьи и комментарии.

Поскольку при таком положении дел нет необходимости начинать с азов, мы позволили себе придать нашему «Литературному гиду», посвященному Элиаде, субъективный крен, усилив в подборке биографический, а точнее сказать, личностный момент. Она открывается циклом магнитофонных бесед семидесятилетнего мэтра с Клодом-Анри Роке, его исследователем и почитателем. Не в последнюю очередь благодаря умению Роке ставить вопросы, «Испытание лабиринтом» выглядит как форменное *житие*: не просто жизненный путь, но важнейшие вехи на нем, с непременным, дотошным поиском их провиденциального смысла. Подход угадан: Элиаде не жаловал тесноту трехмерного мира. К тому же, как говорил он сам, его кредо распылено по разным книгам, а собрать их воедино не так-то просто — слишком много написано, и на разных языках. *Беседы* же (так мы будем далее называть «Испытание лабиринтом») дают исключительно удачную попытку синтеза: жизнь — наука — литература. В 1978 году, когда они были записаны, голос Элиаде уже дышит спокойствием, добытым, как мы узнаем от него самого, в результате нелегкого труда.

На такой Олимп не поднялся к старости Эмиль Чоран, блестящий Сиоран, признанный французами за своего, чей этюд нам показалось уместным, в русле «эмоциональной концепции», подверстать к *Беседам.* Темпераментно, взахлеб, превознося Элиаде, коря себя за пятидесятилетней давности попытку свести с ним счеты, Чоран говорит о временах, когда Элиаде «начинался». То же начало выбрано нами из мемуаров Элиаде (фрагмент «Человек без судьбы»). Мемуары писались двадцатью годами раньше, с равным чорановскому пылом, только красками *своего* откровения.

В чем-то они сходятся, но поскольку «истина в оттенке», нам показалось любопытным дать рядом обе трактовки. Тем более что речь идет об одном из ключевых моментов биографии Элиаде и, среди прочего, о навязчивом мотиве его беллетристики, затронутом и в *Беседах*, — мотиве одновременной любви к двум женщинам. Заметим, что в *Беседах* соблюдены условности: минимально касаться деликатных моментов, оставлять за писателем право на тайну.

Это именно условности, потому что, например, французский вариант автобиографического романа «Майтрейи» давным-давно вошел в литературный обиход. Зато первая часть мемуаров к моменту *Бесед* была опубликована только по-румынски, в Мадриде, в эмигрантском издательстве, и, пользуясь прикрытием румынского языка (хотя — та же вульгарная латынь), Элиаде решительно отвергает предположение, что проблема плюрализма в любви имеет отношение лично к нему.

На этой двойственности натуры, склонной и к камуфляжу, и к откровению, мы и решили построить наш «путеводитель по Элиаде» — на столь дорогом его сердцу принципе coincidentia oppositorum, совпадения противоположностей. Через океан — и через океан времени — от реализовавшего себя ученого, гражданина мира, мудреца доходит до нас клокотание его авантюрной юности, переполненной грандиозными замыслами, решимостью вывести свою маленькую балканскую страну из провинциального состояния.

© А. Старостина. Составление, предисловие, переводы, 1999

Такой кипучей натурой был Элиаде в двадцатые—тридцатые годы, редкостный для Румынии момент истории, когда, при великолепии и роскоши культурной жизни, талант получал к тому же возможность включиться в социум. Мы выбрали из его мемуаров рассказ о двух годах, тридцать втором и тридцать третьем, на которые пришелся пик этого периода, деятельность прогремевшего на всю страну общества «Критерион» — объединения молодых писателей, художников, артистов. Жизнь Элиаде и в уединении и в эмиграции была чрезвычайно богата внутренними событиями. Но молодость его осенял знак общего дела, сопровождало все, о чем мечтают в двадцать пять лет: мгновенный отклик, жадное любопытство к себе, переполненный зал, круг единомышленников. Атмосферу экзальтации, сотворенную таким удачным стечением обстоятельств, подчеркивает этюд Чорана, она отлично прописана в отрывке из мемуаров. Эти письменные свидетельства либо дополняют то, что осталось за кадром в *Беседах*, либо дают крупным планом сказанное вскользь. Стоит добавить к ним еще несколько штрихов, уточняющих контекст.

Итак, Элиаде безоговорочно признают главой нового поколения. Но сам он не заражен манией лидерства. Он просто видит путь — поощрять интеллектуальную дерзость, позитивизм, сильную волю. Недолго оставалось до начала второй мировой войны, до убийства легионерами ярчайшего ученого Николае Йорги в сороковом, до смерти жены в сорок четвертом, до начала безвозвратного скитания. «Нам надо было спешить...» называется следующая глава мемуаров. Как нельзя кстати оказалась приобретенная в отрочестве способность обманывать время, отводя минимум на сон, уплотняя часы до нечеловеческих пределов. Кроме диссертации («Йога. Эссе об истоках индийской мистики»), кроме «Азиатской алхимии» — первой главы монографии о восточной науке, кроме трех сборников статей и очерков, только с 1930 по 1935 год Элиаде опубликовал шесть (!) полновесных романов. Все как один они представляют собой попытки решить его личные проблемы - в частности, обобщить индийский опыт — и проблемы его поколения. Ноющим, что «среда заела», провинциалам он бросает в лицо пример русской литературы прошлого века. Ничто, по его мнению, «не может погубить творческий дух до тех пор, пока человек свободен и осознает свою свободу».

Вольно или невольно попав в мучительнейший изгиб лабиринта, Элиаде первый подверг себя испытанию. Этот несокрушимо сильный жизнелюбец, публично отрицающий теневые стороны бытия — каким он виделся друзьям, — раскрывает нам душу нежную и ранимую, подкупающую трогательно-серьезным отношением к женщине, посвящает в свою смуту: ему и в самом деле предстояло выбрать судьбу. В духе присущей ему парадоксальности буржуазный жребий, к которому он внезапно склонился, — женитьба, — по сути, лишь усложнил испытание. Отказаться от свободы, от уединения мансарды, влезть в долги, чтобы расплатиться за респектабельную квартиру и содержать жену, означало ввергнуть дух и волю в искус поденной работы и тихого семейного счастья.

Интуиция его не подвела. Сделав выбор, он словно высвободил мощные силы души, уходившие у него на внутреннюю борьбу и порождавшие реалистически-плоские, «проблемные», рассудочные романы. С «Девицы Кристины»[1] (1936) начался настоящий Элиаде, виртуозно манипулирующий со *временем*, неуловимо впускающий *чудо* в любую рутину, в кошмар истории. И даже его поденщина подарила миру, например, волшебство «Змея», написанного для денег, или перевод биографии Лоуренса Аравийского, блистательно обыгранной через много лет в его «Цыганках».

Заметим справедливости ради: Элиаде на своем веку «начинался» не один раз. От той развилки лабиринта, на которой оставляют его *Беседы*, он отправился в новый путь, домой. Продолжая жить жизнью американского ученого, в своей поздней прозе он переселился во время и пространство послевоенного отечества и создал уникальное литературное направление — «мистическое диссидентство».

Свидетельствуя о себе, Элиаде, по видимости, охотно открывает публике «ночную» сторону своего духа. Но не стоит обольщаться: главных своих тайн он не открыл даже бумаге. Правда, от намеков на них не удержался — о тайне до́лжно подозревать, иначе она теряет смысл.

АНАСТАСИЯ СТАРОСТИНА

---

[1] Роман опубликован в «ИЛ», 1992, № 3.

МИРЧА ЭЛИАДЕ

Испытание лабиринтом

Беседы с Клодом-Анри Роке

С французского

Смысл истоков

Имя и происхождение

Клод-Анри Роке. Мирча Элиаде. Вы носите красивое имя...

Мирча Элиаде. Почему? Потому что Элиаде — helios, а Мирча — mir, славянский корень, то же, что paix по-французски?

— И мир — Вселенная?

— Да, весь мир, космос.

— Но я даже не о смысле, а о благозвучии...

— Имя Eliade греческого происхождения и, бесспорно, наводит на ассоциацию с Helios. Сначала оно писалось Heliade. Нечто среднее между Гелиосом и Элладой. Вот только это не фамильное наше имя. Дедушку звали Иеремия. А в Румынии увальней и копуш дразнят: «Что ты застрял, как Иеремия со своей телегой!» И моего отца так дразнили в школе. Он решил, что, когда вырастет, поменяет имя. И остановился на Элиаде, потому что так звали очень известного писателя XIX века — Элиаде-Рэдулеску. Так он стал Элиаде, и я ему очень признателен. Элиаде мне больше по душе, чем Иеремия. Мне нравится мое имя.

— Те, кто читал «Выдержки из дневника», уже немного знают вас и основные вехи вашей жизни. Но ваш «Дневник» начинается с 1945 года, с Парижа: вам было тогда под сорок. До этого вы жили в Румынии, в Индии, в Лисабоне, в Лондоне. В Румынии вы были признанным писателем и «знатоком Востока». Об этом можно догадаться по намекам в вашем «Дневнике». Но нам почти ничего не известно о годах, которые предшествовали вашему переезду в Париж, и прежде всего о первых ваших годах жизни.

— Что ж, я родился 9 марта 1907 года, в ужасный месяц румынской истории: все провинции были охвачены восстанием. В лицее мне часто говорили: «Ну и угораздило же тебя родиться — в самую заваруху!» Отец мой, как и его брат, был военным, в чине капитана. Жили в Бухаресте, я ходил в начальную школу на улице Мынтуляса, и в моей повести «На улице Мынтуляса» эта школа фигурирует. Потом — в лицей Спиру Харета. Это был очень приличный лицей, его называли «румынский Жюль Ферри»[1].

— Значит, ваш отец был офицер... Расскажите про вашу семью.

— Я считаю себя продуктом, так сказать, синтеза: отец был молдаванин, а мама олтянка. В румынской культуре Молдова[2] представляет сентиментальный полюс: это меланхолия, склонность к философии, к поэзии и некоторая пассивность перед лицом жизни; молдаване больше любят политические программы, чем саму политику, и предпочитают революции на бумаге. Я унаследовал эту молдавскую традицию от отца и от деда, который был крестьянином. С гордостью могу сказать, что я — из третьего поколения обутых. Прадедушка ходил босой или в опинках, это такие сандалии. Зимой носил грубые сапоги. В Румынии говорят: «Обутый во втором, третьем или четвертом поколе-

---

[1] Жюль Ферри (1832—1893) — премьер-министр Франции в 1880—1881, 1883—1885 гг.; был горячим поборником светского образования. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Имеется в виду северная провинция Румынии.

© Éditions Gallimard, 1986

Мирча Элиаде в лицее Спиру Харета (слева в первом ряду), 1925 г.

нии». Я вот — в третьем... Молдавская линия дала мне наклонность к меланхолии, к поэзии и метафизике. Скажем так: к ночи.

Мама же родом из Олтении, то есть из западной провинции, граничащей с Югославией. Олтяне — народ гордый, энергичный, жить не могут без лошадей. Они не только крестьяне, но и гайдуки, они торгуют, в том числе лошадьми (они и конокрады!). Это самая предприимчивая, самая кипучая, самая страстная наша провинция — полная противоположность Молдове. Мои родители познакомились в Бухаресте; когда я понял, какие во мне гены, все стало на свои места. Я, как это свойственно молодым людям, был подвержен приступам отчаяния и меланхолии, иногда до болезни, до депрессии: это во мне говорили гены отца. Одновременно я ощущал в себе огромный резерв энергии. И думал: «Это от мамы». Я многим обязан им обоим. В тринадцать лет я был скаутом, и меня отпускали на каникулы либо в горы — в Карпаты, либо по Дунаю на лодке — до дельты или до самого Черного моря. Родители разрешали мне все. И мама первая. В двадцать один год я сказал им: еду в Индию. Казалось бы, мелкобуржуазная семья, но родители отнеслись к моему намерению, как к чему-то вполне нормальному. Это было в двадцать восьмом году, тогда до Индии еще не добрался даже кое-кто из крупных индологов. Луи Рену[1] первое путешествие туда предпринял лет в тридцать пять. А я — в двадцать... Родители мне все позволяли: хочешь в Италию — поезжай, нужны книги — покупай, учишь древнееврейский, персидский — пожалуйста. Меня ни в чем не стесняли.

— Вы говорите: мелкобуржуазная семья, но поощряющая духовный труд. Может, больше подходит определение «культурная семья»?

— Может быть, но без претензий на большую культуру и в то же время без так называемой мещанской ограниченности.

— Вы были единственным ребенком?

— Нет, нас было трое. Брат, на два года старше меня, и сестра, на четыре года младше. Мне крупно повезло, что я появился на свет средним. Потому что любимцами, ясное дело, были сначала первенец, мой старший брат, потом сестра, младшенькая. Не

[1] Луи Рену (1896—1966) —французский ученый-востоковед, санскритолог.

скажу, что чувствовал себя обделенным родительской любовью — просто она не душила меня своим избытком. Это, конечно, везение. А второе везение — сразу два друга: сестра и брат.

— Складывается впечатление, что вы — человек, довольный и своим происхождением, и местом в семье...

— Пожалуй. Что-то не припомню, чтобы я подростком был чем-либо недоволен, против чего-либо протестовал. А ведь мы были небогаты, мне не хватало денег на книги. Мама давала мне по мелочам, что могла сэкономить или когда что-нибудь продавали; потом мы сдали внаем часть нашего дома. Жили скромно, но я никогда не жаловался. Меня вполне устраивало мое положение в мире, в обществе и в семье.

Дракон и рай

К.-А. Р. Из раннего детства — какие впечатления приходят вам на память?

М. Э. Самое первое... Мне года два, два с половиной. Я в лесу. Стою и смотрю. Мамы не видно. На лужайке пикник, а я отошел чуть в сторону и потерялся. Вдруг гляжу: прямо передо мной — огромная ящерица, великолепная, синяя. Удивительно, как это я не сдрейфил... у меня просто дух захватило, такой красоты было это огромное синее существо... сердчишко прыгало от восторга и от страха, но в то же время я видел страх и в глазах ящерицы — у нее тоже забилось сердце! Это было впечатление на много лет.

Второе... В том же примерно возрасте, потому что явно я тогда еще ходил под стол пешком. Я — в нашей же гостиной. Нам туда входить не разрешалось. Кажется, даже дверь запирали на ключ. Однажды летом, часа в четыре пополудни, родителей не было дома: папа в казарме, мама у соседки... Я подошел к двери и взялся за ручку — дверь поддалась. Я вошел... А там что-то необыкновенное: окна задернуты зелеными занавесками, и, поскольку на дворе лето, вся комната погружена в зеленый, очень странный полусвет, как будто я очутился внутри виноградины. И вот я стою и обмираю от этого зеленого, скорее даже золотисто-зеленого флера, посреди какого-то неизвестного пространства, в совершенно другом мире. Это случилось только один раз. На следующий день я снова попробовал открыть дверь — она оказалась запертой.

— А вы не знаете, почему вам не разрешали заходить в гостиную?

— Там было много этажерок, уставленных безделушками. И потом мама вместе с другими городскими дамами организовывала детские праздники с лотереей. А до праздника все выигрыши хранились в гостиной. Мама не хотела, и совершенно справедливо, чтобы ее дети увидели такое огромное количество игрушек.

— А вы вошли — и увидели?

— Да, но не это меня поразило, я их и так видел, когда мама их привезла. Меня поразило освещение. Как сквозь кожуру виноградины. Жара, солнце бьет в окна, но занавески его фильтруют. Получается зеленое солнце. Полное ощущение, что попал внутрь виноградины. Вы ведь читали мой «Заповедный лес». Его герой, Штефан, вспоминает таинственную комнату из своего детства, комнату «Самбо». И размышляет, что она значила... эта ностальгия по пространству, которое мы когда-то знали и которое не было похоже ни на какое другое. Описывая комнату «Самбо», я, конечно, думал о своем опыте: об опыте проникновения в иное пространство.

— А вас не испугала собственная дерзость — или все перевесило ошеломление?

— Да, я был просто ошеломлен.

— А страшно не было? Не было чувства греховного удовольствия?

— Нет... Был только цвет, тишина, потом поразительная красота: наша гостиная с картинами, с этажерками, но омытая таинственным светом. Зеленым светом.

— Здесь я позволю себе обратиться к знатоку мифов, к герменевту[1], к другу Юнга. Что он думает об этих двух моментах детства?

---

[1] Герменевтика — теория и искусство толкования текстов (большей частью древних).

— Любопытно, что я никогда не задумывался над их интерпретацией. Так, просто пара картинок из памяти. Но, пожалуй, и в самом деле, встретить настоящее чудо-юдо, рептилию невероятной, дивной красоты...

— Змéя...

— Да, дракона. Причем самку дракона или дракона-андрогина — уж очéнь он был красив! Меня просто ошарашила такая красота и этот поразительный синий цвет...

— Но при всем том вы сохранили присутствие духа — смогли почувствовать страх другого существа.

— Это было видно! Я видел страх в его глазах, видел, как он испугался ребенка. Этот громадный, редкой красоты ящер испугался ребенка. Удивительно.

— Вы сказали, что дракон был очень хорош, потому что это была самка или андрогин. Для вас красота по сути своей связана с женским началом?

— Нет, я различаю в красоте андрогина и мужскую красоту. Я не могу свести красоту, даже человеческого тела, только лишь к женской красоте.

— Почему вы говорите об «андрогинной красоте» применительно к животному?

— Потому что оно было совершенством. В нем было все: грация и страх, жестокость и улыбка — все.

— Для вас «андрогин» — не пустое слово. Вы развивали тему андрогина...

— И всегда настаивал на том, что андрогин и гермафродит — разные вещи. В гермафродите оба пола сосуществуют. Вам известны статуи мужчин с женской грудью... Андрогин же являет собой идеальное совершенство: оба пола слиты воедино. Это особая человеческая порода, особая порода... Вот в чем дело, я полагаю. Конечно, они оба, и гермафродит и андрогин, присутствуют в культуре — не в одной только европейской, но и в мировой. Для меня лично привлекательней тип андрогина, я нахожу в нем совершенство, которое трудно или невозможно воплотить в особи одного пола.

— Нет ли тут определенного противопоставления — между звериным и божественным, — которое «структурный» анализ выделяет в Древней Греции? Не принадлежит ли гермафродит звериному, а андрогин божественному?

— Да нет, я не считаю гермафродита монструозным созданием. Это скорее отчаянная попытка создать нечто цельное. Но он не доведен до конца, недоделан.

— А какой смысл вы придаете комнате-виноградине? Почему, как вы думаете, это воспоминание осталось таким живым?

— В силу впечатления — атмосферы, райской атмосферы. Все зелено, золото сквозь зелень. Потом тишина, совершенная тишина. И вот я проникаю в эту зону, в это священное пространство. Я говорю «священное», потому что оно было совсем особого свойства: ничего мирского, ничего обыденного. Ничего от того мирка, в котором я жил: папа, мама, брат, двор, дом... Нет, тут все было совсем по-другому. По-райски. Некое место, до этого недозволенное и после снова недозволенное... В моей памяти оно осталось как нечто из ряда вон выходящее. А эпитет «райское» пришел позже, когда я узнал это слово. Религиозный опыт? Нет. Но я понял, что побывал в каком-то совсем другом пространстве и пережил что-то совсем особенное. Иначе меня не преследовало бы это воспоминание.

— Некое «совсем другое» пространство, пронизанное зеленью — и свежестью — и золотом; священное место, запретное (но не давящее своей запретностью, не так ли?) Самые настоящие образы рая: первозданная зелень, золото, шаровидность пространства, этот свет; да, похоже, в раннем детстве вы пережили «момент рая» — Эдема, изначального рая.

— Пожалуй.

— Но под этим «совсем другим» я, как, конечно, и вы, вижу то самое ganz andere, которым Отто[1] определяет священное. И еще я вижу, как этот образ из детства занимает место среди тех, что позже увлекли и приворожили Мирчу Элиаде. Кто читал ваши книги, тот, услышав такое воспоминание и даже не зная, чье оно, непременно подумает о

[1] Рудольф Отто (1869—1937) — немецкий теолог. Подробнее о нем см.: *М. Элиаде*. «Священное и мирское».

вас. И не эти ли два сильных впечатления: от дракона и от замкнутого, светящегося, раеподобного пространства, — дали направление вашей жизни?

— Не знаю... Я интуитивно чувствую, какие книги, какие открытия в отрочестве пробудили во мне интерес к религиям и мифам. Но я не мог бы сказать, в какой степени определили мою жизнь те впечатления детства.

— В «Саду наслаждений» Босха изображены существа, которые живут в плодах...

— Нет, мне не казалось, что я попал в сердцевину огромного плода. Я просто не мог найти другого сравнения для света, для этого золота сквозь зелень, кроме как что такой свет я видел бы изнутри виноградины. Нет, это была идея не плода, не того, что я живу в плоде, а что я попал в райское место. Впечатление шло от света.

«Как я открыл философский камень»

К.-А. Р. Итак, вы пошли в школу на улице Мынтуляса. Какие у вас остались впечатления от той поры?

М. Э. Главное — то, что я пристрастился к чтению. Лет с десяти я начал много читать: детективы, романы — словом, все, что читают в десять лет, даже несколько больше. Александра Дюма, например, в румынском переводе.

— А сами вы уже писали?

— По-настоящему я начал писать в первом классе лицея.

— Сколько я знаю, вы тогда увлекались наукой.

— Естественными науками — да, математикой — нет. Я сравнивал себя с Гёте... Гёте терпеть не мог математику. И, как и его, меня тянуло к естественным наукам. Я начал с зоологии, но в ней всего интересней была энтомология. Я писал и публиковал заметки о насекомых в «Газете народного знания».

— Двенадцатилетний автор!

— Да, первый текст я опубликовал в тринадцать лет. Рассказик на научную тему, который я представил на всерумынский конкурс для лицеистов, устроенный «Газетой народного знания». Рассказик назывался «Как я открыл философский камень». Мне присудили первую премию.

— Это не тот ли текст, о котором вы пишете в «Дневнике»: «Я его потерял, и вряд ли он найдется, а как бы мне хотелось его перечесть...» Так и не нашелся?

— Нашелся. Один человек, прочтя «Дневник», пошел в библиотеку Академии, разыскал его, скопировал и любезно прислал мне. Я помнил тему и концовку, но никак не манеру письма. Меня приятно удивило, что он вполне прилично написан. Без педантизма, без «научности». Самый настоящий рассказ... Речь там идет о четырнадцатилетнем школьнике — обо мне, — у которого есть своя лаборатория и который делает опыты, потому что, как положено, одержим идеей найти то, что способно изменить материю. Ему снится сон, а во сне — откровение: ему показывают, как получить это самое *то*. Он просыпается и находит у себя в тигле слиток золота. Он уверен, что произошла трансмутация. И только потом понимает, что это пирит, сернокислый пирит.

— Так значит, философский камень найден во сне.

— Во сне ко мне пришло какое-то существо, то ли зверь, то ли человек, — оборотень, который дал мне рецепт. А я последовал его совету.

— Чтобы ребенку написать такой рассказ, ему надо интересоваться не только насекомыми, но и химией, и алхимией...

— Я увлекался зоологией, разделом «насекомые», но и физикой, и особенно химией, причем, что любопытно, сначала неорганической, а потом уж органической.

— Сон, алхимия, химерический вестник — все образы и темы Элиаде в первом же его сочинении. Вы не считаете, что мы с самого детства безотчетно знаем, кто мы и куда идем?

— Не могу судить... Для меня этот рассказик знаменателен, потому что он напом-

нил мне, что в возрасте двенадцати-тринадцати лет я серьезно, по-научному ставил опыты и одновременно — давал волю воображению.

— Вот что вы имели в виду, говоря о дневной стороне духа...

— О дневном строе духа и о ночном строе духа.

— Наука — на дневной стороне, поэзия — на ночной.

— Да. Литературное воображение, оно же мифологизированное, оно же — открыватель двух великих полюсов метафизики. Ночного, дневного — обоих. Coincidentia oppositorum. Великое всё. Инь и ян...

— В вас живут с одного края ученый, с другого — писатель. И сходятся они на территории мифа.

— Именно. За интересом к мифологии и к структуре мифа стоит желание расшифровать весть этой ночной жизни, ночного созидания.

Мансарда

К.-А. Р. Итак, еще не кончив лицей, вы — уже писатель!

М. Э. В некотором роде, потому что я напечатал не только под сотню заметок в «Газете народного знания», но и несколько рассказов, описание походов в Карпаты, «кругосветки» по Дунаю и Черному морю и, наконец, фрагменты романа — «Романа о близоруком подростке»... Это была целиком и полностью автобиографическая вещь. Я, как и мой герой, когда испытывал приступы меланхолии — молдавское наследие, — боролся против нее какими только мог «духовными техниками». Я читал «Воспитание воли» Пайо и применял прочитанное на практике. Уже в лицее я занялся тем, что после назвал «сопротивлением сну». Я боролся за время. Меня ведь интересовали не только естественные науки, но и множество других вещей: я открывал для себя ориенталистику, алхимию, историю религий. Случайно мне попались Фрэзер и Макс Мюллер[1], а когда я стал учить итальянский (чтобы читать Папини)[2], я открыл итальянских ориенталистов и религиеведов: Петтаццони, Буонаюти, Туччи и других... И писал статьи об их книгах и о проблемах, которые их занимали. Мне, надо сказать, крупно повезло: я жил в мансарде в мамином бухарестском доме, и мансарда была совершенно изолированной. Так что в пятнадцать лет я принимал у себя товарищей, мы могли целыми вечерами и даже ночами вволю дискутировать, попивая кофе. Мансарда была расположена так, что шум никого не беспокоил. А шестнадцати лет от роду я вошел в полное владение ею. Вначале мы занимали ее вместе с братом. Потом он поступил в военный лицей, а я остался полноправным хозяином двух отличных каморок. Я мог читать хоть всю ночь напролет... Вы ведь знаете, когда тебе пятнадцать и когда ты открываешь для себя современную поэзию и множество разного другого, лучше иметь свою комнату, которую ты можешь обустроить по своему вкусу и которая — не просто угол, выделенный тебе родителями. Так что это было по-настоящему *мое* место. Я там жил, кровать покрасил, как мне хотелось, на стенах развесил гравюры, вырезанные из журналов. А главное — там были мои книги. Это было больше, чем рабочая комната, это был мой дом.

— Кажется, боги — или феи-вещуньи — благоволили к вам с самых первых ваших шагов по жизни...

— Благоволили, я думаю. Потому что у меня до отъезда из дома в самом деле были все мыслимые возможности.

— Когда вы поступили в университет, какова была интеллектуальная и вообще культурная атмосфера тогдашней Румынии, то есть между двадцатым и двадцать пятым годами?

— Мы принадлежали к первому поколению, которое взяло в свои руки культуру

---

[1] Макс Мюллер (1823—1900) — немецкий филолог-востоковед, с 1848 г. живший в Англии, основоположник направления сравнительной мифологии.

[2] Джованни Папини (1881—1956) — итальянский писатель, публицист, историк искусства; автор религиозных сочинений.

страны под названием «Великая Румыния» («România Mare») — Румыния после войны четырнадцатого — восемнадцатого годов. Первое поколение без твердой программы, без четкого идеала, который надо было осуществить. Наши отцы и деды жили с идеалом — объединить все румынские земли. Этот идеал осуществился. А я имел счастье принадлежать к первому поколению румынских книжников, которое было *свободным*, у которого не было *программы*. Мы использовали свободу для открытий, мы раскопали не только традиционные источники, такие, как наша собственная классическая литература и литература французская, но и абсолютно все на свете. Если говорить обо мне, среди моих находок — итальянская литература, история религий и потом Восток. Один из моих друзей добрался до американской литературы, другой — до культуры Скандинавии. Я выискал Миларепу[1] в переводе Жака Бако. Как видите, все было возможно. В конечном итоге мы готовились к настоящей открытости.

— Открытости миру, когда в умах присутствует Индия, а Бранкузи[2] читает Миларепу...

— Именно. И тогда же, в Румынии двадцать второго — двадцать восьмого годов, я открыл Пруста, Валери и, разумеется, сюрреализм.

— Но каким образом в вас сочеталась тяга ко всемирному с тягой, ну скажем, к румынским истокам?

— Я чувствовал, что исконно румынской культуре трудно будет развернуться в атмосфере и формах культуры, на которой воспитывались наши отцы, — западной, я имею в виду такие имена, как Анатоль Франс, например, или даже Баррес[3]. У нас было что сказать, и я чувствовал, что это требует не того языка, какой вдохновлял наших отцов и дедов. Нас привлекали упанишады и Миларепа наряду с Тагором и Ганди. Древний Восток. Мы считали, что, впитывая эти архаические, внеевропейские культуры, мы найдем средства выразить и наше собственное духовное наследие: фрако-славяно-римское и одновременно протоисторическое и восточное. Мы осознавали свое местоположение между Востоком и Западом. Вам ведь известно, что румынская культура образует в некотором роде «мост» между Западом и Византией, с одной стороны, и мирами славянским, восточным и средиземноморским — с другой. По правде говоря, весь спектр этих возможностей я осознал гораздо позже.

— Вы упомянули сюрреализм, но ничего не сказали ни о дадаизме, ни о Тцаре, вашем соотечественнике.

— Мы не были знакомы, я читал его в авангардистских журналах, которыми мы увлекались. Если говорить о влияниях, то ни дада, ни сюрреализм на меня не повлияли. Они просто были мне в диковинку, и, не скрою, я восхищался их дерзостью. Я еще не утолил свою страсть к футуризму, который незадолго до этого открыл. Меня привлекал, как вам известно, Папини, ранний Папини, до его обращения в другую веру, великий памфлетист и автор книг «Мужское начало» и «Конченый человек», автобиографических... Для нас это и был авангард. Точно таким же образом я открыл Лотреамона, причем, любопытно, через Леона Блуа[4]. Я прочел сборник его статей и памфлетов — кажется, это были «Укротители и свинопасы»... Там была замечательная статья о «Песнях Мальдорора», с пространными цитатами. Так я обрел Лотреамона — еще до Малларме и Рембо. Малларме и Рембо я прочел позже, уже в университете.

— В «Дневнике» вы несколько раз упоминаете об «экзистенциалистском» климате в Румынии, который сложился там якобы даже раньше, чем во Франции.

— Верно. Но это было немного позже, в тридцать третьем — тридцать шестом годах. Однако уже в университете я прочел две-три небольшие работы Кьеркегора в итальянском переводе, потом я нашел в немецком переводе почти полное его собрание. По-

---

[1] Миларепа (1052—1135) — тибетский аскет, основатель школы мистиков, давшей начало ламаизму; ему приписывают авторство тибетской «Книги мертвых».
[2] Константин Бранкузи (Брынкуш, 1876—1957) — французский скульптор румынского происхождения.
[3] Морис Баррес (1862—1923) — французский романист, философ-публицист.
[4] Леон Блуа (1846—1917) — французский писатель.

мню, я написал в газете «Кувынтул» статью под названием «Памфлетист, жених и схимник». По-моему, это была первая статья о Кьеркегоре в Румынии; она вышла в двадцать пятом или в двадцать шестом году. Кьеркегор имел для меня особенное значение — главным образом как пример. Примером была не только сама его жизнь, но и то, что он провозглашал, что предвидел. К сожалению, он страдал излишним многословием; так что я назвал бы лучшей книгой Кьеркегора... «Кьеркегоровы этюды» Жана Валя[1]: он дает много цитат, отлично подобранных — самое существенное.

Мирча Элиаде с отцом. Бухарест, 1942 г.

— В университете у вас с коллегами было много общих устремлений, но что привлекало более всего вас?

— В первую очередь ориенталистика: я самостоятельно учил иврит, потом персидский. Покупал грамматики, делал упражнения... Кроме ориенталистики, история религий и мифология. При этом я не переставал публиковать статьи по истории алхимии. Тем я и выделялся среди сверстников: был единственным, кто одновременно увлекался Востоком и историей религий. Древним Востоком и Востоком современным, Ганди, Тагором и Рамакришной — в те годы я еще не знал Ауробиндо Гхоша[2]. Я прочел — как все, интересующиеся историей религий, — «Золотую ветвь» Фрэзера, потом Макса Мюллера. Я даже взялся за английский, чтобы прочесть полного Фрэзера.

— А что это было — просто желание новых культурных горизонтов? Или — может быть, неосознанно — за разнообразием вы искали «сущностного» человека, того, кого можно было бы назвать «парадигматическим»?

— Мне не хватало, я чувствовал, каких-то источников, до того времени не принимаемых в расчет: они были в библиотеках, их можно было найти, но никто не видел их актуальности, ни духовной, ни даже культурной. Я размышлял так: человек, пусть даже европеец, это не только человек Канта, Гегеля или Ницше; в европейской традиции, в румынской в том числе, есть и другие источники, глубже: Греция — это не только Греция достойных восхищения поэтов и философов, но и Греция элевсинских мистерий и орфизма, и эта Греция уходит корнями в Средиземноморье и в древность Ближнего Востока. Те же корни, и столь же глубокие, уводящие в доисторические времена, мы находим в народных румынских традициях. Это древнее наследие даков и — даже еще древнее — неолитического человека, жившего на нашей нынешней территории. Может быть, я и в самом деле, не отдавая себе в том отчета, искал образцового человека? Так или иначе, я чутьем осознавал значимость некоторых забытых источников современной культуры. Из этих соображений я и начал на последнем курсе раскапывать герметические и оккультные

---

[1] Жан Валь (1888—1974) — французский философ, основатель Парижского философского коллежа.
[2] Ауробиндо Гхош (1872—1950) — индийский философ и политический деятель, комментатор вед.

течения (Каббалу, алхимию) в философии итальянского Возрождения. Это была тема моего диплома.

— Я бы хотел задать вам вопрос насчет личных мотивов, подтолкнувших вас к изучению религий. Те, что вы назвали, носят интеллектуальный характер. А каково ваше внутреннее отношение к религии?

— Я не слишком хорошо знал собственную традицию, православие. Семья у меня была, что называется, «верующая», но в православии, как вы знаете, религию изучают на основе традиции, в учебных программах не предусмотрены уроки катехизиса. Упор делается на литургию, литургическую жизнь, ритуалы. Тайны. Я участвовал во всем, как положено. Но особого значения этому не придавал. Меня занимало другое. Я учился на философском факультете и, изучая разные философии и крупнейших философов, чувствовал, что мне чего-то недостает. Что нельзя понять смысл жизни человека и особое его положение во Вселенной, если не обратиться к архаическим фазам религиозного опыта. При этом у меня было ощущение, что я не смогу обнаружить упомянутые фазы, исходя только из моей собственной религиозной традиции, то есть исходя из нынешней реальности православной церкви, которая, как и все остальные, была «обусловлена» длительной историей и институтами, чьего назначения и сменяющих друг друга форм я не знал. Я чувствовал, что мне будет трудно проникнуть в истинный смысл и содержание христианства только на основе моей традиции. Вот почему я хотел уйти вглубь. Ветхий Завет — для начала, потом — Месопотамия, Египет, средиземноморский мир, Индия.

— Но при всем при том неужели никакого метафизического беспокойства, никакого мистического кризиса, никаких мучительных сомнений или страстной веры? Неужели вас миновало то, что бывает со столькими подростками, — религиозная или метафизическая лихорадка?

— Да, я не испытал этого большого религиозного кризиса. Даже странно. Неудовлетворенность была, но сомнения не мучили, потому что я был не очень-то верующий. Я просто чувствовал, что то существенное, что я действительно должен найти и понять, мне надо искать не только в моей традиции, но и где-то еще. Чтобы понять себя. Понять.

— Тогда, может быть, позволительно будет сказать, что ваш путь — это путь гнозиса и джнана[1] йоги?

— Да, может быть, и так. Гнозис, джнана йога...

— Ведь это, кажется, означает одно и то же — гнозис и джнана.

— Совершенно одно и то же... К тому же мне нужен был набор техник, дисциплина, что-то, чего я не находил в моей религиозной традиции. Впрочем, в ней я этого и не искал. Я мог бы спокойно уйти в монахи, удалиться на гору Афон и заняться йогой — например, пранаямой[2].

— Исихазм[3]...

— Да, но в то время я таких вещей еще не знал. Просто, кроме потребности в гнозисе, я ощущал и потребность в практике медитации. <...>

Ренессанс и Индия

К.-А. Р. Можно сказать, что ваша судьба определилась в Риме...

М. Э. Да, в Риме, в библиотеке профессора Джузеппе Туччи, где он вел свой семинар. Когда он был в отъезде, в Индии, я в один прекрасный день нашел в его библиотеке первый том «Истории индийской философии», на французском языке, знаменитого Сурендраната Дасгупты. И в предисловии прочел слова благодарности его покровителю, махарадже Маниндре Чандре Нанди из Кассимбазара. Дасгупта писал так: «Благодаря этому человеку я смог проработать пять лет в Кембриджском университете. Вот настоя-

---

[1] Знание *(греч. и санскр.)*.
[2] Пранаяма — в йоге: приемы регулирования дыхания.
[3] Исихазм — православное мистическое течение, возникшее в монастырях Афона (XIII—XIV вв.); дыхательными и медитативными упражнениями напоминает йогу.

щий меценат. Он поддерживает и поощряет научные и философские исследования; щедрость его славится на всю Бенгалию...» Тут-то меня и осенило. Я написал два письма: одно — профессору Дасгупте в Калькуттский университет, другое — в Кассимбазар махарадже. Я написал: «В данный момент я работаю над дипломом, который буду защищать в октябре, а потом хотел бы изучить индийскую философию, особенно йогу...» Дасгупта в самом деле был знатоком классической йоги, он издал много книг о Патанджали[1].

А два-три месяца спустя, когда я вернулся в Бухарест, я получил ответы. Первое письмо было от Дасгупты, он писал: «Да, это очень хорошая мысль. Если вы действительно хотите заняться сравнительной философией, лучше изучать санскрит и индийскую философию на месте, в Индии, чем в европейских центрах индологии. А поскольку университетская стипендия невелика, я буду ходатайствовать за вас перед махараджей...»

Второе письмо было от махараджи, он писал: «Да, хорошая идея, приезжайте, я предоставлю вам стипендию, но не на два года... (я из скромности просил на два). За два года нельзя основательно изучить санскрит и индийскую философию. Я предоставлю вам стипендию на пять лет». Таким образом, сразу после защиты диплома, в ноябре 1928-го, я, лиценциат филологического факультета по специальности «философия», получил от родителей немного денег и, с обещанием стипендии от Бухарестского университета, отправился из Констанцы в Порт-Саид на румынском пароходе, из Порт-Саида на японском — в Коломбо, а оттуда поездом — в Калькутту. Две недели я провел в Мадрасе; там я и встретился с Дасгуптой.

— Потрясающая история, такой хорошо кончать главу. Но если начистоту: каковы были ваши ощущения, когда вы сели на пароход? Или накануне отъезда?

— Ощущение ухода, а ведь мне был двадцать один год. Я, кажется, первым из румын решился не столько совершить путешествие в Индию, сколько пожить там и поработать. Ощущение авантюры, того, что будет трудно, но меня это захватывало. Тем более что я тогда еще не сформировался как личность и осознавал это. Я многое взял от моих бухарестских профессоров, от моих итальянских учителей — религиеведов и ориенталистов, — но мне нужно было все в себе выстроить по-иному. Это я чувствовал очень хорошо. Мне предстояло стать взрослым.

В Египте я пробыл десять дней. Первые египетские впечатления... Нет, важнее был сам факт путешествия... Денег у меня было в обрез, я дождался самого дешевого парохода, японского, где мне досталась койка в третьем классе. Там я в первый раз заговорил по-английски. Путь от Порт-Саида до Коломбо занял две недели. Но уже в Индийском океане я вдохнул воздух Азии! Открытие острова Цейлон было исключительным. За сутки наперед я чувствовал аромат деревьев и цветов, диковинный аромат... Так я прибыл в Коломбо.

ИНТЕРМЕЦЦО

К.-А. Р. Давеча, когда я только вошел, вы сказали, что у вас есть идея насчет заголовка для наших Бесед.

М. Э. Да, я подумывал насчет заголовка. Дело в том, что у меня нет опыта — не опыта диалога, а опыта его записи, — эта «аппаратура» все время торчит между нами, что для меня есть испытание, и я бы сказал, «инициатическое», поскольку я к такому не привык. Так вот, заголовок: «Испытание лабиринтом». Испытание — потому что все время приходится вспоминать полузабытое, а сам процесс — идешь, утыкаешься в тупик, возвращаешься назад, снова идешь — очень напоминает блуждание по лабиринту. Лабиринт же, я считаю, представляет по преимуществу образ инициации. Это с одной стороны. С другой стороны, я полагаю, что жизнь каждого состоит из ряда инициатических испытаний: человек формируется, проходя через ряд неосознанных инициаций. Да,

[1] Патанджали (предполож. в период между II в. до н. э. и II в. н. э.) — индийский философ, систематизировавший йогу как учение, автор «Йога-сутры».

пожалуй, это название очень верно выражает то, что со мной происходит в присутствии магнитофона, к тому же оно мне нравится, потому что довольно точно, как мне кажется, передает суть человеческой жизни. <...>

— Когда мы сможем прочесть книгу, о которой вы сделали запись в дневнике 14 июня 1967 года и в которой вы собираетесь говорить, сколько я понял, о структуре священного пространства, о символизме человеческих поселений, городов и деревень, храмов и дворцов?

— Это небольшая работка, я написал ее по следам шести лекций, прочитанных мною в Принстоне, о сакральных корнях архитектуры и урбанистики. Я включил в нее — правда, в другой компоновке — все то, что касается «центра мира» и «сакрального пространства», из «Трактата по истории религий» и из других моих вещей. Осталось только подобрать иллюстрации. Архитекторы проявляют признаки нетерпения, это меня подстегивает завершить начатое. Некоторые даже написали мне, что благодаря моим книгам прояснили для себя смысл своего ремесла.

— А через смысл, вы где-то говорите, и обнаруживается сакральное — через ориентацию и означивание...

— Для геометрии все равно, что верх, что низ; но с бытовой точки зрения идти по лестнице вверх или вниз — это совсем не одно и то же. Я прекрасно понимаю, что левое — это не правое. В той работке я как раз останавливаюсь на символизме и ритуалах, которые связаны с восприятием разных качеств пространства: левая и правая сторона, центр, зенит и надир...

— Но разве архитектура не привязана и к темпоральности тоже?

— Темпоральный символизм вписан в символизм архитектурный, в способ расположения жилища. В Африке хижину разворачивают соответственно времени года; и ворочается не одна только хижина, но и утварь, которая в ней, орудия труда, оружие. Меняется время года — меняется весь дом. Показательный пример соотношения между символизмом темпоральным и пространственным. Но архаическая традиция вообще богата подобными примерами. Вы, конечно, помните, что говорит Марсель Гране об «ориентированном пространстве» в Древнем Китае?

— Помню, и там «святость» присуща не только дому, не только храму, но и всей территории страны, земле родины...

— Земля родины всегда принадлежит сакральной географии. Для тех, кто уехал, город детства и отрочества непременно обращается в мифический. Для меня Бухарест есть центр неисчерпаемой мифологии. Благодаря этой мифологии мне удалось познать его настоящую историю. Может быть, и свою тоже.

Индия по существу

Ученичество. Санскрит

К.-А. Р. 18 ноября 1948 года вы записали в дневнике: «Двадцать лет назад в пятнадцать тридцать (если не ошибаюсь) я начал путь с Северного вокзала города Бухареста в Индию. Я и сейчас вижу минуту отъезда, вижу Ионела Жиану, как он держит в руках томик Жака Ривьера и пачку папирос, прощальные подарки. Я уезжал с двумя небольшими чемоданами. Какой крен дало мне это путешествие в неполных двадцать два года! Что была бы моя жизнь без Индии, осенившей зарю моей юности? Без веры, которая сидит во мне по сей день: что бы ни случилось, в Гималаях всегда есть пещера, которая меня ждет...» На этот вопрос, который вы сами себе задаете, — о значении Индии в вашей жизни и в вашем творчестве, — сейчас вы уже можете дать ответ? В каком смысле вас сформировала Индия? С вашего позволения, это и будет нашей главной сегодняшней темой. Итак, в Мадрасе вас ждет Дасгупта?

М. Э. Да, он работал там с санскритскими текстами в библиотеке Теософского общества, знаменитой своей коллекцией манускриптов. Там мы и встретились и сразу договорились о моем устройстве в Калькутте. В 1928 году ему было лет сорок пять. Невысокий, коренастый, глаза несколько навыкате, как у амфибии, и очень мелодичный голос, что вообще свойственно бенгальцам. Я привязался к этому человеку, восхищение он во мне вызывал необыкновенное.

— Ваши отношения с Дасгуптой были как у студента с профессором или как у ученика с гуру?

— И так и так. Вначале я был студентом, а он — профессором на западный манер. Он составил для меня программу занятий в Калькуттском университете, подобрал учебники по грамматике и другие, необходимые. И он же нашел мне пансион в английском квартале. Он справедливо полагал, что мне будет трудно сразу приспособиться к местному образу жизни. Мы работали вместе не только в университете, но и у него дома, в квартале Бхованипор, очень живописном индийском квартале. Дом у него был замечательный. Через год он предложил мне заниматься с одним пандитом[1] (и сам выбрал его для меня), чтобы ввести меня в разговорный санскрит. Он сказал, что мне пригодится разговорная практика, хотя бы на элементарном уровне, чтобы вести беседы с пандитами, с настоящими йогинами, с религиозными индусами.

— А что это были за трудности, по мнению Дасгупты, если бы вы сразу вошли в уклад индийской жизни?

— Он говорил, что сначала даже чисто индийская пища мне не рекомендуется. Может быть, он думал и про то, что в моем европейском, пусть скромном, костюме мне будет трудно жить в Бхованипоре среди аборигенов. Он же понимал, что я не смогу за несколько недель, да даже месяцев, переодеться в бенгальское дхоти.

— А у вас было желание жить повседневной жизнью бенгальцев, есть их пищу и носить их платье?

— Было, но не с самого начала, потому что я не знал, что это такое. Раза два в неделю я приходил к Дасгупте работать; и только постепенно очарование, таинственность этих огромных домов с террасами на крышах, окруженных пальмами и садами, — все это, конечно, сделало свое дело.

— Я недавно видел замечательную фотографию, которая будет воспроизведена на обложке «Кайе дё л'Эрн». Вы там одеты так, как одевались в Калькутте?

— Нет, так я одевался в ашраме[2], когда был в Гималаях. Я носил одежды желто-охряного цвета. Такие носит свами или йогин. В Калькутте я носил то, что называется дхоти, род длинной белой рубахи.

— Вы считаете, что в такой стране, как Индия, качество приобретаемого опыта будет другим, если ты одет по местным обычаям?

— По-моему, это очень важно. Во-первых, гораздо удобнее в тропическом климате ходить в дхоти, босиком или в сандалиях. Потом, ты не привлекаешь к себе внимания. Я не прятался от солнца, я был черноволос, так что не выделялся из толпы — почти не выделялся. Дети не кричали мне вслед: «Белая обезьяна!» Это была и солидарность с культурой, которой я хотел причаститься. В идеале я хотел научиться бегло разговаривать по-бенгальски. Совершенства в разговоре я так и не достиг, но хотя бы научился читать. Я переводил стихи Тагора и подступался к поэтам-мистикам Средневековья. Меня интересовало не только умозрительное: эрудиция и философия, йога и санскрит, — но и живая индийская культура.

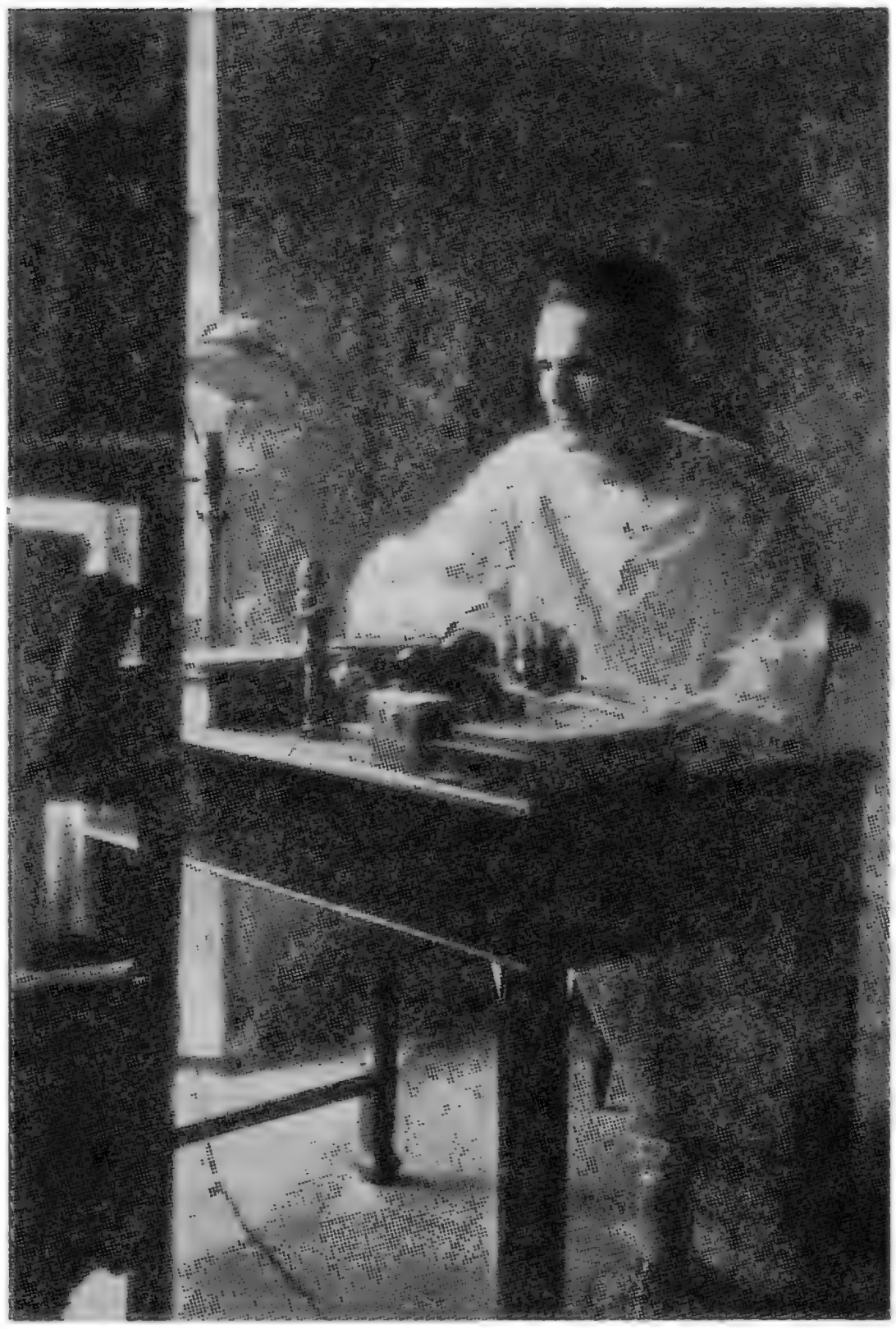
— Вы изучали Индию только в качестве интеллектуала или в качестве простого человека тоже?

— И в качестве простого человека тоже. Надо, правда, уточнить, что я не отрекся от того, что называют Weltanschauung[3] западного человека. Я хотел изучить санскрит ос-

---

[1] Пандит — букв. ученый (*санскр.*,); в Индии так называют знатока классической индийской литературы.
[2] Ашрам — обитель (*санскр.*)
[3] Мировоззрение (*нем.*).

новательно, в соответствии с индийской традицией, но в то же время сохранить философскую методику западного толка. Чтобы ориентиры западного эрудита сочетались с ориентирами, идущими изнутри традиции. Никогда я не отказывался от западной специфики познания. Я немного изучал греческий, немного латынь, штудировал западную философию; все это во мне сохранялось. Даже когда я удалился в Гималаи, в келью, я не ушел от западной традиции. Так что, как видите, мечта объединить противоположности сидела во мне уже со времен моего ученичества. <...> Я вникал в индийскую культуру глубоко, «экзистенциально». Прошел год, и Дасгупта сказал мне: «Пора, теперь ты можешь переезжать. В мой дом». У него я прожил еще год.



В Калькутте, 1930 г.

— У вас было намерение не только изучить язык и культуру, но и практиковать йогу. Познать «на собственной шкуре», на собственном опыте то, о чем идет речь в книгах.

— Бесспорно. Мы сейчас поговорим о практике, которой я занимался в моей келье в Гималаях. Но уже в Калькутте я не раз и не два говорил Дасгупте: «Маэстро, мне мало одних текстов, дайте мне больше». А он мне отвечал: «Подожди немного, сначала тебе надо хорошенько узнать все это с филологической и философской точек зрения...». Заметьте, сам он занимался историей философии — выпускник Кембриджа, философ, поэт. Но происходил из семьи пандитов, из бенгальской деревни, а значит, принадлежал традиционной крестьянской культуре. Он говаривал: «Для вас, европейцев, йогическая практика еще труднее, чем для нас, индусов». Возможно, он боялся нежелательных последствий. Калькутта — большой город, и в самом деле опрометчиво было бы практиковать пранаяму, ритмизацию дыхания, в нездоровом городском воздухе. Это я понял позже, когда сравнил его с благодетельным воздухом Гималаев, в Хардваре.

— Как вам работалось с Дасгуптой? Как вы изучали санскрит с ним, а потом с тем пандитом?

— Ну, если говорить о санскрите, то я применил методу итальянского индолога Анджело де Губернатиса, как он излагает ее в «Энергии», своей автобиографии. Метода состоит в том, чтобы работать по двенадцать часов в день с грамматикой, словарем и текстом. Так он работал в Берлине. Вебер, его профессор, сказал ему: «Губернатис, не забывайте, осенью (а дело было в начале лета) я начинаю курс санскрита. Но это курс второго года обучения, и я не могу повторять зады для вас одного. Вам надо подтянуться...» Губернатис уединился в хижине под Берлином с санскритским словарем и грамматикой. Два раза в неделю ему приносили хлеб, кофе и молоко. Метода возымела результат. А я последовал примеру Губернатиса. Впрочем, подобные эксперименты, правда не столь радикальные, я уже проводил... Например, когда я учил английский, я занимался по многу часов без передышки. Но тут я стал заниматься по двенадцать часов в день, и только санскритом. С тем единственным исключением, что позволял себе прогулки и ис-

пользовал время чаепития или обеда, чтобы попрактиковаться в английском — читал я без труда, но говорил плохо. Когда я переселился к Дасгупте, он время от времени заговаривал со мной на санскрите или давал перевести какой-нибудь текст — в общем, следил за моими успехами. И если я шел достаточно быстро, это, думаю, оттого, что я ни на что не отвлекался. Много месяцев кряду я не держал в руках ни газет, ни детективов, вообще ничего. И такая сосредоточенность исключительно на одном предмете, на санскрите, дала весьма ощутимые результаты.

— Но при такой методе нет ли риска упустить тонкости разговорного языка?

— Есть, конечно. И все-таки для начала я должен был заложить солидную базу, усвоить структуру языка, грамматический строй, основной словарный запас... Позже я, разумеется, обратился к индийской истории и эстетике, поэзии и искусству. Но первоначальной целью я поставил себе методическое усвоение основ.

— Припоминаю, что Домаль видел в санскрите фактор, поощряющий философскую активность, — что-то вроде того, что санскритская грамматика предрасполагает к своеобразной метафизике, к познанию себя и всего сущего. У вас нет такого впечатления? Что дало вам знание санскрита?

— Домаль, бесспорно, прав. Но я-то поначалу меньше всего думал о философской подоплеке языка... Мне надо было прежде научиться владеть им как рабочим инструментом, чтобы читать тексты, не все из которых имели большую философскую ценность. В тот момент меня привлекали не столько веданта или упанишады, сколько комментарии к йога-сутрам, тантрические тексты, то есть формы индийской культуры, менее известные на Западе, так как их философия не поднимается до уровня упанишад или текстов веданты. Тем не менее именно они меня интересовали, потому что я хотел узнать технику медитации и мистическую физиологию, то есть йогу и тантру.

— Вы выучили итальянский, чтобы читать Папини, английский — чтобы читать Фрэзера, санскрит — чтобы читать тантрические тексты. Вы как бы искали доступ к тому, что вас интересовало. Язык для вас — средство, но никогда не цель. Вам не приходилось над этим задумываться? Ведь вы могли стать не специалистом по истории религий и мифов, а санскритологом, лингвистом. Элиаде мог создать совершенно другое наследие. Мог быть другой Элиаде. Вы примкнули бы к рядам якобсонов, бенвенистов, внеся в эту область собственный вклад. Вообразим себе такое альтернативное творчество!.. Прельщал вас такой путь?

— Я всегда брался за новый язык, чтоб овладеть новым рабочим орудием. Язык для меня был коммуникативным средством: читать, говорить по возможности, но главное — читать. Однако в какой-то момент, когда я был в Индии, в Калькутте, я увидел попытки куда более широкого компаративизма — например, сравнений индоевропейских культур с праиндийскими, океанийскими или центральноазиатскими; когда я узнал выдающихся ученых: Поля Пельо, Пшилюского, Сильвена Леви — которые владели не только санскритом и языком пали, но и китайским, тибетским, японским, а плюс к тому так называемыми южноазиатскими языками, — меня поразило, какой колоссальный универсум открывается для исследования. Не одна арийская Индия, но и Индия аборигенная, с выходом на азиатский юго-восток и на Океанию. Я попытался было встать на этот путь. Но Дасгупта меня отговорил. И он был прав. Он был проницательнее меня. Все же я занялся тибетским, по элементарной грамматике. И обнаружил, что дело продвигается не слишком хорошо, потому что это было не то, чего я по-настоящему хотел, как когда учил санскрит и английский, а позже — русский и португальский. В общем, я разозлился и прекратил занятия. Я сказал себе, что компетентность Пельо или Сильвена Леви — не для меня, что я никогда не стану ни лингвистом, ни даже хотя бы санскритологом. Язык сам по себе — его строй, эволюция, история, его загадки — не привлекал меня так, как...

— Образы и символы?

— Вот именно. Язык как инструмент общения, выражения мысли — да. Позже я был счастлив, что не зациклился на языках. Потому что это, по сути дела, океан. Никогда не доберешься до берега: нужно выучить арабский, а после арабского — сиамский, пос-

ле сиамского — индонезийский, после индонезийского — полинезийский и так далее... Я предпочел литературу по мифам и обрядам, этим культурам принадлежащим, пытался вникнуть в их смысл.

Гималаи и йогины

К.-А. Р. В сентябре 1930-го вы уезжаете из Калькутты в Гималаи. Расстаетесь с Дасгуптой...

М. Э. Да, после ссоры, о которой я бесконечно сожалею. И он сожалел. Но тогда я не хотел оставаться в городе, где без Дасгупты мне нечего было делать... Я отправился в Гималаи. По дороге останавливался во многих городах, но целью имел Хардвар и Ришикеш, потому что оттуда начинаются настоящие монастыри. Мне повезло: я повстречал Свами Шивананду. Он переговорил с механтом, настоятелем, и мне отвели хижину в лесу... Условия были просты: вегетарианство и отказ от европейского костюма — выдавались белые одежды. Каждое утро надо было смиренно «вымаливать» себе молоко, мед, сыр. Я пробыл там, в Ришикеше, шесть или семь месяцев, почти до апреля.

— Ришикеш находится в Гималаях. А что Тибет?

— Чтобы попасть в Тибет, нужен был специальный паспорт... Но в двадцать девятом году я провел три-четыре недели в Дарджилинге, в Сиккиме, по соседству с Тибетом. Там тибетская атмосфера. И его хребты хорошо видны оттуда.

— А что за местность была вокруг вашей хижины?

— Если Дарджилинг расположен на высоте скольких-то тысяч метров, то есть там высокогорный пейзаж, то Ришикеш стоит на берегу Ганга, причем в этом месте Ганг неровен: то он метров пятьдесят шириной, то вдруг — двести, то сужается до десяти метров. Вокруг — джунгли, чаща. В мое время там ничего не было, только хижины и маленький индуистский храм. Живой души не встретишь. Хижины были разбросаны по лесу на площади два-три километра, на разном расстоянии друг от друга, иногда в пятьдесят, иногда в сто пятьдесят, иногда в двести метров. Оттуда идет путь на Лакшманджулу, я совершил туда паломничество, если можно так сказать. Гора эта довольно высока. В ней есть пещеры, а в пещерах живут отшельники, аскеты, йоги. Я встретил нескольких.

— А как вы выбрали себе гуру?

— Гуру был Свами Шивананда. Правда, в те времена он еще не приобрел известности, ничего не опубликовал — это после у него вышло сотни три томов. Прежде чем стать свами, Шивананда был врачом, человеком семейным, он хорошо знал европейскую медицину и практиковал, по-моему, в Рангуне. И вдруг в один прекрасный день все бросил. Снял европейский костюм и пешком пришел из Мадраса в Ришикеш. Дорога заняла у него почти год. Этот человек заинтересовал меня тем, что он тоже был европейской формации. Как и Дасгупта. Он хорошо знал индийскую культуру и умел преподать ее европейцу. Эрудитом он не был, но имел богатый опыт монастырской жизни в Гималаях, практиковал йогу, владел приемами медитации. И был врачом — следовательно, хорошо понимал наши трудности. Он меня направлял в практике дыхания, медитации, созерцания. Все эти вещи теоретически я знал досконально, потому что не только проштудировал тексты и комментарии, но слушал и других садху и созерцателей в Калькутте, в доме Дасгупты, и у Тагора в Шантиникетоне. Возможность пообщаться с теми, кто уже практиковал медитацию по определенной методе, у меня была, я знал больше, чем написано в книгах, — только сам этого никогда не пробовал.

— Вот вы упомянули о джунглях. Должны возникнуть ассоциации с тиграми и со змеями?

— Что-то не помнится, чтобы речь шла о тиграх, а вот змей там было много. И обезьян, совершенно замечательных обезьян. Змею я увидел в первый раз дня через три после того, как поселился в хижине. Испытал некоторый страх, мне показалось, что это кобра. Я бросил в нее камушек, чтоб уползла. Один монах заметил и сказал (он прилично гово-

рил по-английски — бывший судья): «Зачем? Даже если это и кобра, вы не должны ничего бояться. На нашей памяти в этом монастыре еще никого не укусила змея». Я засомневался и спросил: «А внизу, на шоссе?» — «Там — да, но не здесь». Совпадение? Не знаю... Так или иначе, когда я потом видел змей, я просто уступал им дорогу, и все, не швырял в них камни, чтобы отогнать.

— Почти пятьдесят лет разделяют период ученичества в йоге и сегодняшний день, когда вы уже знаменитый автор трех трудов о ней. У одного из них подзаголовок «Бессмертие и свобода»; другой озаглавлен «Техники йоги»... Что же такое йога? Мистический путь, философская доктрина, искусство жизни? Что она дарит — спасение или здоровье?

— Честно говоря, йога меня мало занимает в последнее время. Я высказал все, что считал нужным. Начиная с тридцать шестого года, с моей диссертации, она называлась «Йога, эссе об истоках индийской мистики». Меня, помнится, обвиняли тогда в мистицизме.

— Вы работали под началом Дасгупты и как будто под его диктовку записывали комментарии к Патанджали?

— Записывал, но меня и раньше интересовала техническая сторона индийской духовной педагогики. Я, конечно, был знаком со спекулятивной традицией, от упанишад до Шанкары[1]. То есть с гнозисом, с философией, которая так захватила первых западных индологов. Я много прочел также и о ритуалах. Но я знал, что помимо этого существует какая-то духовная техника, психо-физическая — не чистая философия и не система ритуалов. Да, я начитался книг о Патанджали, книг о тантризме Джона Вудрофа (под псевдонимом Артур Авалон). И думал, что, используя тантрическую методу, то есть выполняя ряд психо-физических упражнений (которые я называл «мистической физиологией», поскольку это некая воображаемая физиология), я имею шанс открыть никем не замеченное измерение индийской духовности. Дасгупта уже рассмотрел философскую сторону этой методы. Я же считал, что нужно разобрать собственно техники и представить йогу в сравнительной перспективе: наряду с классической йогой, описанной Патанджали в «Йога-сутрах», — маргинальные, «барочные» йоги, а также йогу, как ее практиковали Будда и буддисты сначала в Индии, потом на Тибете, в Японии и Китае. Потому-то я и хотел иметь личный, практический опыт этих техник.

— А нет ли связи между этим желанием и вашим отроческим «сопротивлением сну»?

— В отрочестве мне надо было прочесть массу книг, и я чувствовал, что далеко не уйдешь, если спать по семь — семь с половиной часов в сутки. Тогда я занялся упражнением, авторство которого приписываю себе. Я ставил будильник каждый день на две минуты раньше. За неделю я выиграл таким образом четверть часа. Дойдя до шести с половиной часов сна в сутки, я продержался на этом уровне три месяца, чтобы привыкнуть. Потом снова начал подводить будильник на пару минут каждую ночь. Так я дошел до четырех с половиной часов. Но тут у меня начались головокружения, и я прекратил эксперимент. С подростковым пафосом я называл это «сопротивлением сну»... Я прочел «Воспитание воли» доктора Пайо. Мне запомнилось одно место: «Что тут невозможного — вмешательством воли включить в рацион то, что мы исключаем лишь в силу нашей культурной традиции? Например, бабочек или пчел, червей или жуков. Или даже мыло». Я подумал: «Действительно, что тут невозможного?» И принялся «воспитывать волю»... Боюсь, я неправильно понял автора. Так или иначе, я хотел перебороть то, что на европейца действует отталкивающе, и некоторые естественные наши привычки... Йога как раз имеет много общего с такими попытками. Твое тело жаждет движения, ты же заклиниваешь его в неподвижной позе — асане; это уже как бы не человеческое тело, а камень или растение. Дыхание в его природном виде лишено ритма — а пранаяма обязывает его ритмизировать. В нашей психоментальной жизни идет постоянное волнение, Патанджали определяет его как cittavritti, «водовороты сознания», и прописывает «концентрацию»,

---

[1] Шанкара (предполож. 788—820) — индийский философ и религиозный реформатор, комментатор упанишад.

дабы обуздать поток... В каком-то смысле йога — это сопротивление инстинкту, сопротивление жизни.

Но не по одним этим мотивам меня привлекала йога. Нет, если я занялся ею на практике, это и потому, что был не в состоянии понять Индию только лишь по книгам, по трудам крупных индологов — знатоков философии веданты, для которой мир есть иллюзия — майя, — или по монументальной системе ритуалов. Я не мог понять великих поэтов Индии, ее уникальное искусство. Я знал, что где-то пролегает третий путь, не менее важный, и что он подразумевает практику йоги. Позже в Калькутте я действительно услыхал об одном профессоре математики, который с большим успехом работал, находясь в асане и ритмизируя дыхание. Да вы и сами знаете, что Неру, когда уставал, на несколько минут принимал «позу дерева». Примеры, может быть, покажутся анекдотичными, и тем не менее эта наука и это искусство владения телом и мыслями бесспорно очень важны в истории индийской культуры и философии — индийского творческого начала, скажем так.

— Что ж, я не буду вас больше пытать относительно философских аспектов йоги, краткий обзор все равно не заменит книг, которые вы написали. Расскажите лучше, каков был ваш личный опыт и какие последствия он имел для вашей жизни.

— Если я не распространялся о моей инициации в Ришикеше, то это по причинам, о которых вы догадываетесь. Все же кое о чем можно рассказать. Например, о первых упражнениях в пранаяме, которые я делал под наблюдением моего гуру. Иногда, когда я уже входил в ритм, он меня останавливал. Я недоумевал почему. Я не чувствовал ни малейшей усталости, мне было хорошо. А он говорил: «Вы устали». Так что это очень важно, чтобы за тобой присматривал медик, да еще сам практикующий йогу. Я твердо верил в результативность ее приемов. Мне даже казалось, что я стал лучше понимать некоторые проблемы... Но, повторяю, мне не хотелось бы об этом распространяться. Если я начну развивать тему, придется сказать все, а значит, войти в такие детали, которые потребуют самого обширного анализа.

— И все же я осмелюсь спросить вас: что вы смогли проверить сами из тех чудес, которые якобы дает практика йоги? В одной своей книге вы говорите, что йоги долго сохраняют молодость: в медитации время иное, растянутое, отчего и телу сообщается необычно долгая жизнь...

— Одному моему соседу, монаху, который ходил нагишом, naga, было за пятьдесят, а выглядел он на тридцать. День-деньской он не занимался ничем, кроме как медитацией, и почти ничего не ел. Я не достиг таких высот. Но любой медик вам скажет, что здоровая жизнь, которую ведут в монастырях, продлевает молодость.

— А рассказы про мокрые холодные простыни, в которые по нескольку раз за ночь заворачивают медитирующего и которые высыхают на нем?

— Тому есть много свидетельств. Свидетельствуют европейцы. Александра Давид-Нил[1], например. Это то, что по-тибетски называется gtumo. Сильнейший жар, который излучается телом и высушивает что угодно. Об этом «мистическом тепле», а точнее о тепле, излучаемом тем, что называется «тонкой природой» человека, существуют весьма серьезные документальные материалы. Опыт с ледяными простынями, которые быстро высыхают на теле йога, — факт, вне всякого сомнения, проверенный.

Нечто о поэтичности Индии

К.-А. Р. Ваш индийский опыт запечатлен не только в эссе, но и в прозе: «Серампорские ночи», «Майтрейи»... И в романе «Изабель и воды дьявола», на французский не переведенном, который вы, по вашим словам, написали, чтобы спасти себя во время полного погружения в санскрит.

---

[1] Александра Давид-Нил (1868—1969) — французская исследовательница Востока, специалист по Тибету; первой из западных женщин (1924) посетила Лхасу — религиозный центр ламаизма.

М. Э. Да, по истечении пяти или шести месяцев штудирования санскритской грамматики и индийской философии я застопорился. Меня одолел один замысел. Дело было в Дарджилинге, и я принялся за роман — как бы из своей жизни, но во многом додуманный. Я был одержим этим фантомным миром, я ушел в него и разобрал его по косточкам. Роман написался в считанные недели. Я восстановил здоровье и равновесие.

— Там представлен румынский юноша, который колесит по Цейлону, потом прибывает в Калькутту и встречает дьявола...

— Прибывает в Калькутту, останавливается в английском пансионе — в таком же, в каком жил я. Дом населен молодыми людьми и девушками, которых обуревает множество проблем. При этом — присутствие «дьявола» и соответствующие события, поскольку главный герой «дьяволом» остро интересуется...

— В «Серампорских ночах», как и в «Загадке доктора Хонигбергера», тоже не без фантастики...

— Обе эти новеллы я написал десятью годами позже. Между «Изабель» и ними есть еще один роман, более или менее автобиографический, «Майтрейи».

— Я бы хотел поподробнее остановиться на «Серампорских ночах». В какой степени можно принять на веру факты, о которых там идет речь? Персонажи, вдруг оказавшиеся в давно минувшем времени... Чистый вымысел? Или вы некоторым образом в это верите? Ведь иногда, не правда ли, мы слышим об очень странных происшествиях — причем из уст людей, достойных всяческого доверия...

— Я верю в реальность опытов «выхода из времени» и «выхода из пространства». За последние годы я написал несколько новелл, где рассматривается именно возможность выпасть из данного исторического момента или попасть в другое пространство, как это случилось с Зерленди. Описывая йогические упражнения Зерленди в «Загадке доктора Хонигбергера», я вставил туда кое-какие рекомендации, которые основаны на моем собственном опыте и которые я обошел молчанием в моих книгах о йоге. В то же время я подпустил тумана — нарочно, чтобы закамуфлировать реальные сведения. Например, я пишу про Серампорский лес, а в Серампоре леса нет вообще. Поэтому, если кому-то захочется in concreto проверить место действия, он увидит, что автор написал отнюдь не отчет о событиях, поскольку пейзаж — вымышленный. Тогда он логично заключит, что и остальное вымышлено, придумано, — и ошибется.

— Вы думаете, то, что происходит с персонажами «Серампорских ночей», действительно может случиться в жизни?

— Может, в том смысле, что наши ощущения бывают иногда настолько убедительны, что мы просто вынуждены им верить...

— У вас какой-то дьявольский дар ошарашивать публику посреди рассказа, так что она теряет способность различать, где правда, где ложь, где правое, где левое.

— Согласен. И полагаю, что это и есть специфика хотя бы части моей прозы.

— Есть какое-то ехидство в удовольствии сбивать с толку читателя, вы так не считаете?

— А может, это своего рода педагогика; не следует предлагать ему абсолютно прозрачную историю.

— Педагогика и пристрастие к лабиринтам?

— Да, к испытаниям сродни инициации.

— Оставим вашего читателя у входа в лабиринт — на опушке Серампорского леса и в индологической библиотеке Зерленди. Зато в «Майтрейи» нет ничего фантастического. Что меня трогает больше всего, когда я думаю об этой книге — а это книга, о которой надо думать, потому что она раскрывается не столько при чтении, сколько потом, при мысленном ее припоминании, — так вот, что сильнее всего меня трогает, это образ героини, которая есть само желание во плоти. Роман ведь очень прост, но искус ее красоты — как на фресках Аджанты,[1] как в эротической индийской поэзии — это свет и ожог... Какой вам кажется книга сейчас, из дали времен?

---

[1] Аджанта — гора в Индии; знаменитые буддийские фрески Аджанты украшают помещения высеченного в горе монастыря (II в. до н. э. — VII в. н. э.).

— Вы же понимаете, роман наполовину автобиографический, а значит...

— Значит, вы хотите окутать молчанием не только секреты гнозиса, но и секреты сердца... Однако, раз уж я упомянул аджантские фрески, — кто-нибудь уже сравнивал образ Майтрейи, во всей его чувственности, с этими фресками? И каково было ваше мнение на сей счет?

— Да, такое говорилось. А в прекрасном письме, которое мне прислал по прочтении романа Гастон Башлар[1], он назвал это «мифологией чувственности». Хорошее определение, по-моему, поскольку чувственность там в некотором смысле действительно преображена...

— Ваши слова перекликаются с записью в вашем же «Дневнике» от 5 апреля 1947 года в связи с аджантскими фресками. Вы пишете: «Сколько чувственности в этих сказочных картинках, что за неожиданное значение придается женскому началу! Каково было буддийскому монаху «освобождаться» от искушений плоти в окружении всего этого великолепия победоносной наготы? Только тантрическая версия буддизма могла допустить такую хвалу женщине и чувственности. Когда-нибудь люди поймут, что́ значил для индийского сознания тантризм, внедривший в него ценность «форм» и «объемов», триумф самого страстного антропоморфизма над первоначальным аниконизмом[2]». Эротика «Майтрейи», ваш интерес к тантризму и ваш взгляд на индийское искусство — прочитанная мной запись позволяет понять все это в совокупности.

— Конечно. Добавлю, что индийское изобразительное искусство «пробрало» меня именно тогда, когда я увидел аджантские фрески. Надо признаться, поначалу индийская скульптура приводила меня в замешательство. Одна книга Кумарасвами[3] позволила мне понять смысл этого нагромождения деталей. Художник не довольствуется лишь представлением идола, он рассыпает множество знаков, человеческих и мифологических фигур. Ни единого пустого местечка!.. Мне это не нравилось. Но потом я понял, что художник хочет любой ценой *населить* этот мир, это пространство, которое он творит вокруг главного образа. Хочет *придать ему жизнь*. И я влюбился в эту скульптуру. Точнее сказать, если я принял ее в душу, то из-за приверженности к символам, из-за верности традиции. Тут цель художника — отнюдь не выразить нечто «личное». Он разделяет со всеми остальными мир ценностей, свойственных индийской духовности. Это искусство символическое и традиционное, но притом спонтанное, если позволительно так выразиться. Черпание из общего источника еще никогда не вредило своеобразию форм, их множественности. Этому правилу подчиняются все виды искусства. Из музыки я имел возможность познакомиться в Индии только с бенгальской; меня интересовали в первую очередь пластические искусства, живопись, монументы, храмы. И не только как «произведения искусства». Храм, например, есть архитектурное творение, символика которого очень логична, а религиозная функция (площадка для ритуалов и процессий) как нельзя лучше соответствует его архитектуре. Впрочем, в Индии, так же как в селах Восточной Европы еще тридцать-сорок лет назад, «произведением искусства» считали не то, что вешалось на стену или выставлялось под стеклом, а предметы обихода: стол, стул, икону. Именно под таким углом зрения меня интересовало индийское искусство — и прикладное, и монументальное (храмы, скульптуры), и изобразительное. Именно с точки зрения его включенности в обыденную жизнь.

— А индийская литература?

— Мне очень нравился Калидаса[4]. Пожалуй, это мой любимый поэт. Единственный, кого я усвоил по-настоящему, хотя его санскрит довольно сложен. Его поэтическому гению нет подобия. Из современных авторов я читал нескольких авангардистов, в том числе (в 1930 году) Ачинтию, молодого бенгальского романиста, в котором очень сильно ощущалось влияние Джойса; и, разумеется, Рабиндраната Тагора.

---

[1] Гастон Башлар (1884—1962) — французский философ, литературовед.
[2] Аниконизм (*греч.*) — противополож. антропоморфизму — символическое, бестелесное изображение божественного.
[3] Ананда Кумарасвами (1877—1947) — индийский ученый, философ, историк искусств.
[4] Калидаса (прибл. V в.) — индийский поэт и драматург.

— Вероятно, вас представил Тагору Дасгупта?

— Да, я имел счастье много раз быть принятым Тагором в Шантиникетоне. По следам наших бесед я постоянно делал записи, записывал и то, что люди в Шантиникетоне говорили о нем как о человеке и как о поэте. Многие просто-напросто восторгались, но были и скептики, и я все брал на карандаш. Надеюсь, эта «Тагоровская тетрадь» еще существует в Бухаресте, в моей библиотеке, которая столько раз переезжала с места на место. Меня восхищало, как Тагору удавалось сочетать в себе все достоинства, все человеческие возможности. Он был не только прекрасным поэтом и прекрасным композитором — у него тысячи три песен, несколько сот из которых, я уверен, стали сегодня в Бенгалии «народными», — он был великим музыкантом, добротным прозаиком, маэстро устной беседы... И жизнь его сама по себе имела какое-то особое качество. Не «жизнь художника», как, например, у Д'Аннунцио, у Суинберна, у Оскара Уайльда. Нет, жизнь полная и цельная, открытая для Индии и для всего света. Трудно себе представить, что великого поэта могут интересовать такие вещи, какими занимался Тагор. Он вел общественную деятельность, его страстно увлекала школа, которую он основал в Шантиникетоне. Вообще он никогда не отрывался от народной культуры Бенгалии. Какую важность он придавал крестьянской традиции, чувствуется в его творчестве, хотя очевидно и вдохновение, идущее, например, от Метерлинка. Он был очень красив. Пользовался большим успехом у женщин, о нем сплетничали, что он донжуан... и тем не менее от него исходила духовность, и выражалось это через осанку, жесты, голос — фигура и лик патриарха.

— Портрет у вас получается замечательный — этакий индийский Леонардо да Винчи, этакий бенгальский Толстой. Однако же в «Майтрейи» вы говорите о Тагоре в духе, так сказать...

— ...критическом, да. Я выражал позицию молодого поколения Бенгалии. У меня были приятели в университете, молодые поэты, молодые профессора, которые в пику своим родителям предпочитали усматривать в творчестве Тагора подражание Д'Аннунцио и не придавать ему самостоятельного значения... Еще и по сей день в Индии бытует несколько пренебрежительное отношение к нему — из-за сравнения с Ауробиндо или Радхакришнаном[1], большим ученым. Но я уверен, Тагора откроют заново. <...>

Три индийских урока

М. Э. Мне было неполных двадцать два года, когда я прибыл в Индию. Первая молодость, не так ли? Три года пребывания там оказались для меня знаменательными. Индия меня сформировала. Когда сегодня я задаю себе вопрос, каков был главный урок, который я там воспринял, то вижу, что он был трояким.

Во-первых, открытие особой философии, скорее некого ее измерения — не классического, то есть не упанишад и не веданты, словом, не монистического толка — и не чисто религиозного бхакти[2]. Мышление йоги, как и мышление санкхьи[3], придерживается дуализма: с одной стороны, материя, с другой — дух. Но меня интересовал не столько дуализм, сколько то, что и в санкхье и в йоге человек, Вселенная и жизнь не иллюзорны. Жизнь реальна, мир реален. Мир можно покорить, жизнью можно овладеть. Более того, в тантризме, например, человеческую жизнь можно преобразить с помощью ритуалов, исполняемых после длительной йогической подготовки. Речь идет о трансмутации физиологической деятельности, например сексуальной. В ритуальном соитии любовь перестает быть всего лишь половым актом, она становится своего рода священнодействием; точно так же в тантрической практике пить вино означает не потреблять алкогольный напи-

---

[1] Сарвапалли Радхакришнан (1888—1975) — ученый-философ, был президентом Республики Индия в 1962—1967 гг.

[2] Бхакти — букв. преданность, любовь к богу (*санскр.*); особая личная преданность божеству, практикуемая в некоторых течениях индуизма.

[3] Санкхья (*санскр.*) — одна из шести ортодоксальных систем индийской философии.

ток, но участвовать в неком священнодействии... Мне удалось обнаружить это измерение, практически незнакомое востоковедам, обнаружить, что в Индии существовали психо-физические приемы, благодаря которым человек может радоваться жизни и одновременно ею управлять. Жизнь поддается преображению через сакраментальные действа. Это первый пункт.

К.-А. Р. «Преображенная жизнь» — это то, что вы где-то называете «освященным бытием»?

— Да, в конечном счете это одно и то же. Важно понимать, что эта техника, но также и другие способы и методы дают возможность переосвятить жизнь, переосвятить природу... Повторное открытие, повторное усвоение — вот смысл символа. Когда я жил в Румынии, меня совершенно не привлекала религиозная жизнь. Мне казалось, что церкви перегружены иконами. Я, конечно, не воспринимал иконы, как неких идолов, и тем не менее... В Индии мне пришлось пожить в одном бенгальском селе, и там я видел женщин и девушек, трогающих и украшающих лингам, фаллический символ, вернее, каменный фаллос, точно воспроизведенный с анатомической точки зрения; и, конечно, женщины — по крайней мере, замужние — не могли не знать его физиологическую природу и назначение. Так я постиг, что в лингаме мыслимо усмотреть символ. Лингам заключал в себе тайну жизни, созидания, плодоносности, которые проявляют себя на всех космических ступенях. Это был не банальный мужской член, это была эпифания Шивы. Возможность такого религиозного умиления через образ и символ открыла для меня целый мир духовных ценностей. Я подумал: верующий человек, глядя на икону, видит в ней не просто женщину с ребенком на руках — он видит Деву Марию, то есть и Божью Матерь, и Софию... Представляете себе, какую роль сыграло в моем формировании как историка религий это открытие, открытие важности религиозного символизма в традиционных культурах.

Что касается третьего открытия, то его можно назвать «открытием неолитического человека». Незадолго до отъезда мне посчастливилось провести несколько недель в Центральной Индии по случаю... охоты на крокодилов — среди аборигенов, называвшихся санталами и принадлежавших к доарийской расе. Я был потрясен, воочию увидев глубокие корни Индии, уходящие не только в арийское и древнеиндийское наследие, но и в глубь азиатского пространства, в аборигенную культуру. Это была неолитическая цивилизация, основанная на земледелии, то есть на религии и культуре, которые сопутствовали открытию земледелия и которые воспринимали мир и природу как непрерывный цикл жизни, смерти, воскрешения — цикл, характерный для растений, но определяющий и человеческую жизнь и представляющий к тому же образец для жизни духовной... Так я пришел к пониманию ценности румынской, балканской народной культуры. Как и культуры Индии, это была фольклорная культура, основанная на таинстве земледелия. Конечно, в Восточной Европе проявления ее шли в русле христианства; например, считалось, что пшеница произошла из капель Христовой крови... Все эти символы имеют очень древнее, неолитическое основание. Действительно, еще лет тридцать тому назад на пространстве от Китая до Португалии существовало некое единство, духовное единство, которое зиждилось на земледелии и поддерживалось им, а значит, и неолитическим наследием. Это культурное единство явилось откровением для меня. Я стал понимать, что и здесь, в Европе, корневая система значительно глубже, чем нам казалось вначале, глубже, чем греческий и римский миры и даже чем мир средиземноморский, глубже, чем мир древнего Ближнего Востока. Эти корни указывают на фундаментальное единство не только Европы, но и всей ойкумены, которая простирается от Португалии до Китая и от Скандинавии до Цейлона.

— Читая, например, первые главы «Истории религиозных идей», можно увидеть, каким мощным толчком для вашей мысли, для вашего творчества стало это откровение — открытие неолитического субстрата за спиной жителей Индии, неолитического, «первобытного» человека. Не расскажете ли об этом немного поподробнее?

— В Индии я обнаружил то, что позже называл «космической религиозностью», то

есть манифестацию священного через предметы и космические ритмы: дерево, родник, весна. Эта религия, живая в Индии по сей день, и вызывала протест у пророков, которые были по-своему правы, так как Израиль — родина другого религиозного откровения. Иудейский монотеизм предполагает личное знакомство с Богом, который вмешивается в ход истории и проявляет свое могущество не только через ритмы природы, через космос, как божества политеистических религий. Вы знаете, к такой разновидности космической религии, получившей название «политеизм», или «язычество», относились с пренебрежением не одни лишь богословы, но и некоторые историки религий. Но мне-то довелось жить среди язычников, жить среди тех, кто приобщался к священному через своих божеств. А их божества суть фигуры или проявления вселенского таинства, этого неиссякаемого источника творческой силы, жизни и блаженства. Именно тогда я понял, какой интерес могут представлять их божества для всеобщей истории религий. В конечном счете я пришел к тому, чтобы раскрыть духовную ценность так называемого «язычества». Вы знаете, что долитическая и палеолитическая эпохи длились около двух миллионов лет. Весьма вероятно, что религия архаического человечества той поры походила на религию первобытного охотника. Устанавливались совершенно реальные и одновременно религиозные взаимоотношения, с одной стороны, между охотником и жертвой, которую он должен был травить и убивать, а с другой — с «владыками диких зверей», божествами, которые оберегали в равной мере и охотника, и дичь. Потому-то для первобытного охотника кости, скелет, кровь имели религиозное значение... Затем, двенадцать или тринадцать тысяч лет тому назад, люди пришли к земледелию. Оно обеспечивало и преумножало необходимые человеку продукты и тем способствовало его эволюции: росту населения, основанию сел, а затем городов, то есть созданию городской цивилизации и началу всех политических свершений древнейшего Ближнего Востока.

Открытие земледелия само по себе имело немалое значение: оно дало толчок определенному религиозному опыту. Например, тучность земли связалась с плодовитостью женщины. Великая Богиня есть Мать-Земля. Женщина, таким образом, обретает религиозную великость — а также экономическую — через свое мистическое единение с почвой, основой плодородия и жизни. Кроме того, как я уже говорил, благодаря земледелию человек воспринял идею цикличности: рождение, жизненный путь, смерть, возрождение, — и придал ценность собственной жизни, включив ее в космический цикл. Свою жизнь человек неолитического периода впервые сравнил с жизнью цветка, с жизнью растения. Первобытный охотник чувствовал свое магическое содружество с животным; теперь человек почувствовал свое мистическое содружество с растением. Человек разделяет судьбу растения, то есть бесконечного цикла рождений, смертей и возрождений... Конечно, картина гораздо сложнее, так как речь идет о целой религиозной системе, которая охватывает все типы символизма, вращающегося вокруг плодородия, смерти и возрождения; тут и Мать-Земля, и Луна, и Растительность, и Женщина и так далее. Эта система, я думаю, имела в себе семена всех последующих религий. И можно выделить еще один момент: зарождению земледелия сопутствует кровавая жертва. Для первобытного человека животное уже есть на белом свете, животное дано, в то время как съедобное растение, зерно не дано, оно не существует изначально, с сотворения мира. Урожай творит сам земледелец, своим трудом и своей магией. В этом его кардинальное отличие от охотника: он верит, что ничего не создашь без кровавой жертвы. Тут перед нами очень древние и практически повсеместные представления о том, что любое творение подразумевает магический трансферт жизни через кровавую жертву; энергия, «жизнь» жертвы переходит в то, что созидается. Если вдуматься, выглядит это довольно странно: охотник, закалывая свою жертву, никогда не признавал себя виновным в убийстве. Некоторые сибирские племена просят прощения у медведя, говоря ему: «Это не я, это мой сосед убил тебя, тунгус или русский». В других местах говорят: «Это не я, это Владыка зверей дал нам на то позволение». Охотники стесняются пролитой крови. У земледельцев эпохи палеолита, напротив, в мифах о происхождении съедобных растений фигурирует сверхъестественное существо, которое отдало себя на растерзание, чтобы из его тела взошли

растения. Творение не мыслилось без ритуальной крови. Кровавые жертвы, в особенности человеческие, засвидетельствованы только у земледельцев. Наконец, и для меня было очень важно это уяснить, открытие земледелия влечет за собой целый мир новых духовных ценностей. Точно так же, как открытие металлургии. Мне хотелось понять религиозное бытие древнего человека. Позволю себе повториться: в эпоху палеолита для охотника связь «человек — растение» вовсе не была очевидной, как и религиозная значимость женщины. Только с появлением земледелия обозначается весьма важное место женщины в религиозной иерархии. <...>

Открыв глубокое единство, существующее между аборигенной индийской культурой, культурой Балканского полуострова и крестьянской культурой Западной Европы, я почувствовал себя в мире как дома. Когда я изучал определенные мифы, некоторые духовные техники, мне было так же хорошо в Европе, как и в Азии. Я никогда не воспринимал ничего как просто «экзотику». В индийских народных традициях проглядывала та же структура, что и в европейских. <...>

Вечная Индия

К.-А. Р. Живейший интерес Запада к Индии, к йоге — вам не кажется, что часто это всего-навсего фальшивая монета Абсолюта?

М. Э. При всех издержках — преувеличениях, чрезмерной публичности — этот опыт очень важен. Психологическая концепция йоги предшествовала теории Фрейда и открытию европейцами подсознательного. Индийские мудрецы и аскеты добрались до темных сторон разума и убедились в том, что установить границы физиологической, социальной, культурной и религиозной обусловленности легко, а потому она управляема. Настоящие же препоны отшельнической и созерцательной жизни чинит действие подсознательного, так называемые sanskāra и vāsāna, «наполненность», «пребывание», латентности, составляющие то, что глубинная психология определяет как «содержание», «структуру», «пульсации» бессознательного. Не так уж трудно преодолеть мирские соблазны, не так уж трудно отказаться от семейной жизни, от чувственных удовольствий, от комфорта, удалиться от общества. Но именно тогда, когда тебе кажется, что ты сам себе господин, vāsāna тут как тут, и тебя отбрасывает на прежние позиции «обусловленного человека». Поэтому знание систем «обусловливания» не могло быть ни для йоги, ни вообще для индийской духовности целью в себе. Не уяснить системы «обусловливания», но овладеть ими — вот как ставился вопрос. Соответственно и работа велась над тем, чтобы «сжечь» содержимое бессознательного: в отличие от психоанализа йога считает, что пульсации бессознательного можно контролировать.

Но я затронул только один аспект йоги. Существуют и другие. Очень познавательно овладеть техникой йоги, так как в ней нет ничего мистического, это и не магия, и не гигиена, и не педагогика; это целостная система, оригинальная и действенная. Да, с ее помощью можно приостановить биение сердца или на несколько минут прекратить дыхание, но не это важно. Неизменный интерес вызывает сам факт опытов, позволяющих установить пределы возможностей человеческого тела. Поэтому мне очевидно, что интерес к йоге очень важен и будет иметь самые положительные последствия. Другое дело — вульгаризаторские поделки, эта литература удручает. <...>

— Может быть, в вас рядом с университетским профессором и писателем уживается отшельник из Ришикеша, созерцатель? Повторю цитату, приведенную мною в самом начале этого нашего долгого разговора об Индии: «...Что была бы моя жизнь... без веры, которая сидит во мне по сей день: что бы ни случилось, в Гималаях всегда есть пещера, которая меня ждет...» Вы еще думаете об этой пещере?

— О да! Постоянно! Это моя большая надежда.

— А что бы вы там делали? Предавались грезам, читали, писали — что?

— Если пещера еще существует, а она существует — не в Ришикеше, так в Лакш-

манджуле, не там, так в Бхадринатхе, — и я могу как-то ее найти... Пещера в Гималаях — это свобода и одиночество. И этого, я думаю, достаточно: быть свободным и не в изоляции. Ты в изоляции только от общества, которое намереваешься оставить — если намереваешься... Прежде всего у меня было там чувство свободы, и, думаю, я снова испытал бы его там.

— Получилось, что наша беседа об Индии кончается на слове свобода. Это напоминает еще одну примечательную запись из вашего «Дневника» от 26 января 1961 года: «Я думаю, что мой интерес к индийской философии и аскезе объясняется вот чем: Индия была одержима абсолютной свободой, автономией. Не в наивном, претенциозном смысле, а имея в виду разного рода обусловленность человека, индийцы пытались объективно, экспериментально (йога) эту обусловленность изучить и найти способ ее аннулировать, ее превзойти. Даже в большей степени, чем христианство, индийская духовность вводит Свободу в Космос. Образ существования дживанмукты[1] в Космосе не дан — напротив, в Космосе, регламентированном законами, абсолютная свобода немыслима. Заслуга Индии в том, что она прибавила Вселенной еще одно, новое измерение: жить в свободе».

— Да, все вышесказанное я готов повторить и сегодня.

ИНТЕРМЕЦЦО

М. Э. ...Да, я видел сны, которые считаю очень важными для себя. Сны «инициатические» в том смысле, что лишь позже я понял их значение; и тогда я многое узнал и обрел некую уверенность. Я почувствовал, что мною... не руководят, нет, но мне помогают — что-то во мне же и помогает.

К.-А. Р. Случалось ли вам регулярно записывать свои сны?

— Случалось. Было одно лето в Асконе. Знаменитые асконские встречи, известные под названием «Эранос»[2], как вы знаете, организовывала Ольга Фрёбе-Каптейн, которая увлекалась психологией Юнга. Она и предложила мне провести этот опыт. Я записывал свои сны ежедневно на протяжении целого месяца, по утрам. И убедился в том, что они на самом деле имеют определенную последовательность. Я думаю, что сохранилась тетрадь, где я их записывал, отмечая и дату каждого сна. Некоторые из них мне привелось рассказать знакомым психологам, их интерпретацию я тоже записал.

— Как вы считаете: если человек хочет познать себя и измениться, ему надо вот так записывать сны?

— Не уверен. Но думаю, что никогда не повредит записать свой сон. Помню, я случайно прочел в одной из тетрадей моего дневника сон десятилетней давности и понял, что этот сон предвещал совершенно определенное событие, которое затем осуществилось. Полезно записывать сны, я считаю, не с тем только, чтобы проверить некоторые вещи, но, несомненно, и с тем, чтобы лучше узнать себя.

— В вашем случае, как я понимаю, речь идет не о «предупреждениях», но о более глубоком знании?

— Я считаю, что в тех снах, которые я очень хорошо запомнил, было исходящее от меня самого откровение о моей судьбе. Именно откровение — о том, как жизнь направляется к своей цели и что надо предпринять, какой труд завершить... Речь шла о глубинной судьбе, следовательно, и о помехах, которые придется преодолевать; речь шла о ключевых, необратимых решениях, которые надо было принять...

— В двух снах, которые вы опубликовали в «Выдержках из дневника», поднимается вопрос памяти. В первом вы припрятали какие-то ценные вещи и забыли где, вам угро-

---

[1] Дживанмукта — вживе освободившийся *(санскр.)*; в индуистской философии: состояние человека, при жизни достигшего освобождения от последовательных реинкарнаций.

[2] «Эранос» — общество гуманитарных исследований, основанное в 1933 г. К.-Г. Юнгом в Цюрихе.

жает потеря памяти, вы стоите на коленях перед вашей женой, которая одна может вас спасти... Что касается другого сна, то привожу дословно цитату: «Два старца, которые умирают, каждый в своем одиночестве. Вместе с ними навеки исчезнет — без свидетельства, без следа — замечательная история (и я знаю какая). Давящая печаль. Отчаяние. Я уединился в соседней комнате и начал молиться. Я говорил себе: если Бог не существует, все кончено, все абсурд».

— Я помню и другие сны, по крайней мере эпизоды из них. Например, когда с неба падали звезды и превращались в пирожки. Я их раздавал: «Кушайте, пока горяченькие...» Но, конечно, если я выбрал из дневника для публикации те два сна, это потому, что они кажутся мне знаменательными. Мысль о потере памяти меня просто преследует. У меня была исключительная память, теперь уже не то. И меня всегда ужасала потеря памяти — как исчезновение некоего прошлого, некоей истории, только мне известной.

Сон про двух старцев... Если Бога нет, то все в мире прах. Если нет абсолютного, которое придает значение и ценность нашему существованию, то в этом случае у существования нет смысла. Я знаю, что есть философы, так думающие, но для меня это было бы не просто форменным отчаянием, но и своего рода вероломством. Потому что это неправда, и я знаю, что это неправда. Если дойдет до того, что люди признают это за правду, кризис по своей глубине превзойдет личное отчаяние, мир «лопнет», как выразился Габриель Марсель.

В приснившемся отражается и мой страх перед невосполнимой потерей. То, что происходит со старцами, может произойти с Европой, с духовным наследием многих тысячелетий, так как Европа корнями уходит в древний Ближний Восток. Утрата наследия была бы утратой не только для того, что мы называем Европой, но и для всего мира. Потому-то я и проникся отчаянием умирающих в одиночестве старцев, которым некому передать свою историю. Вдруг и наше наследие, вместо того чтобы влиться, обогащенным, в другие культуры, будет обойдено вниманием и даже уничтожено? Всем известно, что атомные бомбы могут физически превратить в прах библиотеки, музеи, целые города... Однако определенная идеология или совокупность идеологий тоже могут иметь разрушительную силу. А это преступление против духа — великое, по-моему, так как я считаю, что культура, даже так называемая «профанная», является творением духа.

— Когда вы говорите об обесцененном, утерянном европейском наследии, вы рисуете нам образ нашей культуры, уподобившейся одной из тех, которые уже разрушены, сокрушены в Европе и которые вы, со своей стороны, сохранили в памяти. И у вас в «Дневнике» есть волнующие страницы на эту тему: вы видите наши страны под оккупацией народов, которые уже не знают, чем была наша культура, наши книги.

— Да, это было бы трагедией для культуры и для духа. Мы тоже уничтожали культуры. К счастью, на Западе нашлись и другие люди, которые расшифровали языки, сохранили мифы, сберегли хоть некоторые шедевры искусства. Всегда находилось несколько ученых-востоковедов, несколько философов, несколько поэтов, которым удавалось спасти смысл тех или иных экзотических внеевропейских духовных традиций. Но нужно подумать и о такой ужасной возможности — безразличие, абсолютное пренебрежение к подобного рода ценностям. Я могу представить себе общество, лишенное какого бы то ни было интереса к разрушенной, забытой, презираемой Европе. Это кошмар, но вероятие его есть.

Европа

Возвращение в Бухарест

К.-А. Р. Между вашим возвращением в Румынию и переездом в Париж пролегло почти пятнадцать лет. Этот богатый на события период мы сегодня и обсудим. Но прежде: почему вы пробыли в Индии всего только три года?

М. Э. Я писал из Калькутты довольно-таки экзальтированные письма о своих последних индийских впечатлениях и шесть месяцев прожил в уединении ашрама. Мой отец подозревал, что я намерен отложить возвращение домой еще на три-четыре года; он боялся, что я никогда не вернусь: выберу одиночество и монастырь или женюсь на индианке. Думаю, он был недалек от истины. И вот, когда ему в очередной раз, как каждый год, надо было похлопотать об отсрочке моего призыва на сборы, тогда, в январе 1931-го, он хлопотать не стал. А осенью написал мне, что я должен вернуться. Отец был офицером старой закалки... В постскриптуме говорилось: «Это будет стыд для меня и позор для всей семьи, если мой сын откажется исполнить свой долг». Я вернулся. Думал, что на время. Я хотел после еще продолжить мои индологические исследования... По приезде я защитил диссертацию по йоге, и университетская комиссия поручила мне подготовить ее для французского издания.

— Вам полагалось служить в противовоздушной артиллерии, но по причине близорукости вас определили в штаб переводчиком с английского... Диссертацию вы опубликовали в 1936 году под заголовком «Йога, эссе об истоках индийской мистики». И вот вы — блестящий ученый, а еще до этого — знаменитый писатель.

Путь сквозь славу

К.-А. Р. С чего мы начнем? Со славы?

М. Э. Можно и «со славы», потому что она меня многому научила. Я представил «Майтрейи» («Бенгальскую ночь») на конкурс неопубликованных романов. Мне присудили первую премию. Роман был любовный и в то же время экзотический, успех имел шумный, неожиданный и для издателя, и даже для меня самого. Последовали многочисленные переиздания. Так вышло, что в двадцать шесть лет я стал «знаменитостью», обо мне писали в газетах, меня узнавали на улице и так далее. Это был очень важный жизненный опыт моей молодости — отведать, что такое успех, «поклонники»... Приятно, но не более. На всю последующую жизнь я избавился от этого соблазна. Именно от соблазна, который я считаю естественным для всех людей искусства, для всех писателей; каждый автор надеется в один прекрасный день стать знáменитым, вкусить известность и восхищение множества читателей... Я вкусил все это раз, я побыл счастливым, что и помогло мне писать романы, на лавры не претендующие.

В 1934 году я выпустил «Возвращение из рая», первую часть трилогии, в которую по замыслу входили «Хулиганы» и «Vita nova». Я хотел представить свое поколение. Первый том имел некоторый успех. Под хулиганами я подразумевал бунтарей, которые готовят революцию, духовную, культурную — и если не «политическую», то хотя бы реальную, конкретную. Так вот, герои были молоды — профессора, писатели, актеры. И они очень много говорили. В общем, это был срез жизни интеллектуалов и псевдоинтеллектуалов, несколько напоминающий, по-моему, «Контрапункт» Хаксли. Читалась книга трудно. Критикам она понравилась, но столько читателей, сколько «Майтрейи», не привлекла. В том же году у меня вышел роман почти под Джойса — «Свет, который гаснет».

— У Киплинга есть роман с таким названием. Вы взяли его намеренно?

— Да, из-за некоторого сходства главных героев... Я много раз пытался перечесть эту свою книгу — и мне не удавалось, я в ней больше ничего не понимаю! На меня очень сильное впечатление произвел один фрагмент «Поминок по Финнегану», Anna Livia Plurabelle, и я, наверное, первым в Румынии использовал внутренний монолог по типу «Улисса». Успеха это не возымело никакого. Даже критики растерялись. Это было просто нечитабельно.

— Влияние на вас Джойса с его вкусом к слову как таковому меня несколько удивляет; ведь до тех пор вы, сколько я понял, были склонны считать язык лишь средством. Что же, на сей раз вы писали, как поэт?

В Лисабоне, 1945 г.

— В определенном смысле да... Надо только оговориться, что в первую очередь меня занимало, как описать через внутренний монолог то, что происходит в сознании человека, который на несколько месяцев теряет зрение. Этот «монолог в темноте» я и выбрал, чтобы вволю поиграть с языком, описывая мысли, видения, фантазии персонажа. Оттого книга и вышла такой неудобочитаемой. Сама же повесть очень проста и даже красива. Один библиотекарь работает ночью в городской библиотеке — читает корректуру греческого текста по астрономии, видимо весьма загадочного. Вдруг он чувствует, как потянуло дымком, мимо шмыгает несколько крыс, дым проникает в комнату; обеспокоенный, он распахивает окно, раскрывает дверь в читальный зал и видит там на большом столе совершенно нагую юную женщину, а рядом с ней профессора-слависта, имеющего репутацию демонической личности, мага. Заметив огонь, профессор исчезает. Библиотекарь подхватывает на руки потерявшую сознание женщину и выносит ее из зала. Но когда он спускается по мраморной лестнице, с потолка на него обрушивается кусок орнамента и ввергает его в слепоту на шесть месяцев. Лежа в больнице, он пытается понять, что это было. Все кажется ему верхом нелепости: около полуночи в библиотеке университетского города одетый профессор и раздетая женщина, которую он к тому же хорошо знал, она работала ассистенткой у этого самого профессора-слависта... Однажды библиотекарь подслушивает разговор, что-де этот профессор собирался совершить тантрический обряд и что именно обряд и вызвал пожар. Потом зрение к нему возвращается, и от радости, что он снова зрячий — зрячий, но читать больше не может, — он пускается в путешествия. Я не слишком хорошо помню конец, потому что, как уже говорил, мне больше ни разу не удалось дочитать роман до конца. Помню, что как-то раз библиотекарь заговорил на латыни с людьми, которые вовсе не такие эрудиты, как он, и которые латыни не понимают, — какая-то реминисценция из Стивена Дедалуса? Всё клонится в сторону таинственности, загадочности... Так или иначе, прочесть роман было невозможно, успеха он не имел никакого. После этой третьей книги я стал свободным. Имя мое не забыли — но фигурировал я лишь в качестве автора «Бенгальской ночи». Я был избавлен от необходимости нравиться. <...>

Лондон, Лисабон

К.-А. Р. В 1940 голу вы покидаете Румынию: едете атташе по культуре в Лондон...

М. Э. Последнее правительство короля Кароля предвидело, что Румыния попадет в трудное положение. Было решено делегировать за границу побольше молодых ученых в качестве атташе и советников по культуре. Меня назначили в Англию. Там я пережил блицкриг. Воспоминания об этой войне я использовал в романе «Заповедный лес». Первое мое впечатление — город под навесом огромных аэростатов, которые предназначались для защиты от бомбардировок. И ночь, кромешная тьма, камуфляж. После мощнейшей бомбардировки 9 сентября некоторые отделы посольства были эвакуированы в Оксфорд. В ту ночь я увидел въяве пожары Иеронима Босха: пылающий город, небо в огне... Я испытывал неописуемое восхищение перед отвагой и стойкостью англичан,

перед их гигантскими усилиями по вооружению, начатыми почти с нуля. Вот почему и в Лондоне и в Лисабоне я всегда верил в победу союзников.

Когда Англия в сорок первом порвала дипломатические отношения с Румынией из-за ввода в нее немецких войск, меня перевели в Лисабон. Там я прожил четыре года. Работал, выучил португальский язык, и довольно прилично. Начал, по-румынски, свой «Трактат по истории религий» и написал часть «Мифа о вечном возвращении». Я хотел сделать книгу о Камоэнсе: не потому только, что люблю этого поэта, но и потому, что он жил в Индии, и его «Лузиады» напоминают о Цейлоне, об Африке, об Атлантическом океане. Мне очень нравится Лисабон. Грандиозная площадь в широчайшем устье реки Тежу, великолепная площадь, такой не забыть... Мягкий колорит города, белого с голубым... И по вечерам — песни на всех улицах, весь народ поет. Было впечатление, что этот город как бы вне истории, во всяком случае, вне современной истории и вне ада войны. Город был нейтральным, следовательно, оттуда можно было наблюдать пропаганду обеих сторон, но мне больше приходилось следить за прессой нейтральных стран. Вообще же в моем ведении находился культурный обмен: участники конференций, музыканты, математики, драматурги и театральные труппы. Министерство эту деятельность одобряло, но не слишком ею интересовалось. Я жил несколько особняком в посольстве — к счастью. «Дипломатическая» жизнь довольно-таки нудная, удушливая, раздражающая: вечно приходится толочься среди «своих», вечно одно и то же окружение — дипломатический корпус... Долго я так прожить бы не смог.

Сила духа

К.-А. Р. Период, который вы провели вне Румынии, но в Европе, сначала в Лондоне, потом в Лисабоне и наконец в Париже, — период трагический для Европы, для Румынии и для очень многих стран мира: это взлет фашизма, черные годы войны, это, после краха нацизма, установление в Румынии коммунистического режима. Вы были очевидцем этих событий, реально или в мыслях. Как вы их пережили?

М. Э. В победе союзников я не сомневался. В то же время, когда в войну вступила Россия, я знал, что предстоящая победа будет и победой России. Я знал, что это означает для народов Восточной Европы. Я уехал из Румынии весной сорокового, так что информацию о том, что там происходит, получал только из вторых рук. Но я боялся советской оккупации, даже временной. Могучего соседа всегда боятся. Великаны хороши, если на них смотреть издали. Я боялся. Однако надо было выбирать между безнадежностью и надеждой, я же всегда сопротивлялся безнадежности такого рода — политической и исторической. Так что я выбрал надежду. Заверил себя, что это — еще одно испытание. А в Румынии очень хорошо знают испытания истории — как и в Югославии и в Болгарии, — потому что мы живем в окружении империй. Но ни к чему пересказывать всемирную историю, она общеизвестна. Мы сейчас — как когда-то евреи, которые жили между великими военными державами, Ассирией и Египтом, Персией и Римской империей. Нас вечно топчут. Что ж, я взял за образец ветхозаветных пророков. В политическом отношении нельзя было сделать ничего — в тот момент ничего, разве что позже. Для меня и для всех остальных румын в эмиграции одно оставалось важным — как спасти наше культурное наследие, как не прекратить что-то создавать, невзирая на исторический кризис. Румынский народ выстоит, мы не сомневались, но что можем сделать мы, живущие за границей, чтобы помочь ему выстоять? Я всегда считал, что есть возможность выжить и через культуру. Культура — это не «надстройка», как ее понимают марксисты, а особая форма человеческой жизни. Нельзя быть человеком, не будучи созданием той или иной культуры. Я сказал себе: нельзя останавливаться, надо спасать те румынские ценности, которым на родине угрожает гибель, — прежде всего свободу научного труда, то же исследование религии, истории культуры. Если я в сорок пятом переехал в Париж,

то затем, чтобы продолжать мои штудии, чтобы завершить книги, которыми я дорожил, прежде всего «Трактат» и «Миф о вечном возвращении».

Вы спрашиваете, как я пережил этот трагический период. Я решил для себя, что мы попали в тяжелейший кризис, но кризисы не миновали румынский народ в ходе его истории — их было по три, по четыре в столетие. Те, кто остался в стране, сделают все, что позволит судьба. А мы здесь, за границей, не должны растрачивать время на политические сетования, бесконечно надеяться на вмешательство Америки и так далее. Это были годы сорок шестой, сорок седьмой, сорок восьмой; в эти годы меня питала уверенность, что любое сопротивление имеет смысл, только если что-то делается. А единственным полем деятельности была культура. Так что я, Чоран и многие другие выбрали путь работы — каждый по своему призванию. Это не означало, что мы были оторваны от страны, отнюдь нет. Напротив, это был единственный способ оказать ей помощь. Разумеется, всегда можно подписать манифест, выразить протест в прессе. Но это редко дает эффект. Здесь, в Париже, мы организовали литературный и культурный круг «Лучафэрул» («Утренняя звезда»), по названию знаменитой поэмы Эминеску, и центр румынских исследований. Судите сами: мы попытались развивать и дальше культуру Свободной Румынии и прежде всего публиковать тексты, которые в Румынии опубликовать стало нельзя — в первую очередь беллетристику, но также и работы по истории и философии.

— 25 августа 1947 года вы пишете в «Дневнике»: «Мне говорят: мы должны быть солидарны с историческим моментом, в котором оказались. Сегодня над нами тяготеет социальная проблема, а точнее, социальная проблема, как ее ставят марксисты. Значит, нам надо тем или иным способом откликнуться в своих работах на текущий исторический момент. Положим. Но я попытаюсь откликнуться так, как это делали Будда и Сократ: они превосходили свой исторический момент, творя или подготовляя другие». Это вы написали в сорок седьмом году.

— Написал. Ведь, согласитесь, нельзя расценить Будду или Сократа как тех, кто «уклоняется». Они отошли от своего исторического момента — и они на этот момент ответили. Вот только в ином плане и на ином языке. И именно они развязали духовные революции, один в Индии, другой в Греции.

— По вашему «Дневнику» видно, что вы не слишком любите, когда от интеллектуала требуют расходовать энергию на политическую деятельность.

— Тем более когда я вижу, что это заведомо безрезультатно. Предположим, мне бы сказали: если вы будете каждый день устраивать уличные демонстрации, три месяца подряд публиковать статьи в газетах и подписывать все воззвания, тогда не то что Румыния получит свободу, но хотя бы румынские писатели смогут свободно печатать свои стихи и романы. Я бы пошел на это, я бы все это выполнил. Но я знаю, что в настоящее время такая деятельность не может иметь немедленных последствий. Значит, надо рассудительно расходовать энергию и наступать там, где есть надежда оказать влияние или хотя бы вызвать отголосок... Я считаю, что в некоторые моменты истории определенная культурная деятельность — а особенно литература, искусство — превращается в оружие, в орудие политики. Когда я думаю о воздействии пушкинской поэзии... Уж не говорю о романах Достоевского! Да даже и некоторые вещи Толстого... То, что мы делаем в искусстве, в науке, в философии, полагаю, в какой-то момент даст политические плоды: изменит сознание человека, вдохнет в него надежду. Так что, по моему мнению, человек, который продолжает работать и что-то создавать, не отстраняется от современности.

— Тут мы не можем не вспомнить такую личность, как Солженицын.

— Я им восхищаюсь. Восхищаюсь как писателем, несомненно. Но еще больше — его мужеством свидетеля, тем, что он взял на себя роль свидетеля. При всем ее риске — как мученик (замечу в скобках: латинское слово martyr дало в румынском martor, то есть свидетель). К счастью, у него был определенный общественный вес: имя и не только Нобелевская премия, но и массовый успех романов, а кроме того, огромный опыт...<...>

Париж. 1945-й

Париж

К.-А. Р. В срок пятом году вы решили не возвращаться в Румынию, а поселиться в Париже. Отчего такой выбор?

М. Э. Сорок пятый. Румынию втянуло в исторический процесс, вполне отчетливо видный: варварская, навязанная извне смена политических и социальных институтов. С другой стороны, после четырехгодичного пребывания в Лисабоне я чувствовал потребность пожить в городе с по-настоящему богатыми библиотеками. Я начал «Трактат по истории религий» в Лондоне, в Британском музее; я продолжил его в Оксфорде, в отличной университетской библиотеке; в Лисабоне я не мог серьезно работать над «Трактатом». Я решил на время — может быть, на несколько лет — обосноваться в Париже, чтобы поработать и завершить эту книгу. Мне повезло: вскоре профессор Жорж Дюмезиль предложил мне прочесть курс на свободную тему в Школе высших штудий. И он же отвел меня в «Галлимар» и написал предисловие к моему «Трактату».

— Вас поддержал Жорж Дюмезиль. И при всем том вы, как свидетельствует ваш «Дневник», начинаете в Париже жизнь, полную лишений, без всякой уверенности в завтрашнем дне. Одновременно для вас наступает период интенсивной работы, не только научной, но и литературной. Не могли бы вы рассказать нам об этой жизни «бедного студента», как вы ее называете, о жизни трудолюбца, человека науки, писателя?

— «Бедного студента», потому что я жил в гостиничном номере и готовил себе обед на плитке. Потом, когда мы с Кристинель поженились, мы стали обедать в маленьком ресторанчике неподалеку. Так что в этом смысле — бедность. Но настоящей проблемой была работа, и писать теперь приходилось по-французски. Я прекрасно понимал, что моему французскому никогда не достичь такого совершенства, как у Ионеско или Чорана, что он будет скорее похож на средневековую латынь или на койнэ — тот греческий, на котором говорили и писали в эллинистическую эпоху в Египте, в Италии, в Малой Азии или в Ирландии. Я не испытывал стилистических терзаний в отличие от Чорана, который боготворил французский язык сам по себе и боялся унизить или поранить этот шедевр. Меня, к счастью, такие муки миновали, я просто хотел изъясняться точно и ясно, больше ничего. <...>

— Сквозь весь ваш «Дневник» проходят два слова, которые, кажется, глубже всего впечатались в вашу жизнь: лабиринт и Одиссей, — они идут у вас в паре. Для Одиссея скитания и родина неотделимы; а лабиринт имеет смысл, только если ты заблудишься — но не хаотично, не навсегда. Что бы вы сказали об Одиссее сегодня?

— Одиссей для меня — первообраз не только человека современной эпохи, но и человека грядущего, поскольку он представляет собой тип гонимого странника. Его скитания — это путь к Центру, в Итаку, то есть путь к себе. Он — опытный мореплаватель, но судьба, а другими словами, инициатические испытания, из которых он должен выйти победителем, все время вынуждают его оттягивать возвращение к своим пенатам. Миф об Одиссее, я думаю, для нас очень важен. В каждом из нас есть что-то от Одиссея, когда мы ищем самих себя, надеемся дойти до цели и тогда уж точно вновь обрести родину, свой очаг, снова найти себя. Но, как в лабиринте, в каждых скитаниях существует риск заблудиться. Если же тебе удается выйти из лабиринта, добраться до своего очага, тогда ты становишься другим.

— Вы сравниваете с Одиссеем современного человека — и себя вы тоже узнаете в Одиссее.

— Узнаю. Миф о нем — это, по-моему, модель для определенного образа существования в мире.

— Вы могли бы назвать его вашей эмблемой?

— Да. <...>

— Итак, вы поддерживали связь с вашими румынскими друзьями. Это Ионеско, это Чоран и другие.

— С Чораном мы были добрыми друзьями. Подружились еще в Румынии, в годы с тридцать третьего по тридцать восьмой, и я обрадовался, встретив его здесь, в Париже. Чоран потряс меня первыми же своими статьями в тридцать втором году, когда ему только-только исполнился двадцать один год. Он уже прочел Гегеля и Ницше, читал немецких мистиков и Ашвагхошу[1]. Кроме того, он как-то изначально мастерски владел слогом. Ему с равным успехом давались философские эссе и хлесткие памфлеты, он не уступал ни авторам «апокалипсисов», ни самым задиристым фельетонистам-политикам. Его первая книга, написанная по-румынски, «На высях отчаяния» была увлекательна, как роман, и пронизана тоской, ужасом и экзальтацией. Слог отточен до чрезвычайности. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день он блеснет тем же литературным совершенством по-французски! Полагаю, что его случай уникален. Правда, стилю он всегда придавал особенное значение. Вполне серьезно говорил, что Флобер правильно делал, когда бился всю ночь над фразой, чтобы избежать какого-нибудь одного лишнего «бы». С Эженом Ионеско мы стали друзьями только в Париже. Познакомились давно, в Бухаресте, но я любил поважничать и говорил, что между нами разница в возрасте — два года. Я в двадцать шесть лет — «знаменитость», профессор, повидавший Индию. А двадцатичетырехлетний Эуджен Йонеску в это время работал над своей первой книгой. Так что эти «два года» создавали очень ощутимую дистанцию. Она улетучилась при первой же нашей парижской встрече. Эуджен Йонеску был известен в Румынии как поэт, а более — как литературный критик или, скорее, «антикритик», потому что он попытался одной своей нашумевшей книгой (полемической книгой под названием «Нет!») показать, что на самом деле литературной критики как самостоятельной дисциплины не существует... В Париже мне было очень любопытно, какой путь он выберет. Философские изыскания? Беллетристику? Исповедальный жанр? Я не угадал, он начал с «Лысой певицы». Уже в день премьеры я стал искренним и горячим поклонником его театра и утратил всякое сомнение насчет его литературной карьеры во Франции. Что мне нравится прежде всего в театре Эжена Ионеско — это поэтическая плотность и символический крен. В каждой из его пьес строится воображаемый мир: он берет конструкции онирического измерения и символику разных мифологий. Я более чувствителен к поэтике сна, которую формирует его театр. Но онирическим он не исчерпывается. Иногда кажется, что присутствуешь при «великих грезах» Живой Субстанции, Матери-Земли, при детских грезах будущих героев и будущих неудачников — и иные из этих «великих грез» перетекают в мифологию. <...>

Портрет Мирчи Элиаде, выполненный Никой Баталли, 1949 г.

— Вы говорили о единстве противоречий в румынской культуре... мы могли бы развить эту тему? Что такое, в сущности, быть румыном? И что это значит для вас?

---

[1] Ашвагхоша (приблизит. II в.) — индийский поэт; автор поэм о Будде и его учении.

— Я чувствую себя потомком и наследником интересной культуры, поскольку она расположена между двумя мирами: западным, чисто европейским, и восточным. Я в равной степени принадлежу к ним обоим. Запад — это наш язык, латынь, и обычаи у нас от римлян. Но мы подверглись и влиянию Востока, уходящему корнями в неолит. И то и другое — реальность для румына, да и для болгарина, я думаю, тоже, и для сербохорвата. В общем, для Балкан, для юго-востока Европы и отчасти для России. Эта пружина: «Восток— Запад», «традиционализм — модернизм»; мистика, религия, созерцание — критический дух, рацио, тяга к конкретному в творчестве, — эта полярность присутствует во всех культурах. Данте — и Петрарка, например; или, как говорил Папини, поэзия камня — поэзия меда. Паскаль — и Монтень, Гёте — и Ницше. Только у нас это плодотворное напряжение, может быть, несколько сложнее, поскольку мы расположены в «пограничье мертвых империй», как выразился один французский писатель. Быть румыном для меня означает вникнуть в особость нашего жребия, выразить и оценить его. Надо пользоваться таким наследством!.. Для нас ничего не стоит выучить итальянский. Когда я взялся за русский, мне очень помогла славянская часть румынского лексикона. Я пользовался богатством, данным мне самим фактом моего рождения. К сожалению, роскошь этого наследия не была в должной мере усвоена нашей литературой и культурой. Зато фольклор ею напитан. <...>

Родина, мир

К.-А. Р. Я всегда думал: как человек по имени Мирча Элиаде справляется с таким разнообразием языков, культур, родин, домов, стран? Теперь для меня кое-что проясняется, но все же позвольте спросить: каким образом в вас ведут диалог родина и остальной мир?

М. Э. Для всякого изгнанника родина — это язык, на котором он не перестает говорить. К счастью, моя жена румынка, она-то, если хотите, и причащает меня родине, потому что мы говорим между собой по-румынски. Язык, на котором я общаюсь с женой и друзьями, главным образом с женой, — вот моя родина; язык, на котором я вижу сны и на котором пишу дневник. Так что родина у меня не то чтобы совсем онирическая. И между ней и остальным миром нет никакого противостояния, ни малейшей напряженности. Центр Мира — он где угодно. Раз попав в этот центр, ты у себя дома, ты в себе настоящем и в центре Космоса. Изгнание помогает понять, что мир никогда не будет тебе чужим, если только у тебя есть в нем центр. Эту «символику центра» я не просто понимаю — я живу ею.

— Вы много путешествовали, но у меня впечатление, что по природе своей вы не странник.

— Ну, самые, может быть, важные путешествия я совершил пешком, с двенадцати до девятнадцати лет: я уходил из дому каждое лето, на несколько недель, останавливался в селах и монастырях, гонимый желанием выйти за пределы бухарестской степи и увидеть Карпаты, Дунай, рыбацкие поселения в дельте, Черное море... Я очень хорошо знаю свою страну.

— Последняя страница ваших «Выдержек из дневника» посвящена путешествиям. Вы пишете: «Путешествие захватывает не только пространством, не только видами и красками, но и числом «личных времен», которые восстанавливаешь. Чем я старше, тем больше чувствую, что путешествия происходят сразу во времени и в пространстве».

— Да, навещая, к примеру, Венецию, я переживаю первые мои венецианские путешествия... Сначала находишь все прошлое в пространстве: какую-нибудь улицу, церковь, дерево... Вслед за тем, разом — вот оно, минувшее время. Это, среди прочего, и сообщает путешествию плодотворность — для тебя самого, для твоего собственного опыта. Ты вновь обретаешь себя, говоришь с тем, кем ты был пятнадцать или двадцать лет назад. Ты встречаешь себя того, свое минувшее, исторический момент двадцатилетней давности.

— Вы позволите назвать вас приверженцем ностальгии, но ностальгии блаженной?

— О да! Это красивая формула — и верная. Благодаря ностальгии я отыскиваю сокровища. Так что, по моим ощущениям, я ничего не теряю. Ничто не потеряно.

— Кажется, мы затронули очень важные для вас темы. Ничто не потеряно, и вас никогда не гложут сожаления.

— Так оно и есть.

ИНТЕРМЕЦЦО

К.-А. Р. Вы написали кое-что и для театра: пьесу о Бранкузи «Колонна без конца» и современный вариант «Ифигении»... Судя по некоторым пассажам из «Заповедного леса» и из Дневника (а именно: об Арто), вы уделяли совершенно особое внимание представлению времени в театре, времени воображаемому — мифическому — в реальной протяженности спектакля.

М. Э. Да, как литургическое время — не чета профанному, неотделимому от хронологии и быта, так и театральное время есть выход за пределы времени обыденного. Правда, музыка тоже — по крайней мере, некоторая, и прежде всего на ум приходит Бах — иногда выводит нас из повседневного времени. Такой опыт есть у каждого, и благодаря ему даже самый «профанный» дух способен понять святое время, время литургическое... Не менее захватывающим, чем упомянутое свойство театрального времени, мне видится положение актера. Актеру тоже дана своего рода «трансмиграция». Воплотить на сцене столько персонажей — разве не значит самому столько же раз перевоплотиться? Под конец жизни актер, бесспорно, набирает опыт совсем другого качества, чем мы. По-моему, нельзя предаваться этой игре бесчисленных перевоплощений безнаказанно, разве что практикуя аскезу.

— Актер, по-вашему, что-то вроде шамана?

— Во всяком случае, шаман — что-то вроде актера, в той мере, в какой театральны иные из его практик. Вообще же шаманство можно рассматривать как общий корень философии и театрального искусства. Шаманские речитативы о путешествиях на небо или в ад часто ложились в основу эпоса и сказок. Чтобы быть духовным вождем общины, чтобы держать ее в руках и направлять, шаман должен манипулировать невидимым и давать доказательства — пусть даже с помощью трюков — своей силы. Спектакль, который он устраивает с этой целью, сменяя маски, — один из источников театра. Шаманскую модель можно обнаружить даже и в «Божественной комедии»: подобно шаманскому, экстатическое путешествие Данте напоминает всем и каждому, что́ есть образец и достойно веры.

Чикаго

Жить в Чикаго

К.-А. Р. Скоро будет уже двадцать лет, как вы преподаете в Чикагском университете... Почему именно там?

М. Э. Меня пригласили на эти знаменитые Хаскеллские чтения, где в свое время выступали Рудольф Отто и Массиньон[1]. Шесть моих докладов были опубликованы под заголовком «Мистические рождения». Когда умер Иоахим Уоч, который меня пригласил, декан предложил мне должность штатного профессора и заведующего кафедрой религиеведения. Я после серьезных колебаний согласился — на четыре года. А потом

[1] Луи Массиньон (1883—1962) — французский востоковед-исламовед.

остался, поскольку то, что я делал, оказалось очень важным для меня, для нашей дисциплины и, ко всему прочему, для американской культуры. В 1957 году в Соединенных Штатах было три кафедры религиеведения, сейчас их чуть ли не тридцать. И половину ведут наши бывшие выпускники. Помимо интереса к работе, меня удержала в Чикаго университетская атмосфера полнейшей свободы и терпимости. <...>

— А у вас нет ощущения, что, благодаря вашей деятельности в Соединенных Штатах, вы дали начало «школе» религиеведения, новому направлению интерпретации и работы?

— Чикаго, бесспорно, способствовал развитию нашей дисциплины. К тому же нам благоприятствовал исторический момент. Нашлись американцы, которые поняли, что для диалога с африканцем или индонезийцем недостаточно знаний по политической экономии и социологии, что надо знать и их культуру; экзотическую же или архаическую культуру только тогда и поймешь, когда доберешься до ее истоков, а они всегда имеют религиозную природу. С другой стороны, как вы знаете, конституция запрещала преподавание религий в государственном университете: в прошлом веке существовало опасение, как бы кафедра по истории религий не стала кафедрой только христианской теологии или истории церкви. Так вот, успех первого десятка или первой дюжины кафедр заразил и другие университеты. Они увидели, что речь идет об общей истории религий, об изучении индуизма, ислама и первобытных верований, и ввели у себя эту дисциплину. Сначала она камуфлировалась под разными названиями: «Азиатские религии», например, или «Индология», но сегодня называется в открытую «История и феноменология религий».

— Как вы думаете, историк-религиевед, который по роду своих занятий, казалось бы, далек от современных вопросов, не может рано или поздно попасть в положение своих коллег — физиков и географов? Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что американский университет переживал в свое время угрызения совести: насчет участия в ядерной гонке или в бомбардировках вьетнамских плотин... Ведь так, пожалуй, дойдешь до оправдания, скажем, и «мессианских бомб» в какой-нибудь «психологической войне». Вспомним применение психоанализа публицистами: почему бы не представить себе применение религиозных мифов военными?

— Да... О мессианстве я написал статью перед тем, как была провозглашена независимость Конго. Я хорошо знаю мессианские мифы народа банту и предвидел кое-какие вещи, которые пришли следом за независимостью. Например, они истребили весь скот, потому что ждали возвращения своего мифического предка. В книгах по мессианству у архаических народов такие эксцессы, даже преступления, предсказаны... Поэтому мне не верится, что генералы возьмут на вооружение историю религий. Зато я предвещаю общественную роль этой дисциплины, ее развитие и даже популярность: она подготовила почву для своего рода религиозного ойкуменизма — не только христианского. Она свела вместе адептов разных религий. <...>

Профессор или гуру?

— Итак, место, где вы работаете, — это Америка. Хотелось бы знать, к какому типу профессоров вы принадлежите...

— Я никогда не придерживался «системы». Еще в Бухаресте я ориентировался на начитанных студентов, которые знают хотя бы одно из жизнеописаний Будды, кое-что из упанишад, кое-что по проблеме зла. Я не начинал с азов, да и не готовился к лекциям специально, не писал текст. Брал свои заметки, смотрел на реакцию студентов. И сейчас то же самое. Я прикидываю план, перед лекцией несколько часов размышляю, подбираю цитаты, но ничего не записываю. Риск невелик: если я повторюсь — нестрашно, а если что-нибудь упущу, то вспомню на другой день или в конце лекции. Американская система отличная: пятьдесят минут на изложение предмета, а потом минут десять на

дискуссию, на вопросы. Совсем не то, что в наше время: профессор прочел лекцию и ушел, и целую неделю его не видишь. Правда, может быть, этот порядок везде уже изменился. Положим. Но именно в последние десять минут тебе зададут вопрос, и ты поймешь, что где-то опустил важную деталь. Поль Рикёр[1] изумляется, какие у нас здесь отношения со студентами. В Нантере ему приходилось читать лекцию перед тысячной аудиторией, он просто не мог всех знать — преподавал философию безликой массе. Тут от-

Мирча Элиаде и его жена Кристинель, 1970 г.

ношения становятся личностными. В первый же час я говорю студентам: «Вот вам листок, напишите свое имя и приходите ко мне в гости». В начале года я выделяю пару вечеров и приглашаю всех, даже из предыдущего выпуска, чтобы поговорить с каждым хоть по полчаса, чтобы восстановить, чем он занимался летом, какие планы... А через месяц занятий снова всех собираю — на часок. По правде говоря, мне все меньше и меньше нравится выступать перед сотней слушателей. Когда-то, и особенно в Румынии, когда я говорил о вещах, почти никому не знакомых, меня захватывал процесс обучения. Я говорил на родном языке, я, молодой, обращался к молодым же людям, мне надо было столько им сказать, столько раскрыть плюс к тому, что я уже опубликовал... Но когда такая дея-

[1] Поль Рикер (р. 1913) — французский философ, автор работ по этике, эстетике, истории философии.

тельность длится сорок лет, естественно, чувствуешь, что уже не так много можешь сказать в форме лекций. А вот семинары, где мы работаем сообща, мне по-прежнему нравятся. Мой последний семинар в 1976 году имел предметом алхимию и герметические учения Ренессанса. Это было великолепно, это именно то, что мне надо: разбирать нюансы с маленькой группой хорошо подготовленных студентов, углубляться в проблемы, которые мне дороги. А студент таким образом учится работать, так он овладевает методом. Он готовит реферат, его слушают, я предлагаю его коллегам высказаться, вступаю сам, обсуждение длится иногда часами. Но я чувствую, что не трачу времени даром: в книгах они не нашли бы того, что получают от меня. Точно так же незаменимы и личные встречи в начале года.

— Но вам удается защитить вашу личную жизнь, жизнь писателя и ученого?

— Удается, потому что система предусматривает специальные каникулы для студентов — на «чтение». А во втором зимнем семестре у меня только один семинар. Так что я могу заняться собственными делами. Но, знаете, если я чувствую, что могу кому-то помочь, то всегда откладываю в сторону свою работу — лучше подольше посидеть ночью, пораньше встать. Сделать усилие над собой. Когда оно того стоит. Если же студент ходит на лекции, но не слишком увлечен, я просто советую ему почитать книги — мои или других авторов.

— Так кто вы все-таки — профессор или гуру?

— В Америке всегда существует риск, особенно на Тихоокеанском побережье, по крайней мере для некоторых, невольно попасть в гуру. Был год, когда я вел в университете Санта-Барбары курс по индийским религиям, от «Ригведы» до «Бхагавадгиты». После лекций студенты подходили ко мне, как к форменному гуру, за решением своих внутренних проблем. Я говорил им: «Не путайте одно с другим, тут я профессор, а не гуру. Я могу вам помочь, но только в качестве профессора. Тут я лишь представляю вам вещи такими, каковы они в моем понимании».

Американская молодежь

К.-А. Р. Эта американская молодежь, которую вы хорошо знаете и для которой религия не всегда только предмет исследования, — как вы ее воспринимаете и чем она живет?

М. Э. То, что я наблюдал в Чикаго и в Санта-Барбаре, замечательно. В Америке история религий в моде, и не только у студентов, которые, по выражению Маритена[1], «безграмотны с религиозной точки зрения», но и среди людей просто любознательных, желающих узнать чужие религии: индуизм, буддизм, архаические и первобытные верования. Шаманство, например, стало чуть ли не повальным увлечением. К нему проявляют интерес художники, театральные деятели; очень много молодежи: они думают, что наркотики подготавливают к пониманию шаманства. Кое-кто из них нашел абсолют в той или иной эфемерной секте: Мехер Баба, Харе Кришна, Джизус Фрикс; в некоторых дзэнских сектах... Не то чтобы я их поощрял, но когда мне говорят: «Раньше я кололся, как скотина, ни во что не верил, два раза пытался наложить на себя руки, раз меня чуть не убили в таком состоянии, а теперь я нашел *абсолют*!»— тут я не могу осуждать их выбор. Я не говорю им, что их «абсолют» не высшего пошиба, ведь юноша, который тонул в хаосе, в полнейшем нигилизме, был агрессивен и опасен для общества, — этот юноша нашел нечто. Абсолют же, пусть и псевдо, даст ему снова прийти к себе, и он сможет потом прочесть упанишады, Майстера Экхарта, Каббалу и попробует найти личную истину. Я редко встречал студента, который бы от безбожной пустоты и от невротического дисбаланса перешел на четко выраженные религиозные позиции: христианство, иудаизм, буддизм, ислам. Нет, он всегда идет через псевдоморфозы, через что-то полегче, подешевле, через то, что на самом деле эрзац и лишь для него — абсолют, спасение. Нужен следующий

[1] Жак Маритен (1882—1973) — французский религиозный философ, ведущий представитель неотомизма.

этап, чтобы он нашел форму более осмысленную, более сбалансированную.

— Вы говорили, что эта молодежь уходит от монотеизма, с одной стороны, и от атеизма — с другой, двояко: либо в «натуральную», «космическую» религию, либо в «религии Востока».

— Именно... Вначале это почти инстинктивная реакция против всего, что есть истеблишмент, то есть против своих родителей. Родители ходят в синагогу, в церковь или к баптистам, а дети напрочь отвергают их религию, их религиозную традицию. Она их не интересует. Их не заставишь даже хоть что-нибудь прочесть. Раз подходит ко мне один студент-еврей. В иудаизме, говорит, нет никакого смысла, это ископаемая религия, а онде нашел откровение у заезжего гуру, у йогина, который прожил в городе несколько недель. Я спрашиваю: «А что вы знаете из иудаизма?» Он не знал ничегошеньки, ни одного псалма, ни одного пророка, не говоря уж о Каббале... Я попытался убедить его: «Прочтите хоть сколько-нибудь текстов из вашей же традиции. Тогда можете говорить, что вы ее переросли и отвергли». Нет, ни в какую. Он не видел в этом смысла. Такова позиция молодого поколения, которое огульно все отвергает: систему, поведение и ценности родителей, свою религиозную традицию. И для части этой бунтующей молодежи необыкновенно привлекательны дальневосточные доктрины, прежде всего йога и дзэн. Уверен, это приносит им пользу. Когда приезжает какая-нибудь миссия Рамакришны, там непременно найдется хоть один свами, который порекомендует им определенные книги. Иногда они не довольствуются чтением по американскому шаманству, а уезжают на каникулы пожить в каком-нибудь племени.

Чем сейчас живет американская молодежь? Не могу вам сказать. Говорят, наркотики в значительной степени утратили свою привлекательность. Молодые люди обращаются к медитации, ко всевозможным «медитациям», среди которых самый большой успех имеет «трансцендентальная медитация». Это все, я думаю, средства, которые могут им помочь поначалу. Позже они найдут других духовных наставников и более толковые средства самореализации. Так или иначе, даже если они отрекутся от своего «калифорнийского» опыта и станут чиновниками, шоферами, учителями, я уверен, он обогатит их на всю жизнь.

Будущность богов

К.-А. Р. В прессе часто пишут о сектах и расколах. Вчера — Мэнсон и Мун. Сегодня во Франции — распря интегристов. Мне хотелось бы знать, что вы думаете об этой «религиозной злобе дня», а также о движении хиппи, которое вы хорошо изучили.

М. Э. Если говорить о католической церкви, то ясно видно, что тут кризис не только ее авторитета, но прежних структур, литургических и теологических. Не то чтобы церковь вообще изжила себя — изжила себя, вероятно, одна из христианских церквей. Этот кризис, мне кажется, плодотворного свойства, и после периода проб и ошибок может остаться все наиболее интересное, живое, значительное. Но предсказать ничего нельзя. Если говорить о сектах, то они, как всегда, имеют весомые шансы открыть что-то положительное, что-то новое. Самое же значительное явление сейчас — это, по-моему, хиппи: они убеждают, что молодое поколение, христиане в десятом колене, неважно, протестанты или католики, вернулись к религиозному, космическому измерению жизни — наготы и влечения полов. Поэтому я против, когда говорят, что свободная любовь и оргии у хиппи — та же тенденция к сексуальному раскрепощению, которая владеет миром. Я бы сказал, что нагота у хиппи — «райской природы», а соитие они понимают как ритуал. Они восстановили глубинный, сакральный смысл жизни. Высвободились из всех религиозных, философских и социологических предрассудков. Они свободны. Они вернулись в измерение космоса и святости, обрели опыт, отвергнутый со времен Ветхого Завета. Припомните негодование и скорбь пророков, восстающих против культа Баала и Баалат, в основе которого лежала религия с космической структурой, необыкновенного вели-

чия религия. Она являла сакральное через культ богини, через иерогамию, через оргию. Моисеев монотеизм, и особенно пророки, заклеймили этот религиозный опыт. После Моисея и пророков никто не смел помыслить о религиозности космического толка. И вдруг тут, в Америке, я вижу возрождение коллективного религиозного опыта, который считал покрытым пылью веков, — пусть сами хиппи религиозным его и не называли. С энергией отчаяния они предприняли попытку вернуть жизни сакральную цельность. Это была реакция на бессмысленность существования в американском городе, на приземленность его ценностей. Официальную церковь они не принимали: для них это был истеблишмент. Они совершили открытие — и спаслись. Расчистили святые истоки жизни, добрались до ее ядра. <...>

История и герменевтика

Авантюра и познание

К.-А. Р. «...Эти тридцать с лишним лет, что я провел среди экзотических, варварских, непредсказуемых богов и богинь, питаясь мифами, во власти символов, в зачарованном плену миров, ушедших в небытие, представляются мне теперь этапами длительной инициации. Каждую из этих божественных фигур, каждый из мифов и символов сопровождала опасность, и надо было противостоять ей, избежать ее. Сколько раз я рисковал затеряться, заблудиться в этом лабиринте, где мог быть умерщвлен, «оскоплен» (хотя бы кем-то из грозных богинь-матерей). Бесконечный ряд умственных авантюр — я понимаю слово «авантюра» в его исконном понятии: как риск для жизни. Речь шла не только о неспешной, постепенной добыче знания из прочитанных книг, но и о встречах, стычках, искушениях. Только сегодня я прекрасно понимаю, скольких опасностей избежал в ходе долгих поисков, и в первую очередь опасности забыть, что мной руководила определенная цель, что я к чему-то шел, что хотел достичь «центра». Это признание вы сделали в дневнике 10 ноября 1959 года. Оно несколько завуалированно, загадочно... Может быть, сегодня вы его растолкуете?

М. Э. Дух подвергает себя опасности, когда пытается вникнуть в суть этих мифологических или религиозных созданий, которые в то же время выражают положение человека в мире: первобытного охотника, крестьянина из Восточной Азии, рыбака из Океании. Когда специалист по истории и феноменологии религий прибегает к герменевтике, чтобы *изнутри* понять ситуацию такого человека, он подвергает себя риску; речь не только о гибели: его может захватить магия шамана, искусство йогина, экзальтация оргии. Я не говорю, что ему захочется стать йогином, шаманом, воином или членом оргиастического сообщества. Но он как бы проигрывает ситуации, чуждые западному человеку и для него опасные. Его может захлестнуть экзотикой, а это уже опасность психического порядка. Потому-то я и сравнил свои поиски с бесконечным блужданием по лабиринту; и это род инициатического испытания. Например, нужно усилие, чтобы понять каннибализм: человек стал людоедом не в силу инстинкта, а в силу теологических и мифологических представлений. Если ученый-религиевед намерен это понять, это и множество других ситуаций, ему надо в них вжиться.

Когда человек пришел к осознанию своей участи в мире и связанной с этой участью ответственности, он принял решение, которое было трагическим. Я имею в виду обращение к земледелию — не к сеянию злаков, как на Ближнем Востоке, а к культуре корнеплодов в зоне тропиков. В понимании тамошних народов съедобное растение появилось в результате первородного убийства. Божественное существо было убито, рассечено на части, и из них выросли дотоле не известные растения, прежде всего клубни, которые с тех пор составляют основную человеческую пищу. Но чтобы обеспечить будущий урожай, первоначальное убийство необходимо повторять в виде ритуала. Отсюда проистекают человеческие жертвы, каннибализм и другие, порой жестокие, обряды. Человек

Мирча Элиаде и К. Г. Юнг в Асконе, 1952 г.

усвоил: для того чтобы жить, надо убивать, и, кроме того, он взял на себя ответственность за растения, за их хрупкую природу. Отсюда — человеческие жертвоприношения и каннибализм. Эта трагическая концепция, в соответствии с которой жизнь обеспечивается убийством, на протяжении тысячелетий владела умами большой части человечества; и если не хочешь описывать эту концепцию только в качестве антрополога, а хочешь понять ее в экзистенциальном плане, тогда причащаешься и самому трагическому опыту. Специалист по истории и феноменологии религий подходит к мифам и обрядам не как к отчужденным объектам: вот надпись, которую надо расшифровать, вот институция, которую надо проанализировать. Чтобы понять древний мир изнутри, он должен его пропустить сквозь себя. Он вроде актера, который входит в роль и становится неотделим от нее. А между нашим привычным миром и тем, архаическим, иногда пролегает такая пропасть, что на кон может быть поставлена твоя собственная личность.

— Речь идет, если я понял, о сохранении собственной личности и рассудка под сильнейшим напором иррациональных сил?

— Сформулировано точно. Ведь известно — это и фрейдисты говорят, — что психиатр рискует собственным умственным здоровьем, вникая в состояние душевнобольных. Похожее положение у историка религий. То, что он изучает, глубоко его затрагивает. Религиозные явления выражают различные жизненные ситуации. Ты входишь в явление, которое пробуешь расшифровать, как будто перед тобой палимпсест, твоя собственная генеалогия и история твоей жизни. Твоя история. И в ней есть, присутствует мощь иррационального... Историк-религиевед претендует на то, чтобы узнать и, значит, понять корни своей культуры, свою сущность: ценой долгих усилий, через анамнезу, он должен прийти к припоминанию собственной истории — другими словами, истории человеческого духа. Через анамнезу историк-религиевед воссоздает в некотором роде *феноменологию духа*. Только Гегель занимался двумя-тремя культурами, а религиевед вынужден изучить историю духа в ее целостности, начиная с эпохи палеолита. Самую что ни на есть универсальную историю духа. Религиевед, я думаю, лучше, чем другие исследователи, видит преемственность различных этапов человеческого духа и, в конечном счете,

глубокое, фундаментальное его единство. Так открывается сама суть бытия. Вот в каком смысле я считаю вклад религиеведа в культуру решающим. Он говорит о единой человеческой участи во все времена — и это в современном мире, распадающемся на множество отдельных планет.

— Вы говорили о соблазнах... Но если взять искушения святого Антония с картины Босха, то они там странноватые: не только не искушают, но порой и просто устрашают... В каком смысле вы говорили о соблазнах, подстерегающих религиеведа во время анамнезы?

— Когда понимаешь логику и даже благородство, красоту мифологии, да и теологии, лежащих в основе каннибализма... когда понимаешь, что речь идет не о звериных повадках, а о человеческом действе, что человек, в своем качестве существа, свободного принимать решения, решил убивать и поедать ближнего своего, — так вот, тогда твой дух невольно подвергается искушению огромной свободы, которая открывается перед ним: выходит, можно убивать и быть каннибалом, не теряя «человеческого достоинства»...То же получается, когда изучаешь оргиастические ритуалы и вдруг понимаешь их безупречную логику: начинается оргия, и все правила отступают, дозволяется инцест и агрессивность, а все ценности переворачиваются... Смысл же этого ритуала — регенерация мира. При этом открытии ты можешь, как Ницше, открывший свое Вечное Возвращение, завопить от радости. Потому что это тоже приглашение к тотальной свободе. Начинаешь думать: какую необыкновенную свободу ты можешь обрести и какую творческую силу вследствие этой свободы!.. Не меньше, чем индонезийское племя после большой оргии в конце года, которая воссоздает полный силы, обновленный мир. А для меня, современного западного человека, это означает, что я всегда могу начать жизнь сначала и, следовательно, укрепить свою творческую силу... Вот в каком смысле можно говорить о соблазнах.

Но есть еще и ловушки дьявола. Если человек верит, что через медитацию и через обряды он может изменить мир, — поразмыслишь об этом и о том, почему он так уверен, что после обряда точно станет владыкой мира или, на худой конец, хозяином своего села... и увидишь ту же тягу к абсолютной свободе, к отмене ограничений, наложенных на человека природой. Человек — существо со всех сторон обусловленное, а тут вольность Бога, или мифического предка, или духа, которого больше не стесняет смертное тело!.. Это все, бесспорно, соблазны. Не хотелось бы, правда, создать впечатление, что историка религий тянет на людоедство или на инцест.

— Говоря об инцесте и о каннибализме, вы как будто делаете акцент на последнем. Может быть, в нем вы видите трагический ключ к человеческой природе?

— Инцест, упразднение на время всех правил, встречается во многих культурах, с каннибализмом не знакомых. Каннибализм и решение человека через жертвоприношение себе подобного обеспечить плодородие или даже спасти мир скорее, думаю, относятся к экстремальным явлениям.

— Слушая вас, я подумал о Пазолини, о том, как навязчиво в его творчестве присутствует мотив каннибальского пиршества. Пиршества, которое в его «Свинарнике» означает Тайную вечерю...

— Пазолини преследовала мысль о вырождении человека — не до животного уровня, но до другого уровня культуры. Каннибализм — вещь бессмысленная, если он не носит ритуального характера, если не принадлежит к общественным установлениям. К тому же христианин, который размышляет о святых тайнах, естественно приходит к мысли, что он тоже каннибал. Другой итальянец, Папини, в своем «Дневнике», кажется, пишет, что месса — это не поминовение бога, но актуализация человекоубийства, за которым следует каннибальское действо: люди все снова и снова убивают богочеловека, чтобы после съесть его тело и выпить его кровь.

— А наблюдая спуск в ад религиозного человека, историк не поддается порой другому соблазну — ненависти ко всем и всяческим богам, ненависти к религии? Мне вспоминаются Лукреций и Эпикур: как им открылись ложь и ужас божественного, его гнет над человеком...

— Да, случалось, что иные историки, поначалу восхищавшиеся религиозными фактами, вдруг проникались к ним отвращением. Но вы говорите — Лукреций. Лукреций имел дело с упадочническими, закоснелыми формами религии. Боги утратили свою сакральную мощь. Великолепный политеизм лишился смысла. На богов стали смотреть как на аллегорию или просто как на искаженное воспоминание о правителях древности. Это был период скептицизма, когда в богах видели только самое плохое. Стоит охватить вещи в целом, поискать корни желания убивать, и открывается другая правда — трагедия человеческой участи. Взятые вместе, вся эта жуть, мерзость, гротесковость вдруг являют первоначальную цель — придать смысл жизни, подчеркнув очевидность, что всякая жизнь подразумевает смерть других и что надо убивать, чтобы жить. Этим обусловлена и жизнь духа на протяжении его истории — обусловленность трагическая, но такая плодотворная! Соприкосновение с небытием, пустотой, с дьявольским и бесчеловечным, тяга опуститься до животного — этот экстремальный и драматический опыт есть источник великих свершений духа. Потому что в кошмаре этой обусловленности человек научился говорить жизни «да» и находить в своем существовании смысл. <...>

Террор истории

К.-А. Р. Мы говорили о глубинной жестокости человека в традиционных религиях. А как насчет новой истории? Ее ход тоже отмечен триумфами смерти. Как относится историк-религиевед к кровавым мифам современного человечества?

М. Э. Религиевед имеет дело с феноменом десакрализации — обряда ли, таинства, мифа, — в которых убийство имело религиозный смысл. Это возврат к этапу давностью в тысячи лет, но возврат, который не несет в себе изначального духовного наполнения, поскольку трансцендентных ценностей больше нет. Что «толку» от коллективной смерти, если она утратила смысл? А массовые убийства продолжаются. Поэтому такой ад — самый что ни на есть настоящий, чистая, абсурдная жестокость. Когда с кровавых мифов спадает святость, остается дьявольщина — голая жестокость и преступление, не ограниченное ничем.

— Разберемся. Давайте-ка я стану адвокатом дьявола. Разве жертва сама по себе не творит святость, не придает смысл? Казалось бы, нельзя найти никаких оправданий гитлеровским преступлениям, нацистскому безумию. Патриотические гекатомбы с течением лет оборачиваются плодом уродливых иллюзий. Тем не менее — сколько воинов умирали и убивали с верой, самозабвенно. Камикадзе были союзниками нацистов, а камикадзе означает «божественный ветер». Кто поручится, что святая иллюзия владела ацтеками, а эсэсовцами — нет? Где проходит грань между злодейским убийством и убийством священным?

— Для ацтеков принесение в жертву человека означало, что его кровь питает и укрепляет божество-солнце и всех прочих богов. Для эсэсовца истребление миллионов людей в лагерях тоже несло в себе определенный смысл, можно сказать эсхатологический. Он считал, что представляет Добро в противовес Злу (как и японский летчик). По нацистской теории, Добро выглядело известно как: белокурый человек, нордический тип, чистый ариец... Все остальные были воплощением Зла, дьявола. Почти манихейская доктрина: борение Добра и Зла. По этому дуализму (иранскому), верующий, который убивает лягушку, змею, любое исчадие ада, содействует очищению мира и триумфу Добра. Представьте же себе современных манихейцев, фанатиков, больных или одержимых — они усматривали воплощение Зла в целых народах, в евреях, цыганах, и принести их в жертву многими миллионами преступлением не считалось. Та же подоплека у ГУЛАГа и у эсхатологии великого освобождения, которое несет коммунизм, — ему противостоят враги, наместники Зла, противящиеся триумфу Добра, триумфу свободы, триумфу человека и т. п. Вполне сопоставимо с ацтеками: и те и другие были убеждены в своей пра-

воте. Вот только ацтеки верили, что помогают богу солнца, а нацисты и русские — что реализуют историю.

— Вы часто говорили о «терроре истории»...

— «Террор истории» означает для меня опыт человека, который уже нерелигиозен, то есть уже не надеется докопаться до сути исторической драмы и который вынужден терпеть преступления истории, не понимая их смысла. Израильтянин, попавший в вавилонский плен, страдал несказанно, но это страдание имело для него смысл: Яхве хотел наказать свой народ. И человек знал, что в конце концов все обернется триумфом Яхве, а значит, Добра... Еще для Гегеля любое событие, любое испытание было проявлением мирового духа и, следовательно, имело смысл. Историческое зло можно было если не оправдать, то хотя бы рационально объяснить... Но когда исторические события лишаются всякой трансисторической значимости и уже не представляют собой то, чем были в традиционном мире — то есть испытаний для народа или для личности, — тогда мы имеем дело с «террором истории», так я это называю. <...>

Демистифицировать демистификацию

К.-А. Р. Когда вы говорите о разных религиях, о разных культурах, даже о самых «примитивных» и архаических — как те, что в Австралии, — в ваших словах звучит неподдельное уважение. Для вас это не этнографический материал, а произведения искусства. Разные религии — разные произведения, прекрасные, бесценные, наполненные смыслом, сравнимые с «Одиссеей», или «Божественной комедией», или с творениями Шекспира.

М. Э. Я чувствую себя в полной мере современником великих реформ, великих политических и социальных открытий. Все конституции говорят о равноправии: что простой человек, что парижский, бостонский или московский гений — ценность у них одна. Только на деле этого что-то не видно. Я же принцип равенства осуществляю, когда обращаюсь к австралийцу, а обращаюсь я к нему не так, как многие антропологи, которых интересуют только социальная организация и экономические феномены. Конечно, такие вещи знать очень интересно, но базироваться единственно на них — не лучший метод, если хочешь понять вклад народа в историю духа. Мне гораздо интереснее понять, что́ предпринимает человек, когда он вынужден жить в австралийской пустыне или в арктической зоне. Как ему удалось уцелеть не только в качестве зоологического вида — по образцу голубей или тюленей, — но уцелеть как разумному существу, создав культуру, религию, эстетику. Ведь люди жили там по-человечески, не уподобились тюленям или кенгуру. Почему я горжусь тем, что я человек? Не потому, что я — наследник замечательной средиземноморской культуры, а потому, что узнаю в австралийце себя, поставленного в совершенно особые условия. Отсюда мой интерес к его культуре, к его религии, к его мифологии. Отсюда моя к нему симпатия; она происходит не от пассеизма (тоски по прошлому), не от желания снова оказаться в мире австралийских аборигенов или эскимосов. Нет, я хочу *вновь узнать себя* — в философском смысле — в своем собрате. В качестве румына я был, как он, много тысяч лет тому назад. При этой мысли я чувствую себя человеком своей эпохи, и главное ее открытие, самое оригинальное, можно назвать так: историческое единство человеческого духа. Потому-то я и не занимаюсь демистификацией. Настанет день, когда потомки древнего населения колоний поставят нам в упрек эту демистификацию. Они скажут: «Вы превозносите *творчество* вашего Данте и вашего Вергилия, а нашу мифологию и нашу религию *разоблачаете*. Ваши антропологи постоянно упирают на социально-экономические предпосылки нашей религии, наших мессианских или милленаристских движений, подразумевая, что творения нашего духа, в *отличие от ваших*, не поднимаются над материальным и политическим уровнем. Другими словами, что мы, *примитивные*, не способны возвыситься до твор-

Мирча Элиаде и его жена Кристинель, 1952 г.

ческой свободы Данте или Вергилия...» Следует обвинить в этноцентризме, в западной «провинциальности» позицию «демистификации» и в конечном итоге подвергнуть разоблачению ее саму.

— Из ваших слов совершенно определенно видно, почему история религий тяготеет к герменевтике. Если религии соотносимы с шедеврами культуры, тогда без герменевтики, разумеется, не обойтись. Ведь для всех очевидно, что наше отношение к Рильке или Дюбелле не исчерпывается лингвистическим анализом. Мы все знаем, что стихотворение не сводится к анализу ни чисто механическому, ни историческому. Если же мы считаем, что сводится, тем хуже для нас!.. И если нам это понятно применительно к поэзии, почему не понятно применительно к религии?

— Я с вами совершенно согласен! Поэтому я всегда сближаю эти два воображаемых мира: религиозный и поэтический. Через их сравнение тот, кто мало знаком со сферой религии, может легко найти к ней доступ.

— Вы хотите сказать, что религии принадлежат к сфере воображения и символов?

— Бесспорно. Только надо уточнить, что вначале всякий воображаемый мир был — употребляя этот неудачный термин — *религиозным* миром. Я говорю «неудачный», потому что он обычно вызывает у нас в мозгу лишь ассоциации с иудео-христианством или языческим пантеизмом. Автономия танца, поэзии, пластических искусств — открытие недавнее. В своих истоках все эти воображаемые миры имели религиозную ценность и функцию.

— Но разве они их в некотором смысле не сохранили? Вам приходилось говорить о «демистификации наизнанку» — о том, что иногда в светских произведениях, в произведениях литературы можно найти сценарии, например, инициации.

— Предшествующее поколение литературной критики, особенно в Соединенных Штатах, как вам известно, искало в современных ему романах темы инициации, жертвоприношения, мифические архетипы. Я считаю, что сакральное закамуфлировано в профанном — точно так же, как для Фрейда или Маркса профанное было закамуфлировано в сакральном. Я считаю, что вполне легитимно искать инициатические patterns

(образцы, модели) и обряды в некоторых романах. Но это особая проблема, и я очень надеюсь, что кто-нибудь ею займется: будет распознавать *камуфляж святого в мире, где святого нет.*

Труд историка

Метод: начинать с истоков

К.-А. Р. Я не буду, конечно, требовать от вас поэтапного обзора истории религий, даже в рамках нашего века: вы это сделали в «Ностальгии по истокам». Но мне хотелось бы знать, чем, по существу, вы обязаны вашим предшественникам, предыдущему поколению... «Структурализм» Дюмезиля вы без труда принимаете и отвергаете «структурализм» Леви-Строса?

М. Э. Да, я принимаю «структурализм» Дюмезиля, Проппа — и Гёте. Гёте, вы знаете, изучая морфологию растений, пришел к выводу, что все растительные формы можно свести к так называемому «первородному растению», и кончил тем, что идентифицировал это Urplanze с листом. Проппа так захватила эта идея, что в русском издании «Морфологии народной сказки» он каждой главе предпослал в качестве эпиграфа длинные отрывки из Гёте. Что до меня, то я, по крайней мере вначале, думал так: чтобы разобраться в этом океане фактов, фигур, ритуалов, религиевед должен в своей области искать «первородное растение», первообраз, то есть результат встречи человека со святым. Словом, мне кажется плодотворным тот «структурализм», который задается вопросом о сути некой совокупности феноменов, о первопорядке, лежащем в их основании. Я высоко ценю Леви-Строса — писателя, считаю его незаурядным мыслителем, но, поскольку его метод исключает герменевтику, для меня он бесполезен. <...>

— Какие были препятствия на вашем пути? Ваши самые большие сомнения, ваши колебания?

— Очень трудно одновременно писать романы и заниматься наукой. Когда я начинал, в Румынии, мои профессора и коллеги относились ко мне с некоторым недоверием. Они рассуждали так: автор романов, которые пользуются успехом, не может быть объективно мыслящим человеком. Только после опубликования на французском языке «Йоги» и благосклонных откликов крупных индологов они были вынуждены признать: то, что я делаю, по крайней мере серьезно... Впоследствии я часто медлил с переводом своих романов, чтобы они не подрывали кредит доверия к моему труду религиеведа и ориенталиста. Правда, сейчас, как ни парадоксально, именно университетский издательский дом собирается опубликовать в Америке перевод «Заповедного леса». Была и еще трудность: принудить себя к научной работе, когда ты во власти замысла — романа или рассказа. Я, конечно, продолжал читать лекции, но в это время был далеко...

— Вы говорите о трудностях. А сомнений относительно ценности ваших идей вы никогда не испытывали?

— «Сомнений», по правде говоря, не испытывал, зато страдал «перфекционизмом». Чтобы хоть отчасти объяснился мой подход к научной работе, надо принять во внимание, что я принадлежу к «малой, провинциальной культуре». Я всегда опасался, что недостаточно хорошо осведомлен. Поэтому я вступал в переписку с мэтрами и с коллегами, а лето проводил за границей в библиотеках. Если мне случалось встретить интерпретацию, отличную от моей, я бывал счастлив, что тот же феномен может восприниматься с различных точек зрения. Иногда вносил корректировки в детали уже написанного. Но я никогда не испытывал радикального сомнения, которое бы заставило меня отказаться от собственной гипотезы, от моего метода. То, что я писал, имело основой мой личный индийский опыт, опыт тех трех лет.

— Вы говорите: ваш метод... В чем он состоит?

— Первое правило. Брать лучшие источники: лучшие переводы, лучшие коммента-

рии. Тут я прибегаю к личным консультациям с коллегами и со специалистами. Это освобождает от чтения тысяч страниц малоинтересного текста. Впрочем, установка на основательное знание источников заставила меня посвятить лет семь-восемь изучению Австралии: было ощущение, что я сам смогу прочесть все необходимые документы — вещь для меня абсолютно невозможная в отношении Африки или американских племен.

Второе. Когда берешься за изучение архаической или традиционной религии, надо начинать с самого начала, то есть с космогонического мифа. Как произошел мир? Кто его сотворил? Бог? Демиург? Мифический предок? Или, может быть, мир уже был, а некое божество принялось его преобразовывать? Затем следуют мифы о происхождении человека и всех общественных установлений.

— Можно ли сказать, перефразируя известную формулу, что миф о начале есть начало мифов?

— Все мифы представляют собой варианты мифа о начале начал, потому что сотворение мира — это модель происхождения человека, растений, и к тому же модель соития и смерти, и всех человеческих заведений... У всякой мифологии есть начало и конец; в начале космогония, в конце — эсхатология: возвращение мифических предков или явление мессии. Историк станет воспринимать мифологию не как хаотическое нагромождение мифов, а как осмысленное целое — словом, как «святую историю». <...>

Ноев ковчег

К.-А. Р. Вы пишете, что главное событие XX века — это не пролетарская революция, а открытие неевропейца и его духовного мира... Тем самым подразумевается, что великой интеллектуальной революцией, способной, может быть, даже изменить историю, станет не марксизм, не фрейдизм — не исторический материализм и не анализ бессознательного, — а история религий...

М. Э. Я действительно так считаю; мотивировка проста: история религий затрагивает самое существенное для человека — его отношение с сакральным. История религий может сыграть крайне важную роль в наступившем кризисе. Кризисы современного человека носят по большей части *религиозный* характер — в той мере, в какой они являются осознанием отсутствия в жизни смысла. Когда у человека появляется чувство, что он потерял ключ к своему существованию, когда он больше не знает, зачем жить, тогда это целиком религиозная проблема, потому что только в религии — ответ на главный вопрос: в чем смысл существования?.. В этом кризисе, в этом дисбалансе история религий — как Ноев ковчег, груженный мифическими и религиозными традициями. Так что я вполне верю в царственную роль этой «всеобъемлющей дисциплины». «Научные публикации» составят резерв, в котором будут «закамуфлированы» все традиционные религиозные ценности и модели. Отсюда — мои постоянные попытки сделать очевидной знаковость религиозных фактов.

— Вы говорите о традиции, о ее передаче. Слово «традиция» вы пишете не с большой буквы? В этом отношении вам близки Генон или Абелльо[1] ?

— Рене Генона я прочел сравнительно поздно, и кое-какие из его книг меня очень заинтересовали, например, «Человек и его становление по веданте» — прекрасная, умная и глубокая книга. Но в ней присутствует одна досадная черта Генона — преувеличенная полемичность и резкое отвержение современной западной культуры в целом. Как будто достаточно преподавать в Сорбонне, чтобы потерять всякий шанс что-либо понять. Мне не нравится и его презрение к некоторым произведениям современного искусства и литературы. И этот комплекс величия, который подвигает его на мысль, что нельзя понять Данте иначе как в перспективе «традиции», а точнее — традиции Рене Генона. Но Данте — великий поэт, и, чтобы его понять, надо *любить* поэзию и прежде

[1] Рене Генон (1886—1951) — французский философ-эзотерик. Абелльо (Жорж Сулье, 1907—1986) — французский писатель..

всего глубоко знать его необъятный поэтический мир. Что касается традиции — или Традиции, — это предмет и сложный, и деликатный; я не решусь его обсуждать в ходе таких бесед, как наши, — общего характера, на вольные темы. В обиходе термин «традиция» употребляется во многих и разнообразных контекстах: применительно к социальным структурам и экономическим системам, к человеческому поведению и нравственным понятиям, к теологическим мнениям, философским постулатам, к научной ориентации и так далее. С «объективной» точки зрения, то есть учитывая документы, которыми располагает историк-религиевед, *все* архаические и восточные культуры, как и *все* городские и сельские общества, регламентированные одной из религий — иудаизмом, христианством, исламом, — суть «традиционные» в том смысле, что они являются хранителями *традиции,* некоей «священной истории», которая дает, с одной стороны, полное объяснение мира и оправдание участи человека, а с другой стороны — сумму образцов его поведения и деятельности. Подразумевается, что все эти образцы имеют сверхчеловеческое, или божественное, происхождение. Однако в подавляющем большинстве традиционных обществ некоторые знания считаются эзотерическими и как таковые передаются через инициацию. В наше время термин «традиция» часто относится только к эзотерике. Тот, кто декларирует себя адептом Традиции, дает понять, что прошел инициацию и обладает теперь тайным знанием. А это, в лучшем случае, иллюзия. <...>

Фигуры воображаемого

Религия, священное

К.-А. Р. Итак, священное — это краеугольный камень религиозного опыта. Однако оно отличается, например, от физического явления или от исторического факта, и его можно обнаружить только с помощью феноменологии, не так ли?

М. Э. Именно так. И вот что прежде всего: думая о священном, не надо сводить его только к божественным фигурам. Священное не подразумевает веру в Бога, в богов или в духов. Оно, повторяю, есть опыт некоей реальности и источник осознания бытия. Что такое это осознание, которое делает нас людьми? Не что иное, как результат того самого опыта священного, того самого разделения вещей на реальные и нереальные. Если опыт священного гнездится в сознании, то очевидно, что священное нельзя познать извне. Только через внутренний опыт каждый может узнать его в религиозных поступках христианина или первобытного человека.

— Сакральное противостоит профанному, и оно само амбивалентно: не только потому, что у него на одном полюсе — жизнь, на другом — смерть, но и потому, что оно и влечет, и устрашает. Таково, в общих чертах, содержание вашей книги «Сакральное и профанное» и вашего «Трактата по истории религий», в котором вы ссылаетесь на близкую вам мысль Роже Кайуа[1], из его книги «Человек и священное». Все это достаточно хорошо известно. Но во вступлении 1964 года к эссе «Сакральное и профанное» вы пишете: «Остается вопрос, который мы затронули лишь вскользь: в какой мере «профанное» может само по себе перейти в «сакральное»; в какой мере абсолютно обмирщенное, без Бога, без богов бытие способно стать отправным пунктом для «религии» нового типа?» Возьмем простой пример: мавзолей Ленина — вещь сакральная?

— Для историка-религиеведа вопрос, по сути дела, состоит в том, чтобы распознать замаскированное или искаженное присутствие священного в мире, который утверждает себя, и решительно, как профанный. У Маркса и в марксизме, например, проглядывают некоторые из великих библейских мифов: искупительная роль праведника, финальная, эсхатологическая, борьба между Добром (пролетариат) и Злом (буржуазия), венчаемая установлением Золотого века... Я не стал бы все-таки причислять мавзолей Ленина к

[1] Роже Кайуа (1913—1978) — французский писатель, ученый-антрополог.

разряду сакрального, даже если функция у этого революционного символа религиозная.

— А как же с обожествлением римского императора? С чем мы имеем дело в Риме — с проявлением священного в профанном, в светском или со священным в его архаических формах?

— И с тем и с другим: с архаикой и с новыми временами. Апофеоз императора по прямой линии восходит к идеологии Востока, касающейся роли вождей. Ответственность за порядок и благоденствие империи несет правитель, вождь, *император.* Он обеспечивает космический цикл, смену времен года и удачу — *фортуну.* Он воплощает в себе охранительный гений империи, как до него — цари Месопотамии и божественные фараоны.

— Кажется, в «Антимемуарах» Мальро спрашивает Мао Цзэдуна, знает ли тот, что он — «последний император», а «бронзовый император» отвечает утвердительно... В римском императоре вы видите сакральную фигуру наподобие императора Древнего Китая: связь между землей и небом, ответственность за миропорядок. В Ленине вы видите лишь отголоски сакрального. А что вы скажете о Мао Цзэдуне?

— Мао можно назвать последним императором. Он был хранителем и толкователем добротной доктрины, а в повседневной жизни — ответственным за мир в стране и за благополучие своего народа. Он был настоящим императором, почти мифологическим, воплощением архетипа. Он продолжил китайскую традицию. Сменился лишь словарь, функция осталась прежней.

— Но что же дает нам право делать разницу между последним императором Мао и последним царем Лениным? Мне кажется, что тут вы хотите провести грань между «истинно священным», которое имело бы связь с трансцендентным, и «псевдосвященным»...

— Это верно, что в современных политических идеологиях отсутствует связь с трансцендентным. Но из элементов священного остается все же базовое чувство ответственности, отличающее вождя, и мессианская надежда. Не знаю, какого мнения сам о себе был Сталин, но почитайте поэтов: они видели в нем солнце или «первого и единственного». Это образы, конечно, не трансцендентные, но, по крайней мере, сверхчеловеческие. Миф о Сталине несет в себе тоску по архетипу. Нет такой «деградации», которая не напоминала бы о чем-то более высоком, утерянном или смутно желаемом.

Миф, ритуал, инициация

К.-А. Р. Итак, сакральное — это сущность религиозного состояния. Не бывает религии без ритуалов, без мифов, без символов и, может быть, в первую очередь, без инициации — без обряда, которым человека посвящают в знание мифов и символов религиозной общины... Ритуалы, мифы, символы — как они связаны между собой?

М. Э. Вы резюмировали всю историю религий, и понадобились бы тома, чтобы вам ответить!.. В мифе излагается некая священная история, первое событие, которое произошло в начале времен и персонажами которого были боги или герои-цивилизаторы. Вот почему в мифе закрепляется абсолютная истина. Вот почему, повествуя о том, как произошла та или иная реалия, миф дает образцовую модель не одних только ритуалов, но и любых других важных сторон человеческой жизни: питания, отношений между полами, труда, обучения... А когда образцы даны, человек в своих каждодневных поступках подражает богам, повторяет их жесты. Я не раз приводил пример одного племени из Новой Гвинеи: в их единственном мифе заключены образцы всех действий, связанных с мореходством, от строительства судна и сопровождающих его табу на половые сношения до приемов рыбной ловли и до навигационных маршрутов. Рыбак, прибегая к ритуальному жесту, не просит помощи у Бога — он подражает Богу, уподобляя себя ему... Тут надо еще уяснить *экзистенциальную* ценность мифа. Миф отводит от человека страх, дает ему чувство безопасности. Полинезиец, который рискует жизнью в океане, ничего

не боится: он уверен, что, если в точности будет повторять действия своего предка или бога, удача естественно ему обеспечена. Эта вера — из числа тех сил, которые действительно дали человеку выжить. <...>

— Инициация задумана как церемония доступа к сакральному... Вы задавали себе вопрос, что заменило в нашем обществе инициацию, когда эта традиция отмерла? Только один простой вопрос: как рассказать детям о тайне полов и смерти?

— Сегодня лишена святости и демистифицирована не только тайна полов, но и сама смерть: мы ее игнорируем, отвергаем ее образ, ее идею. В таком обществе очень трудно посвятить детей в эти два великих таинства. У меня нет никакого ответа. Может ли ребенок сам понять, что такое смерть, как рождаются дети? Я не знаю, что́ тут следует делать, что́ говорить.

— Успех Кастанеды отчасти объясняется именно тоской по «традиционной» инициации. Как вы оцениваете его книги?

— Некоторые антропологи принимают его свидетельства, некоторые отвергают их достоверность. Его диссертация «Наставления колдуна племени яки» была хорошо принята в университете Лос-Анджелеса... Что меня заинтересовало, так это как он описывает сборище, на котором «курят». Он показывает, что важен не сам факт курения того или иного наркотика, а то, как и где это делается: в специальном, освященном, определенным образом расположенном месте; в соответствующем душевном состоянии и в присутствии учителя. В такой-то позе курящего посетит видение, а в такой-то — нет... Кастанеда высветил важность ритуала, ритуального — и даже философского — контекста принятия наркотика. Это стоит рассказать всем молодым людям, которые считают, что довольно надышаться дымом — и достигнешь блаженства. <...>

— Я вот думаю: за всеми этими соображениями, за внешностью профессора и автора многих ученых книг по истории религий не скрывается ли этакий румынский Артюр Рембо? «Белые высаживаются... Пушка... Ты должен покориться крещению... Языческая кровь дает о себе знать...» Нигде у вас я не нахожу ни следа досады, злобы. Ну а протест? Ваша любовь к дикарям не сопровождалась скрытой ненавистью к сильным и расчетливым, ко всем этим святошам, банкирам, полководцам, наемникам, ко всем этим доброхотам механического разума?.. Я пытаюсь представить вас двадцатилетнего в Бухаресте. Может быть, за этим умственным интересом к шаманам, ко всем колдунам мира, ко всем нищим провидцам скрывается румынский собрат Рембо?

— В глубине души, может быть, у меня и живет протест против некоторых агрессивных форм обладания, власти и силы, приобретенных с помощью техники. Но прежде всего я усматривал в мистиках и в тех, кто способен на вдохновение и экстаз, присутствие первоисточников религии, искусства, метафизики. Я всегда был убежден, что понять эти грани истории духа, обычно не принимаемые в расчет, означало бы не только обогатить науку, но и дать толчок обновлению и развитию творческого потенциала нашего общества и в нашу эпоху. <...>

Миф и письмо

Миф, литература, мудрость

К.-А. Р. Миф, литература — вы сближаете эти термины не только под углом истории. Размышляя над своими религиеведческими изысканиями, вы записываете 15 декабря 1960 года: «В сущности, то, чем я занимаюсь пятнадцать с лишним лет, не вовсе чуждо литературе. Может быть, на мои исследования когда-нибудь посмотрят как на попытку отыскать забытые истоки литературного вдохновения».

М. Э. Известно, что литература, устная или письменная, — дочь мифологии и в некотором смысле унаследовала круг ее обязанностей: рассказывать *истории*, оповещать о том *знаменательном*, что происходит в мире. Но почему так уж важно знать, что́ при-

ключилось, например, с такой-то маркизой, которая пьет свой чай в пять часов пополудни? Видимо, всякий рассказ, даже о самом банальном, продолжает мифические истории, объясняющие, как произошел мир и как сложилась та жизнь, что мы сегодня знаем. По-моему, наш интерес к историям — это часть нашего способа быть. Истории отвечают нашей потребности знать, что где происходит, кто что сделал и кто на что способен: здесь и риск, и авантюра, и начинания. Мы не каменные, мы не цветы, мы не насекомые, чья жизнь предопределена. Мы — существа авантюрные. И человек никогда не откажет себе в удовольствии слушать истории.

Карандашный портрет Мирчи Элиаде, выполненный художником Береа, 1963 г.

— Вам приходилось сближать австралийские мифы с «Улиссом» Джойса. 7 марта 1963 года вы записываете: «Мы — как австралийцы, нас переполняет восхищение, когда Леопольд Блум заходит в бистро и заказывает пиво». Не значит ли это, что человеку, дабы прийти к себе, нужно зеркало, знак, слово, и что, в конечном счете, он начинает жить, только дав волю воображению?

— Пожалуй... Человек становится самим собой, когда узнает в чем-то *свою* историю.

— Литература перенимает роль мифа. Нельзя ли сказать, что вместе с изобретением письменности миф умирает, а литература появляется на свет?

— Сначала скажем, что прежде литературы появляются *Писания*. А на ваш вопрос я отвечу, что вместе с изобретением письменности исчезает разве что очевидный универсум мифа. Вспомните средневековые романы, например о поисках Грааля, ведь это явное продолжение мифа на письме. Письменность не разрушает мифотворчества.

— Вы говорите: превыше всего — истории. И в «Дневнике» вы крайне строги к некоторым видам современной литературы и искусства. Вы причисляете к одной и той же категории философский нигилизм, политическую и нравственную анархию и абстрактное искусство.

— Абстракционизм кажется мне в высшей степени антигуманным. Быть человеком — значит искать смысл, ценность, выдумывать их, переиначивать, строить прожекты. Поэтому триумф бессмыслицы, когда его прокламирует искусство, кажется мне бунтом против человека. Это иссушает, выхолащивает — и какая скука! Я могу принять стерильность, скуку, монотонность, но только как духовное упражнение, как подготовку к мистическому созерцанию. В таком случае все это имеет смысл. Но когда предлагают абстракцию как объект «созерцания» и эстетического удовольствия, я такого не приемлю, все во мне восстает. Я понимаю, что иногда это сигнал тревоги, которую подают художники в знак протеста против бессмыслицы, отличающей нашу теперешнюю жизнь. Но до бесконечности повторять один и тот же прием и тем самым только тиражировать бессмыслицу — мне это неинтересно.

— Вы точно так же не приемлете и безобразного в искусстве. Если вспомнить, например, что вы говорите о Фрэнсисе Бэконе...

— Я могу понять, зачем ему нужно было искать безобразное как объект для творчества, но не без чувства протеста, потому что безобразное мы видим вокруг, везде, и сегодня больше, чем когда бы то ни было. Зачем же умножать меру безобразия? Мы и так погружаемся в него все глубже...

— Если литература, переставая «рассказывать истории», порой удаляется от того, что вы считаете самым насущным для человека, то, может быть, в кинематографе, напротив, миф занял подобающее ему место?

— В кинематографе действительно еще есть простор для представления мифов, причем они великолепно камуфлируются: не только под формой обывательского, но и упадочнического, тронутого тленом. Кино до того искусно работает с символом, что мы его просто не видим, он дается как остаточное ощущение.

— Какие фильмы, чью режиссуру вы прежде всего имеете в виду?

— Я слишком редко хожу в кино последние годы, чтобы ответить вам как подобает. Ну скажем, «Клоуны» Феллини. По таким фильмам видно, что у кинематографа богатые возможности осовременивать великие мифологические темы и давать свежее выражение важнейшим символам.

— Я мог бы угадать, какие книги вы бы не взяли с собой на необитаемый остров. А скажите, какие бы взяли?

— Несколько романов Бальзака, несколько — Достоевского, вторую часть «Фауста» и автобиографию Гёте... Биографию Миларепы и его стихи (это больше, чем стихи, это чары...), Шекспира, конечно... Новалиса и кое-кого из немецких романтиков. И разумеется, Данте... Я упоминаю те имена, что первыми приходят на ум; очевидно, есть и другие.

— Вы не упомянули Библию. Ее вы читаете только как историк?

— Я чрезвычайно люблю Екклесиаст. И, как у каждого, у меня есть свои любимые псалмы. Новый Завет я люблю весь. Наши современники обычно отдают предпочтение Евангелию от Иоанна, а я люблю все четыре Евангелия и некоторые из посланий апостола Павла. Апокалипсис интересует меня как документ, но он не из самых моих любимых вещей. Потому что известны и другие апокалипсисы — иранские, еврейские, греческие... Конечно, Библию можно читать по-разному. Можно — как это делает христианин, верующий, а скорее, тот, кто напоминает себе, что он должен быть верующим и христианином: это как-то легко забывается. Потом можно читать с позиций историка. А еще как непревзойденный образец литературы.

— Судя по одной записи в вашем «Дневнике», вы много раз читали и перечитывали «Бхагавадгиту».

— Это одна из тех великих книг, на которых я воспитывался. Каждый раз я нахожу в ней что-то новое, глубокое. Очень умиротворяющая книга, потому что там Кришна открывает Арджуне все возможности спастись, то есть найти смысл жизни... И я считаю, что в ней — замыкающее звено индуизма, синтез индийской духовности и всех ее путей, всех ее философий и способов спасения. Там главный вопрос таков: чтобы «спастись» — в индуистском смысле, — чтобы освободиться от этого мира зла, должен ли ты непременно уйти от жизни, от общества и удалиться в леса, как *риши* из упанишад, как йогины? Должен ли ты посвятить себя целиком мистическому поклонению? Так вот, Кришна объявляет, что каждый, занимаясь своей профессией, может попасть к нему, обрести смысл существования, вызволить себя из порочного круга иллюзий и искушений... Каково бы ни было призвание человека, он может спастись. Не одним только мистикам, философам или йогам доступно избавление, но и человеку действия, который остается в мире при условии, что он будет поступать согласно образцу, предлагаемому Кришной. Я сказал, что это умиротворяющая книга, но она к тому же дает оправдание бытию в истории. Считается, что индийский дух порывает с историей. Это верно, но не для «Бхагавадгиты»... Готовилась великая битва, и Арджуну охватили сомнения, потому что он знал, что придется убивать, то есть совершать смертный грех. И тогда Кришна открыл ему, что все может быть по-другому, если он не будет преследовать личную цель — убивать из ненависти, из выгоды или чтобы почувствовать себя героем... Все может быть по-другому, если забыть о своей личности и отнестись к битве как к делу, которое совершается во имя бога, во имя Кришны и — по потрясающей формуле: если «отказаться от плодов содеянного». На войне «отказаться от плодов содеянного» означает отказаться от

плодов *жертвы*, которую ты приносишь как ритуальную, когда убиваешь или погибаешь сам. Только так мы можем вызволиться из инфернального цикла кармы: наши поступки перестают быть семенем других поступков. Вы, конечно, знаете кармическую доктрину универсальной связи причин и следствий: все, что мы делаем, когда-нибудь отзовется; один жест влечет за собой другой... Так вот, если в разгар деятельности, даже на войне, не думать о себе, «отказаться от плодов содеянного», этот адский цикл причины и следствия упраздняется.

— «Отказаться от плодов содеянного» — это правило, которое вы приняли?

— Надеюсь. Так я себя воспитал, я усвоил такую позицию и нахожу ее очень гуманной и очень плодотворной. Я считаю, что нужно действовать, следовать своему призванию — но не думая о награде.

— Меня тронуло в вашем «Дневнике» то место, где вы рассказываете, как вас будила препротивным мяуканьем какая-то кошка; и вы говорите, что путь заключается в том, чтобы...

— Чтобы любить. Да, так оно и есть. И так говорил Христос. Это, может быть, главный принцип всякой аскезы, но прежде всего это путь, который указывает Христос. Только находясь на такой позиции, можно вынести зло, хотя какое там зло — бедная кошка!.. Но вообще отвечать любовью на то, что вас раздражает и вас терроризирует. И тем самым находить ему оправдание...

— Вы пишете, что вдруг представили себе вредную кошку как несчастное существо, и тогда (но такое с вами случилось не в первый раз) вы почувствовали полную перемену в себе; и что это именно то знание, которое вы усвоили от ваших духовных учителей.

— Совершенно верно. И потом я был счастлив, что какая-то кошка напомнила мне о великом уроке, усвоенном мной от «духовных учителей» и от Иисуса Христа. Какая-то кошка — а вот поди же!

— Когда я вижу людей, до которых мне далеко, я начинаю думать: как им удается преодолеть в себе ненависть, отвращение или досаду — это «благодать» или работа над собой?

— Мне трудно вам ответить. Я знаю, что этого состояния можно достичь трудом, так сказать, духовного порядка, есть и методика — аскеза в своем роде. Но, конечно, «благодать» играет очень важную роль.

— А вам она была дана от рождения или пришлось бороться, чтобы воспитать в себе невозмутимость перед лицом агрессии?

— Мне пришлось побороться! И немало — по моим ощущениям. Для кого-то, для какого-нибудь святого, это, может быть, были бы пустяки... Главное, что труд этот приносит плоды. Он обогащает, и в тебе, как следствие, происходят перемены.

— Ну а причина? Что вас заставило бороться с естественными реакциями, которые состоят в том, чтобы отвечать ударом на удар?

— Во-первых, то, что я чувствовал себя — как прекрасно говорят индуисты — рабом, заложником инстинкта. Я чувствовал себя следствием ряда причин — физиологических, психологических, социальных... Отсюда протест — может быть, тоже естественный — против обусловленности. Когда обусловленность осознается, это угнетает. И тогда, чтобы «разобусловиться», я должен был поступить вопреки тому, что велела мне *карма*. Я должен был разорвать цикл связей.

Animus и *anima*[1]

К.-А. Р. Вы — человек науки. Науки о мифах. И вы — романист, то есть вы придумываете истории, творите вымышленные миры. По вашему «Дневнику» разбросаны сви-

[1] *Animus* и *anima* — по теории Юнга, два архетипа, существующие в человеческой психике. Первый представляет идеальную мужскую модель, которая присутствует в женской психике. Второй — идеальную женскую, присутствующую в мужской. В своей неосуществленной любви человек ищет эти идеалы.

детельства того, как трудно ужиться в вас этим двум личностям. Некоторые трудности носят внешний характер: в Румынии слава писателя вначале затмевала ваши научные успехи. Другие трудности — внутреннего порядка..

М. Э. Никто не может жить одновременно в двух духовных мирах: дневном и сновидческом. Начиная писать роман, я вступаю в мир, где своя временна́я структура и где мои отношения с персонажами основаны на фантазии, а критический взгляд отключен. Часто, когда надо было во что бы то ни стало закончить работу, над которой я много времени трудился в библиотеках, на меня вдруг накатывал сюжет рассказа или романа. Чтобы удержаться в дневном мире, мне приходилось бороться с собой. Мои попытки охарактеризовать мировоззренческую концепцию «религиозного человека», попытки помочь современникам понять свое назначение, вернуть жизни смысл — словом, мои труды историка и герменевта идут в ущерб моему писательскому труду.

— Однако, зная наизусть мифы, их игру и смысл, который в них вкладывается, разве можно разом забыть все это и отдаться на волю творческого невежества?

— Позвольте я расскажу вам один случай, чрезвычайно показательный. Это было в тридцать седьмом году, я еще жил в Румынии. У меня было туго с деньгами, и я решил написать небольшой роман. Мой издатель выдал мне аванс с условием, что я представлю рукопись через пятнадцать дней. И вот днем я занимался разными делами в университете, а ночью по два-три часа писал «Змея». Как обычно в моих фантастических историях, все начиналось в обыденной, банальной обстановке. Потом — какой-то персонаж, один жест — и мир неуловимо меняется. На сей раз это была змея, появившаяся в сельском доме, где собрались действующие лица... Я садился писать каждую ночь, не зная ничего наперед. Я видел начало, а после мало-помалу открывалось продолжение. Я, разумеется, много чего знал о символике змеи. Я даже написал статью о ее ритуальной роли, и у меня под рукой была целая библиотека на эту тему, но я не испытывал ни малейшего искушения подбирать по книгам какие бы то ни было детали. Через пятнадцать дней роман был готов. Читая гранки, я поразился связности и последовательности сюжета. Ведь я каждую ночь в три часа выставлял за дверь пачки исписанных листков, чтобы утром их забрал в типографию мальчик-курьер. Но что поразило меня еще больше: в моем «Змее» я не обнаружил ни одного из главных символов, которые я так хорошо знал. Ни крупицы моей науки не перешло в этот плод воображения. Так что его символизм, который не повторяет никаких известных вещей, получился достаточно темным и, кажется, удался с литературной точки зрения. Когда ты одержим сюжетом, внутреннее зрение, бесспорно, питается всем, что в тебе есть, но это не связано напрямую со знанием мифов, обрядов и символов. Когда пишешь, все, что знаешь, забывается...

— Вам пишется легко?

— Когда приходит, так сказать, «вдохновение», а скорее, одержимость, тогда я работаю быстро, почти без помарок, и очень мало правлю. Пишу иногда по двенадцать-тринадцать часов в день. Двадцать пять страниц без передышки, а когда и тридцать—сорок. Потом вдруг — стопор. Тогда я выжидаю — несколько недель или гораздо дольше. Но не всегда работа так спорится. Над некоторыми страницами «Заповедного леса» мне пришлось побиться.

— Вы ночной писатель?

— Был — лет до сорока. Я садился за работу часов в девять и раньше четырех утра не кончал. Теперь не так. Эрнст Юнгер тоже меня об этом спрашивал. По его представлениям, можно работать либо утром, либо вечером. По-моему, я его удивил, сказав, что последние десять-двенадцать лет пишу после обеда. Ночью я работаю, но не пишу. За исключением, конечно, тех дней, когда на меня «накатывает». Тогда я пишу днем и ночью.

— Вы думаете о том, как лучше «употреблять время»?

— Я себя достаточно хорошо дисциплинировал в юности. Каждое утро собирался с мыслями, намечал программу: столько-то часов учить новый язык, столько-то — кончить книгу... Сейчас все несколько по-другому.

— Когда вы задумываете роман, с чего все начинается?

— План я написать не способен. Я всегда отталкиваюсь от какого-нибудь зрительного образа, от какого-нибудь пейзажа или диалога. Я очень хорошо вижу начало, иногда финал, и постепенно, в ходе самой работы, вырисовываются события и ткань романа или рассказа. В случае с «Заповедным лесом» началось с главного героя. Он гулял в лесу под Бухарестом за час до полуночи в Купальскую ночь и наткнулся на машину, а потом на молодую девушку — без машины. Я стал ломать себе голову: кто эта девушка? И почему прогуливающийся персонаж искал подле девушки машину? Мало-помалу я узнал, кто эта девушка и всю ее историю. Но началось с видения. Я все это увидел как во сне.

— Но откуда вы узнали, что у вашего видения должно быть будущее?

— Я просто ни о чем другом не мог думать и гадал, что же будет дальше. Я тогда работал над книгой о шаманстве, пришлось ее отложить, потому что я начал писать как оголтелый, день и ночь напролет. Появились другие образы. Эта девушка. Загадка, которую нес в себе главный герой и которую меня непреодолимо тянуло узнать. Его «тайная комната» в отеле. И Купальская ночь.

— Купальская ночь... 5 июня 1949 года вы записываете: «Я вдруг вспомнил, что ровно двадцать лет назад удушливо-жарким калькуттским летом я написал главу «Сон в летнюю ночь» для «Изабель». Тот же сон в канун солнцестояния, только с другой структурой и на других уровнях, лежит в центре «Купальской ночи». Неужели это простое совпадение? Миф и символ солнцестояния преследуют меня много лет. Но я забыл, что началось это еще с «Изабель».

— Меня интересовал не один только религиозный символизм солнцестояния: образы и темы румынского и европейского фольклора — тоже. В эту ночь приоткрываются небеса, можно увидеть, что́ там, за ними, можно самому исчезнуть... Кому будет это чудесное видение, тот выходит из времени, выходит из пространства. За один миг он проживет вечность... Но меня захватывал даже не смысловой символизм этой ночи, а эта ночь сама по себе.

— Иван Купала делит год надвое: день перестает расти и начинает идти на убыль. Это пик года. В конце книги приводятся первые строфы из «Божественной комедии»: «Nel mezzo del camin di nostra vita / Mi ritrovai per una selva oscura...[1] Какую связь вы проводите между солнцестоянием, серединой жизни и этим изначальным лесом? И как соотносятся темы середины и раздвоенности: два персонажа-«близнеца» и две женщины, между которыми маятником ходит герой?

— Лес, по которому блуждает Штефан, — тот же, в котором заблудился Данте. Штефан блуждает, а скорее, входит в другой мир понятий, одновременно оставаясь в истории. Время делится напополам: середина года, середина его жизни. Разделительная черта между двумя мирами: историческим и другим. Что же касается темы раздвоенности... Штефан одержим вопросом: можно ли любить двух женщин сразу? Он чувствует, что нельзя — для таких, какими мы привыкли себя видеть. Но с другой стороны, его преследует мысль о существовании мира, в котором планка наших возможностей гораздо выше. Он прекрасно понимает, что он не святой и даже, в общем-то, неверующий, но он часто размышляет о святости: святые — они способны любить *весь мир разом.* Этим и объясняется присутствие двух женщин. Мне труднее ответить на вопрос о двух мужских персонажах. Один психоаналитик, доктор Лафорг, усматривал некий важный смысл в смерти «двойника», вина за которую косвенным образом ложилась на Штефана. Я придумал этого «двойника», чтобы усложнить сюжет, — вот все, что я могу сказать. Мне надо было, чтобы Штефан присутствовал в мыслях его жены еще до их встречи.

— Этот вопрос, можно ли любить по-настоящему двух или нескольких человек одновременно, — он для вас важен?

— Лично для меня — нет. Меня интересовало, можно ли преодолеть потолок обыч-

---

[1] Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу. (*Перев. М. Лозинского.*)

ных возможностей. Если да, значит, человек может превзойти человеческое. На языке нашего нынешнего профанного мира это означает, что никому не возбраняется мечтать о любви к двум женщинам сразу. Я выбрал такую ситуацию, потому что она доступна для понимания каждого из нас.

— Об этом мечтает часть американской молодежи: отказаться от моногамии...

— Это ностальгия по раю на низшей ее ступени. Желание отменить законы и структуры, на которых строится всякое общество, упразднить их, чтобы пережить райское состояние. Правда, хиппи тоже хотели, как и мой Штефан, превзойти обусловленность человеческого бытия.

— Путь в рай — или к счастью — ведет через «плюрализм» в любви или через любовь уникальную, «безумную»?

— Скорее через «безумную», единственную. Через страсть патетическую, которая так много дает человеку.

— Вам, кто обошел столько континентов духа, кто наблюдал такие разные нравы, — вам представляется, что мужчина и женщина находят свой путь в моногамии?

— Мы можем любить много раз за жизнь, но не в одно и то же время. Можно заниматься любовью — это другое дело...

— Любить двух женщин, любить их одновременно — это значит перевоплотить сразу и любовь и время. Ваш роман кончается следующей фразой: «Он знал, что этого последнего мига, протяженностью в бесконечность, хватит ему навсегда». Напоминает волшебный миг Купальской ночи. И через голову исторического времени ваш роман отсылает ко времени космическому, ко времени, которое в традиции называется «Великий Год».

— Да, это двенадцать тысяч лет, которые здесь укладываются в двенадцать: с 1936-го по 1948-й. У меня была амбиция написать маленькую «Войну и мир». Но я хотел в этом историческом времени расположить обыкновенного человека, который служит, женат и имеет ребенка и которого почему-то преследуют странные желания: любить сразу двух женщин, устроить себе тайную комнату... Я хотел примирить своего рода исторический реализм со стремлением быть не как все — у персонажа, который не философ, не поэт и даже не верующий человек; это ставило передо мной очень трудную задачу. Но это же и раззадоривало.

— До такой степени, что за обычной, банальной повестью о молодом человеке из Румынии тридцатых годов нам приходится расшифровывать судьбу, полную смысловых фигур. Как будто за чертой видимого в наших жизнях есть какой-то тайный порядок...

— Я в своих сочинениях всегда пытаюсь закамуфлировать фантастическое повседневным. В этом романе, где соблюдены все правила жанра, то есть романа XIX века, я хотел в скрытом виде подать символический смысл человеческой участи. По-моему, камуфляж мне удался, поскольку мой символизм ничуть не нарушает эпический ход сюжета. Я думаю, что трансисторическое всегда замаскировано под историческое: необычное — под обыкновенное. Олдос Хаксли говорил о том зрении, которое пробуждается ЛСД, как о «visio beatifico»[1]: он видел формы и краски наподобие того, как Ван Гог видел свой знаменитый стул. Совершенно очевидно, что эти пепельно-серые будни, эта обыденность что-то собой прикрывают. Таково мое глубочайшее убеждение. Надо пытаться передать это в стопроцентном романе, а не только в фантастических сочинениях.

— Я знаю, что вы не очень жалуете научную фантастику. А разве она не принадлежит «фантастическому»? Судя по вашему Дневнику, будущее литературы — за фантастикой, потому что она может вернуть современному человеку вкус к смыслу. Каково, если сформулировать точнее, ваше отношение с «фантастическому»?

— Во всех моих вещах действие развивается в нескольких планах, чтобы постепенно вылущивать «фантастическое», скрытое в банальной повседневности. Точно так же, как новая аксиома открывает некоторую структуру реальности, до той поры не известную,

[1] Блаженное видение (*лат.*).

— иначе говоря, *закладывает* новый мир, — так фантастическая литература открывает, а скорее, *творит* параллельные миры. Речь идет вовсе не о бегстве от жизни, которое видят в ней некоторые философы, потому что творчество — на всех уровнях и во всех смыслах слова — это неотъемлемая черта способа человека быть.

Писать свою жизнь

К.-А. Р. В вашем «Дневнике» виден глубокий интерес к дневникам как жанру — к дневнику Грина, например, или Шарля дю Боса...

М. Э. Мне очень нравится читать дневники. Нравится прослеживать мгновения, пережитые когда-то их авторами. Из-за этой страсти спасать время я сам веду дневник. Спасать — краткой или более пространной записью — эфемерные моменты... надо еще иметь и «призвание к дневнику», как у Жюля Верна, Андре Жида, у Юнгера, Грина. Не всякая стопка «блокнотов для записи» есть дневник.

— По каким соображениям вы опубликовали выдержки из вашего дневника?

— Мне хотелось спасти часть блокнотов, которые я вожу с собой и которые, случается, теряю. Кроме того, там были кое-какие полезные наблюдения, планы, проекты. Я чувствовал, что не успею написать обо всем эссе. Публикуя дневник, я как бы нашел средство обнародовать эти наблюдения, заметки и завести дискуссию.

— Вы человек очень сдержанный, закрытый, чтобы не сказать скрытный. Для вас не было проблемой появиться перед публикой с иной стороны? Может быть, это сродни испытанию, какие устраивал своим ученикам Франциск Ассизский, когда заставлял их голыми идти через весь город? Такая ваша публикация не была в чем-то жертвенной? И не было ли это подготовкой к «другому рождению»?

— Жертвенность была в этом поступке действительно. Я прикидывал меру риска и даже опасности. Но и ощущал это как необходимость больше не маскировать свое онирическое, аристократическое начало. Мне хотелось воспротивиться академическому предрассудку, такому стойкому в англосаксонских странах, да даже и в Америке, — предрассудку, который велит свысока смотреть на работу литературного воображения. Как будто спонтанное, свободное творчество не имеет никакой ценности в сравнении с чисто научной деятельностью. Глубоко укоренившийся предрассудок. Мне приходит на ум высказывание одного из самых крупных американских мыслителей, Броновского, занимавшегося философией науки. Он считал, что путь к открытию новой аксиомы нельзя пройти чисто механически. «Это свободная игра духа, изобретательства за пределами логики. Именно тут видно действие воображения в науке, оно со всех точек зрения напоминает подобное же действие в литературе».

Броновский написал это для «American Scientist» в статье «Логика ума» весной шестьдесят шестого. Так что современная наука давно открыла неоценимую роль имагинативного акта в процессе познания. И я выступаю против псевдонаучного позитивизма эрудитов, по которому литературное творчество — всего лишь игра, никак не связанная с актом познания. Я уверен в противном.

— Ваш «Дневник» был воспринят очень тепло...

— Это правда. Я получил внушительное число писем от специалистов и по английской, и по всемирной литературе. Вот что мне писали, например: «До сих пор ваши книги по символизму помогали мне в моих занятиях герменевтикой. Я прочел ваш «Дневник» — и узнал, кто произвел инструменты, которыми я пользуюсь для изучения литературы. Меня поразило, что этот человек — к тому же писатель, что его интересует литературный процесс...» Эта публикация вывела меня на новые и очень приятные отношения с моими читателями. Я даже не ожидал.

— Где-то в «Дневнике» вы говорите: «Что я должен сейчас написать любой ценой, отложив всякую другую работу, — так это автобиографию». Автобиография еще не завершена?

— Нет, я остановился на начале войны. Первая часть была опубликована по-румынски, но не в Румынии. Вторая, за исключением нескольких фрагментов, не издавалась. Автобиографию я написал, чтобы дать свидетельские показания. Я прожил период, который теперь называют «дореволюционным», «буржуазным» в Румынии, и, читая некоторые статьи и даже отдельные издания, увидел, что они дают искаженное представление об эпохе, только негативную сторону. Мне захотелось рассказать мою собственную историю: про учебу в школе, в лицее. Как можно объективнее. Кроме того, речь идет об эпохе, канувшей в прошлое, о людях, которые ушли: Дасгупта, Тагор, Ортега... Так что я, в сущности, написал биографию из чувства личного долга. Для моих друзей в будущем.
<...>

Смысл лабиринта

К.-А. Р. Вы часто сравнивали жизни, вашу жизнь, с лабиринтом. Что бы вы сказали сегодня о смысле этого лабиринта?

М. Э. Лабиринт — это иногда магическая защита некоего центра, некоего сокровища, некоего тайного знания. Проникновение в него может быть инициатическим ритуалом, как видно по мифу о Тезее. Такой символизм является моделью любого жизненного пути, который через многочисленные испытания ведет человека к его собственному центру, к самому себе, к *атману*[1], если употребить индийский термин... Мне много раз чудилось, что я выхожу из лабиринта, что я нашел нить. Когда я чувствовал отчаяние, угнетенность, когда я не знал пути, я, конечно, не говорил себе: «Я заблудился в лабиринте», — но всегда это кончалось чувством, что я вышел из него с победой. Каждому известен такой опыт. Надо еще добавить, что жизнь не ограничена одним-единственным лабиринтом: испытание повторяется вновь и вновь.

— Вы добрались до вашего центра?

— Я не раз был уверен, что прикоснулся к нему, а прикоснувшись, многому научился и узнал себя. Потом я снова терялся. Такова наша участь. Мы не ангелы и не герои. Когда человек достигает своего центра, он становится богаче, его сознание растет вширь и вглубь, приходит ясность, проступает смысл. Но жизнь идет дальше, и вот снова лабиринт, снова испытания — другого порядка, на другом уровне... Взять даже и эти беседы — чем не лабиринт у меня на пути?

— Вы упомянули о моментах, когда вы «узнавали себя». Это не то, о чем говорит суфийская традиция или дзэн-буддизм? Человека приглашают посмотреть на себя, каким он был, прежде чем родился, или на ангела, скрытого в нем... Как выглядели вы, когда узнали себя? Вы предпочитаете умолчать об этом?

— Да.

— В «Дневнике» вы приводите одно ваше впечатление: был миг, когда вас осенило, вы увидели вашу жизнь как непрерывное целое и во всей ее глубине.

— Это опыт, который повторялся со мной много раз, он очень важен: найти себя и найти смысл своей жизни. Мы обычно проживаем жизнь отрывочно. Как-то в Чикаго, проходя мимо Института востоковедения, я ощутил непрерывность своей жизни, которая начинается с отрочества и продолжается в Индии, Лондоне и так далее. Этот опыт очень воодушевляет: чувствуешь, что не терял время даром, не распылялся зря. Все увязывается вместе, даже и те периоды, которые я считал незначительными (как, например, военная служба) и о которых забыл, — все сходится воедино, и ты вдруг видишь, что тебя вела определенная цель — orientatio.

— Значит, злого начала вы не видели?

— Я, конечно, вижу достаточное число ошибок, недостатков, даже провалов. Но зло? Нет, честно говоря. Правда, может быть, я не даю себе его видеть.

---

[1] Атман — индивидуальное духовное начало, одно из центральных понятий индийской философии.

— Что вы думаете сегодня о своем творчестве?

— Я люблю похвастаться, что нахожусь еще только на середине пути. Мне еще многое надо сделать. Но чтобы судить о том, что я написал, надо брать мои книги в целом. Если у них есть какая-то цена, какой-то смысл, то видно это, только когда собрано воедино все написанное. Бальзак, например, — это не «Отец Горио» и не «Кузен Понс», как бы замечательны ни были эти книги. Бальзак — это «Человеческая комедия». Только творчество Гёте в целом дает нам настоящее представление о Гёте, а не один «Фауст». И если я посмею хоть на миг поставить себя рядом с этими исполинами, то скажу, что лишь все мои сочинения, вместе взятые, могут раскрыть значение моей работы. Я завидую писателям, которые реализуют себя в одной поэме или в одном крупном романе. Завидую не только гению Рембо или Малларме, но и, например, Флоберу, который полностью проявил себя в «Воспитании чувств». Я, к сожалению, не написал ни одной книги, которая представляла бы меня целиком. Некоторые из моих книг написаны, бесспорно, лучше, плотнее, яснее, некоторые — полны повторов и, может быть, удались лишь отчасти... Но скажу еще раз: смысл моей жизни, всего, что я сделал, не различить, если не брать это как целое. А собрать все очень трудно: часть моих книг написана по-румынски — значит, недоступна на Западе, другая часть, написанная по-французски, недоступна в Румынии.

— Вы думаете, наши беседы могли бы помочь увидеть это целое?

— В ходе этих бесед я столкнулся с препятствиями не только языковыми, но и внутреннего порядка. Неожиданно для себя я пережил некоторые важные моменты своей жизни, своей юности. Случалось, что ваши вопросы заставляли меня еще раз продумать те или иные проблемы. В некотором смысле вы принудили меня перебрать бóльшую часть моей жизни. Может быть, слишком большу́ю?.. Это рискованно... Не всегда удается достаточно глубоко войти во все, что говоришь. Так или иначе, мне любопытно будет прочесть текст. Я заранее подтверждаю все, что я сказал, — не касаясь вопросов формы, — но все же позволю себе оговорить один пункт: я, по моим ощущениям, отвечал вам недостаточно ясно и определенно. И пусть мои слова воспринимаются такими, какие они есть — импровизацией, первым, что пришло на ум. Все остается открытым. Все можно пересмотреть. Ответы я давал верные, но неполные. Можно было бы что-то подчеркнуть, что-то добавить. Это — в природе подобных диалогов. У Ионеско, я думаю, было такое же ощущение после аналогичных бесед. Да, пусть все остается открытым... И как после всякого неожиданного переживания, передо мной оказалась более широкая перспектива, чем та, что была. Я обдумываю теперь очень интересные вещи, а несколько недель тому назад они даже не приходили мне в голову. Когда мы приступали к этим беседам, я знал, что мне надо кое-что сказать — но вовсе не то, что сегодня у меня в мыслях. Открытость будущему — вот образ, который мной владеет сейчас.

— Чтобы довести до успешного конца столько трудов, сколько вы имеете за спиной, вам, бесспорно, понадобилось много сил. Где вы их черпаете? Вам известно, что́, в сущности, помогло вам все это воплотить?

— Не знаю даже, что вам ответить. Ну, скажем, судьба.

— Я все время откладывал вопрос о божественном, не желая вас смутить...

— Некоторые вопросы в самом деле представляют такую большую важность для самой моей жизни и для читателя, который ими занят, что я не смог бы должным образом трактовать их в простом разговоре... О проблеме божественного, которая есть центр всего, я бы поостерегся говорить мимоходом. Надеюсь, что когда-нибудь я изложу свои мысли связно и на письме.

— Ваш уход от ответа не объясняется ли отчасти нежеланием выступать в роли духовного учителя?

— Я определенно не вижу себя духовным учителем или гуру. Для других я даже не проводник, я только спутник — спутник, который идет, может быть, чуть впереди. Это тоже одна из причин, по которым я не решаюсь импровизировать на некоторые сущностные вопросы. Я хорошо знаю, во что верю, но это не выскажешь в нескольких фразах.

— Вы часто говорите о реальном.

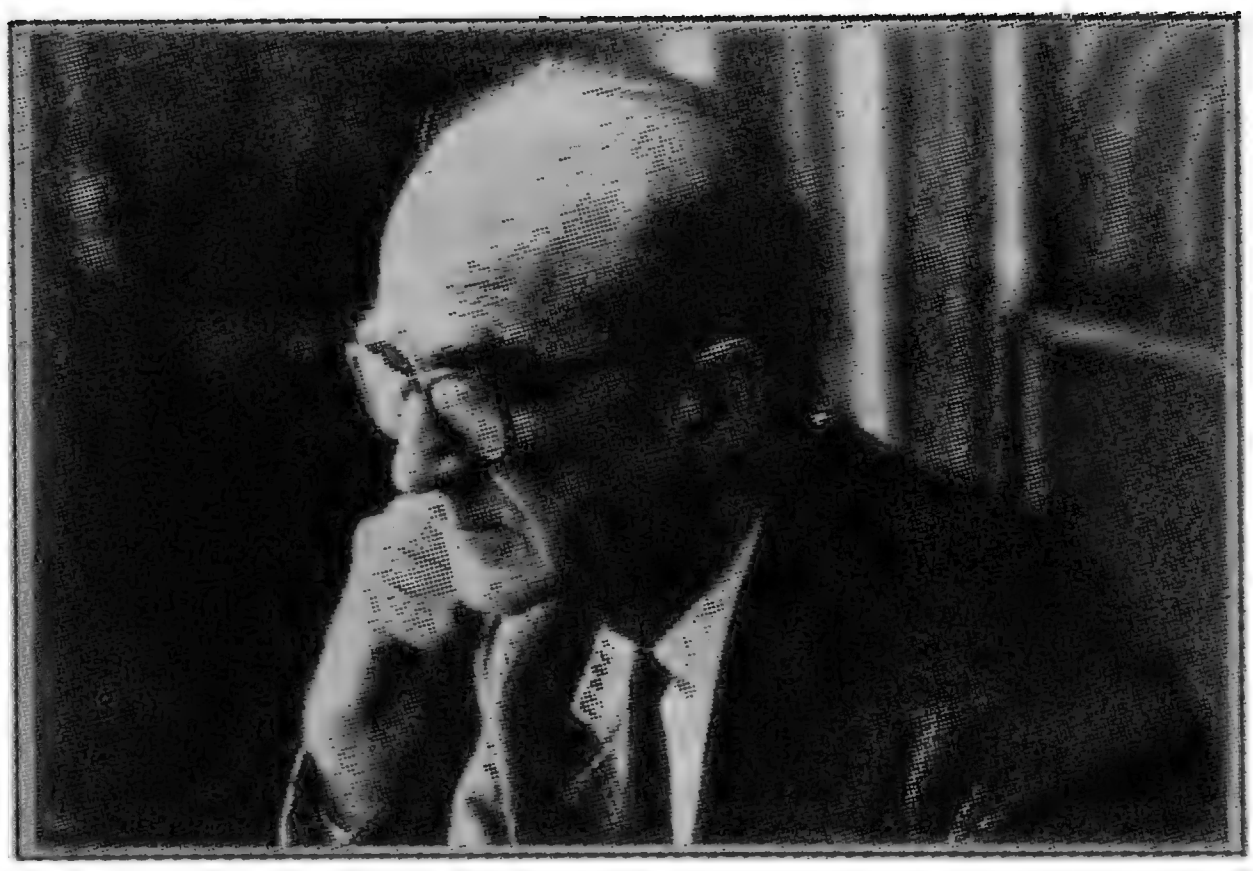
— Положим.

— Что есть реальное для вас? Что реально?

— Вы имеете в виду — как его определить? Я его определить не могу. Мне кажется, что оно очевидно, а если не очевидно, тогда нужно, конечно, доказывать долго и подробно...

— Не прибегнуть ли нам к помощи Блаженного Августина? «Если меня спросить, что такое бытие, то я этого не знаю; если не спрашивать...

— ...то знаю...» Да, это поистине лучший ответ.



МИРЧА ЭЛИАДЕ

Человек без судьбы...

Из книги «Воспоминания. I. Мансарда»

С румынского

Еще до темноты я возвращался из штаба к себе в раскаленную мансарду, с тоской вспоминая о вентиляторах на Рипон-стрит. Духота не располагала к работе, и я уходил повидаться с друзьями. Мы часто ужинали где-нибудь в городском саду с Хаигом, Мариэттой и с их приятельницей Сораной Цопа. Я видел ее в «Мадемуазель Настасье» Замфиреску, и хотя она явно «пережимала» (мне иногда казалось, что я смотрю какую-то русскую пьесу), но мне понравилось. Сорана Цопа любила цитировать отзыв о себе Нае Йонеску: она-де самый ценный подарок, который Молдова преподнесла нам со времен Эминеску. Она и вправду была молдаванкой с головы до пят: хорошего роста, крепкая, круглолицая, может быть даже чересчур, волосы — цвета спелой пшеницы. И хотя читала всевозможные умные книги, а недавно с упоением открыла для себя Кришнамурти[1], тем не менее гордилась, что родилась и выросла в деревне, бегала босиком и играла в пыли с другими крестьянскими детьми. Правда, при всем своем исключительном обаянии она могла и раздражать. Чувство товарищества, благородство в отношениях с коллегами по театру — это, конечно, подкупало, но у нее была мания — дискутировать на высокие темы, мания анализировать себя и собеседников часами напролет. Она не знала усталости, как я вскоре убедился.

Не скажу, что я ею увлекся, но всегда с радостью встречал ее у Мариэтты. Потом она пригласила меня на чашку чая в свою квартирку рядом с Чишмиджиу[2]. Мы проговорили долго, и меня поразили некоторые ее наблюдения, ее интуиция. Я стал заходить к ней все чаще и чаще, вырываясь из штаба. Она рассказывала о случаях из своей практики в Яссах, о ясских ночах. Вот только когда она принималась убеждать меня, что Кришнамурти — главный гений века, я выходил из себя. Она увидела Кришнамурти этим летом в голландском городе Оммене и вернулась в полном восторге. Она не сомневалась, что Кришнамурти один понял, что такое Жизнь — Жизнь с большой буквы, подчеркивала она. А Сорана преклонялась перед чудом Жизни. Она только о том и говорила: о преступлениях, которые мы ежедневно совершаем против нас самих, когда отказываемся жить просто, спонтанно, когда сами себя выхолащиваем с помощью клише, формул и систем. По сути с ней трудно было не согласиться, но она всегда вещала именем Абсолюта, Жизни, Любви, и этот претенциозный жаргон спиритуалистов, этот пафос, озвученный с искусством настоящей актрисы, приводил меня в бешенство. Никогда я с такой силой не чувствовал, сколь это великая, нужная, *здоровая* вещь — обывательщина, как после многочасового разговора с Сораной. Я, конечно, отдавал себе отчет в том, что не прав. Речь шла об артистке, которая имела несомненный успех на сцене, но сама поставила под угрозу свою карьеру, может быть бессознательно отходя все дальше от театра, отказываясь от борьбы за главные роли, иногда пропуская целый сезон, вообще не появляясь на сцене или появляясь в ролях, достойных разве дебютантки, — и все из-за того, что «жаждала Абсолюта» и считала, что открыла к нему дорогу. Цена, которую Сорана Цопа платила за право говорить о жизни так, как она ее понимала, была столь велика, что хотя бы друзьям не следовало терять терпения, выслушивая ее. Вернувшись домой, иногда довольно-таки поздно, я корил себя за резкость, за сарказм и клялся назавтра быть снисходительнее и не обрывать ее высокоумные и кришнамуртианские монологи.

Назавтра — потому что теперь, в сентябре, мы встречались уже каждый день. Быва-

---

[1] Джидду Кришнамурти (1895—1986) — индийский философ-экзистенциалист. В 1912 г. объявлен теософами новым мессией и поставлен во главе ордена Восточной звезды. В 1929 г. порывает с орденом и начинает разъезжать по свету как проповедник.

[2] Старинный парк в центре Бухареста.

ло, что шли поужинать в один из ближайших ресторанов, не прекращая спора. Она прочла «Изабель», и ей не понравилось. Она читала все мое, что публиковали «Кувынтул» и «Время», и то нахваливала меня сверх меры, то разбивала в пух и прах. Никогда нельзя было угадать, как изменится ее настроение: то она рассыплется смехом после патетической тирады, то ей взгрустнется до слез посреди радостного гимна Жизни. Она была непредсказуема, пыталась отрешиться от всего — и оставалась агрессивно-женственной, капризной, изломанной. Но все ее причуды уравновешивало обаяние. Перед этим обаянием, вкупе с красотой и талантом, пожалуй, никто бы не устоял, когда бы она не изничтожала его сама, с неистовым упорством стараясь стать не тем, чем была.

Сейчас мне трудно представить, как это за два месяца почти ежедневных встреч я даже не задумался над тем, к чему идет дело. Однажды Сорана осторожно осведомилась, «есть ли кто-то в моей жизни». Я ограничился ответом, что «кто-то был», но это история такая бурная и печальная, что у меня нет охоты ее повторять. Сколько я мог судить, в ее жизни «никого не было». Я получил в некотором роде предупреждение, но не перестал приходить все так же, каждый вечер. Вероятно, я решил, что, раз я не влюблен, то ничем не рискую, хотя случай с Женни мог бы навести меня на кое-какие мысли. С другой стороны, я, пусть и не вполне явственно, чувствовал, что меня тянет к ней — может быть, с той же силой, с какой раздражает ее общество. Ноги сами каждый вечер вели меня в ее дом. Часто после первых же слов я ругал себя, что пришел, — и при этом знал, что если тут же уйду, то буду жалеть. Иногда я говорил себе: напрасно я сопротивляюсь, ведь я один, а мне вовсе не хочется быть одному; к тому же при любом раскладе через год я снова окажусь в Индии и буду с улыбкой вспоминать свою теперешнюю маету. В той перспективе, куда мне нравилось себя помещать, все, что бы ни случилось, не могло иметь особого значения.

Так я и посчитал, что особого значения это иметь не должно. Когда раз октябрьским утром я спустился по ступеням ее дома, я сказал себе, всего лишь, что вот, теперь и у меня, как у всякого молодого человека моего возраста, есть «связь». Я по-прежнему шел к ней прямо из штаба. Потом мне дали еще один отпуск, и мы смогли встречаться пораньше. Утром я работал, запершись в мансарде. По вечерам мы всей компанией собирались в разных домах: шла подготовка первых симпозиумов общества «Критерион».

На открытие мы поставили Фрейда. Среди докладчиков я помню только Мирчу Вулкэнеску и Пауля Стериана, но вообще нас было пятеро-шестеро, включая и одного психоаналитика. Войдя, мы не поверили своим глазам: амфитеатр Фонда Кароля I был переполнен. Билеты в партер распродали заранее, и публика бросилась на балконы и на галерку, рассевшись где попало, на ступеньках, на балюстрадах. Потом, сметая все на пути, хлынула в зал: кто расположился вдоль стен, кто примостился прямо на сцене. Мы бы не смогли начать, если бы Петру Комарнеску не объявил в зале и в фойе, что симпозиум будет повторен через несколько дней. Тогда мы, при помощи дежурной части пожарных, заперли входные двери и даже вывесили на них афишку с объявлением о повторе. Но одному из нас пришлось пожертвовать собой и остаться снаружи, у дверей, давая объяснения и битых два часа успокаивая толпы незадачливых слушателей.

Я вызвался говорить о Фрейде, поскольку мне казалось, что я разглядел в его теории десакрализованную модель иудаизма. Уверенность Фрейда в том, что он нашел универсальный ключ к объяснению психоментальной жизни и человеческого творчества, магический ключ к любой тайнописи — от сновидений и actes manques[1] до происхождения религии, морали и цивилизации, — эта уверенность, говорил я, выдает монотеистический, ветхозаветный темперамент. Точно так же страсть, с какой Фрейд пропагандировал, внедрял психоанализ и защищал его от любой «ереси», напоминает нетерпимость и неистовство пророков Ветхого Завета. В определенном смысле Фрейд считал, что предназначение его открытий — преобразить, «спасти» человечество. Психоанализ удовлетворял жажде абсолюта, характерной для иудаистского гения, вере в *единственный*, цар-

[1] Неудачи (*франц.*).

ственный путь Духа и отражал специфически библейское неприятие плюрализма, политеизма и идолопоклонничества.

Не знаю, насколько выпукло и ясно выразил я свои мысли. Как и всех, меня наградили бурной овацией. Позже я узнал, что Эмиль Чоран остался под таким впечатлением, что пришел послушать симпозиум, когда мы его продублировали (в Бухаресте мы выступали с ним три раза, а потом не помню сколько раз в провинции. Но поскольку у меня не было ни написанного текста, ни повода для импровизации, я чувствовал, что *повторяюсь*, и потом, боюсь, говорил гораздо слабее).

С таким же успехом, как первый, прошли, по два раза в неделю, остальные симпозиумы. За полчаса до начала зал Фонда Кароля I заполнялся до отказа. Докладчикам приходилось буквально прокладывать себе путь через толпу, запрудившую тротуар, и с невероятными усилиями, при помощи полиции, протискиваться в битком набитое фойе. Префектура полиции выставляла дюжину сержантов и сколько-то комиссаров, чтобы обеспечивать движение транспорта у здания Фонда и не допускать давки при входе. Такой неслыханный успех насторожил Министерство внутренних дел, привел в волнение сонм газетчиков и писателей, вызвал всплеск зависти и ревности. И конечно, мы особенно рисковали, когда ставили на обсуждение противоречивые фигуры. Не обошелся без инцидента, как мы и опасались, симпозиум, посвященный Андре Жиду. Писатель недавно посетил советскую Россию и был сочтен коммунистом. Примерно сотне студентов — приверженцев Кузы[1] удалось проникнуть в зал под предлогом, что они хотят убедиться, не станем ли мы пропагандировать коммунизм. В переполненном зале они принялись кричать и свистеть, так что председательствующий закрыл собрание несколькими иронические, едкими фразами, потонувшими в общем гуле.

Инцидент менее серьезный и завершившийся в нашу пользу произошел на симпозиуме о Чарли Чаплине. Среди выступавших был Михаил Себастьян[2]. Когда настала его очередь, кто-то с галерки крикнул: «Еврей про еврея!». Михаил Себастьян стоял, держа в руках листки с тезисами доклада. Он сделался очень бледен. Разорвал листки, шагнул вперед и заговорил гневно, глухим от волнения голосом:

— Я намеревался обсудить с вами одну из сторон искусства Чаплина, но кто-то из вас напомнил мне о евреях. И я буду говорить как еврей о еврее Чарли...

В зале грянули аплодисменты. Михаил Себастьян поднял руку, сказал: «Благодарю вас» — и началась импровизация. Мне нечасто выпадало услышать столь проникновенную и блистательную речь. Он представил такого Чаплина, какого могли разгадать и понять только немногие, и только в Восточной Европе. Он говорил об одиночестве человека в его фильмах как об отражении духа гетто. Он говорил минут двадцать, а когда кончил, ему рукоплескали неистово, ползáла — стоя. Мы выиграли бой и знали это. В комнате, сообщающейся с ложей докладчиков, мы ликовали. Нина Мареш кружилась и обнимала нас всех подряд...

После симпозиума, посвященного Ленину, распространился слух, особенно в кругах Сигуранцы, что группа «Критерион» — скрытокоммунистического толка. Мы же просто пытались быть объективными. В большой культуре, считали мы, могут быть представлены все течения мысли. Мы чувствовали в себе достаточно силы, чтобы не бояться идеологий и систем, идущих вразрез с нашими убеждениями. Чувствовали и то, что не преодолеем провинциальность, если не избавимся от комплекса неполноценности и не откажемся от инфантильных механизмов защиты, присущих обычно малым культурам. Раз поверив в творческие возможности румынского духа — как верило большинство из нас, хотя и по разным мотивам, — мы уже не страшились «пагубных влияний» или «подрывных идей». Кроме того, мы чувствовали себя взрослыми; мы не стали бы терпеть, если бы нас одернули: «Не играйте с огнем!». Потому что мы знали: то, что мы делаем, — не игра.

---

[1] Александру Куза (1857—1947) — основоположник движения железногвардейцев в Румынии.

[2] Михаил Себастьян (1907—1945) — румынский прозаик, драматург, эссеист. По его пьесе "Безымянная звезда" в России был снят фильм (режиссер — М. Козаков).

«Дух Критериона» (это определение появилось позже) выступал все четче по мере исполнения нами программы... Для его членов симпозиумы не кончались в зале Фонда. Мы шли в кафе «Корсо», где занимали целый угол на втором этаже, и продолжали дебаты до полуночи...

Сорана Цопа всегда была с нами. Когда я провожал ее, она еще раз давала оценку симпозиуму, и в первую очередь мне — если мне случалось выступать в тот вечер. Ее наблюдения, как обычно, бывали то справедливыми и вескими, то совершенно к делу не относящимися или агрессивно-претенциозными. В начале декабря у меня кончился срок армейской службы. Теперь мы могли проводить вместе много времени, что давалось мне порой нелегко. В обществе Сораны не полагалось расслабляться. Рядом с ней надлежало быть неизменно умным, глубоким, оригинальным, а пуще всего — «спонтанным». Любовь для нее означала ежеминутный накал страсти, «белое каление», как она это называла. И всякое молчание, всякая банальность, проскользнувшая от усталости или просто так, расценивались как мои промахи, с которыми следовало тут же тщательно разобраться, чтобы поправить дело...

Для того чтобы отвоевать себе право на уединение в мансарде, мне пришлось сообщить Соране, что я пишу роман. Как я и ожидал, сюжет не вызвал у нее энтузиазма. Про события в Бхованипоре я рассказал ей давно. Она выслушала с сочувствием и серьезно, но, как после призналась, мои юношеские похождения в расчет не приняла — ведь это не было подлинной, «добела раскаленной» страстью, сравнимой, как она давала мне понять, с тем, что происходило между нами. К тому же она не могла позволить себе ревность, потому что тоже призналась, как ее сотрясали в прошлом великие страсти, и заявила, что наша жизнь началась сначала в тот миг, когда мы встретились. Мы вместе начали новую жизнь, и даже наше общее прошлое немногого стоило. Цену и смысл имело лишь «настоящее» — а точнее, настоящее по Кришнамурти, как она его понимала. Все же она пожалела, что я не хочу представить на премию, в исправленном и переделанном виде, «Роман о близоруком подростке» и «Гаудеамус», которые только что прочитала и сочла «исключительными», гораздо более интересными, чем, например, «Изабель»...

Я писал больше по ночам, когда знал, что никто не явится и не постучит в дверь мансарды. Первые главы написались быстро, почти без труда. А потом я как-то незаметно снова оказался в том сказочном бхованипорском времени и вдруг понял, что пишу уже не роман, как предполагал, но исповедь. Часто я вставлял туда целые страницы из дневника, и, будь мой дневник лета 1930 года поподробнее, я, ей-богу, переписал бы его целиком. Перед лицом белой бумаги, запечатлевая людей и события, которые сыграли решающую роль в моей юности, я просто не мог принудить себя что-то выдумывать. Я, правда, изменил имена действующих лиц, за исключением Майтрейи и ее сестры Чабу, но оставил точные даты, адреса, номера телефонов. Еще я дал другие профессии Дасгупте и рассказчику и радикально переломил финал, как будто хотел окончательно расстаться с Майтрейи (толкнув ее в объятия первого попавшегося зеленщика, поставив на грань самоубийства). И конечно, окутал тот далекий мир золотистой дымкой, дымкой воспоминания и грусти. Разумеется, если бы мой роман прочли соответствующие персонажи в Калькутте, им не понадобился бы ключ к шифру. Но я не думал, что он дойдет до Калькутты. Впрочем, я вообще не думал о потенциальном незнакомом читателе даже здесь, в Бухаресте. Я не «визуализировал» публику. Самое большее — прикидывал, что скажут друзья, если роману повезет, его удостоят премии и напечатают. Я старался не для себя и не для Майтрейи. Я как бы отстранился и посылал свидетельство in aeternum[1].

Тогда, в канун Рождества, я особенно не задумывался над всем этим. Для меня еще длилась эйфория первого успеха. Прошло всего полтора года, а я писал новый роман, на сей раз автобиографический. Я опять мог быть один день и ночь, потому что Сорана уехала на пару недель в Молдову, к своим, провести с ними праздники. Я тоже провел

[1] В вечность (*лат.*).

Рождество с семьей, но по мере возможности встречался с друзьями. Мы договорились собраться на Новый год у Мии Стериаде, точнее, в тех залах, которые занимал отец Мии, художник Стериаде, в музее «Калиндеру». Мы — это почти все друзья и соратники по «Критериону» и несколько приглашенных. Каждый внес определенную сумму, кто-то взял на себя труд украсить залы, кто-то — купить вина и приготовить закуски. Пригласили и пианиста, так что желающие (во главе с Мирчей Вулкэнеску и Мишу Полихрониаде) могли танцевать до утра. Новый год удался как никогда.

Только вот со мной творилось что-то непонятное. Я просто не знал, что и думать. Совсем незадолго до Нового года нечаянно случилось такое, о чем я и помыслить не мог. На третий день рождественских праздников мы оказались у Флории и Мака большой компанией, в которой была и Нина Мареш. Не знаю почему, я посмотрел на ее руки, и они показались мне невероятно маленькими. Я взял их в свои. Пальцы были такие маленькие и нежные, как у ребенка. Я никак не мог их отпустить. Нина улыбалась в замешательстве, кое-кто из друзей бросал на нас любопытные взгляды. Кое-кто, как и Нина, знал про Сорану. Часто в редакции «Кувынтул» или в комнате Нины, куда мы поднимались с Михаилом Себастьяном выпить по чашечке кофе, я признавался им, как трудно мне бывает с Сораной, а они меня утешали, но посмеивались. Мы трое очень подружились, нас тянуло друг к другу, мы часто вместе обедали. Было бы преступлением против нашей дружбы смотреть на Нину «мужскими глазами». Я знал, как дорог Нине Михай, а он знал, как дорог ей я.

Но в тот вечер я не понимал, что со мной творится. Не понял и после того, как проводил ее до дому и поцеловал. Возвратясь в мансарду, я сел было за роман, но только протомился почти всю ночь. Потом два дня не выходил из дому и писал. Я сказал себе, что не должен больше ее видеть, — и мы тут же увиделись. Поужинали вместе, сходили в кино, и в ту ночь я остался у нее.

Однако на новогоднем празднике я постарался вести себя как раньше, как ее добрый друг.

Я давно знал жизнь Нины Мареш. Совсем молодой она вышла замуж за офицера, Йонеску, который сейчас в чине полковника командовал гарнизоном где-то в Бессарабии. Лет пять-шесть тому назад, когда они жили в Брашове, Нина влюбилась в одного лейтенанта — красавца и, как я убедился, познакомившись с ним, на удивление умного и образованного. Скандал оказался громким: муж ни за что не желал расстаться с Ниной — и тогда она ушла из дома. Отец лейтенанта, генерал с известным именем, предпринял попытку спасти сына, откомандировав его в Париж. Вероятно, он считал, что женитьба, предваренная таким скандалом, испортит ему карьеру. Молодой человек подчинился, но объявил родным и начальству, что женится сразу по возвращении (муж Нины тем временем дал согласие на развод). Может быть, так все бы и случилось, но помешал трагикомический случай. За день до отъезда из Парижа товарищи лейтенанта давали ему прощальный ужин. Было приглашено несколько соотечественниц, среди которых одна свежеприбывшая девица. Не знаю, был ли это заговор, устроенный генералом, но девице с помощью товарищей лейтенанта удалось его напоить, а на другой день в номере отеля, прямо в постели, сочетаться с ним, еще не протрезвевшим, гражданским браком в присутствии консула и необходимых свидетелей.

Когда в брашовских газетах появилось объявление о его женитьбе, для Нины это был такой удар, что ее пришлось поместить в больницу. Напрасно лейтенант засыпáл ее телеграммами, объясняя, что стал жертвой злой шутки и что уже подал прошение о разводе. Напрасно пытался увидеться с ней, примчавшись один, без жены, из Парижа. Нина долго отказывалась его видеть. И долго доктора сомневались, что она все переживет, не повредившись в рассудке. Ее продержали в клинике месяца три-четыре. Когда лейтенанту удалось получить развод, она согласилась его принять. Она сказала ему, что любви больше нет, все перегорело, и что он может считать себя совершенно свободным. Молодой человек, конечно, не поверил. Он являлся к ней каждый день — сначала в клинику, а по-

том, когда она переехала в немецкий пансион, — туда. Уверял, что будет ее ждать, что не оставит в покое, что быть того не может, чтобы в один прекрасный день она его не простила, и что он решил ждать этого дня, если понадобится, пять, десять, пятнадцать лет. Она отвечала, что простила его, но больше не любит, не может любить, как бы себя к тому ни принуждала. Он все равно приходил, с охапками цветов и подарками. Нина спокойно с ним разговаривала, делилась планами: поскольку все свое имущество ей пришлось отдать мужу как плату за развод, она должна была подумать о ремесле, чтобы зарабатывать на жизнь. И она решила поехать в Бухарест, окончить курсы секретарш. А пока она будет искать работу, поживет у своего дяди, генерала Негряну. Так она и поступила.

Через год молодого человека, уже в чине капитана, перевели в Бухарест. Он не поверил глазам, когда увидел, что Нина живет в каморке под крышей и работает по восемь часов в день. Он снова заговорил об их любви. Нина, не дослушав, кивнула. «Да, любовь была настоящая. Я ни о чем не жалею...» Тогда капитан попробовал вернуть ее другими средствами. Он загулял и по вечерам приходил пьяный, поджидал ее у входных дверей и заклинал сжалиться над ним, не губить его молодость, его карьеру. Нина по-доброму пыталась его выпроводить. Напрасно. «Я пойду к лореткам!» — грозился он. «Это вам не впервой», — отвечала она. (При одной такой сцене я случайно присутствовал, когда под вечер возвращался из «Кувынтул». Нина показалась мне бледней, чем всегда, но улыбалась с обычным для нее самообладанием. У капитана в глазах стояли слезы.) Однажды поздно ночью он поднялся на последний этаж и колотил в ее дверь до тех пор, пока не вышли разъяренные соседи и не вынудили его убраться. Изредка встретив его трезвым, Нина пыталась поговорить с ним серьезно, советовала найти себе достойную жену. Ответ всегда был один и тот же: он ждет ее (он и в самом деле прождал лет пять-шесть и женился не раньше, чем Нина вышла замуж).

Рассказав мне все в ту осень, Нина прибавила: «Мне очень жаль, что так получилось. Мне бы хотелось опять полюбить его — хоть сколько-нибудь, но полюбить, потому что простила я его давно. Только, наверное, я уже не смогу полюбить — никогда и никого. С мужчинами мне придется довольствоваться дружбой»...

Шли дни за днями, а я все не мог понять себя самого. Иногда мне казалось, что происшедшее важнее для Нининой жизни, чем для моей, что это судьба решила таким образом вывести ее из одиночества. Нина проявляла редкую выдержку: никогда не говорила о любви и не спрашивала, что я намерен делать. Но вернулся из Браилы Михаил Себастьян — и нам пришлось ему открыться. Себастьян заявил, что простит нас только после того, как убедится, что наша дружба втроем осталась прежней (последующие месяцы вполне его убедили).

Надо ли признаваться Соране в том, что произошло в ее отсутствие, я не знал. Это была не только неизбежная трусость «неопытного» молодого человека, который не умеет ни заводить «связь», ни кончать с ней. Чем дальше, тем все больше, вопреки своим же ожиданиям, я запутывался. Я, например, обнаружил, что не хотел бы потерять Сорану, что она мне нужна, что, в сущности, я к ней привязался, как бы ни утомляло меня подчас ее общество. Еще я думал, что Нина, раз она никогда не заговаривала о любви, может бросить меня в любую минуту, и я не считал себя вправе этому воспротивиться.

К тому же я не оставил надежды вернуться в Индию сразу после защиты. Эта надежда давала мне силы переносить мое положение, которое усложнялось с каждым днем. И одна и другая знали, что я должен окончить роман к пятнадцатому марта, поэтому я был волен сам назначать время свиданий. Поскольку Нина работала в конторе до вечера, я встречался с Сораной в послеобеденные часы. У меня всегда наготове была отговорка, когда она предлагала поужинать вместе или переночевать у нее: я должен вернуться домой, к работе. Я и в самом деле, с трудом расставшись с одной и другой, далеко за полночь сидел за рабочим столом. По ночам я хоть как-то, хоть и не в полной мере, приходил в себя. Мне бы осознать, излагая гипотетическому читателю события 1930 года, что я снова дал себя впутать, как бы невольно, в авантюру, грозившую мне гибелью (для меня

тогдашнего «гибелью» была бы в первую очередь невозможность вернуться в Индию). Но *такой* опасности я не осознавал. Я лишь допытывался у себя, воскрешая страсть, пережитую в Бхованипоре, не было ли все пережитое потом, особенно после Рождества, только ложью, усугубленной кощунством. И, к своему удивлению, вынужден был признать, что нет. Что это все что угодно, только не ложь. Эти две женщины *существовали* абсолютно всерьез. Если бы мне тогда чудом представился шанс уехать в Индию, я бы уехал, не сомневаюсь, но мне было бы по-настоящему больно с ними расстаться.

Мучительные думы приходили на рассвете, когда я пытался заснуть, проработав пять-шесть часов кряду. Утром я просыпался разбитый и не сразу мог сообразить, где я, какой сейчас год, что вообще со мной происходит. Иногда я чувствовал: это испытание, и мне снова надо ждать от судьбы чего-то, что еще раз изменит траекторию моей жизни. Тогда на долю секунды передо мной проступали *знаки,* как прожекторы, которые вдруг вспыхнут в темноте и тут же погаснут — слишком быстро, не разгадать к чему. Я вставал с постели, понимая, что мне были *знаки,* — только как их расшифровать?

Я всячески оттягивал развязку, выбор, неизбежность которого внутренне принимал. В феврале я представил в деканат филологического факультета три экземпляра диссертации. Я ждал, когда назначат дату защиты. Но не предпринимал никаких подготовительных мер для своего «вхождения в университет», чего так настойчиво желал мне Нае Йонеску. Правда, за последние годы я опубликовал три большие работы в «Ревиста де философие», еще три — в «Рисёрш релижьос», журнале Буонаюти, а в Бюллетене научного общества города Клужа у меня вышли «Ботанические знания древней Индии». Сама моя диссертация тоже была подготовлена к печати — на случай, если бы я решил опубликовать ее по-румынски. Но с момента моего возвращения из Индии я ввязался в деятельность лихорадочную и по очень многим направлениям: статьи в «Кувынтул» и «Время», лекции на радио, «Критерион», лекции в провинции, — и эта гонка смущала кое-кого из моих профессоров. Вероятно, они задумывались, не слишком ли я разбрасываюсь. Узнав, что я заканчиваю второй роман, Нае Йонеску улыбнулся. «Придется объясняться с Рэдулеску-Морту — скажи, что тебе нужны были деньги». Я попытался возразить: настоящий-де университет, *подлинный* современный университет не замыкается стенами аудиторий. Газета, эстрада, радио — все это сегодня тоже входит в studium generale[1]. И добавил: «Впрочем, это в традициях румынского Университета...»

Нае Йонеску мягко прервал меня: «Мне и в голову не приходило осаживать тебя: пиши то, не пиши этого; печатай побольше научного и философского и поменьше беллетристики... Соловей должен петь; остальное неважно. Тем не менее хотелось бы все же предупредить тебя: если ты предпочтешь остаться тем, что ты есть, тебе будут вставлять палки в колеса, особенно в университете...»

Я кончил роман, помнится, всего за несколько дней до пятнадцатого марта. Но рукопись была уже отпечатана секретаршей одного моего лицейского однокашника, так что я успел представить ее вовремя. Больше ничего не оставалось, как ждать. Энтузиазм юной машинистки меня приободрил. Она заявила, что в жизни не читала ничего такого «душераздирающего». И призналась: «Вообще-то я плакала. Красиво до слез».

Я снова стал свободным. Но скоро понял, что эта, столь желанная, свобода еще больше осложнила мою жизнь. Когда миновало пятнадцатое марта, в один из вечеров Нина призналась мне, что любит. «Я не хотела тебе ничего говорить, потому что ты писал. Да я и сама не знала. Поверить не могла. Но сейчас я уверена. Вряд ли я смогу делить тебя с другой, — добавила она. — До сих пор это было тяжело, я терпела ради тебя и ради Сораны. Но впредь больше не смогу. Ты должен ей сказать...»

Вероятно, Сорана что-то подозревала — в ту зиму она несколько раз заводила разговор о Нине. Я неизменно отвечал, что нас связывает дружба. Иногда меня так и подмыва-

[1] Общее образование (*лат.*).

ло порвать с Сораной. Среди прочих талантов, у нее был талант изводить и оскорблять меня с самым невинным видом, дар устраивать невыносимые сцены. Например, спросив, почему я сказал ей, что молодой писатель имярек одного со мной роста, тогда как он явно выше, — и это видно с первого взгляда, — она, таинственно улыбаясь, замечала, что я тоже смогу в этом убедиться, поскольку он зван к чаю и будет с минуты на минуту. И когда я немедленно собирался уходить — прежде чем меня столкнут, а того гляди и смерят по росту, спина к спине, с моим коллегой, — Сорана бледнела, бросалась мне на шею и заклинала остаться, уверяя, что любит, как не любила никого в своей жизни, и что как я мог подумать — какой вздор, — будто меня можно с кем-то сравнивать, меня, уникального и гениального, а моего коллегу она позвала только потому, что прочла одну его довольно-таки любопытную статью. Я отвечал, что тоже прочел эту статью и не нашел в ней ничего любопытного, и Сорана снова менялась в лице. Вот уж не думала, говорила она, что я такой эгоцентрик, что я не выношу, когда кто-то, кроме меня, тоже имеет талант, ум, гений, образованность. Я защищался, напоминая ей о всех своих друзьях и приятелях по «Критериону», чей гений, ум или талант я признаю во всеуслышание. «Это разные вещи, — отрезала она. — Друзья есть друзья. Восхищение ими, которое ты выражаешь, — тоже признак эгоцентризма...» Я брался за дверную ручку, но тут звенел звонок. Входил молодой писатель, неприятно удивленный, что застал здесь меня. И конечно, Сорана ставила нас спиной к спине и торжествовала: он и правда оказывался на два сантиметра выше.

Не раз после подобных сцен я уходил домой в решимости прекратить отношения. Я писал ей письмо. Стараясь удержаться от резких фраз, я объяснял, почему мы больше не можем быть вместе: мы не созданы друг для друга, мы только невольно друг друга мучаем, не принося один другому счастья. В ответ она умоляла меня прийти или даже приходила сама и робко стучалась в дверь мансарды. Говорила, что не спала сутки или двое, — и я видел, что это правда: она выглядела постаревшей лет на десять. Опять начинались заверения, что я свободен, что «на свете еще не было мужчины свободнее меня», что она никоим образом не станет меня удерживать и — чем все ни обернется — навсегда останется мне признательной за то, что «я есть».

Я не мог устоять. Это была не только слабость, трусость, боязнь экстравагантных жестов и душераздирающих сцен. Я на самом деле чувствовал, что растроган и в то же время унижен собственной рассудочностью, скудостью воображения. Сорана переживала свою любовь на высотах, для меня недоступных. Я видел следы бессонницы и слез на ее лице, и мне делалось стыдно за самого себя. Если бы я сказал ей, что больше не люблю ее, что люблю другую, — Сорана, вероятнее всего, мгновенно исчезла бы из моей жизни. Но этого я ей сказать не мог, потому что именно в решающие минуты выяснения отношений чувствовал, как сильно ее люблю. В одном я был уверен: мы никогда не будем счастливы вместе, не перестанем бессмысленно мучить друг друга, пока один из нас не рухнет — тогда другой подхватит его на руки, изойдет жалостью, просьбами о прощении и, посреди слез и всхлипов, от избытка любви его же и удушит. Я попытался все это ей обрисовать, что дало результат, обратный ожидаемому, поскольку такая развязка как раз отвечала ее представлениям о любви. И спустя всего несколько минут после провозглашения меня «самым свободным в мире мужчиной» она объясняла мне, почему накал нашей страсти подразумевает пытки и не исключает смерть, в каком бы виде та ни предстала: физическом, духовном или социальном. Без зримого или, на худой конец, призрачного присутствия смерти — что за любовь? Разумеется, я с ней соглашался.

Я мог бы сказать ей, что, хотя не перестал любить ее, но теперь люблю другую. Не знаю, что бы она ответила. Должно быть: что мне только кажется, будто я люблю другую, что я — жертва иллюзии, временного затмения; ведь кто любит ее, полюбить другую просто не может. Скажи она так, не исключено, это бы меня убедило. Глядя на ее бледное лицо с горящими и отчаянными глазами, постаревшее на десять, на двадцать лет, и зная, что передо мной молодая, красивая и многими желанная женщина, замечательная актриса, которая пожертвует не только карьерой, но и молодостью, здоровьем, спокойствием, пожертвует всем, чего от нее потребуют, лишь бы ей позволили любить так, как ей

грезилось, «до белого каления», — я не отваживался усомниться, что люблю ее, что она единственная заслуживает любви...

«Майтрейи» появилась в первых числах мая под превосходной обложкой: головка индийской девушки в стиле аджантских фресок... Тираж разошелся к концу июня, и в то же лето было напечатано и раскуплено второе издание. Третье появилось осенью. К Рождеству распродали около десяти тысяч экземпляров...

Вскоре после выхода романа я защитил диссертацию... К концу июня я стал доктором философских наук, получил официальное приглашение читать курс и вести семинар на кафедре Нае Йонеску — и прослыл «знаменитым писателем», да к тому же разбогател, получив, кроме премии, тридцать шесть тысяч лей за авторское право на первое издание «Майтрейи» (в ту пору университетский профессор получал жалованье от двенадцати до пятнадцати тысяч в год). Мне следовало радоваться. Я же, напротив, чувствовал себя несчастным, угнетенным, сбитым с толку. И развязки не предвиделось. Я подумывал о том, чтобы снова уехать, куда угодно, по меньшей мере на год. Однако Нае Йонеску потратил немало усилий, пробивая мое назначение ассистентом, и, откажись я в последний момент, мои профессора сочли бы, что я просто осознал свою несостоятельность, что, возможно, я гожусь читать публичные лекции и выступать по радио, писать статьи и романы, но для университета не созрел...

Если бы речь шла только обо мне, я думаю, выход бы нашелся. В конце концов я сделал бы выбор, и хотя мне было бы больно расстаться с одной из них, я бы постепенно смирился. Но я понимал, что выбрать одну означает разбить жизнь другой. И что не кто иной, как я, виноват в создавшемся положении. Донжуан из меня был никудышный. Я не умел бросать женщин. Особенную вину я чувствовал перед Ниной. Мы были очень хорошими друзьями; я знал, что она прошла через тяжелое испытание, но обрела покой и приняла как данность, что во второй раз полюбить никогда не сможет. Невольно я сделал все, чтобы разрушить эту ее веру, тем самым отняв у нее с трудом добытые покой и ясность. Она просила немногого — только не делить меня с другой. И просила единственно потому, что я сам не раз жаловался ей на то, как мне трудно с Сораной, как она меня изводит. У Нины были все основания предположить, что Сорану я не люблю, — и тогда, спрашивается, зачем тянуть эту лямку и сохранять положение, для всех троих стеснительное. Ей хотелось простоты, ей претило скрываться (поскольку мы вращались в одном и том же кругу, мне приходилось накануне вечеринки узнавать, будет на ней Сорана или нет — могу ли я привести Нину).

Я многажды лгал ей, что порвал с Сораной. Да я и сам думал после каждого письма, что мы расстались окончательно: я писал ей четко, без обиняков или говорил (в который раз), что мы не можем больше быть вместе, что в один прекрасный день я не удержусь и задушу ее, если она сама не успеет на минуту опередить меня. Я напрасно надеялся, через день-два она появлялась снова. И чем больше дней проходило между моим ультиматумом и ее появлением, тем больше меня терзали угрызения совести и раскаяние. При виде ее я думал: как я могу бросить такое создание? Мне выпало незаслуженное счастье быть любимым необыкновенной женщиной, каких в сто лет рождаются единицы. Да, она изведет меня, вытянет все жилы и в конце концов погубит — она такая, но что с того? Важно одно: я имел счастье быть избранным для столь исключительного переживания. Месяцы или годы, которые мы проведем вместе, примирят меня со всем, что будет дальше, даже если дальше останется только изломанная жизнь или смерть. (Если бы Сорана умела читать мои мысли, она бы разрыдалась: она-то считала, что я «самый свободный на свете мужчина», что рядом с ней я могу только «раскаляться добела», что она ни в коем случае не может поломать мне жизнь, потому что ее присутствие благодатно для всех видов творчества, для романа и философии, для науки, критики и памфлета...)

Все же мне удавалось оказать ей сопротивление, когда речь заходила о Кришнамурти. Сорана умоляла меня поехать с ней в Оммен, вместе послушать Кришнамурти, раскрывающего тайны жизни, и перенять у него секрет счастья и мудрости. Я отказался

наотрез. Я попытался объяснить ей, почему меня не интересует Кришнамурти. Я восхищался им за мужественный поступок — разрыв с Теософским обществом, упразднение ордена Звезды и отказ от всей той мифологии, что вокруг него накрутили, с отроческих лет провозгласив мессией. Но, судя по его выступлениям в Оммене и по манере отвечать на вопросы, я понял — мне у него нечему учиться. Он был человек бесспорно умный и честный, который мог очень многим помочь. Вот только у меня решительно не было причин искать с ним встречи. Скрепя сердце Сорана и на этот раз отправилась слушать его одна.

Две следующие июльские недели показались мне благословенными. По воскресеньям ближе к вечеру мы собирались у знакомых, играли в волейбол и за обедом в трактире готовились к осеннему открытию «Критериона». Потом мы поехали в Брязу, а оттуда пошли в горы Бучеджи. На сей раз с нами была Нина. Снова наступили блаженство и ясность, как на прошлогодних каникулах. Мы могли позволить себе жить свободно, без проблем, без самоедства. Я знал, что очень скоро у меня будет невпроворот работы, но эти несколько дней покоя и разрядки снова придали мне уверенности. С одной стороны, я должен был подготовиться к курсу лекций и семинару, с другой — завершить начатый роман: издатель Чорней, под впечатлением успеха «Майтрейи», предложил мне контракт на исключительно выгодных условиях — я получал авансом, еще до представления рукописи, половину гонорара за первый тираж в четыре тысячи экземпляров.

Я решил снова взяться за своих «Петра и Павла», озаглавив их теперь «Возвращение из рая». Это была повесть о Павле Аничете, которого, несмотря на различия между нами, я понимал: точно так же, как я, Павел Аничет любил двух женщин. Правда, Уна и Гиги ничем не походили на Сорану и Нину, но растерянность и колебания Аничета были мне знакомы. Кроме всего прочего, я хотел написать роман о судьбе «нового поколения» — так, как я ее видел. «Возвращение из рая» означало утрату блаженства, иллюзий и оптимизма́, которые преобладали в «Великой Румынии» первые двенадцать лет ее существования. Мое отрочество и ранняя юность, как и у многих моих сверстников, прошли в этой атмосфере эйфории, веры и праздника. Но золотой век, наступивший в 1919—1920 годах, незаметно сошел на нет. Мы утратили его, не успев осознать, что были, по сути, первым и единственным поколением, которое могло им насладиться (речь шла, разумеется, о духовном понятии: об эйфории в чистом виде, порожденной воплощением коллективного идеала и не предполагавшей никакого райского синдрома в социальной, экономической или политической жизни).

Когда в горячие ночи июля я сел за «Возвращение из рая», вся конструкция еще не была мне ясна... Я хотел написать роман, по видимости реалистический, но с использованием внутреннего монолога и некоторых приемов, перенятых у Джона Дос Пассоса.

Я писал трудно, с неожиданной для себя натугой, и недоумевал, что со мной происходит, почему я так мучительно двигаюсь вперед, откуда у меня этот надрывный стиль, уснащенный ненужными неологизмами, с претенциозным, искусственным, агрессивным синтаксисом. Я утешал себя тем, что, вероятно, всему виной усталость. Спал я мало и скверно, потому что ложился на рассвете и часто мне удавалось заснуть, когда мансарда уже начинала накаляться. У меня созрело решение снова отправиться в горы. Нина план мой одобрила, хотя и очень жалела, что не может поехать со мной. А я не сказал ей, конечно, что еду не один.

Сорана вернулась из Голландии... Наши друзья порекомендовали нам один постоялый двор на краю села Сэчеле, расхвалив тамошнюю тишину, уединенность и красоту окрестностей. Хозяйка сдавала несколько комнат на втором этаже, с пансионом. Я мог бы работать весь день у открытого окна с видом на горы. Устоять было трудно. С другой стороны, я подозревал, что предстоящее мне испытание — прожить с Сораной под одной крышей, день за днем, две недели — может стать решающим...

После уроков, которые, как мне казалось, я извлек из моего индийского опыта, каких-нибудь два года спустя я снова заблудился в лабиринте... И при всем том эти перипетии, я чувствовал, имеют свой смысл, свою цель, пока что зашифрованную, но не безна-

дежно — в один прекрасный день я ее расшифрую. Сколько бы мучений ни приносила мне ситуация, в которую я попал по собственной вине, я вынужден был признать, что в глубине души этого и хотел: иметь возможность любить одновременно, одинаково сильно и искренне, двух женщин. С точки зрения логики это желание казалось мне самому абсурдом, но в то же время, по моим ощущениям, логика не имела ничего общего с таким опытом. Я говорил себе, что хочу испытать нечто парадоксальное, не поддающееся рациональному объяснению, потому что хочу примерить другой способ жить, не тот, что положен человеку. Если бы у меня было призвание мистика, возможно, я захотел бы — и попытался — стать «святым». Но вопреки утверждению стольких моих друзей и врагов, мистического призвания у меня не было (и это очень хорошо понял Чоран, когда в тридцать пятом или тридцать шестом году, рецензируя «Хулиганов», сказал, что если бы во мне было хоть на гран мистицизма, то мое сочинение можно было бы сравнивать с романами Достоевского). В каком-то смысле я был ближе к «магии», чем к мистике. Еще подростком я пытался преодолеть нормальные человеческие привычки, я мечтал о радикальной трансмутации образа жизни. Страстью к йоге и тантре я обязан этой фаустианской тоске. Может быть, желание любить двух женщин сразу открывало лишь еще один эпизод моей долгой тайной истории, которую я сам не слишком хорошо понимал. Может быть, так, по-своему, я пробовал компенсировать свою мирскую неспособность стать «святым» — таким парадоксальным, чуждым человеческому опытом, который, по крайней мере, открывал мне путь к тайне целостности.

Но в те летние дни, когда я писал подле Сораны «Возвращение из рая», я, конечно, не понимал, какие глубокие корни у этого желания. Чаще всего оно оборачивалось пыткой, муками совести, внутренним нытьем и подпитывалось двойственностью моего положения. Только много позже я понял, что это испытание шло в русле моей судьбы, которая требовала от меня жить «парадоксально», вразрез с самим собой и с эпохой, вынуждая идти в ногу с историей, но притом выпадать из нее; живо откликаться на события и заниматься вещами совершенно неактуальными, на вид отжившими, экстраисторическими; вести румынский образ жизни и селиться в чужих, далеких, экзотических мирах; быть коренным жителем Бухареста и гражданином мира. Не крайности сами по себе — но coincidentia oppositorum. Я думаю, это была не просто склонность к экстравагантности и парадоксу. Скорее — в камуфляже биографических событий и деятельности на поприще культуры — *мой способ быть религиозным*, смыкающийся как с «народной» религиозностью Восточной Европы, так и с религиозным опытом Востока и архаических обществ. Я мог бы пойти дальше и сказать, что парадокс совпадения противоположностей лежит в основе всякого религиозного опыта. Всякая иерофания, всякое проявление сакрального иллюстрируют coincidentia oppositorum; вещь, тварь, жест становятся святыми — то есть превосходят *этот* мир, продолжая оставаться тем, чем были: вещью, тварью, жестом; они в мире — и они за его пределами.

Но тогда ничего такого я не думал. Я прикидывал, как Павел Аничет решит свою проблему, которая была и моей тоже. Прошло совсем немного дней, а присутствие Сораны стало меня утомлять. Зарядили дожди, и ей приходилось по большей части сидеть в одной комнате со мной. Она читала, но стоило мне на минуту подняться из-за стола или закурить, тут же спрашивала, как идет дело, как мне пишется, когда она рядом. Или просила прочесть, что я написал. Я обещал показать ей рукопись, как только кончу первую часть. Но вернувшись раз из лесу, куда вырвался погулять в одиночку, под предлогом, что должен обмозговать какой-то сложный романный ход, я застал ее в слезах за своим столом.

— Сколько же ты со мной натерпелся, — проговорила она, — а я-то ничего не понимала.

И она показала мне первые строки рукописи. Это была сцена, которой начинался роман: «Услышав, как закрывается дверь ванной, Павел соскочил с постели и глубоко, с облегчением перевел дух. Он проснулся минут десять назад, но виду не подал и, прикрывая изгибом локтя лицо, старался дышать ровно и тихо, чтобы женщина ничего не запо-

дозрила. Когда он почувствовал, что она встает, у него забилось сердце: неужели хоть несколько минут он побудет один?..»

— Тебе так трудно было меня терпеть? — повторила она, но теперь это был вопрос.

И довольно было взглянуть на нее, чтобы понять, как она страдает: она снова постарела на десять, на двадцать лет. Я попробовал соврать.

— Речь идет не о тебе. Или не только о тебе. Это просто реакция любого мужчины — *желание побыть одному* хоть несколько минут, даже если рядом существо, которое ты любишь. — И добавил: — Женщинам это тоже знакомо. В неразлучности есть что-то дьявольское. Вспомни слова Гёте...

Она перебила меня — чтобы еще раз напомнить, что я «самый свободный из всех возлюбленных на свете». И если ее присутствие меня угнетает, это значит, я ее не люблю. Однако такое немыслимо — она-то знает, что я ее люблю. Тут что-то другое. И мы сейчас вместе должны подумать, почему меня утомляло ее присутствие вместо того, чтобы вдохновлять.

— Обсудим это в другой раз, — ответил я. — Сейчас мне надо работать...

Мой эгоизм ее разозлил, что неудивительно. В единый миг она снова стала валькирией, которую я так хорошо знал. Ей снова было тридцать, и, расхаживая по комнате, она метала молнии. На меня обрушилось, что я непостижимый. Что я — загадка. Вот мы одни, в горах, мы, которым выпало счастье встретить друг друга и полюбить, полюбить так, как только мы умеем; но вместо того чтобы рука об руку взбираться на самые высокие вершины духа, анализируя, толкуя, совершенствуя друг друга, я пишу роман! Мне мало успеха, который имела «Майтрейи» каких-нибудь несколько месяцев назад? К чему эта спешка? Зачем я снова ищу убежища в книге вместо того, чтобы нам вместе проживать Жизнь?..

Как всегда, слушая ее, я соглашался, что в определенном смысле она права. Если бы не Нина, может быть, я бы и стал сопровождать Сорану на «вершины духа», хотя и предвидел, насколько это рискованно. Но Нина была. Значит, Павлу Аничету волей-неволей предстояло найти решение, чтобы помочь мне. Я должен был написать «Возвращение из рая». Я вернулся за стол, а Сорана снова взялась за книгу. Я слышал, как она вздыхает. Я тоже вздыхал, и она наконец спросила, в чем дело.

— Трудно идет. Не могу понять, что происходит в голове героя. Он считает, что влюблен сразу в двух женщин...

Она побледнела, но ответила с улыбкой, непривычно мягко:

— Так не бывает.

— Я тоже так думаю, — согласился я. — Но он уверен, что любит обеих. Не может решиться на выбор.

— Значит, он трус! — воскликнула Сорана.

И тут я понял, что решение, к которому стал склоняться мой герой, для него — самое правильное. Павел Аничет, как и я, был в некотором роде трусом — и в глазах других его самоубийство будет выглядеть трусостью. Но самоубийство — единственный для него выход: только уйдя из жизни, он сохранит обеих. Смерть вообще восстанавливает цельность. Всякое существование дробно по определению — ограниченно, ущербно, фрагментарно. А в случае с Аничетом, который стяжал цельность здесь, на земле, через любовь к двум женщинам сразу, смерть сохранит эту цельность in aeternum. Начни он выбирать — и нарушится цельность, переживаемая им в мучениях, в тоске, в бесконечных думах о смерти, в ожидании ее.

— Ты права, — сказал я Соране. — Павел Аничет — трус. В конце концов он наложит на себя руки...

Настал день, когда я, не выдержав, один вернулся в Бухарест. Сорана бросилась в Сибиу к Эмилю Чорану. Как я потом узнал, она ему все рассказала: что я хочу ее оставить, избавиться от нее и уже несколько месяцев только и делаю, что ищу для этого предлог. Чоран был потрясен до глубины души страданиями Сораны и, соответственно, воз-

мущен моей жестокостью и слепотой. Он не мог взять в толк, как это умный человек, которого любит такая женщина, не понимает своего счастья и хочет спровоцировать разрыв. Напрашивалось единственное приемлемое объяснение: моя духовная инертность, неспособность отдаться роковой страсти, которая, не исключено, подведет меня к безумию или смерти, — одним словом, моя посредственность и мое ханжество. В статьях Чорана, которые «Время» печатало тем летом и той осенью, я читал между строк бесконечные намеки на отсутствие у меня воображения и мужества. В сентябре или октябре появилась уничтожающая статья «Человек без судьбы», в которой я тотчас же узнал себя и которая, конечно же, пролила бальзам на израненную душу Сораны. Но это все было после. А пока я вернулся с мыслью сосредоточиться на романе. Однако я пошел проведать Нину. Она очень обрадовалась при виде меня, хотя и побледнела. Очевидно, ей кто-то сказал, что со мной в горах была и Сорана. Но я не поддержал разговора на эту тему. Если и тебе от меня одни мученья, сказал я, направившись к двери, я лучше исчезну и ты меня больше никогда не увидишь. Уйду куда глаза глядят, не могу больше мучить людей, это невыносимо...

Нина, без кровинки в лице, попросила меня не уходить. Я остался — и с тех пор она долго не задавала мне никаких вопросов.

В мансарде все еще было очень жарко, и я работал главным образом ночью, почти голый. Роман продвигался трудно, но все же скорее, чем в горах. Мне не доставляло никакого удовольствия описывать все ужасы, эротические и прочие, которые я считал нужным непременно дать как бы для того, чтобы вдохнуть хоть какую-то жизнь в головной роман, чьи герои, стоило им сойтись, пускались в бесконечные дискуссии (впрочем, именно так и происходило с нами, критерионцами). Всех этих болтливых, претенциозных и агрессивных интеллектуалов так или иначе терроризировала идея «провала». Интеллектуал-неудачник часто появлялся в отечественном романе. Своими неудачами он, как правило, был обязан провинциальной среде — узости и застою — или личным проблемам (алкоголь, наркотики), или, чаще всего, соблазну, который представляла политика. Но мои-то персонажи жили в Бухаресте, а не в провинциальном городке, так что были вполне свободны в выборе занятий по душе, и на них не давили ни экономика, ни политика. Несмотря на это, они жили жизнью хаотичной, путаной, ненормальной, пытаясь — всякий в меру своих сил — перебороть безнадежность, «спастись», то есть в первую очередь выйти из круга неудач в полновесную жизнь. Для кого-то «полновесность» означала бунт против родителей, против «стариков», против буржуазного общества и его ценностей. Почти все носились как одержимые с «проблемами». Единственный, кто перед «проблемами» не тушевался, был Петру Аничет (брат Павла). Поэтому я и хотел назвать второй том, посвященный ему, его сверстникам и идеологическим соратникам, «Хулиганы»...

Но пока, в конце лета, я находился только на середине «Возвращения из рая», а мой издатель Чорней ждал рукопись к первому октября, чтобы успеть выпустить ее к Рождеству. Может, я и кончил бы роман за четыре-пять недель, если бы с возвращением в Бухарест Сораны меня снова не увлекло в омут. Ни под каким видом Сорана не желала меня потерять; не только потому, что любила меня больше, чем когда-либо, но и потому, что собиралась меня спасать. По ее ощущениям, я рисковал полностью утратить способность к творчеству, если мы расстанемся. Только подле нее я мог бы стать тем, кем она одна меня видела: больше, чем великим писателем, ученым и философом, — гением и пророком. От друзей она узнала о моей связи с Ниной и не сомневалась, что связь эта для меня может быть фатальной.

Мое семейство и друзья терялись в догадках: что со мной творится и что я задумал? Мое имя было в то лето у всех на слуху (я получил несколько сот писем от читателей, особенно от читательниц), а выглядел хуже некуда и избегал людей. Больше всего недоумевала мама. Я целыми днями где-то пропадал и являлся только переодеться и прихватить с собой книгу-другую. Потом запирался в мансарде, не спускался к столу и бесконечно просил кофе. Иногда они приходили — то одна, то другая, разговаривали с мамой, спрашивали, как я. (Напрасно они поднимались по деревянной лестнице и стучались в

мою дверь. Я не откликался. А может, я и не слышал, потому что работал по ночам и добрую часть дня спал.)

Мне казалось, что единственный выход в том, чтобы расстаться с обеими. В каком-то смысле эта «смерть любви» соответствовала самоубийству Павла Аничета. Я знал, что мне будет очень нелегко, но любую боль я предпочел бы тому положению, в котором оказался. В последних числах сентября у меня состоялся долгий разговор с Нае Йонеску... Напоследок он оглядел меня, нахмурясь, и спросил: «Что с тобой происходит? Ты как будто не знаешь, на каком ты свете. Неужели пишешь роман?..» Пришлось признаться, что он угадал. «Как называется?» — с улыбкой поинтересовался он. — «Возвращение из рая». Он взглянул пристально, словно не веря своим ушам. Долго ничего не говорил. Моя неловкость нарастала: я испугался, что снова разочаровал его. «Так скоро?» — проронил он наконец.

«Как он прав!» — повторял я по дороге домой. *Так скоро...* И двух лет не миновало со дня моего отъезда из Индии. Неполный год — как я отбыл армейскую службу. Те времена казались мне утраченными навеки. Подумать только, я был свободен, открыт для любых приключений, я мечтал о предстоящем возвращении в Индию. И эту свободу я сам у себя отнял — рядом необдуманных поступков. Я еще и еще раз твердил себе, что один во всем виноват. Да, оставался единственный выход: попросить их простить меня и забыть.

Я помню тот сентябрьский вечер. В комнатушке у Нины я объявил ей о своем решении, попытался его объяснить. Она слушала, белая как мел, стоя у открытого окна — она отошла к окну, пока я говорил. Главное я сказал, но не мог остановиться, мне было страшно, что между нами повиснет молчание. «Я не выдержу, — услышал я. — Боюсь, что во второй раз не выдержу...»

Она неотрывно смотрела в окно. И тут я вспомнил всю ее жизнь, ее злополучную жизнь. Она полюбила во второй раз, и во второй раз ее любимый дал втянуть себя в игру, которая для нее означала конец. На сей раз здесь, на седьмом этаже, было открытое окно. Но и не будь этого окна, все, что я ей сказал, могло снова превратить любовь в золу. И бесполезно будет потом приходить с цветами и подарками, она ответит мне, как когда-то лейтенанту, что больше не любит, что, как бы ни старалась, больше не может меня любить... При всяком исходе я — во второй раз — принес бы ей несчастье, как будто мы были прокляты. И тут — как молния вспыхнула — я понял: это *майя* подбила меня на страшные слова, это ее последняя дьявольская попытка меня погубить. И еще я понял: я ни за что не причиню Нине горя, нет, я смогу одарить ее всем, чем она была до сих пор обделена; мое предназначение — сделать ее счастливой, и я не постою за ценой...

— Хорошо, — сказал я. — Я остаюсь. Но мы больше не можем так жить. Нам надо съехаться...

Она смотрела на меня улыбаясь, как сквозь сон, потом ответила:

— Я знаю, что это для тебя большая жертва. Но ты не жалей. Я должна открыть тебе одну тайну, я никому ее не открывала: мне недолго жить. Я знаю, что умру молодой...

В тот же вечер я написал Соране длинное письмо, объясняя свое решение. Выждал день, потом отправился к ней сам. Я нашел ее такой, как и ожидал: всю ночь она не сомкнула глаз. Она давно знает, сказала она, что со мной происходит, и испробовала все, что в ее силах, желая — для моего же блага — удержать меня от решения, которое я все-таки принял.

— Я бы хотела спросить только одну вещь, — прибавила она. — Если тебе пришлось выбирать, почему ты выбрал не меня?

Я не посмел еще раз повторить то, что столько раз повторял ей: что мы не смогли бы жить вместе, что мы погубили бы друг друга.

— Ты знаешь почему, — сказал я. — У тебя достанет силы и воображения, чтобы забыть меня... Я выбрал слабого...

■

ЭМИЛЬ ЧОРАН

Мирча Элиаде

С французского

Я познакомился с Элиаде в Бухаресте в 1932 году, только что пройдя курс философии. Он был тогда кумиром *нового поколения* — мы произносили эту магическую формулу с гордостью. Мы презирали «старичье», «рамоли» — словом, всех, кому перевалило за тридцать. Наш духовный учитель вел против них настоящую кампанию, уничтожая одного за другим, и почти всегда бил без промаха. Я говорю «почти», потому что ему случалось ошибаться — я имею в виду его выпады против Аргези, большого поэта, чья единственная вина заключалась в том, что он был признанным, официальным. Борьба между поколениями представлялась нам ключом ко всем конфликтам и объяснительным принципом всех событий. Быть молодым означало для нас — автоматически — быть гениальным. Вы скажете, что такая самонадеянность существует от века. Бесспорно, но не думаю, чтобы кто-то зашел в ней так же далеко, как мы. Это было крайнее выражение воли покорить Историю, зуд войти в Историю, любой ценой придумать что-то новое. Исступление было нормой. В ком оно воплощалось? В персонаже, вернувшемся из Индии, именно из той страны, которая всегда игнорировала Историю, хронологию, вообще какое бы то ни было движение. Я бы не стал подчеркивать этот парадокс, если бы он не выдавал глубинный дуализм характера, где уживаются сущность и случай, вневременное и будничное, мистицизм и изящная литература; такой дуализм, как исключение, не повлек за собой раскола личности: по природе своей и на свое счастье, Элиаде умеет жить одновременно или поочередно на разных духовных уровнях; изучая техники экстаза, не гнушаться и анекдотом.

С самого начала нашего знакомства я удивлялся, как он может вникать в *санкхью*[1] (о которой как раз опубликовал пространную статью) и при этом увлекаться модным романом. С тех самых пор это редкостное любопытство, такое всеохватное, такое хлещущее через край, прельщало меня неизменно, потому что в Элиаде нет ничего от темного, извращенного упорства маньяка, одержимого, который запирается в каком-то одном закутке знания и отвергает все остальное как фривольность и излишество. Единственная мания, которую я за ним знаю и которая, надо сказать, с возрастом поослабла, — это некоторая всеядность, но она как раз свойственна скорее тому, кто чужд фанатизму, кто набрасывается на самые разные предметы лишь из негаснущей жажды к испытательству. В те времена Элиаде обожал Йоргу. Румынский историк, фигура неординарная, завораживающе-притягательная, Николае Йорга — автор примерно тысячи работ, порой исключительно живых, но по большей части многословных, неуклюжих, нечитабельных, с редкими просветами посреди хаоса. Элиаде восторгался им, как восторгаются природой — лесом, морем, пашней, в общем, тучностью, избытком, всем, что всходит, произрастает, плодится и утверждает себя. Он никогда не отступал от культа жизненной силы и плодородия — особенно применительно к литературе. Может быть, меня заносит, но я имею все основания полагать, что подсознательно он ставит книги выше богов и поклоняется им охотнее. Я, во всяком случае, не встречал никого, кто бы любил их столь же страстно. Мне не забыть, с какой лихорадочной нежностью он, прибыв в Париж сразу же после Победы, ласкал их корешки и обложки, листал их страницы; он трепетал в книжных магазинах, как идолопоклонник, он *священнодействовал*. Такой энтузиазм предполагает очень большой запас душевной щедрости, без чего нельзя оценить изобилие, роскошь, расточительность — те свойства, через которые дух *имитирует* природу и превосходит ее. Я никогда не мог читать Бальзака; по правде говоря, я забросил его еще в раннем отрочестве; мне нет хода, нет доступа

---

[1] Санкхья (*санскр.*) — одна из шести ортодоксальных систем индийской философии. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

в его мир, он меня отторгает. Сколько же раз Элиаде пытался меня *обратить*! Он читал «Человеческую комедию» в Бухаресте; перечитывал в сорок седьмом году в Париже; не исключено, что он читает ее и сейчас в Чикаго. Ему всегда нравился полновесный, клокочущий жизнью роман, который развивается во многих планах и складывается в «мелодию без конца», с весомым присутствием времени, с прописанными деталями и обилием сложных и разнообразных тем; он чурался того, что в словесности называется *экзерсисом*, — анемичных и рафинированных игр, столь любимых эстетами, творений с душком, тронутых тленом, обделенных соками и инстинктом. Но и по-другому тоже можно объяснить его страсть к Бальзаку. Есть две категории умов: одну занимает процесс, другую — результат; первая наблюдает постепенное развертывание, этапы и поэтапное выражение мысли и действия; другая идет прямиком к финалу, к резюме, минуя логические промежутки. По своему темпераменту я всегда имел склонность к последней, тяготея к Шамфору, Жуберу, Лихтенбергу[1] — к тем, кто дает формулу, не открывая маршрута, который к ней привел. То ли из стыдливости, то ли от выхолощенности духа эти люди не могут преодолеть в себе суеверный принцип краткости; они хотели бы высказать все на одной странице, в одной фразе, одним словом. Время от времени это им удается, но, надо признаться, редко: иногда лучше придержать свой лаконизм и просто промолчать, не то рискуешь впасть в лжетаинственную многозначительность. А если человеку нравится такая форма выражения, крайне пуританская, чтобы не сказать узколобая, то от нее трудно отделаться и по-настоящему полюбить иное. Тому, кто привык обращаться к оракулам, Бальзак не по зубам, зато он может определить, почему кто-то питает к Бальзаку слабость, почему кому-то до́роги в мире писателя жизненные впечатления, широта, свобода, неведомые любителю максим, малого жанра, в котором совершенство сочетается с асфиксией.

При всей своей категорической приверженности к широким синтезам, Элиаде тем не менее умел блеснуть и в одном пассаже, в кратком и молниеносном эссе, чему свидетельством — его первые опыты, многочисленные маленькие тексты, которые он публиковал как до своего отъезда в Индию, так и по возвращении. В 1927 и 1928 годах он сотрудничал на регулярной основе с одним бухарестским еженедельником. Я тогда жил в провинции и учился в последних классах гимназии. Газета добиралась до нас в одиннадцать утра. На переменке я бегал за ней в киоск и таким образом получал возможность узнать более или менее громкие имена: Ашвагхоша, Кёрёши Чома, Буонаюти, Эухенио д'Орс[2] и еще много других. Я предпочитал иностранных авторов, потому что их книги, недоступные в моем городишке, несли в себе тайну и, как я подозревал, истину, а счастье сводилось к надежде когда-нибудь их прочесть. Возможность разочарования отодвигалась, таким образом, на потом, тогда как то же чувство по отношению к отечественным авторам было всегда под рукой. Сколько эрудиции, сколько пыла, сколько живительной силы вкладывалось в эти статейки, чей век равнялся одному дню. Они были захватывающими, и я уверен, что их ценность не преувеличена кривизной воспоминания. Я зачитывался ими как одержимый, но у моей одержимости была ясная голова. Я ценил прежде всего дар, с каким молодой Элиаде сообщал вибрацию и заразительность каждой идее, подавал ее в ореоле пристрастия сродни истерии, но истерии позитивной, стимулирующей, здоровой. Конечно, этот дар присущ только определенному возрасту, и даже если он сохраняется и после, не очень-то будешь его выставлять напоказ в своих занятиях историей религий...

---

[1] Никола́ Себастьен Шамфор (1741—1794) — французский писатель, драматург; его остроты, афоризмы, анекдоты составили посмертно изданную книгу «Максимы и мысли. Характеры и анекдоты».
Жозеф Жубер (1754—1824) — французский писатель-моралист.
Георг Кристоф Лихтенберг (1742—1799) — немецкий писатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик, ученый-физик. Мастер афоризма.

[2] Ашвагхоша (приблиз. II в.) — индийский поэт.
Шандор Кёрёши Чома (1784—1842) — венгерский ученый-востоковед.
Эрнесто Буонаюти (1881—1946) — итальянский историк.
Эухенио д'Орс (1882—1954) — испанский философ.

Нигде Элиаде не проявил себя с таким блеском, как в «Письмах к провинциалу», которые он писал по возвращении из Индии и публиковал порциями в том же еженедельнике. Думаю, ни одно из этих писем не прошло мимо меня, впрочем, их читали мы все, потому что нас-то они и касались, нам были адресованы. Чаще всего нам доставалось, и каждый ждал своего часа. Однажды дошел черед и до меня. Мне предлагалось избавиться от навязчивых идей, ни больше ни меньше, уволить периодические издания от заупокойных рассуждений, не седлать больше своего любимого конька — проблему смерти. Чтобы я покорился подобному требованию?

Чоран, Ионеско и Элиаде. Париж, 1984 г.

Ни за что на свете! Я и мысли не допускал, что можно переметнуться на другие проблемы, у меня как раз опубликовали текст, касающийся «представлений о смерти в искусстве северян», и я был полон решимости следовать этим курсом и дальше. Подспудно я ставил в упрек своему другу, что он ничему не привержен целиком, что он хочет быть *всем*, потому что не может быть *чем-то*; другими словами, что он не способен на фанатизм, на бред, на «глубину» — если иметь в виду способность всецело отдаваться какой-то мании, уходить в нее с головой. Я считал, что быть *чем-то* означает замереть на своей позиции, исключив взгляды по сторонам, пируэты, открытость к обновлению. Создание собственного мира, абсолюта за загородкой, где надо во что бы то ни стало замкнуться, казалось мне главным долгом разума. Я подразумевал под этим идею, если хотите, ангажированности, но такой, которая имела бы единственной целью внутреннюю жизнь, идею служения себе, не кому-то. Я

упрекал Элиаде в том, что «его не ухватишь», что он слишком открыт, слишком подвижен, что в нем слишком много энтузиазма. Среди прочего я ставил ему в укор, что он не сосредоточился целиком и полностью только на Индии. Индия, как мне казалось, включала в себя все, и если тебе ее не хватало — это был знак деградации. Свои обвинения я сформулировал в статье под агрессивным названием «Человек без судьбы», где круто расправлялся с любимым мыслителем, честя его за непостоянство, за неумение быть человеком одной идеи; я придирался к чему только мог, везде выискивая отрицательное (классический пример несправедливого и нелояльного подхода), я клеймил его за то, что он умеет владеть своими страстями и порывами, используя их по собственному усмотрению, что он избегает трагического и игнорирует «фатальность». Эта атака, произведенная по всем правилам искусства, имела только один недостаток: она ударяла сразу по всем фронтам, то есть ей можно было подвергнуть кого угодно. Почему, собственно, из человека с теоретическим складом ума, занятым определенными проблемами, надо непременно делать либо героя, либо монстра? Идея и трагедия в кровном родстве не состоят. Но я-то в те времена был убежден, что каждая идея должна обращаться в крик. Свято веря, что мрачность взгляда свидетельствует о трезвости познания, я упрекал своего друга за излишний оптимизм, за то, что ему все интересно и что он транжирит силы на деятельность, с требованиями подлинного познания несовместимую. Страдая безволием, я считал себя более эмансипированным, чем он, как будто мое безволие было результатом духовного завоевания или воли к мудрости. Помню, както я сказал ему, что в предыдущей жизни он наверняка питался одной травой, если сумел сохранить такую свежесть чувств, такую доверчивость и, соответственно, такую невинность. Я не мог простить ему, что чувствовал себя старше его, что взваливал на него ответственность за мою кислую мину и за мои неудачи, и мне чудилось, что свои надежды он обрел за счет моих. Как он мог преуспеть в стольких разнообразных областях? Неустанное любопытство, в котором я видел дьявольщину или, как святой Августин, «хворобу», было козырем в моих обвинениях. Тогда как в его случае любопытство свидетельствовало отнюдь не о болезни, а, напротив, о здоровье. И это-то здоровье я, завидуя, вменял ему в вину. Но сюда примешались и мотивы деликатного свойства.

Вряд ли я подвигнулся бы написать «Человека без судьбы», если бы не одно особое обстоятельство. У нас была общая приятельница, актриса, очень талантливая, но, на свою беду, увлекшаяся метафизическими проблемами. Эта увлеченность погубила и ее карьеру, и талант. Прямо на сцене, посреди какой-нибудь тирады или диалога на нее вдруг находило: ее обуревали, захлестывали глобальные мысли и она теряла всякий интерес к тому, что положено было щебетать по ходу действия. Будучи цельной натурой, она не считала нужным или не могла это скрывать, что сказывалось на ее игре. Ей не отказали от места, но стали доверять только маленькие, не слишком обременительные роли. Она воспользовалась случаем и целиком предалась своей склонности к умозрению и поискам ответов на вопросы, в которые вкладывала всю страсть, ранее отдаваемую театру. За ответами она шла сначала к Элиаде, а потом, уже с поостывшим вдохновением, ко мне. В один прекрасный день Элиаде не выдержал и выпроводил ее. Она бросилась ко мне поделиться своим разочарованием. Мы стали часто видеться, я давал ей выговориться, слушал. Она была особой ошеломляющей, что правда, то правда, но такой требовательной, такой изнурительной, такой напористой, что после каждой нашей встречи я как в трансе и совершенно без сил шел в первый попавшийся трактир, чтобы напиться. Крестьянка (самоучка, приехавшая из забытого богом села), она разглагольствовала о Бездне Небытия с невероятным подъемом и блеском. Она выучила несколько иностранных языков, заигрывала с теософией, читала великих поэтов. Она пережила достаточно разочарований, но ни одно не задело ее так сильно, как это последнее. Ее достоинства, как и ее муки, были столь велики, что в начале нашего знакомства мне казалось необъяснимым и недопустимым бесцеремонное поведение Элиаде. То, как он поступил с ней, в моих глазах было непростительным, и я написал ему в отместку «Человека без судьбы». Когда статья появилась на первой

полосе газеты, *она* была в восторге, прочла ее вслух в моем присутствии, как стержневой монолог из какой-нибудь пьесы, и прокомментировала параграф за параграфом. «Ничего лучше ты никогда не писал», — сказала она. Неуместная похвала, предназначавшаяся скорее ей самой — ведь разве не она в некотором роде спровоцировала эту статью, поставив для нее и материал? Позже я понял усталость и раздражение Элиаде и нелепость моего выпада против него, который, впрочем, его не раздосадовал, а даже позабавил. Эту черту в нем стоит отметить: опыт научил меня, что писатели страдают поразительной памятью на слишком меткие оскорбления.

В тот же период Элиаде начал читать лекции на филологическом факультете Бухарестского университета. Я ходил слушать его когда только мог. Душевный жар, которого он не жалел в своих статьях, снова проявился в этих лекциях, вибрирующих жизнью, самых вдохновенных из всех, какие я когда-либо слушал. Без всяких записок, без шпаргалок, подхваченный вихрем лирической эрудиции, он бросал в зал судорожные и все же скрепленные логикой слова, отбивая такт резкими движениями рук. Час напряжения, после которого — истинное чудо — в нем не чувствовалось, а может, и не было и следа усталости. Будто бы он владел искусством до бесконечности отдалять момент ее прихода. Все *негативное*, все, что вызывает саморазрушение как в физическом плане, так и в духовном, ему было и есть чуждо. Отсюда неспособность к безропотной покорности, к ламентациям, к самоедству, которые подразумевают тупик, маразм, отсутствие будущего. Опять же, может быть, это чересчур дерзко с моей стороны, но, по-моему, Элиаде, прекрасно понимая умом, что такое грех, чувства греха не имеет, он для этого слишком горяч, динамичен, быстр, слишком полон проектов и заражен возможным. Чувство греха есть только у тех, кто до бесконечности жует жвачку прошлого, кто намертво застрял в нем, не в силах отлипнуть, кто измышляет себе грехи из тяги к нравственным пыткам и находит удовольствие в припоминании всякого постыдного или непоправимого поступка, который совершил, а пуще всего — собирался совершить. Другими словами, у одержимых. Только они не жалеют времени на спуск в бездны самоистязания — пообжиться там, поваляться в грязи, — ведь они из того же теста, что и истинный христианин, иначе говоря, существо исстрадавшееся, с потрепанной душой, во власти нездорового желания быть про́клятым и кончающее все же победой над этим желанием, каковая победа, никогда не будучи полной, называется им «обретением веры». Начиная с Паскаля и Кьеркегора мы не можем представить себе «спасение» без свиты разнообразных увечий и без тайного упоения внутренней драмой. Особенно сегодня, когда в моде «клеймо проклятия» — в литературе, разумеется, — нам бы хотелось, чтобы весь мир жил, как про́клятый, в тоске. Но разве может быть про́клятым ученый? И с чего бы? Ведь чем обширнее знания, тем труднее принять ад: узковаты круги. Пожалуй, только мрачные стороны христианства еще вызывают в нас какой-то отклик; возможно, и надо видеть его в *черном* свете, так лучше находится его суть. И если такие наши представления об этой религии соответствуют истине, тогда Элиаде точно находится на ее окраине как в силу своей профессии, так и в силу своих убеждений, — не из самых ли он блистательных представителей нового александризма, который, как и древний, уравнивает все религии, не отдавая предпочтения ни одной? Какую предпочесть, за какую выступить и какое божество призвать, если ты отказываешься выстроить их в иерархию? Трудно представить себе молящимся специалиста по истории религий. А если он не на шутку молится, значит, он отступник от своей науки, сам себе противоречит, разрушает свои же Трактаты, где не фигурирует ни один *истинный* Бог, где все боги равны. Дело неблагодарное — описывать чужих богов. Как бы ни были талантливы комментарии, от богов останутся только выжимки — жизнь в них он никак не вдохнет. Сравнивая одних с другими, он лишь столкнет их лбами ко всеобщему ущербу; не их, а их анемичные символы, с которыми верующему нечего делать — если предположить, что на таком уровне эрудиции, непредвзятости и иронии может поселиться ортодоксальная вера. Мы все, во главе с Элиаде, — бывшие верующие, мы все — верующие без религии.

МИРЧА ЭЛИАДЕ: краткая летопись жизни и творчества

1907. Родился 9 марта в Бухаресте, в семье военного, вторым из троих детей. Отец — капитан Георге Элиаде, мать — Иоана Стоенеску.

1917— 1925. Годы учебы в школе, а затем в лицее Спиру Харета.

1921. Дебют в «Газете народного знания» — статья «Враг шелковичного червя». Первая премия за рассказ «Как я нашел философский камень» на конкурсе среди лицеистов.

1922. Ведет постоянные рубрики в той же газете: «Энтомологические беседы» и «Из блокнота следопыта», где описывает свои походы по стране.

1922—1923. Пишет первое крупное произведение, которое увидит свет 64 года спустя, — «Роман о близоруком подростке». К этому времени у него опубликовано уже около полусотни статей и литературных очерков.

1925. Поступает в Бухарестский университет на факультет филологии и философии.

1926. Становится главным редактором университетского журнала, сотрудничает в еженедельнике «Кувынтул».

1928. Рим. Работа над дипломом «Итальянская философия от Марсилио Фичино до Джордано Бруно».

Получает степень лиценциата философии.

Ноябрь. Отбывает на пароходе в Индию. По дороге остановки в Египте и на Цейлоне.

В Калькутте посещает лекции Сурендраната Дасгупты, изучает санскрит.

1930. Первые публикации по философии индийских религий в Бухаресте и Риме.

Литературный дебют на родине: роман «Изабель и воды дьявола».

Четыре месяца живет в Ришикеше, в гималайском монастыре. Его «гуру» — знаменитый Свами Шивананда. Практические занятия йогой.

1931. Письмо от отца с известием о том, что его срочно призывают на военные сборы.

Декабрь. Возвращение в Бухарест.

1932. *Январь— ноябрь.* Воинская служба: сначала в противовоздушном полку, затем — в бюро переводчиков при штабе. Выступает с циклом лекций по радио, сотрудничает в еженедельниках «Кувынтул» и «Время», участвует в деятельности просветительского общества «Критерион», пишет диссертацию по истории йоги. Первый сборник эссе «Монологи».

1933. Роман «Майтрейи» получает первую премию на конкурсе рукописей. После публикации — шумный успех.

Защищает диссертацию по философии.

Принят ассистентом на кафедру логики и метафизики Бухарестского университета.

1934. Женитьба на Нине Мареш.

Романы «Возвращение из рая» и «Гаснущий свет»; сборники эссе «Океанография» и «Индия».

1935. Романы «Строительство» и «Хулиганы»; первая часть монографии по восточным наукам «Азиатская алхимия».

1936. В Париже отдельным изданием выходит его докторская диссертация «Йога. Эссе об истоках индийской мистики».

Роман «Девица Кристина» вызывает скандал в прессе.

1937. Министерство народного образования требует отстранения Элиаде от преподавательской деятельности — за сочинение «порнографической литературы».

Вторая часть монографии по восточной науке «Вавилонская космология и алхимия». Во французский период его жизни обе части этой монографии, дополненные и исправленные, сольются в работу «Кузнецы и алхимики».

Роман «Змей».

1938. *Июль— ноябрь.* Попадает в волну правительственных репрессий против легионеров, хотя в «Железной гвардии» не состоял; отбывает четыре месяца в лагере для политзаключенных.

Роман «Свадьба на небесах».

1939. В Париже выходит первый номер затеянного им журнала по истории религий «Залмоксис».

Сборник эссе «Фрагментариум» (Бухарест).

1940. *Апрель.* Занимает пост атташе по культуре при посольстве Румынии в Лондоне.

Новеллы «Загадка доктора Хонигбергера» и «Серампорские ночи» (Бухарест).

1941. *Февраль.* Должность атташе по культуре в Лисабоне. Встречи с Х. Ортегой-и-Гассетом и Э. д' Орсом.

На сцене «Национального театра» в Бухаресте — премьера пьесы «Ифигения».

Эссе «Миф о воссоединении» (Бухарест) — основа будущей французской работы «Мефистофель и андрогин».

1943. «Комментарии к легенде о мастере Маноле» и эссе «Остров Евтанасия» (Бухарест).

1944. Смерть жены Нины Мареш.

1945. Переезд в Париж.

По приглашению Ж. Дюмезиля читает курс лекций в Школе высших штудий.

Избран членом Азиатского общества в Париже.

1948. «Техники йоги» («Галлимар»[1]).

Приглашен читать лекции в Сорбонне.

Основывает журнал румынской эмиграции «Лучафэрул».

1949. Издательство «Пайо» публикует «Трактат по истории религий» («Traité d'histoire des religions»), который в английском варианте озаглавлен «Patterns in comparative religion» (1958).

«Миф о вечном возвращении» («Галлимар»).

1950. Женитьба на Кристинель Коттеску.

На конференции «Эраноса» в Асконе впервые встречается с К. Г. Юнгом.

1951. «Шаманизм и архаические техники экстаза» («Пайо»).

1952. «Образы и символы» («Галлимар»).

1954. «Йога. Бессмертие и свобода» («Пайо»).

1955. Французский перевод двухтомного романа «Купальская ночь» («Noaptea de Sânziene») выходит в «Галлимаре» под названием «Заповедный лес» («Forêt interdite»).

Пишет главу «Устные литературы» для «Энциклопедии Плеяды».

1956. Эссе «Кузнецы и алхимики» («Фламмарион»).

---

[1] На протяжении всей жизни Элиаде в своих французских и английских сочинениях прибегает к помощи стилистов. Беллетристику пишет только по-румынски. Никогда сам не переводит ни свои научные труды, ни прозу на другие языки.

Первая поездка в США. Проводит «Хаскеллские чтения»; их материалы публикуются под названием «Рождение и повторное рождение» («Birth and Rebirth», 1958); французское издание — «Мистические рождения» («Naissances mystiques», 1959); второе английское издание «Обряды и символы инициации» («Rites and Symbols of Initiation», 1965).

1957. Возглавляет кафедру истории религий Чикагского университета, а также занимает должность профессора в Комитете общественной мысли.

Пишет для «Rowohlt Deutsche Enzyklopädie» эссе «Священное и мирское» («Das Heilige und das Profane»), которое будет переведено на английский в 1959 г., но в научный обиход войдет лишь во французском варианте: «Le Sacré et le Profane» («Галлимар», 1965).

Эссе «Мифы, сновидения и мистерии» («Галлимар»).

1959. С этого года Элиаде два триместра читает лекции и ведет семинары, последний триместр работает с аспирантами, лето проводит в Европе.

«Миф о вечном возвращении» переиздан в Нью-Йорке с новым предисловием автора под названием «Космос и история».

1960. Начало работы над мемуарами.

1960—1972. Вместе с Эрнстом Юнгером выпускает в Штутгарте ежегодный альманах мифологических исследований «Антайос».

1961— 1986. Руководит изданием энциклопедии «История религий» в 16-ти томах (вместе с Дж. Китагавой и Ч. Лонгом).

1962. «Патанджали и йога» («Сёй»).

Эссе «Мефистофель и андрогин» («Галлимар»), которое будет издано на английском в Нью-Йорке в 1965 г. и переиздано в 1969 г. в Лондоне под заголовком «The Two and the One»).

1963. «Аспекты мифа» — сжатое изложение «Трактата по истории религий» («Галлимар»).

Английские версии: «Кузнецов и алхимиков» под заголовком «The Forge and the Crucible» (Лондон — Нью-Йорк) и «Аспектов мифа» — «Myth and Reality» (Нью-Йорк).

В Мадриде эмигрантское издательство «Дестин» публикует на румынском сборник повестей и рассказов.

Начат второй том мемуаров, которые Элиаде считает в то время своим главным делом.

1964. Сотрудничество с «Энциклопедией мирового искусства» (Нью-Йорк).

1966. Избрание членом Американской академии искусств и наук.

В Мадриде публикуется на румынском языке первый том его воспоминаний: «Amintiri. I. Mansarda».

13 июня. Доктор honoris causa Йейльского университета.

1967. Хрестоматия древних текстов «От первобытных до дзэн-буддизма» («From Primitives to Zen», Лондон — Нью-Йорк); переизданная в 1974 г. в четырех томах: I.«Gods, Goddesses and Myths of Creation»; II.«Man and the Sacred»; III.«Death, Afterlife and Eschatology»; IV.«From Medicine Man to Muhammad».

В Париже печатается по-румынски повесть «На улице Мынтуляса».

1969. Доктор honoris causa Университета Ла-Платы, Аргентина.

Чикагский университет выпускает том посвященных Элиаде исследований «Мифы и символы».

Впервые после войны в Румынии выходят два тома его беллетристики.

Книга «Поиски. История и смысл в религии» («The Quest. History and Meaning in

Religion», Чикаго — Лондон), переизданная в 1971 г. под названием «Ностальгия по истокам» («La Nostalgie des origines», «Галлимар»).

1970. Доктор honoris causa Лойольского университета (Чикаго).

Член-корреспондент Британской академии.

Монография «От Залмоксиса до Чингисхана» («Пайо») по гето-дакийским мифам и балканскому фольклору.

1971. В Париже издается на румынском языке роман «Купальская ночь».

1972. Исследование «Австралийские религии» (Париж).

Член-корреспондент Австрийской академии наук.

Сентябрь. Член Бельгийской Королевской академии.

1973— 1976. За три года в Японии выходит 13-томное собрание сочинений Мирчи Элиаде.

1976. Доктор honoris causa Сорбонны.

Сборник эссе «Оккультизм, колдовство и мода в культуре» (Чикаго — Лондон).

Первый том монументальной «Истории религиозных идей» («Пайо»).

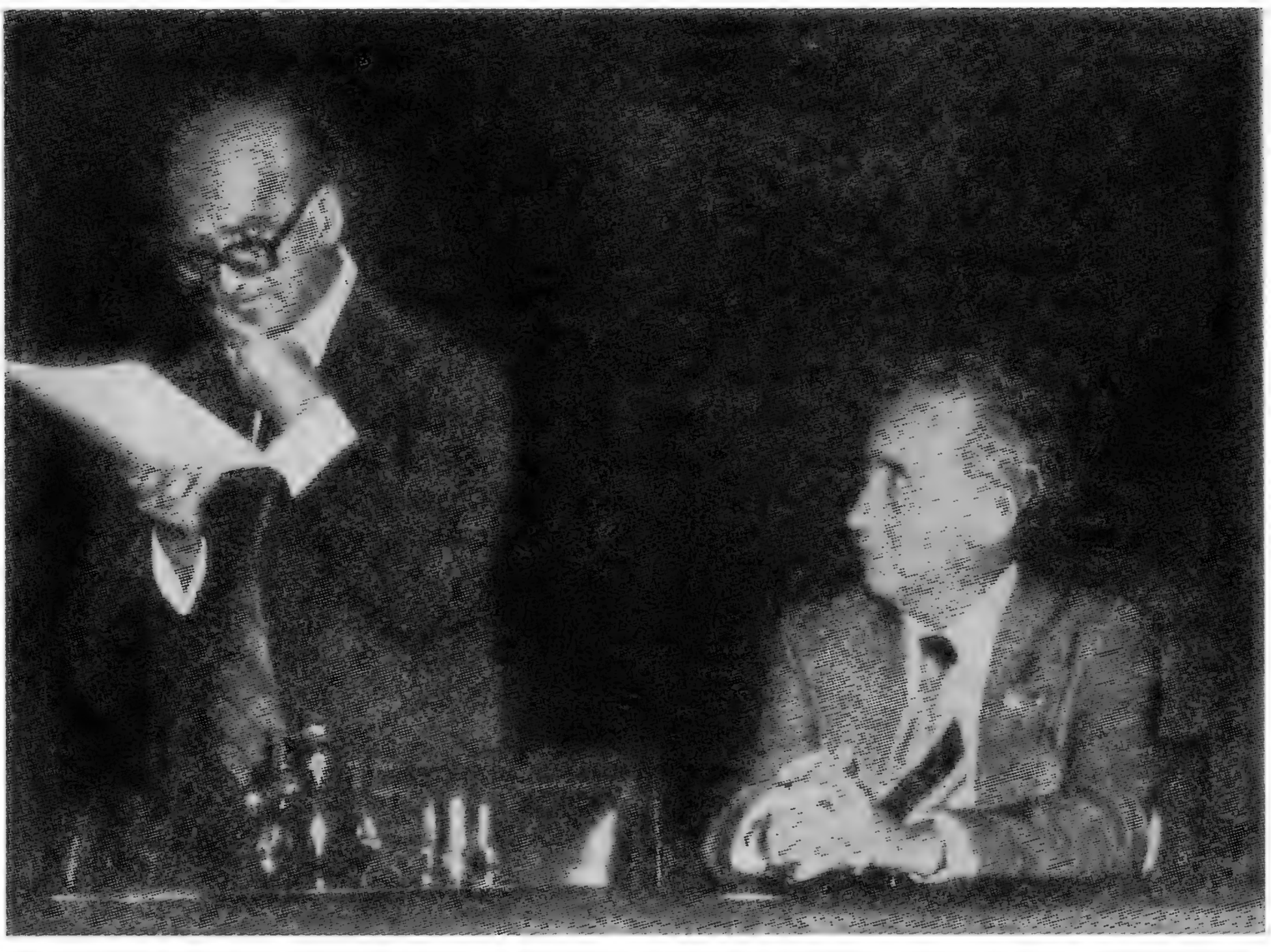
1977. В Париже публикуется на румынском сборник повестей и рассказов «При дворе Диониса».

1978. Второй том «Истории религиозных идей».

В издательстве «Эрн» выходит французский перевод «Змея» — «Andronic et le Serpent».

33-й номер «Cahiers de l'Herne» посвящен Мирче Элиаде.

Опубликована в виде книги запись бесед Элиаде с Клодом-Анри Роке — «Испытание лабиринтом».



Мирча Элиаде избран членом Бельгийской академии, 1977 г.

1980. Лионский университет им. Жана Мулена выдвигает Элиаде на Нобелевскую премию.

В «Галлимаре» выходит первая часть мемуаров: «Memoires, I (1907— 1937). Les promesses de l'equinoxe».

В Румынии ставят пьесу «Бесконечная колонна».

В Нью-Йорке выходит аннотированная библиография сочинений Элиаде: *Douglas Allen and Dennis Doeing.* «Mircea Eliade. An Annotated Bibliography».

В Париже по-румынски публикуется фантастическая повесть «Без юности юность».

1981. Английская версия первой части мемуаров под заголовком «Autobiography» (Нью-Йорк).

Повесть «Без юности юность» выходит под заголовком «Le temps d'un centenaire» («Галлимар»).

1982. Элиаде — 75 лет.

Март. В США выходит юбилейный том в его честь: «Воображение и смысл» («Imagination and Meaning»). В разных странах проходят посвященные ему симпозиумы, коллоквиумы.

1983. Третий том «Истории религиозных идей» («Пайо»).

1984. В ФРГ начинается издание полного собрания сочинений Элиаде.

В Италии ему вручают международную премию Данте Алигьери.

Награждение орденом Почетного легиона.

1985. Доктор honoris causa Вашингтонского университета.

15 мая. Чикагский университет присваивает имя Мирчи Элиаде кафедре истории религий.

1986. *Февраль.* В «Галлимаре» выходит последний прижизненный том его эссе «Briser le toit de la maison. La creativité et ses symboles».

14 апреля. Резкая вспышка болезни.

22 апреля 1986 г. *Мирчи Элиаде не стало.*

Апрель— май. В Румынии, Франции, Италии, США и во многих других странах — некрологи и статьи, посвященные Мирче Элиаде.

31 мая. В Сорбонне траурным собранием отмечен сороковой день после его смерти.

1987. По случаю 80-летнего юбилея Элиаде во всем мире проходят коллоквиумы в его честь, выпускаются книги, снимаются фильмы.

В Италии выходит сборник «Мирча Элиаде и Италия», где, кроме исследований о нем, опубликована переписка Элиаде с видными итальянскими, французскими и румынскими учеными.

Центр «Жорж Помпиду» устраивает Дни Мирчи Элиаде.

В Нью-Йорке выходит 16-томная «Энциклопедия религий», которую Элиаде успел полностью отредактировать, снабдить предисловием, датированным мартом 1986-го, и для которой написал ряд статей.

В Бухаресте печатают, по рукописи, «Роман о близоруком подростке» и второй том «Воспоминаний».

1988. В Париже на доме, где жил Элиаде (пл. Шарля Дуллена), установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь жил Мирча Элиаде, румынский писатель и философ, который родился в Бухаресте в 1907 году и умер в Чикаго в 1986-м».

1990. Мирча Элиаде посмертно избран членом Румынской академии.

МИРЧА ЭЛИАДЕ В РОССИИ

КОСМОС И ИСТОРИЯ: Избранные работы. М., Прогресс, 1987. Составление, вступительная статья и комментарии Н. Я. Дараган. Послесловие В. А. Чаликовой. Под общей редакцией И. Р. Григулевича и М. Л. Гаспарова. Перевод с французского и английского А. А. Васильевой, В. Р. Рокитянского, Е. Г. Борисовой.

СВЯЩЕННОЕ И МИРСКОЕ. М., Изд-во Московского университета, 1994. Перевод с французского, предисловие и комментарии Н. К. Гарбовского.

Ю. Стефанов, А. Туманский. СВЯЩЕННОЕ В ОБЫДЕННОМ, или МИСТИЧЕСКОЕ ДИССИДЕНТСТВО МИРЧИ ЭЛИАДЕ. Комментарии, №7, 1995.

АСПЕКТЫ МИФА. М., Инвест-ППП, 1995. Перевод с французского В. Большакова. Статья, комментарии Е. Строгановой.

ПОД ТЕНЬЮ ЛИЛИИ. Проза. М., Энигма, 1996. Составление и перевод с румынского А. А. Старостиной. Послесловие Ю. Н. Стефанова.

*Мирча Элиаде, Ион Кулиано (*при участии *Г. С. Винер).* СЛОВАРЬ РЕЛИГИЙ, ОБРЯДОВ И ВЕРОВАНИЙ. М., Рудомино — СПб., Университетская книга, 1997. Научный редактор Е. Мурашкинцева. Перевод с французского Н. Зубкова, Е. Морозовой, Е. Мурашкинцевой.

АЗИАТСКАЯ АЛХИМИЯ. Избранные сочинения. М., Янус-К, 1998. Автор проекта и составитель А. А. Старостина. Под общей редакцией и со вступительной статьей Н. Л. Сухачева. Комментарии Н. Л. Сухачева, Д. Э. Харитоновича. Перевод с румынского, французского, английского А. А. Старостиной, Н. Л. Сухачева, Н. А. Михайлова, Т. В. Цивьян, А. В. Нестерова, Ш. А. Богиной.

■

ЖОЗЕ САРАМАГО

О ТОМ, КАК ГЕРОИ УЧАТ АВТОРА РЕМЕСЛУ

Нобелевская лекция 1998 года

Самый мудрый человек из всех, когда-либо встречавшихся мне в жизни, не умел ни писать, ни читать. Часа в четыре утра, когда заря, возвещая новый день, чуть брезжила еще где-нибудь над Францией, он поднимался со своего топчана и гнал на выпас с полдюжины свиней — их плодовитость и кормила его с женой. Родители моей матери тем и живы были, что держали свиней в таком вот скудном количестве, а поросят продавали соседям в деревне Азиньяга, что в провинции Алентежо. Деда звали Жеронимо Мелриньо, бабку — Жозефа Кайшинья; оба были неграмотными. Зимними ночами, когда становилось так холодно, что замерзала вода в кадке, они забирали из хлева самых слабеньких поросят и клали их к себе в постель. Грубые одеяла и тепло человеческих тел не давали новорожденным замерзнуть и спасали их от верной смерти. Дед и бабка были люди добросердечные, но поступали так вовсе не из сострадания: им была чужда сентиментальность, они просто оберегали то, что давало им пропитание, и это было совершенно естественно для людей, которые, чтобы выжить, привыкли задумываться лишь о самом насущном. Я часто помогал деду в его трудах: вскапывал огород у дома, колол дрова, крутил тяжелое железное колесо, приводившее в действие насос деревенской колонки, ведрами таскал воду. Часто на рассвете тайком от сторожей мы с граблями, мешками и веревками пробирались на кукурузные поля и сгребали оставшиеся после уборки стебли и листья нашим свиньям на подстилку. А иногда, жарким летом, после ужина дед говорил мне: «Жозе, сегодня мы с тобой будем ночевать под Смоковницей». Поблизости росло еще два фиговых дерева, но все в доме понимали, о каком именно шла речь — оно было самым большим, а значит, самым старым и почти бессмертным. Такая вот «антономазия» — лишь много лет спустя я повстречал это умное слово и узнал, что оно означает... В ночной тиши меж высоких ветвей звезда являлась мне и медленно пряталась за листьями, а стоило отвести глаза чуть в сторону, я видел струящееся по вогнутому небосводу, подобно безмолвной реке, опаловое сияние «дороги святого Иакова», как в ту пору еще называли в деревне Млечный Путь. Сон не шел, ночь заполнялась рассказами деда: легендами и истинными происшествиями, призраками и ужасами, невероятными случаями, давними смертями, драками с кольями и камнями, словами наших праотцев — неумолчным рокотом воспоминаний, который и не давал мне уснуть и в то же время мягко убаюкивал. До сих пор не знаю, замолкал ли дед, увидев, что сон сморил меня, или продолжал говорить, чтобы не оставить без ответа мое неизбежное «А дальше?», звучавшее в тот миг, когда он намеренно прерывал рассказ в самом интересном месте. Может быть, он повторял эти истории самому себе, чтобы не забыть или чтобы уснастить их новыми подробностями. Излишне говорить, что мне, как, наверно, и каждому в этом возрасте, мой дед Жеронимо представлялся всеведущим хранителем мировой мудрости. Когда же на заре я просыпался от птичьего пения, его уже не было рядом — он, не будя меня, уходил пасти своих свиней. Я вскакивал, сворачивал одеяло и босиком — до четырнадцати лет я всегда ходил босиком, — с запутавшимися в волосах соломинками шел к дому. Бабушка, неизменно поднимавшаяся еще раньше деда, ставила передо мной большую круж-

© The Nobel Foundation, 1998
© А. Богдановский. Перевод, 1999

ку кофе с накрошенным в него хлебом и спрашивала, хорошо ли мне спалось. Если ночью после дедовых рассказов мне снилось что-нибудь страшное, она всегда говорила: «Выброс ь это из головы, снам веры нет». В ту пору я был убежден, что бабушка, при всей своей мудрости, не в силах достичь тех вершин, где пребывал дед — человек, который, лежа под смоковницей бок о бок со своим внуком Жозе, мог всего лишь несколькими словами привести Вселенную в движение. Много лет спустя, когда дед Жеронимо уже покинул этот свет, а я стал взрослым, мне в конце концов открылось, что сама-то бабушка снам верила. А иначе как объяснить, что однажды вечером, сидя на пороге своего дома, где жила теперь одна, и глядя на гигантские и крохотные звезды над головой, она произнесла: «Какой красивый мир и как жалко, что придется умереть». Она не сказала «страшно», она сказала — «жалко», словно ее тяжкую, заполненную изнурительным трудом жизнь едва ли не перед самым концом осенила некая благодать — благодать высшего и последнего прощания, даровавшего ей утешение красотой окружающего. Она сидела у дверей своего дома, подобного которому я представить себе не могу в целом мире, — в этом доме жили люди, способные брать к себе в постель поросят, будто это их собственные дети, люди, горевавшие, расставаясь с жизнью, оттого лишь, что мир прекрасен; таким был и мой дед Жеронимо, свинарь и сказочник, который в предчувствии того, что смерть уже скоро явится и приберет его, прощался с деревьями в саду — с каждым по отдельности: подходил, обнимал и плакал, ибо знал, что больше не увидится с ними.

И опять же через много лет, когда я впервые написал о Жеронимо и Жозефе (забыл упомянуть, что, по свидетельству знававших ее в молодости, она отличалась редкостной красотой), то окончательно убедился: превращаю обыкновенных людей в литературных героев; быть может, таков был придуманный мною способ не забыть их — воссоздать и запечатлеть их черты тем карандашом, который преображает и саму память; осветить и расцветить монотонность скучной, лишенной горизонта повседневности, словно творя поверх переменчивой карты памяти сверхъестественную нереальность страны, где некто решил скоротать свой век. Те же чувства заставили меня, вспоминая загадочно-притягательную фигуру другого моего деда, бербера, так описать старый (а теперь ему уже вообще восемьдесят лет) снимок: мои родители, «оба молодые и красивые, смотрят на фотографа с торжественно-серьезными лицами, переживая, быть может, испуг при виде аппарата, чьи хитрые стеклышки вот-вот остановят мгновение, которого никогда уже больше не будет, ибо этот день неумолимо перетекает в следующий... Мать опирается локтем правой руки о высокую подушку, держа в пальцах цветок. Отец обхватил ее за спину, и его мозолистая рука выглядывает из-за ее плеча как крыло. Они застенчиво стоят на ковре с орнаментом в виде ветвей, а фоном служит картина, где расплывчато и нелепо запечатлено что-то псевдоантичное... Придет день, когда я расскажу об этом. Никого, кроме меня, это не касается. Дед — бербер из Северной Африки, второй дед — свинарь, волшебно прекрасная бабушка, серьезные, красивые лица родителей, цветок на картине — какой еще генеалогии искать? к какому еще родословному древу мне притулиться?»

Я написал это почти тридцать лет назад с единственной целью — воссоздать и запечатлеть мгновения из жизни людей, которым обязан своим существованием и ближе которых у меня никого нет; я был уверен, что этого более чем достаточно, чтобы объяснить, откуда я взялся, из какого материала скроен, почему стал тем, чем стал. Я заблуждался — не все определяется биологией, что же касается генетики, то таинственны должны быть те пути, по которым заходит она так далеко... Мое родословное древо (да простится мне некоторая выспренность, ибо плод, вскормленный его соками, ничтожен) лишено не только многих ветвей, отсеченных от ствола временем и чередой житейских битв, но и того, кто помог бы его корням проникнуть в самые глубинные слои, того, кто сумел бы оценить спелость и аромат его плодов, того, кому под силу было бы укрепить и раскинуть вширь его крону, где перелетные птицы нашли бы себе пристанище, свили бы гнезда. Изображая своих родителей, дедов и бабок средствами литературы, превращая обыкновенных людей из плоти и крови в литературных персонажей, заново и по-разному выстраивавших мою жизнь, я, сам того не замечая, торил тропу — и потом этой самой тропою другие, выдуманные

мною герои, уже вполне книжные, принесут мне материалы и инструменты, с помощью которых — к добру или к худу, с прибылью или с убытком, в чем-то с недостачей, а в чем-то с перебором — получится из меня нечто такое, что я теперь готов признать самим собой, то есть творец всех этих образов и их творение. В каком-то смысле можно даже сказать, что буква за буквой, слово за словом, страница за страницей, книга за книгой я постепенно внедрял и вселял в себя созданные мною образы. Уверен, что без них я не был бы таким, каков я теперь; вполне вероятно, без них жизнь моя стала бы лишь неоконченным и беглым наброском; обещанием, которому, как часто бывает, не суждено исполниться, существованием человека, который вроде что-то и мог бы — да вот не сумел.

Теперь мне ясно видны эти мастера жизни, настойчиво и упорно учившие меня тяжкому ремеслу бытия; вот проходят у меня перед глазами десятки героев моих романов и пьес, эти мужчины и женщины, сотворенные из бумаги и чернил, люди, управляемые, казалось бы, лишь моей авторской волей, покорные моей прихоти, как марионетки, чьи поступки и поведение не могли влиять на меня сильнее, чем противодействие ниточек, за которые я дергал, приводя их в движение. И первым из них, несомненно, был среднего дарования портретист, названный мною просто Х., главный герой истории, которую, наверно, есть основания считать двойной инициацией (его собственной, но и в известном смысле моей тоже), истории, озаглавленной «Учебник живописи и каллиграфии»; это он, мой персонаж, преподал мне азы простого и честного искусства отмечать и признавать, не сетуя и не ропща, собственную ограниченность: поскольку я не мог и не надеялся преуспеть, шагнув за пределы своей маленькой сюжетной «делянки», мне оставалось лишь одно — копать, копать все глубже и глубже, с тем чтобы докопаться до самых корней. До моих корней — но и до корней мира, если позволительна подобная неумеренность амбиций. Разумеется, не мне оценивать, сколь плодотворны были результаты этих усилий, но сегодня я считаю совершенно очевидным: моя работа с той поры и доныне этому принципу подчинена, эту цель преследует.

Затем пришел черед жителей провинции Алентежо, того самого братства обреченных работать на земле, к какому принадлежали мои дед Жеронимо и бабка Жозефа, простые крестьяне, вынужденные продавать силу своих рук и свой труд за такую плату и на таких условиях, которые иного названия кроме «подлых» не заслуживают: они отдавали меньше даже чем за бесценок то, что мы, люди, гордящиеся своей цивилизованностью и культурой, любим называть — смотря по обстоятельствам — бесценным, священным, высшим даром. Пришел черед простых и хорошо известных мне людей, замороченных церковью, с которой государство и латифундисты по-честному делились и властью, и барышами, этой властью доставляемыми, людей, находящихся под неусыпным присмотром полиции, так часто становившихся невинными жертвами произвола и неправедного правосудия. Жизнь трех поколений крестьянской семьи Мау-Темпо от начала нашего века до Апрельской революции 1974 года, свергнувшей диктатуру, прослеживается на страницах романа под названием «Поднявшиеся с земли», и эти-то вставшие во весь рост люди — сначала реальные, а потом выдуманные мной — научили меня терпению, научили доверять времени, полагаться на него, ибо время разом и строит и разрушает нас затем, чтобы выстроить и снова разрушить. Не вполне, пожалуй, усвоено и воспринято мною лишь одно, одно-единственное их свойство, благодаря тягчайшим испытаниям превратившееся в достоинство, — это естественная, а не показная суровость в отношении к жизни. Приняв, однако, в расчет, что затверженный урок и сейчас, по прошествии двадцати с лишним лет, не изгладился из моей памяти, что ежедневно я ощущаю в душе его настойчивое и требовательное присутствие, хочу сказать: я вовсе не утратил надежды на то, что хоть чуть-чуть приближусь к образцам этого величавого достоинства, явленным мне когда-то в безмерном пространстве равнин Алентежо. Время, впрочем, покажет.

А какие уроки мог бы преподать мне тот живший в XVI веке португалец, который в «Лузиадах» воспел славу, оплакал бедствия и горести своей отчизны, который был абсолютным выражением поэтического гения, величайшего в нашей словесности, как бы ни огорчало это обстоятельство Фернандо Пессоа, объявившего себя «сверх-Камоэнсом»? Да лишь одно я в силах был

усвоить, только один урок мог пойти мне впрок, самый простой из всех предложенных мне чистым гуманизмом Луиса де Камоэнса — пример гордого смирения, с которым писатель обивал пороги, отыскивая того, кто согласился бы издать написанную им книгу, страдая от презрения родовитых невежд, от пренебрежительного равнодушия короля и его могущественных придворных, от глумления, коим мир спокон веку встречает пришествие поэтов, пророков, шутов. По крайней мере, раз в жизни каждый из сочинителей оказывался или еще окажется Луисом де Камоэнсом, даже если сочинитель этот и не написал «Колокола сзывали в божий храм...»[1] И вот в толпе вельмож, царедворцев и цензоров Святой инквизиции, в кругу минувших любовей и разочарований преждевременной старости, во власти мук творчества и радости творения, появился этот больной человек, бедняком вернувшийся из Индии, куда столь многие отправлялись лишь затем, чтобы разбогатеть; одноглазый солдат с исполосованной шрамами душой, неудачливый соблазнитель, которому никогда больше не придется кружить головы придворным дамам, он вышел на сцену в пьесе, названной мною «Что сделаю я с этой книгой?», где в финале звучит другой вопрос, единственный, имеющий значение, но не имеющий ответа, даже если этот ответ нам и дают: «Что сделаете вы с этой книгой?» Да, такое смирение паче гордости — носить под мышкой бессмертный шедевр, несправедливо отвергаемый миром. Кроме гордости, в смирении этом есть и одержимость: мы непременно желаем знать, какой цели послужат завтра книги, которые пишутся сегодня, и вместе с тем терзаемся сомнениями относительно того, долго ли (и сколько именно?) просуществуют доводы, которые в виде утешения предлагают нам окружающие или мы сами себе предлагаем. Легче всего обмануть того, кто хочет быть обманутым.

И вот перед нами мужчина, потерявший на войне левую руку, и женщина, наделенная таинственным даром видеть скрытое от взгляда. Имя его Балтазар Матеус, а прозвище Семь Солнц; ее зовут Блимунда, а потом назовут Семь Лун, ибо давно уже сказано: там, где есть солнце, должна быть и луна, потому что только гармоничное сочетание того и другого, именуемое любовью, делает нашу землю пригодной для обитания. Появляется и иезуит Бартоломеу, изобретатель некой машины, на которой можно подняться в небо и летать, причем движима она одной лишь человеческой волей, волей, способной, говорят, совершить все что угодно, но до сих пор не умеющей, не желающей, не знающей, как стать солнцем и луной простой доброты или еще более простого уважения. Эти три чудака живут в Португалии в XVIII веке: эпоха и край объяты жаром предрассудков и костров инквизиции, а обуреваемый тщеславием и гигантоманией король возводит здание — одновременно монастырь, дворец и храм, — которое должно изумить весь окружающий мир, если, конечно, мир этот — на что надежды крайне мало — обратит взор на Португалию, то есть если глаза его, подобно глазам Блимунды, способны увидеть незримое... И выходит многотысячная толпа людей с грязными, мозолистыми руками, измученных и изнуренных тем, что год за годом, камень за камнем возводили они неумолимые монастырские стены, огромные дворцовые залы, колонны и пилястры, воздушную башню колокольни, парящий в пустоте купол собора... И до нас доносятся звуки, исторгаемые из клавесина Доменико Скарлатти, который и сам не знает, смеется он или плачет... Это история «Балтазара и Блимунды», и в этой книге автор-подмастерье, благодаря тому, что усвоил во времена своего деда Жеронимо и своей бабки Жозефы, сумел написать не лишенные известной поэтичности строки: «Помимо речей женщины, лишь мечты удерживают мир на его орбите. И те же мечты венчают его лунами, вот почему в головах людей небо равнозначно славе и блеску, хоть есть одно-единственное небо — то, что в головах людей». Быть по сему.

О поэзии подросток уже получил кое-какое представление по учебникам и хрестоматиям в пору, когда, посещая технический лицей в Лисабоне, готовился к тому поприщу, на которое суждено было ему вступить в начале жизненного пути, а проще говоря — учился на механика. Он обрел хороших учителей поэзии и в те долгие вечера в публичных библиотеках, когда наугад рылся в каталогах и сам, никем не руководимый и не направляемый, делал находки, испытывая при этом созидательный восторг море-

[1] Перевод В. Левика.

хода, открывающего — во всех смыслах этого слова — новые земли. «Год смерти Рикардо Рейса» начал создаваться там, в библиотеке училища, где юный (ему едва минуло семнадцать) механик обнаружил журнал «Афины», а в нем — стихи, подписанные именем Рикардо Рейса, и, естественно, по причине очень слабого знакомства с литературной топографией своей страны, решил, что и впрямь был такой португальский поэт. Довольно скоро, впрочем, выяснилось: автором-то был некий Фернандо Ногейра Пессоа, который отдавал свои произведения поэтам, существовавшим лишь в его воображении. Он называл их «гетеронимами» — слова этого в тогдашних словарях не было, а потому не мудрено, что нашему литературному подмастерью так трудно было понять его смысл. Многие стихи Рикардо Рейса он знал наизусть («Если хочешь величья, будь цельным и только /... без остатка себя отдавай ты каждому делу, /даже если оно и пустяк»[1]), но при всем своем юном невежестве не мог согласиться с тем, что столь возвышенный ум произвел на свет жестокий постулат: «Мудр тот, кто довольствуется созерцанием мира». Много, много лет спустя поседевший и чуть помудревший подмастерье решился написать роман, где показывал автору «Од», который по его авторской воле провел несколько последних дней жизни в мире 1936 года, что же творилось в этом мире — нацисты оккупировали Рейнскую область, в Испании Франко начал войну против республики, Салазар создал Португальский легион; подмастерье словно говорил ему: «Вот какое зрелище представляет собой мир, о ты, поэт горькой умиротворенности и изящного скепсиса. Наслаждайся, созерцай, раз уж в этом ты полагаешь свою мудрость...»

«Год смерти Рикардо Рейса» завершается меланхолическими словами: «Здесь, где кончается море и ждет земля». Имелось в виду, что Португалия не свершит больше великих открытий и обречена на одно лишь бесконечное ожидание неведомого будущего... Только привычные фадо[2], только прежняя и неизбывная saudade[3], ну и еще кое-что... Тогда подмастерье вообразил, что есть все же способ вновь отправить корабли в плаванье — для этого сама земля должна стронуться и оказаться в море. Непосредственным результатом «коллективно-бессознательно-португальской» (а точнее — моей собственной) обиды на пренебрежение со стороны Европы стал роман «Каменный плот», где описывается, как весь Иберийский полуостров взял да и отделился от континента, превратившись в огромный плавучий остров, который движется сам собой, «без руля и без ветрил», не говоря уж о гребных винтах, и «вся громада земли и камня, покрытая городами и селами, реками и озерами, полями и лугами, заводами и фабриками, дремучими лесами и тучными нивами, со всеми своими людьми и зверьми двинулась, поплыла, обратилась в корабль, выходящий из бухты в открытое — давным-давно кем-то открытое — и опять ставшее неведомым море», отыскивая новую Утопию. Встреча двух цивилизаций — пиренейской и той, что ждет ее по ту сторону Атлантики, — должна была восприниматься как прямой вызов (вон куда простирались мои стратегические замыслы) тем удушающим законам, которые навязали этому региону Соединенные Штаты Америки... Эта двойная утопия превращала политический вымысел в гораздо более благородную и человечную метафору, и смысл ее сводился к тому, что Европа — вся Европа! — должна двинуться навстречу Югу, чтобы восстановить равновесие в мире и тем самым искупить свои прошлые и нынешние колониальные злодеяния. Персонажи «Каменного плота» — две женщины, трое мужчин и собака — странствуют по Пиренейскому полуострову, а тот плывет в океане. Мир преображается, и герои знают, что должны отыскать в себе черты новых людей, которыми станут когда-нибудь (собака, разумеется, не в счет, поскольку она и так не похожа на остальных собак).

Затем подмастерье, вспомнив, что в некий уже отдаленный теперь период жизни служил корректором и что если «Каменный плот» пересматривал грядущее, то недурно было бы переосмыслить и прошлое, сочинил роман «История осады Лисабона». Его герой, издательский корректор, работая над книгой с тем же названием — только это настоящее историческое исследование — и утомясь следить за

---

[1] Перевод Г. Шмакова.
[2] Португальские народные песни.
[3] Светлая, ностальгическая печаль, которая, как принято считать, свойственна португальскому «духу», и породила поэтическое направление — «саудозизм».

«Историей», которая все более и более теряет способность удивлять, решает в одном месте вставить частицу «не», ниспровергая таким образом «историческую правду». Корректор по имени Раймундо Силва — самый простой и обыкновенный человек, отличающийся от прочих лишь тем, что уверен: у всего на свете есть сторона видимая, а есть незримая, и пока мы не научимся различать обе, мы сути вещей и явлений не постигнем. Вот какой разговор ведет он об этом с автором «Истории»: «Должен вам напомнить, что корректоры — люди серьезные, знающие и литературу, и жизнь. — Не забудьте, я пишу историю. — Сеньор, все, что не относится к литературе, относится к жизни. — А история? — Не обижайтесь только, но история в особенности. — А живопись и музыка? — Музыка сопротивляется с самого начала, приходит и уходит, тщась освободиться от мира, полагаю, лишь из зависти и с тем, чтобы в конце концов покориться. — А живопись? — А живопись — это не более чем литература, создаваемая с помощью кисти и красок, вы же не забыли, надеюсь, что человечество начало рисовать задолго до того, как научилось писать, вы же знаете поговорку: «За неимением гербовой, пишут на простой», иными словами — тот, кто не умеет писать, рисует, как поступают дети. — То есть вы хотите сказать, что литература существовала задолго до того, как появилась на свет? — Именно так, и в точности, как человек, который в известном смысле существует еще до того, как рождается. — Жаль, что вы не сделались философом, вам туда прямая дорога, или же историком, у вас есть чутье и темперамент, нужные для этих профессий. — Образования не хватает, а куда же без образования: мне и так более чем повезло, что я пришел в этот мир с хорошими наследственными задатками, но это, так сказать, сырье, а окончил я только среднюю школу. — Могли бы представить себя самоучкой, достигшим мудрости благодаря собственным упорным усилиям, этого не надо стыдиться, в прошлом общество гордилось такими своими самородками. — Те времена миновали, прогресс покончил со всем этим, и самородками позволено считаться и называться только счастливцам, сочиняющим забавные стихи и рассказы, а я, признаюсь вам, лишен всякого литературного дарования. — Подайтесь в философы. — Вижу, у вас развито чувство юмора, у вас иронический склад ума, и зачем только вы посвятили себя такой серьезной и глубокой дисциплине, как история? — Ироничен я только в жизни. — Меня всегда поражало, что история — это не жизнь, а литература, не более того. — Но история и была реальной жизнью в ту пору, когда она еще не могла зваться историей. — Стало быть, вы верите, что история — это и есть реальная жизнь? — Разумеется, верю. — Я хотел сказать: «что история была реальной жизнью»? — Без сомнения. — Что было бы с нами, не придумай люди корректурный значок выброски, — со вздохом произнес корректор».

Излишне говорить, что корректор Раймундо Силва преподал автору-подмастерью урок сомнения. Он оказался очень своевременным.

Не исключено, что оно, это усвоенное сомнение, заставило его взяться за написание «Евангелия от Иисуса». Действительно, о чем автор и сам сказал, название кажется обманом зрения, но уместно будет спросить, насколько виноват в этом подавший дурной пример корректор, хоть он и долго готовил почву, на которой и вырос новый роман. Но на этот раз дело не ограничилось тем, что автор вчитывался в страницы Нового Завета в поисках противоречий и несообразностей, он еще стремился осветить их поверхность под особым углом, как делают с полотнами старых мастеров, чтобы придать изображению бóльшую рельефность, найти следы замалевок, тени душевного смятения. И подмастерье, ныне окруженный сонмом евангельских героев, в этом свете будто впервые прочитал сцену избиения младенцев, а прочитав, многого не мог понять. Не мог понять, почему появились мученики в религии, создатель которой впервые возвестит о ней лишь лет через тридцать; не мог понять, почему единственный человек, способный спасти жизнь вифлеемских мальчиков, не решился сделать это; не мог понять, почему он, Иосиф, вернувшись с семьей из Египта, не ощутил на себе бремени ответственности, не испытал ни угрызений совести, ни чувства вины, ни даже любопытства. Неубедителен и довод, что младенцам Вифлеема необходимо было погибнуть ради спасения жизни Иисуса: простейший здравый смысл, которым дóлжно руководствоваться в деяниях Божеских и людских,

напоминает нам, что Бог не послал бы своего сына на землю, причем не просто так, а во имя искупления грехов человечества, если бы сыну этому еще во младенчестве была уготована смерть от руки воинов Ирода... В евангелии, написанном подмастерьем с огромным уважением, приличествующим этой великой драме, Иосиф терзается своей виной, видит в угрызениях совести наказание за совершенный им грех и принимает кару, как принимает почти без сопротивления и смерть — она остается для него единственным средством расквитаться с миром. «Евангелие от Иисуса», следовательно, стало не очередной поучительной легендой о богах и осененных благодатью людях, а историей о том, как несколько человек подпали под власть могущественной силы — они с ней борются, но одолеть ее не могут. Иисус, кроме пыльных сандалий, в которых его отец исходил столько проселочных дорог, получает в наследство и трагическое сознание своей вины и ответственности, и оно не покинет его даже в тот миг, когда он уже с креста воскликнет: «Люди, простите его, ибо он не ведает, что творит!» — слова эти, несомненно, относятся и к Богу, пославшему его на казнь, но, быть может (если в предсмертной муке он вспомнил о нем), и к Иосифу, его «земному отцу», произведшему его на свет во плоти. Сами видите, долгий путь должен был проделать подмастерье, чтобы сочинить тот эпизод своего еретического евангелия, где происходит разговор между Иисусом и книжником: «Вина — это волк, который, пожрав отца, терзает сына. — И волк этот пожрал моего отца? — Да, а теперь примется за тебя. — А тебя-то терзали, пожирали? — Не только терзали, не только пожирали, но и извергали как блевотину».

Если бы Карл Великий не основал в Северной Германии монастырь, если бы этот монастырь не положил начало городу Мюнстеру, если бы Мюнстер не захотел отпраздновать свое 1200-летие постановкой оперы, посвященной ужасным событиям XVI века — войне между католиками и протестантами-анабаптистами, то и подмастерье не сочинил бы свою пьесу «In Nomine Dei» («Во имя Божье»). И снова без чьей бы то ни было помощи, а лишь при свете своего утлого разума он должен был вступить в темный лабиринт религиозных верований, которые с такой легкостью заставляют человека убивать и умирать. И снова он увидел там отвратительный лик нетерпимости, дошедшей в Мюнстере до пароксизма безумия, нетерпимости, непоправимо пятнавшей то самое дело, чистоту которого отстаивали обе противоборствующие стороны. Ибо война велась не во имя двух враждующих между собой богов, а во имя одного и того же Бога. В ослеплении веры мюнстерские католики и анабаптисты не способны были постичь даже убедительнейшее из всех доказательств: на Страшном суде, куда обе стороны явятся получить награду за страдания, что они претерпели в земной жизни, Бог — если его действия хоть как-то сообразуются с человеческой логикой — должен будет даровать и тем и другим царствие небесное по той простой причине, что они верят в его существование. Чудовищная мюнстерская резня научила подмастерье: никогда никакие религии, что бы ни сулили они, не использовались для объединения людей и самая нелепая из всех войн — это священная война, поскольку надо принять в расчет то обстоятельство, что Бог не может — даже если захочет — объявить войну себе самому...

Слепота. «Мы слепы», — подумал однажды подмастерье, после чего сел и написал «Рассуждение о слепоте», чтобы напомнить тем, кто, быть может, прочтет его, что, унижая жизнь, мы извращаем разум, что человеческое достоинство ежедневно попирается сильными мира сего, что множественность истин заменена одной универсальной ложью и что человек перестал уважать самого себя, когда потерял к прочим представителям рода человеческого уважение, которого они заслуживают. И тогда подмастерье, словно в попытке изгнать бесов, порожденных слепотой рассудка, стал писать самую простую из своих историй: один человек ищет другого, потому что понимает — ничего важнее не может потребовать от него жизнь. Эта книга называется «Все имена». Все наши имена, хоть и ненаписанные, — здесь. Имена живых и имена мертвых.

В заключение скажу, что голос, прочитавший эти страницы, хотел эхом отзываться на хор голосов моих героев. Иного голоса мне не дано. Простите мне, если то, что для меня — все на свете, вам показалось малостью и безделкой.

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

КРУГОВАЯ ОБОРОНА

John Updike. Beck at Bay. A Quasi Novel. N. Y, Alfred A. Knopf, 1998

Генри Бек, известный, а кое-кем даже и читаемый американский писатель, в качестве посланца Госдепартамента едет в Прагу, где для него приготовлена резиденция в посольстве. До «бархатной революции» еще три года, повсюду напоминает о себе «реальный социализм». Посещение могилы Кафки вряд ли приведет в восторг чешские власти, и приходится действовать обходными путями, благо для американцев легко открываются все двери.

В издательстве вроде нашей «Радуги» похваляются своей широтой: вот напечатали всех авангардистов, всех минималистов и Бека тоже, сразу две книги. Хорошо бы еще и «Избранных», решается вставить польщенный автор. Он знает и переводчика, который охотно бы за них взялся. Какая бестактность! Неужели не понимает, что как раз «Избранных» нельзя, ведь это про евреев. А переводчик уже давно под надзором органов.

Бек это порядком подзабыл: двойные стандарты, и жадность, с какой набрасываются на все западное от книг до жвачки, и вечеринки в тесных квартирках независимо мыслящих интеллектуалов, среди которых непременно найдется хотя бы один осведомитель. Но вообще-то «реальный социализм» ему не внове. Он уже повидал Москву, Бухарест и Софию, это было в 1969 году, вскоре после братской помощи заплутавшим чехам. Тогда-то с ним и познакомились читатели Апдайка из знающих английский и сумевших достать томик под названием «Бек: книга». Для не знающих или не сумевших Апдайк именно после этого томика лет на десять стал недоступен. На него обиделись: такой прием, столько лести, а он, делясь московскими впечатлениями, позволяет себе колкости и даже резкие слова. Надо восторгаться, а он иронизирует по поводу нашей замордованности и нищеты.

Иронизировал, впрочем, не автор, а герой, но кто считался с подобными мелочами, когда затевали проработку. Меж тем неидентичность Апдайка и Бека была существенна и в первой книге, и в малоудачной второй («Бек вернулся», 1982). А для третьей это несовпадение, предоставляющее автору богатые возможности, взглянув на себя со стороны, перемежать исповедь пародией, становится ключевым художественным приемом.

Никто не поручится, что этим выпуском сериал о Беке завершен. Правда, под конец действия герою исполнилось семьдесят шесть и он получил Нобелевскую премию по литературе за 1999 год. Самая пора подводить итоги. Но Бек, кажется, так и не выяснил свои отношения ни с почти прожитой жизнью, ни с надоевшим, а все же для него единственно стóящим ремеслом. Поскольку выяснением как раз этих отношений поглощен все последние годы Апдайк, очень возможно, что Бек вернется снова. Как трижды возвращался с интервалом в десять лет Гарри Энгстром, Кролик, помогший Апдайку разобраться в чувствах, вызываемых в нем «средним американцем» и собственным поколением.

Последний роман о Кролике, где тот отправился на вечный покой, назывался «Rabbit at Rest». «Beck at Bay» почти рифмуется с этим заглавием, но смысл, собственно, противоположен. Кролик угомонился, Бек затравлен, словно волк, угодивший в облаву. Он постоянно должен воевать с завистливыми и подловатыми коллегами по ремеслу, с самовлюбленными и самонадеянными критиками, со своим страхом перед чистой страницей, со стареющей плотью. Он в круговой обороне. И порой в контратаке.

Когда Бек бывает в странах «третьего мира», его, когда-то написавшего культовый роман из тех, что возвестили «молодежную революцию» 60-х, спрашивают, как он понимает назначение писателя и долг литературы. Что ему отвечать? Ведь не сознаваться же впрямую, что сочинение книг для него как раз способ дистанцироваться от общества, и по возможности дальше. А литературой он оттого и дорожит, что она дает ему, вольно распоряжающемуся своей фантазией, ощущение полной безответственности.

Беку слишком знакома власть норм, установленных в интеллектуальном сообществе, чтобы он позволил себе с ними не считаться. В Праге, как раньше в Москве, на него взирают с обожанием и надеждой, как на вестника свободы,

словно он, и никто иной, обязан сказать обо всем наболевшем, злободневном, запретном для тех, у кого кляп во рту. Дома начитавшиеся Деррида классификаторы и прозекторы с кафедр современной словесности уверенно доказывают, что он образцовый ранний постмодернист, или же постреалист, или, возможно, преминималист — словом, репрезентативная фигура. Однако он всего только — и другого не нужно — Генри Бек, замученный сомнениями и слабостями литератор, который не любит себя как писателя. Стыдится ставить автограф на своей последней книге, считая ее мелкой и ничтожной. Дает себе слово больше не писать, но без литературы не может.

Предпринимаемые им контратаки, в сущности, оказываются — или так бы хотелось думать Беку — лишь способом защитить унижаемую в его лице литературу. И свое право творить, как ему повелевает художественный инстинкт, не оглядываясь на каноны, которые объявлены непререкаемыми «в наш век постмодернизма».

Это своеобразные выпады, они в точности соответствуют правилам жанра, характеризуемого посредством эпитета «черный» — «noir», так как в приличном литературном собрании терминология отныне должна быть только французской. Наклеивая ярлыки, критика глумилась над Беком как творческой индивидуальностью — ну, так ей воздастся по заслугам. В частности, и при помощи клея: пописывающая дама, которая не находила в романах Бека ничего, кроме старческих мужских комплексов да еврейского самобичевания, получит якобы от своей юной поклонницы письмецо со вложенным пустым конвертом и, глупенькая, лизнет этот конверт, отвечая. Еще один умник, которому недоставало в прозе Бека «щедрой американской энергии» (хоть сам он был рафинированный сноб-англичанин, потянувшийся в Нью-Йорк за большими деньгами), не вовремя вздумал проехаться подземкой: час пик, толчея, чуть нажмешь сзади, и тот, кто у края платформы, неизбежно свалится. А третьего, который через свой сервер в Интернете объявил, что Бек — олицетворение ретроградного убожества, царившего в доэлектронной культуре, его же собственный компьютер настроит совершить прыжок вниз головой с тридцать седьмого этажа. Истинный мор в литературном истеблишменте, удовлетворенно констатирует Бек, читая страницу некрологов в воскресном выпуске.

Соль даже не в том, что Беку уже не увидеть свои романы в любом супермаркете и в любом аэропорту, ибо — не стараниями ли истеблишмента? — круг его читателей теперь ограничен студентами, готовящимися к семинару на какую-нибудь модную тему вроде трансформации литературного канона в свете доктрин феминизма. Движет им все-таки не столько обида, сколько любовь, старомодная, смешная любовь к тому, чем всегда была литература, — чувство почти невозможное. Или, во всяком случае, глубоко архаичное во времена, когда Интернет уверенно объявляют могильщиком поэзии и романа, а любые проявления нетрафаретного авторского мышления квалифицируют как предосудительные: еще бы, ведь читатель подчинен личности автора, повинуясь ей, как грек оракулу, — а что это, как не тирания?

И кому он в таком случае нужен со своей глупой привычкой вынашивать слова, мучиться над ними, переделывать, рвать, но все равно жить исключительно ради тех двух-трех минут за весь день, когда он выжмет из себя что-то настоящее — «нет, не фразы, сверкающие и безупречные, как кристалл, не страницу, переливающуюся прозрачным янтарным светом, а всего только слово, которое сгустится и отвердеет, чтобы остаться»? Кому он интересен, со своей вконец запутанной семейной историей, неудачами, одиночеством, старческим брюзжанием и решительной неспособностью уразуметь, что давно уже пора бы ему очистить площадку для любящих в литературе самих себя, ничего больше? Кто в нынешние торопливые времена, когда в цене одни резюме (да и в них не мысли, а одна информация), оценит его причудливый, витиеватый стиль, кто разделит его непостижимый интерес к «серой, ускользающей монотонности, именуемой повседневной жизнью», кто согласится, что ради «нежданной секундной вспышки» стоит вглядываться в ее бесформенный массив, не жалея глаз?

Он устарел, невезучий — по меньшей мере, считающий себя недооцененным — Генри Бек, он никак не возьмет в толк, что пишущие теперь уподобились потерпевшим кораблекрушение, точно бы взывая к новому Жерико. Единственное уточнение: в отличие от пассажиров «Медузы» литературная братия и на плоту продолжает грызню за количество строк в газетной рецензии, за объем юбилейного номера журнала, пестрящего дежурными комплиментами собратьев по ремеслу и интервью с бывшими женами, которые обливают помоями друг друга. За акции особняка в центре Нью-Йорка, оставленного сумасшедшей меценаткой на нужды очередной литературной академии, тут же занявшейся дележкой денег, а литературу отложившей на потом. На никогда.

Для тех, кто читает Апдайка не первый десяток лет, слишком много узнаваемого в злоключениях и обсессиях Бека, даже в тех нападках,

которые на него исправно обрушивает критика. «Его герои-мужчины — сплошь одержимые нарциссизмом, помешавшиеся на сексе скоты, а женщины просто манекены, правда, описанные с отменным знанием анатомии», — сколько всего в том же роде понаписано за сорок лет, прошедших с дебюта Апдайка. И помня об этом, очень соблазнительно увидеть в Беке автопортрет, прочесть «Бека обложили» как исповедь.

Но подзаголовок указывает, что это «квазироман». Тоже игра — как и кажущаяся автобиографичность. Вовсе не «квази», хотя книга состоит из пяти глав. Законченных внутри себя и соединенных только героем, без длящегося действия. И, при всем обилии совпадений, уж ничуть не рассказ Апдайка о себе — под приcвоенным именем. Бек для него «другое я», которое то притягательно и близко, то нелепо и абсурдно, а всего чаще и близко и нелепо сразу. Хотя скорее все-таки близко — и прежде всего верностью писательскому жребию, почти инстинктивной. Той, что заставила его, ставшего на восьмом десятке лет юным отцом, утверждать с трибуны, на которую восходят Нобелевские лауреаты: «Искусство, что ни говорите, благо, пусть только для художника», — и ликовать, когда его двухмесячная дочь энергичным воплем подтверждает жизненосность литературы.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

ПОСТМОДЕРНИЗМ С ДРУГИМ ЛИЦОМ

Умберто Эко. Пять эссе на темы этики. Перев. с итал. Елены Костюкович. СПб, Симпозиум, 1998

Умберто Эко — человек, конечно, известный всюду; но, думается, мало где и когда его встречали так шумно и радостно, как в Москве прошлой весной. МГУ воспользовался случаем, чтобы присвоить ему звание доктора honoris causa, студенты ломились на лекции, журналисты — на пресс-конференцию, газеты вперебой информировали читателя о «программе визита» и печатали интервью... Но вот появление этой маленькой книжечки, выпущенной как раз к приезду автора, осталось почти незамеченным — что характерно.

Дело в том, что сегодняшнее наше общественное сознание плохо понимает, как относиться к рассуждениям «на темы этики» (по-итальянски название сборника звучит еще определенней: «Cinque scritti morali»). То есть, если б с подобными текстами выступил кто-нибудь из наших известных писателей, принадлежащих к тому же поколению, что Умберто Эко (1932 г. р.), вопроса б не было: молодые зубастые критики весело разделали бы этого «шестидесятника», упорствующего в своей замшелости, или, может, просто отмахнулись бы, как от назойливой мухи. Но у Эко совсем другой идеологический статус: не знаю, как на Западе, а у нас он воспринимается как «олицетворение постмодернизма»; по крайней мере одно из. А постмодернизм — в интерпретации наших теоретиков и/или практиков — совершенно не сочетается с морализированием. Напротив, он принципиально внеморален; он иронизирует над стремлением «сеять разумное, доброе, вечное», привычным для русской литературы, и утверждает, что эстетика не должна вступать в союз с этикой... Поэтому лично я очень рада, что столь авторитетный персонаж международного эстетического (эстетского) истеблишмента преподнес нашей тусовке такой пикантный сюрприз: это придает дополнительное обаяние книжке — которая и без того хороша.

В предисловии Эко отмечает, что эссе создавались «по случаю»: это газетные и журнальные выступления, вызванные какими-то актуальными поводами, университетские лекции, доклады на международных конференциях и т. д. Тем не менее сборник оставляет впечатление сугубой целостности. Во-первых, потому, что в нем рассматривается почти вся проблематика современного общества: войны, расизм, фашизм и вообще национализм, воздействие СМИ, религиозная и внерелигиозная этика... А во-вторых, потому, что разнородные и разнонаправленные тексты говорят об одном: «что делать хорошо, что делать дурно и чего не следует делать ни при каких обстоятельствах». И говорят, основываясь на целостной системе нравственных категорий — очень традиционных, даже, можно сказать, тривиальных; но, в конце концов, нормальная этика и является набором трюизмов. Правда, Умберто Эко умеет придать им свежесть и остроту — посредством изящного, забавного, а иногда и парадоксального оформления; в этом плане его эссе, пожалуй, сравнимы с честертоновскими. Что же до предлагаемой этической системы, то я бы определила ее одним словом — гуманистическая. Но поскольку смысл данного слова давно расплылся, уточню, что дело идет о классическом итальянском ренессансном гуманизме, заявившем своей целью «познание вещей, которые относятся к жизни и нравам и которые совершенствуют и украшают человека». Конечно, обитатель XX столетия — и тем более ученый, занимающийся такими современными дисцип-

линами, как семиотика и культурология, — не может исповедовать ренессансную идеологию в чистом виде. Но быть ее прямым и законным наследником — почему нет?

Возможно, впрочем, что я выдаю собственные ощущения за действительность. Сам Эко не ссылается на «источники» — и вообще пишет очень просто, лишь изредка допуская свою (всем известную) образованность на страницы эссе. Но на пресс-конференции он по случаю продемонстрировал какую-то почти семейную «свойскость» в отношениях с историческими персонажами: на вопрос «Реабилитировал ли Ватикан Саванаролу и что по этому поводу думает Эко?» — последовал ответ: «Мне кажется, это не задача Ватикана сейчас — извиняться перед давно сожженным Саванаролой или каким-то образом регулировать отношения, которые уже урегулировала история. Кроме того, я никогда его не любил, этого вашего Саванаролу. Если б я выбирал себе компаньона для отдыха вдвоем, то пригласил бы Джордано Бруно. Я свое мнение никому не навязываю, я не расист. Но если б моя дочь захотела выйти замуж за Саванаролу, наверное, я был бы недоволен...»

Конечно, этот забавный пассаж не связан с текстами напрямую, но в нем отлично выражается даже не мировоззрение, а мироощущение Умберто Эко. Саванарола для него — представитель вот именно что другой «интеллектуальной расы»: жестких и нетерпимых фанатиков, выступающих от имени истины и подавляющих так или иначе свободу. Можно даже сказать, что эта «раса» враждебна Эко; во всяком случае, его собственная идеологическая позиция имеет противоположную направленность. «С... нетерпимостью надо бороться у самых ее основ, неуклонным усилием воспитания, начиная с самого нежного детства, прежде чем она отольется в некую книгу и прежде чем она превратится в поведенческую корку, непробиваемо толстую и твердую» — «именно тут наша работа» («Миграции, терпимость и нестерпимое»). «Свобода и Освобождение — наша работа. Она не кончается никогда» («Вечный фашизм»).

Множественное число («наша работа») в данном случае никак не связано с принятыми в науке формальными условностями: Умберто Эко говорит от лица интеллигенции. Наш читатель может по этому поводу вспомнить любимый миф о «типично российском феномене интеллигенции», который в действительности зиждется на одном лишь основании — языковом: хотя слово и заимствовано Европой из русского, сам феномен возник, конечно же, много раньше. Впрочем, вопрос приоритета лично меня волнует куда меньше того бесспорного — и печального — обстоятельства, что сегодня наша интеллигенция как бы стесняется говорить о себе «мы». Отчасти потому, что эта старая добрая форма опорочена разнообразными идеологическими спекулянтами и/или фанатиками, а отчасти в силу действительной разобщенности, отсутствия объединяющей идеи.

Эко стеснения не испытывает, поскольку основой его «мы» являются именно тривиальные нормы, которые могут и должны объединять всех людей независимо от разности их партийных, религиозных и прочих убеждений. То есть интеллигенция для него — понятие этическое; вернее сказать, речь идет не столько о понятии (определить которое он как раз затрудняется), сколько о социальной функции. Исполнять ее способны и верующие, и неверующие, и образованные, и неграмотные — все, кто сумел осознать: «этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой», и этот «Другой» от рождения наделен абсолютно теми же потребностями и правами, которые «мы считаем неукоснительными для себя». Теоретически — вроде бы слишком, до смешного просто, а практически — почти неисполнимо; во всяком случае, никогда не исполнялось. Как, собственно, и все христианские заповеди.

Однако Умберто Эко вполне по-интеллигентски верит в прогресс — опять же в отличие от нас, растерявших эту веру за долгие десятилетия всякого регресса. Правда, он-то ведет счет не на десятки, поскольку знает: как «признание роли других» есть «результат тысячелетнего развития», так и следующий этап потребует веков «работы»; зато апокалиптические страхи ему чужды. Не могу устоять перед искушением еще раз процитировать летучее bon mot с пресс-конференции — на сей раз спровоцированное вопросом о «грядущем конце истории»: «Я отвечу своим любимым анекдотом. У школьника спрашивают, в каком году умер Юлий Цезарь. Как умер? Я даже не знал, что он заболел!.. Вот и я не слышал, что история заболела. Наверное, я выходил из комнаты, когда об этом говорили»... Шутки шутками, а целостное мировоззрение тем (в частности) и привлекательно, что и юмор и пафос направлены на одну цель.

Но если юмор Эко не был для нас (для меня) неожиданностью, то его продуманные патетические периоды воспринимаются как несоответствие сложившемуся образу — «олицетворению постмодернизма». Что ж, тем лучше. И не только потому, что, усложнившись, личность становится интереснее. Главное — мне нравится такой постмодернизм: не мешающий

высоким словам и высоким чувствам. Вере в человека, например, которая — пусть с оговорками, но все же! — заменяет Умберто Эко веру в Бога. Хотя бы потому, что эта «жалчайшая среди тварей», явившаяся на землю по «нелепой случайности», преданная «своей смертной судьбе» и приговоренная «осознавать свое положение», «в некий миг полноты времен» обретает «религиозную, моральную и поэтическую силу создать фигуру Христа, то есть образ всеобщей любви, прощения врагам, историю жизни, обреченной холокосту во имя спасения остальных... Сам тот факт, что подобная легенда могла быть замышлена и излюблена бесперыми двуногими, знающими лишь, что они ничего не знают... — не меньшее чудо (не менее чудесная тайна), нежели тайна воплощения сына реального Бога. Эта природная земная тайна способна вечно волновать и облагораживать сердца...»

АЛЕНА ЗЛОБИНА

АТАКА НА ГРАНИЦУ

Франц Кафка. Дневники. Перевод с немецкого Е. А. Кацевой. М., Аграф, 1998

Вавилонская громада литературы о Кафке не только не устраняет, кажется, изначальную и несокрушимую загадку его образа и творчества — напротив, она сама есть, может быть, наиболее убедительное свидетельство этой неприступной загадочности. И это, в свою очередь, загадка. В чем тут дело? Ведь говорит же Набоков в лекции о Кафке про «ясность его речи», «точную и строгую интонацию»; прозрачность языка Кафки — «одного из классических писателей нашего мучительного и необычайного столетия» — отмечает Борхес; «классическую форму» подчеркивает у Кафки Беккет. Так почему же читатели стольких десятилетий с ахиллесовым упорством гонятся за каждым вновь опубликованным словом Кафки, словно стремясь к некоему последнему прояснению чего-то главного, но так и не сказанного, на полуслове оборванного или натемно зашифрованного? И отчего все пишущееся об авторе «Замка» и «Приговора» уже через несколько прочитанных строк начинает напоминать ненасытному читателю, вдруг чувствующему себя помимо воли героем «Процесса» или «Исправительной колонии», прозу самого Кафки?

В этом смысле «Дневники», по-русски опубликованные теперь — после недавнего тома в московском издательстве ДИ-ДИК и трехтомника в харьковском «Фолио» — наиболее полно, как будто бы ничего не добавляют к уже известному о писателе (писателе, а не австрийском подданном с паспортными данными К.). «Непостижимое непостижимо, а это мы и так знали», — сказано в головокружительной притче «О притчах». И тем не менее, именно «Дневники», мне кажется, лучше всего представляют писателя Кафку, давая, так сказать, квинтэссенцию его слова. В частности, именно потому, что дневник (как и письма, в чем, среди прочего, состоит феномен Кафки) не отделен от всего им написанного: пробу кафкианского письма можно брать с любой оставленной Кафкой страницы. В его словесном наследии — не забудем, как бы несуществующем, поскольку автор был готов к его уничтожению — трудно провести (или проводить? — с видами глагола здесь тоже характерная трудность) какие бы то ни было границы.

Скажем, романы Кафки, как известно, не закончены. И что — меняет ли это их «целое»? И каково оно? (Да и вообще меняет ли это природу романа? Какой стóящий роман двух последних веков закончен?) А вот эта запись, сделанная, как скрупулезно отмечено, в воскресенье 19 июня 1910 года, — она что, начало? «Если я подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Я ведь воспитывался не где-то на обочине, не в каких-нибудь руинах в горах...» Почему же это, совершенно кафкианское начало, которое ни с каким другим не спутаешь, опять-таки совершенно по-кафкиански никак не может начаться и с бесконечными оговорками и размусоливаниями топчется на месте, повторяясь далее *шесть раз*? «Я часто думаю об этом...» (еще страница) «Я часто думаю об этом...» (еще полторы)... «Часто я думаю об этом...» (еще две) и т. д. (Гением подобного несбыточного высказывания, письма «типа и т. д.», этой неотвязной речи человека, которого, вопреки его стараниям, не слышат — или не слушают? — и который никак не может решиться это явно признать и оборвать наконец свои бесполезные попытки высказаться, будет позднее Томас Бернхард.)

Может быть, предел, о-пределенность — вообще главный нерв, болевой центр всех тех попыток хоть какого-то существования, всей той работы самоописания, самоисписывания, вне которой для Кафки ничего не существовало (запись 1913 года: «Я ненавижу все, что не имеет отношения к литературе»; 1915: «Я не отступаю от своих намерений вести фантастическую, полностью обусловленную моей работой жизнь»). С одной стороны (говоря о Каф-

ке, с каждым словом — особенно обозначающим центр и периферию, границы, направления и расстояния, внутреннее и внешнее — приходится обращаться с сугубой осторожностью: он — уникальный писатель, внушающий страх перед языком!), для него исходно ощущение своей отделенности от окружающего, непринадлежности ни к чему, неслитности ни с чем: «Я отделен ото всех вещей пустым пространством, через границы которого я даже и не стремлюсь пробиться», отсюда «удивление собственной бесчувственностью» (1911). С другой стороны, даже собственное тело, самая, казалось бы, естественная опора всякого «я», для него нечто чужое, неподходящее и вызывает лишь «отчаяние»: «...я от рождения тоже имею свой центр тяжести... Но к этому хорошему центру тяжести у меня в известной мере нет больше соответствующего тела» (1910). И годом позже: «С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью» (слова «неспособность», «несостоятельность» переходят со страницы на страницу как эхо).

В окружающем и в себе самом для Кафки непереносимее всего перемены. Постоянная текучесть окружающего и собственного сознания, ненадежность мира и слова вызывают в авторе «Дневников» непосильное напряжение, требуют от него беспрерывной и угнетающей сосредоточенности. «Ему все дозволено, не дозволено только забыться», — в 1920 году запишет он о себе в третьем лице (ход, в «Дневниках» нередкий). — «Его мучает самомучительное, тяжелое, волнообразное, зачастую надолго останавливающееся, но в сущности непрерывное движение всякой жизни, чужой и собственной...» Сам Кафка стремится к полной неподвижности (любой хроник знает этот комфорт наименьшей боли). Он хотел бы «расположить по собственному желанию свои угловатые неизменные конечности, короче, придавить своей ладонью то, что... осталось от жизни, то есть еще больше укрепить последний, могилоподобный, покой и только им и довольствоваться» (1912). Больше того, его даже искушает порыв Иисуса Навина остановить сущее: «...счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости» (1917). Может быть, с этим связана уже чисто писательская — и опять несбывшаяся — мечта об автобиографии (два самых больших раздела в личной библиотеке Кафки — биографическая и религиеведческая литература). Самоописание здесь — последняя надежда того, кто, по собственному признанию, так и не сумел родиться («Моя жизнь — это медление перед рождением», напишет он в 1922 году; в «страсти к нерожденности» признается потом многим обязанный Кафке Чоран). Чувствуя неподвластность собственной жизни, Кафка мечтает «управлять потоком событий» на письме (1911).

Но больше всего он хочет не быть собой. Из поздних записей (1922): «Я не хочу развиваться определенным образом, я хочу в другое место... но мне было бы достаточно стоять вплотную около самого себя... если бы место, на котором я стою, я мог воспринимать как другое место» (сравним с горделивым лютеровским: «На том стою и не могу иначе»). Он беспрестанно чувствует пропасть между собой и родными, зазор между собой и языком. Больше того, неадекватность языка входит в эту неспособность сблизиться с самыми близкими (при редком даре их передразнивания, вообще подражательства, но не актерства), отчуждает от семьи: «Вчера я подумал, что потому не всегда любил мать так, как она того заслуживала и как я мог бы, что мне мешал немецкий язык... мы даем еврейской женщине немецкое название «мать», но забываем противоречие, которое с тем большей тяжестью давит на чувство» (1911). Не в этническом еврействе тут дело (напомню знаменитое, 1914-го года: «Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего...»). Дело, скорее, в особой *антропологии* писательства (непринадлежности себе, см. навязчивое анаграммирование в текстах собственной нескладной фамилии, особый упор при письме на букву К) и особой его *социологии* (непринадлежности другим, см. тягу Кафки к ночи, полному безлюдью и тишине при работе, см. в записи 1913 г. его «страх перед соединением, слиянием» при мысли о женитьбе, см. историю всех его ничем не кончающихся помолвок), от которых неотрывна новая, *иная* литература — словесность как невозможность, перечеркивающая любые *возможности* — чьими первыми героями и жертвами становятся Кафка, Пруст, Джойс, как первыми мучениками и столпниками иной, *новой*, непримиримой мысли, тоже — наподобие ревнивого ветхозаветного Бога — потребовавшей от них *всего*, не терпя ничего рядом или взамен, стали до того Кьеркегор и Ницше («Жало в плоть» и «Так говорил Заратустра» были в библиотеке Кафки). Морис Бланшо (его во многих смыслах ключевая книга «От Кафки к Кафке» тоже недавно вышла в русском переводе) назовет такую литературу «сообщницей того, что ей угрожает», а подобную угрозу изнутри и снаружи — «в свою очередь, приспешницей литературы».

Кафка чувствует в себе эту еще не осуществленную — и неосуществимую! — литера-

туру как неизвестную мощь, страшится этой неведомой «гармонии» и сдерживает свою тягу к полному самозабвению, не решаясь отдаться во власть того, что превосходит его понимание (позже, в 1922 году, он скажет: «Из страха перед безумием я жертвую взлетом»). Модель и модуль, по которой строятся все отношения Кафки со словом, миром и людьми, — это, говоря его словами, «выманивание сил, которым потом не дают работать» (1911). Поэтому в итоге для него (запись 1922 года) «настоящая... не искажаемая извне истина — только физическая боль». Но вместе с тем, признает он, «для меня всегда непостижимо, что почти каждый, кто умеет писать, может объективировать в боли боль, что я, к примеру, могу в несчастье, может быть, с еще пылающей от несчастья головой сесть и кому-то письменно сообщить: я несчастен... И это вовсе не ложь и не успокаивает боли, это просто благостный избыток сил в момент, когда боль явно истощила до самого дна все силы моей души, которую она терзает. Что же это за избыток?» (1917).

Отсутствие «дна», недостижимость предела и окрыляет, и не дает покоя абсолютисту-Кафке (напомню о его стремлении привести мир к окончательной и незыблемой правде и чистоте). Открывающийся здесь как будто спасительный (и одновременно мучительный) «избыток» — это ощущение приблизительности, условности слова, опять приотворяющаяся щелка между ним и миром, предательский зазор, который неустраним, неуменьшаем и неделим. Это и есть бессмысленная — не имеющая отдельного смысла вне себя и для постороннего смысла не уловимая — бесконечность и безначальность письма («бумажная вечность», единственное достояние писателя, по давней формулировке Гердера). Ее ощущение как раз и цепенит и перо Кафки, и действия его героев, и сознание читателей, но, вместе с тем, не дает им возможности остановиться, на чем-то промежуточном успокоиться (о «покое летящей стрелы» из головоломной апории Зенона Кафка упоминает в дневнике 1910 года). Так не унимаясь теребят заусенец. Так сквозь сон бередят подсохшую рану.

Перед читателями — разворачивающаяся прямо у них на глазах задача рождения, построения и завершения речи. Не случайна ведь сквозная и важнейшая у Кафки тема «утраты языка», все эти без конца повторяющиеся существа двойной, кентаврической природы, то ли теряющие дар слова, то ли пытающиеся пищать и скрежетать вопреки парализующей их — или его? или нас? — бессловесности... Решив что-то сказать, вернее — что-то описать или высказать, от этого невозможно отступиться (разве что замолчав, но самоустранение ведь не устраняет остающегося — или только теперь и возникающего? — вопроса). Однако и довести речь до конца, исчерпать слово столь же немыслимо (если здесь вообще применимо сравнение и мера). И вот перед нами снова и снова письмо Кафки — это разрастающееся в бесконечной аргументации, уточнениях и поправках обоснование невозможности не только завершить, но даже *начать* какую бы то ни было речь, постоянно возобновляющееся утверждение невозможности высказывания, которое мало-помалу распадается у нас на глазах, разрушая любую реальность, в том числе и свою собственную.

Письмо Кафки не оторвать от того клинического факта, что сам повествователь и его способность что-то сказать — архимедова точка осмысления мира, декартово место наделения его речью — при этом повествовании, в ходе и в результате его умирают. Дело, опять-таки, не в медицинском анамнезе — тут гибнет мир. Весь его мир, который невозможно описать, поскольку в повествователе и вместе с ним сейчас перед нами распадается, развеивается и язык, способный эту гибель не то что остановить, но хотя бы зафиксировать, и потенциальный адресат, способный такое, уже ни на что не рассчитывающее «сообщение» принять и разделить.

«Кто на этот раз? Где на этот раз? Когда на этот раз?», — спросит потом герой-рассказчик беккетовского романа «L'innomable»[1], чье загадочное название — какого оно рода? — останется лапидарной эпитафией подобной речи. Речь как эпитафия речи. Но уже сегодня эта эпитафия звучит под стать стихам Симонида о защитниках Фермопил. Потому что «духовная битва», в которой прошла жизнь Кафки, была атакой «на последнюю земную границу» (1922). И финальные слова его дневника гласят: «...у тебя тоже есть оружие». «Ведь сказано, что кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то должен» (рассказ «Ночью»).

БОРИС ДУБИН

[1] Без имени (*франц.*)

■

У книжной витрины

РОБЕРТСОН ДЭВИС

Счастливое сердце: размышления о чтении, писательстве и мире книг

Robertson Davies. The Merry Heart: Reflections on Reading, Writing and the World of Books

Viking Penguin, 1998

Книга известного американского писателя, вышедшая уже после его смерти, представляет собой сборник воспоминаний, речей, обзоров книг, пародий и эссе, в которых он стремился проанализировать отношения между писателем и читателем. С присущими ему юмором и эрудицией Дэвис пишет о различиях между канадской и американской литературой, о своих впечатлениях от «Улисса» и от «Красной Шапочки», о значении творчества Теккерея и Ибсена, о современном киче. Критики называют эту книгу «своеобразной автобиографией», каждая из 24 глав которой посвящена определенному этапу жизни Дэвиса и его восприятию литературы.

БАРБАРА КИНГСОЛВЕР

Библия ядовитого леса

Barbara Kingsolver. The Poisonwood Bible

Harper Flamingo, 1998

Новый роман Барбары Кингсолвер уже несколько месяцев значится во всех списках бестселлеров. Он повествует о драматической судьбе семьи американского миссионера-баптиста в колониальном Конго периода борьбы за независимость. В захватывающей саге, рассказанной женой и дочерьми священника, перед читателем предстает масштабная картина страны, раздавленной колониализмом, а затем и так называемой демократией. Одновременно с едкой иронией описаны все перипетии насильственного насаждения христианской религии среди туземных племен. Критики отмечают удачные ходы, найденные писательницей: динамичный, напряженный сюжет, кульминационные моменты, умелое использование африканского колорита. В особенности хорош блестяще написанный 100-страничный эпилог, логически завершающий повествование. «Библия ядовитого леса», обладая всеми достоинствами предыдущих книг Барбары Кингсолвер, выводит, по мнению рецензентов, ее творчество на новый уровень.

ПАТРИК МАРНЕМ

Сон с открытыми глазами: жизнь Диего Риверы

Patrick Marnham. Dreaming with His Eyes Open: A Life of Diego Rivera

Bloomsbury, 1998

Книга Патрика Марнема — вторая попытка описать жизнь знаменитого мексиканского художника-монументалиста. Первую биографию около сорока лет назад написал друг Риверы Бертрам Вольф. Диего Ривера не только создавал необычные фрески с изощренной символикой и идеологией, вся его жизнь была, по его собственным словам, «лабиринтом небылиц». Марнем попытался решить сложную задачу — отделить реальность от вымысла. Он вспоминает и анализирует все истории, которые Ривера рассказывал о себе и своей семье, а также подробно описывает и диктатуру Порфирио Диаса, и учебу Риверы в Испании, где тот впервые увидел фрески великих мастеров, изменившие всю его жизнь, и парижский период, отмеченный встречами с Пикассо, Модильяни, Матиссом и Браком, и многое другое. Много места в книге уделено личной жизни художника и его отношениям с третьей женой, Фридой Кало. Критики отмечают необычный стиль Марнема и его черный юмор, придающие книге яркость и своеобразие.

ДАЙАНА СОЛУЭЙ

Жизнь Нуриева

Diana Solway. Nureyev: His Life

Weidenfeld and Nicolson, 1998

Еще одна попытка осмыслить и описать жизнь и творчество выдающегося танцовщика нашего времени, предпринятая авторитетным балетным критиком Дайаной Солуэй. Автор подробно прослеживает биографию Рудольфа Нуриева от полного лишений детства до стремительного восхождения по ступеням славы вначале в СССР, а потом и на Западе. При всем почте-

нии к герою Д. Солуэй не скрывает от читателя и темные стороны его жизни, показывая Нуриева таким, каким он был: гениальным танцором и в то же время отталкивающе жестоким эгоистом. По мнению рецензентов, книгу отличают глубина раскрытия темы, профессиональность анализа балетной карьеры Нуриева и объективность.

БЕАТРИКС БЕК в соавторстве с ВАЛЕРИ МАРЕН ЛЯ МЕЛЕ

ПРИЗНАНИЯ ХИМЕРЫ

Béatrix Beck, avec Valérie Marin la Meslée. Confidences de gargouille

Editions Bernard Grasset, 1998

Автобиографическая книга одной из старейших писательниц Франции (Беатрикс Бек родилась в 1914 году), дочери бельгийского писателя Кристиана Бека, лауреата Гонкуровской премии. Критики отмечают необычный стиль и редкую откровенность книги. Для 85-летней писательницы не существует никаких табу. Подробно описывая свои жизненные впечатления, романы и разочарования, она называет все вещи своими именами и не стесняется давать им оценку. Многие ли женщины захотят сравнивать себя с химерами? Для Бек это фантастическое существо символизирует ее сложное отношение к религии. Перед читателем предстает картина истории и литературы XX века, написанная с редкой теплотой и с чувством юмора. Много испытавшая в жизни Беатрикс Бек считает, что ее книга говорит за простых людей, к чьим голосам редко прислушиваются.

КОННИ ПАЛМЕН

И. М.

Connie Palmen. I. M.

Prometheus, 1998

Имя голландской писательницы Конни Палмен уже знакомо нашему читателю (в первом номере «ИЛ» за 1998 год публиковались главы из ее романа «Законы»). Вскоре после того как этот роман был написан, Конни Палмен встретила и полюбила известного журналиста Ишу Мейера. Новая документальная книга писательницы, «И. М.» (буквы «I. M.» можно расшифровать как «Иша Мейер» или «In Memoriam», то есть «Воспоминания»), посвящена истории этой страстной, но недолгой любви (в 1995 году Мейер умер от сердечного приступа). Палмен с невероятной искренностью описывает свои чувства и переживания, вспоминает разговоры с возлюбленным, рассказывает об их совместных поездках и работе. Книга изобилует литературно-теоретическими рассуждениями о сложных взаимосвязях между духовным и плотским, реальностью и вымыслом, общедоступным и глубоко личным. Критики, называя «И. М.» лучшим произведением Конни Палмен, отмечают, что в нем писательница осталась верна своему главному принципу: «Понимание облегчает страдание».

АЛЕССАНДРО БАРБЕРО

Русский

Alessandro Barbero. Russo

Mondadori, 1998

Молодой итальянский автор Алессандро Барберо, чей дебютный роман был удостоен в 1996 году высшей литературной награды Италии, премии «Стрега», на сей раз обращается к истории современной России. Действие разворачивается в СССР конца 1980-х годов, когда за эйфорией горбачевских реформ и сопротивлением аппарата уже начинают маячить призраки разгула делячества и мафии, национализма, религиозного фанатизма. В Москве и на периферии параллельно развиваются и в конце романа пересекаются судьбы двух главных героев, каждый из которых по-своему ищет правду: историк Таня расследует обстоятельства массовых репрессий в сталинские времена, а судья Назар — убийство мусульманского религиозного деятеля. Обоим нелегко докопаться до истины, ибо она не устраивает тех, кто без угрызений совести уничтожал людей раньше и готов продолжать это и теперь. Еще один главный персонаж — Марк, актер и писатель-неудачник — пытается найти надежду и смысл в окружающем его хаосе.

МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС

Еретик

Miguel Delibes. El hereje

Destino, 1998

Классик современной испанской литературы, 78-летний Мигель Делибес впервые обращается к жанру исторического романа. «Еретик» повествует о печальной странице прошлого Испании, о безжалостной инквизиции, о преследовании и казни группы лютеран в Кастилии XVI века. В основу романа положены подлинные события: в 1559 году в Вальядолиде, ставшем одним из лютеранских центров, действительно были сожжены на костре «еретики». Главный герой романа — торговец шкурами и шерстью Сиприано, которого приводят к но-

вой вере размышления о смысле жизни. Критики отмечают рельефность изображения этого персонажа, воплощающего добродетели чистоты и братства, и жизненность образов членов его семьи. Кроме того, книга дает яркую картину жизни Испании в период правления Карла I и Филиппа II, а также остальной Европы в эпоху Реформации.

СУСАННА ТАМАРО

Тобиас и ангел

Susanna Tamaro. Tobia e l'angelo

Mondadori, 1998

Это третья книга известной итальянской писательницы Сусанны Тамаро в серии «Детская литература». Заглавие романа позаимствовано у картины из миланской галереи, но его фабула не имеет ничего общего с библейской темой. Тобиас — это не имя мальчика, а прозвище современной девочки. Ее детство омрачено семейными скандалами и нуждой, не в радость ей и учеба в школе, где царит напыщенное словоблудие. Однажды после скандала, разгоревшегося из-за плохих оценок дочери и перешедшего в драку, родители девочки уходят из дома. Навещавший семью дедушка вдруг тоже куда-то исчезает, и Тобиас становится бродяжкой. Но этот горький факт представлен как ритуал ее посвящения во взрослую жизнь под опекой ангела-хранителя, явившегося ей вначале в образе воина ниндзя. «Пора взрослеть, развиваться внутренне, как это делает всё сущее в мире, чтобы исполнить свое назначение, — наставляет он. — А то судьба ускользнет от тебя, как бумажный змей».

■ АВСТРИЯ

НОВОЕ ОБ АННЕ ФРАНК

Австрийская журналистка Мелисса Мюллер посвятила несколько лет работе над биографией Анны Франк, чей знаменитый «Дневник» стал известен всему миру. Неожиданностью для нее стало приглашение посетить Аахен, пришедшее от Кора Суйка, друга отца Анны. В 1980 году, незадолго до смерти, Отто Франк отдал Суйку на хранение несколько неопубликованных страниц из дневника дочери. Суйк решил, что книга Мелиссы Мюллер достойна того, чтобы предать в ней гласности некоторые неизвестные детали из жизни семьи Франк. Почему же до сих пор эти страницы не стали достоянием читателя? Дело в том, что в своих записях Анна с необычайной для 13-летней девочки наблюдательностью рассуждает о взаимоотношениях между родителями. Ей казалось, что отец, так и не сумевший забыть свою первую любовь, никогда не любил по-настоящему свою жену, а та, в свою очередь, была с ним слишком резкой и грубой. В этой сложной ситуации Анна целиком была на стороне отца и критиковала мать. Только к концу дневника, в феврале 1944 года, записи о матери становятся более мягкими и спокойными. Как показывают исследования Мюллер, Анна очень точно оценивала семейную ситуацию.

Впрочем, как указывают все критики, несмотря на всю сенсационность находки, было бы неправильным считать, что только в ней и состоит ценность книги М. Мюллер. Писательнице удалось воссоздать в мельчайших деталях жизнь семьи Франк, пытавшейся жить нормальной жизнью, когда привычный мир становился адом. Мюллер сумела найти и точные доказательства того, что именно уборщица Лена Хартог выдала полиции местонахождение семьи Франков. Но главное достоинство книги в том, что с ее страниц на читателя смотрит настоящая Анна — девочка-подросток со сложным характером, полная сил и замыслов, которая могла бы стать настоящим большим писателем.

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ОТ ДРУЖБЫ ДО ВРАЖДЫ...

В Великобритании вышла книга воспоминаний известного писателя Пола Теру «Тень сэра Видиа: дружба на пяти континентах». Речь в ней идет о 30-летней дружбе Теру с другим выдающимся литератором — В.С. Найполом, закончившейся несколько лет назад полным разрывом. Слово «тень» в названии книги имеет особый смысл: автор не без иронии пишет о том, что на протяжении многих лет считал себя тенью Найпола, его верным рыцарем, сподвижником и единомышленником. Писатели понимали друг друга с полуслова, их объединяли одинаковые взгляды на литературу, жизнь, отношения с женщинами. Найпол доверял Теру свои самые сокровенные тайны, не стеснялся признаваться ему в своих грехах и пороках. Что же послужило причиной внезапного взаимного охлаждения столь преданных друзей? Ответ на этот вопрос стар как мир: ищите женщину! Оказывается, спустя два месяца после смерти своей первой жены сэр Видиа решил связать себя узами брака с некой дамой, о существовании которой его ближайший друг и не подозревал. Более того, по словам общих знакомых, эта особа была настоящей авантюристкой: она сумела втереться в доверие к Найполу, убедив его в том, что уже долгие годы является знатоком и страстной поклонницей его творчества. Вскоре после женитьбы друга Теру получил письмо от одного американского издательства, в котором ему предлагалось купить на выгодных условиях права на переиздание... его же собственных книг, написанных много лет назад и посвященных Найполу и его покойной супруге. Судя по всему, новоиспеченная госпожа Найпол занялась «приведением в порядок» дел своего супруга. А вскоре после этого пришло и письмо от нее самой — Теру называет его «небрежным, полуграмотным и враждебным». Оскорбленный в своих лучших чувствах, Теру написал обоим корреспондентам, что не намерен вступать с ними в переговоры и что Найпол должен отдавать себе отчет в ошибочности своих поступков. При этом сам Теру, без сомнения, помнил о том, что сэр Видиа никогда и ни от кого не принимает упреков и замечаний по поводу своего поведения. Так и закончилась тесная дружба двух писателей.

■ США

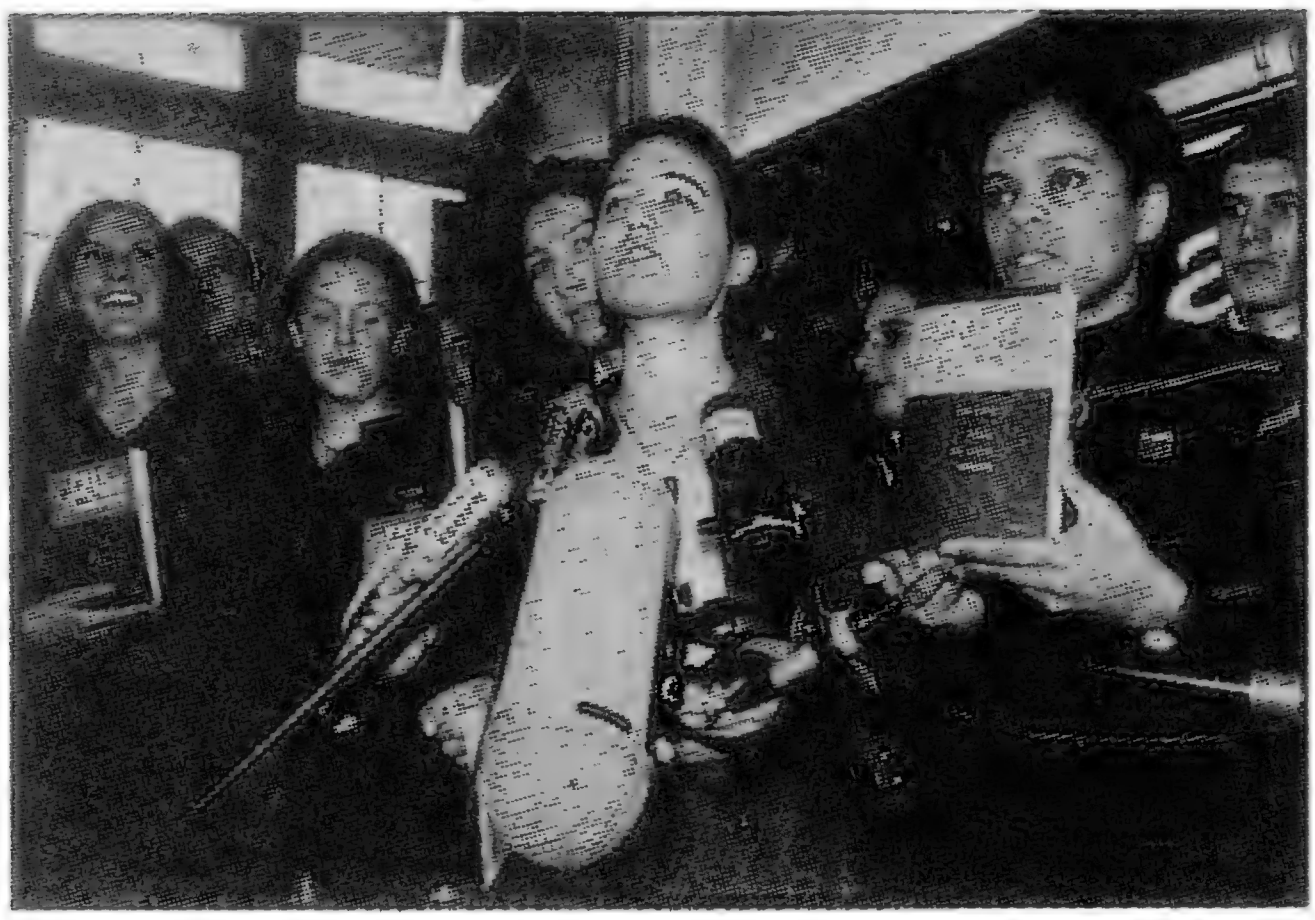
НОВЫЙ РОМАН ХЕМИНГУЭЯ

Прошло уже 37 лет со дня смерти Эрнеста Хемингуэя, но, оказывается, еще не все его литературное наследие стало достоянием читателей. Летом 1999 года семья Хемингуэя и издательство «Скрибнер», многие годы публиковавшее произведения писателя, собираются отметить 100-летие классика выходом в свет еще одного романа, «Правда на первый взгляд». Его рукопись многие годы пролежала среди прочих бумаг Хемингуэя. В этом повествовании о приключениях некоего писателя и его жены во время африканского сафари причудливо переплетаются правда и вымысел. Действительно ли Хемингуэй, как и главный герой романа, влюбился в 18-летнюю африканку? Правда ли, что у него родился ребенок от этой девушки? И правда ли, что его жена знала об

этом романе и не придавала ему значения?

Обнаружение еще одного незаконченного романа стало неожиданностью для многих людей, близких к семье Хемингуэя, а также для исследователей его творчества. Однако, по словам Роз Мари Беруэлл, профессора литературы в университете Северного Иллинойса, эта находка неудивительна. Удивительно, по ее мнению, другое — юмористический тон романа. «Обычно все произведения, изданные после смерти их создателей, отличаются чрезмерной серьезностью. А этот роман такой забавный, в нем столько самоиронии. Так и хочется спросить у автора: «Черт возьми, почему же ты не мог так относиться к собственной жизни?»

Патрик Хемингуэй, 70-летний сын писателя, клянется, что этот роман станет «самым последним литературным произведением отца, которое увидит свет».



Объявление лауреата лицейской Гонкуровской премии 1998 года

■ ФРАНЦИЯ

ЛИЦЕЙСКАЯ ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Во Франции в десятый раз было объявлено о присуждении Гонкуровской премии лицеистов. Ее вручают автору литературного произведения на основании решения специального жюри, составленного из учащихся старших классов. Премия вручается с согласия Гонкуровской академии. На сей раз церемония состоялась в Ренне. В отличие от своих старших коллег, избравших лауреатом 1998 года Поль Констан за роман «Доверие за доверие», лицеисты подавляющим большинством голосов признали лучшим роман Люка Ланга «Тысяча шестьсот утроб». Этот роман вызвал большие споры во Франции. По мнению критика журнала «Магазин литтерер», в нем, «как под микроскопом, изучаются ненависть, низость, любовь, дружба, страх, власть... Роман полон находок, на каждой странице видны плоды скрупулезной работы. Главный герой романа — некто Блен, трагикомический персонаж, роль которого прекрасно мог бы сыграть Джек Николсон. Прочитав роман, вы сразу же пожалеете, что это счастье уже закончилось. Как ни странно, вы, сами того не замечая, втягиваетесь в эту книгу».

«Взрослые» литературные критики отмечают, что присуждение лицейской премии Люку Лангу свидетельствует о расхождении вкусов поколений. Впрочем, и они признают достоинства его романа. А кого будут больше читать через двадцать лет — Ланга или Констан, — покажет время.

ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ О МАРГЕРИТ ДЮРАС

Каждый год в мире выходит около 100 биографий литературных деятелей. Одни из них представляют собой чисто научные исследования, другие изобилуют анекдотами, третьи просто по-новому трактуют уже известные факты. Новую биографию французской писательницы и режиссера Маргерит Дюрас, написанную Лори Адлер, критики единодушно признали ярким событием. Все дело в личности самой Дюрас: она была настоящей звездой и осознавала свою избранность. При этом она всегда говорила, что не верит, будто кто-то может написать ее биографию, и утверждала, что история ее жизни изложена в ее книгах. Вот что пишет об этом Лори Адлер: «Маргерит Дюрас набила руку в нечестных признаниях, порой она теряет способность отличать реальное событие от мыслей по его поводу и от того, как она сама описала это событие». В подобной ситуации трудно удержаться от того, чтобы не уличать и не разоблачать, но Лори Адлер, испытывая глубочайшее уважение к личности своей героини, сумела проявить достаточно такта и не подвергать сомнению правдивость рассказанного Дюрас. В случаях, когда отличить правду от вымысла невозможно, Адлер просто приводит обе версии события и не пытается навязать читателю свое мнение о том, какая из них больше соответствует действительности.

Лори Адлер побывала во всех местах, где жила Дюрас, — от Индокитая, где она родилась и провела первые 17 лет своей жизни, до курорта в Нормандии, где прошли последние дни жизни писательницы. Она изучила колоссальное наследие Дюрас, переданное в архив ее последним спутником жизни: 18 коробок дневников, набросков, прозаических и поэтических отрывков, философских работ, политических очерков. Может быть, Маргерит Дюрас и в самом деле придумывала какие-то детали своей жизни, но буквально каждое из реальных событий, которыми была полна эта жизнь, могло стать основой для увлекательного романа или фильма. В частности, Адлер подробно описывает невероятную историю, связанную с неким Шарлем Дельвалем, выведенным Дюрас в ее автобиографическом романе «Боль» под фамилией Рабье. Дельваль, сотрудничавший с гестапо, сыграл ведущую роль в провале сети Сопротивления, к которой принадлежал бывший муж писательницы Робер Антельм. В попытках отыскать Антельма и вызволить его из концлагеря Дюрас познакомилась с Дельвалем и поддерживала с ним до-

вольно тесные отношения. После освобождения Франции она присутствовала на его допросах и пытках (по ее собственному признанию, даже принимала в них участие). Позже Дельваль был расстрелян. А сама Дюрас так никогда и не узнала о том, что спустя 6 месяцев после этого расстрела у вдовы Дельваля родился ребенок. Этот ребенок был единокровным братом сына самой Маргерит Дюрас — их отцом был ее возлюбленный Дионис Масколо.

Лори Адлер призывает читателей, особенно тех, кого творчество Дюрас оставляло равнодушными, увидеть в эгоцентричной обольстительнице и неутомимой созидательнице собственного культа тонкую, ранимую, бесконечно одинокую женщину, отчаянно желавшую быть любимой и всю жизнь ощущавшую себя ненужной.

По материалам еженедельника «Гардиан уикли» (Великобритания), газеты «Монд» (Франция), журналов «Ньюсуик» (США), «Магазин литтерер» (Франция)

КНИГИ, занимающие первые 10 мест в сводном списке бестселлеров от 8 марта 1999 г.

(Данные интернетовского книжного магазина «Амазон» — www.topbestsellers.com)

1. **John Grisham.** THE TESTAMENT.
2. **Patricia Cornwell.** SOUTHERN CROSS.
3. **Tom Wolfe.** A MAN IN FULL.
4. **Barbara Kingsolver.** THE POISONWOOD BIBLE.
5. **Elmore Leonard**. BE COOL.
6. **Julie Grawood.** RANSOM.
7. **W.E.B. Griffin.** IN DANGER'S PATH.
8. **Barbara Taylor Bradford.** A SUDDEN CHANGE OF HEART.
9. **Elizabeth Strout.** AMY AND ISABELLE.
10. **Dean R. Koontz.** SEIZE THE NIGHT.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ЭММАНЮЭЛЬ КАРРЕР (EMMANUEL CARRÈRE; род. в 1958 г.) — французский писатель. Его первая книга, «Вернер Херцог» («Werner Herzog»), вышла в 1982 году. В последующие годы издавались романы: «Подруга ягуара» («L'Amie du jaguar», 1983), «Отвага» («Bravoure»), «Берингов пролив» («Le détroit de Behring», 1986) и др.
Роман «Усы» издан во Франции в 1986 году («La moustache». Paris, P.O.L éditeur).

АЛОЙЗ ИХАН (ALOIZ IHAN; род. в 1961 г.) — словенский поэт и прозаик, автор сборников стихов «Сребреник» («Srebrnik», 1985), «Игроки в покер» («Igralci pokra», 1989), «Девушка с юга» («Južno dokle», 1995), книги эссе «Платон у зубного врача» («Platon pri zobodravniku», 1977), романов «Дом» («Hiša», 1997), «Странствия двоих...: с собакой» («Romanje za dva... in psa», 1998).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Сребреник». (Ljubljana, Književna mladina, 1985) и «Девушка с юга». (Ljubljana, Mihelač, 1995).

МАРГАРЕТ ЭТВУД (MARGARET ATWOOD; род. в 1939 г.) — канадская писательница, критик, эссеист; автор сборников стихов «Двуличная Персефона» («Double Persephone», 1961), «Игра вкруговую» («The Circle Game», 1964), «Звери в той стране» («The Animals in That Country», 1968), «Двуглавые стихи» («Two-headed Poems», 1978), романов «Лакомый кусочек» («The Edible Woman», 1969; рус. перев. 1980), «Постижение» («Surfacing», 1972; рус. перев. 1985), «Женщина-оракул» («Lady Oracle», 1976), «Жизнь до человека» («Life Before Man», 1979), «Телесные повреждения» («Bodily Harm», 1981), «История служанки» («The Handmaid's Tale», 1985), «Кошачий глаз» («Cat's Eye», 1988), «Невеста-разбойница» («The Robber Bride», 1993), сборника рассказов и эссе «Как выжить в дебрях» («Wilderness Tips», 1991). В «ИЛ» (1997, № 6) напечатан рассказ «Восход солнца».
Роман «Та самая Грейс», фрагменты которого публикуются в номере, был издан в Англии в 1996 году («Alias Grace». London, Bloomsbury) и вошел в шорт-лист Букеровской премии.

РОБЕРТ ОЛЕН БАТЛЕР (ROBERT OLEN BUTLER; род. в 1945 г.) — американский писатель, автор семи романов: «Они шепчут» («They Whisper», 1995), «Глубокое зеленое море» («Deep Green Sea», 1996) и др. Сборник рассказов «Приятный запах со странной горы» («Good Scent from a Strange Mountain») в 1993 году принес автору Пулицеровскую премию и премию Американской академии искусства и литературы.
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Таблоидные фантазии» («Tabloid Dreams». New York, Henry Holt and Company, 1996).

ГАБРИЕЛА МИСТРАЛЬ (GABRIELA MISTRAL; 1889—1957) — чилийская поэтесса, первый в Латинской Америке лауреат Нобелевской премии по литературе (1945). Автор книг стихов «Отчаяние» («Desolación», 1922), «Тала» («Tala», 1938), «Давильня» («Lagar», 1954), «Стихи о Чили» («Poema de Chile», посмертно, 1967).
Публикуемые стихи печатаются по изданию: «Poesias completas». Madrid, Aguilar, 1958.

СТАРОСТИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА — переводчик с румынского. В ее переводе публиковались новеллы румынских классиков М. Эминеску, Т. Аргези и др.; сборник А. Бландианы «Стихотворения, рассказы, эссе» (М., 1987); ею составлен и переведен том беллетристики М. Элиаде «Под тенью лилии» (1996), составлен I том собрания научных трудов М. Элиаде «Азиатская алхимия» и переведено эссе с одноименным названием (1998). В «ИЛ» в ее переводе печатались рассказы Э. Урикару, Б. Хорасанджана, А. Бландианы (премия «ИЛ» за 1985 год), роман М. Элиаде «Девица Кристина» (1992, № 3).

МИРЧА ЭЛИАДЕ (MIRCEA ELIADE; 1907—1986) — румынский философ и писатель, историк религий (подробнее см. раздел *Литературного гида* «Мирча Элиаде: краткая летопись жизни и творчества»).
В «ИЛ» напечатаны его новелла «У цыганок» из книги «При дворе у Диониса» (1989, № 8) и роман «Девица Кристина» (1992, № 3).
В номере публикуются фрагменты из книги бесед Мирчи Элиаде с Клодом-Анри Роке «Испытание лабиринтом» («L'épreuve du labirinthe. Entretiens avec Claude-Henri Rocquet». Paris, Pierre Belfond, 1978) и книги «Воспоминания. I. Мансарда» («Amintiri. I. Mansarda». Madrid, 1966).

ЭМИЛЬ МИШЕЛЬ ЧОРАН (EMIL MICHEL CIORAN; 1911—1995) — французский мыслитель-эссеист, родился в Трансильвании (тогда — Австро-Венгрия), с 1937 г. жил во Франции. Его первые книги философской эссеистики «На краю отчаяния» («Pe culmile desperarii», 1934) и «Слезы и святые» («Lacrimi si sfinsti», 1937) написаны по-румынски и опубликованы в Бухаресте. С 1946 г. писал по-французски. Автор сбор-

ников эссе и афоризмов «Уроки распада» («Précis de décomposition», 1949), «Соблазн существования» («La tentation d'exister», 1956), «История и утопия» («Histoire et utopie», 1960), «Злой творец» («Le mauvais démiurge», 1969), «Признания и проклятия» («Aveux et anathèmes». 1987) и др. В «ИЛ» печатались его эссе «Механика утопии» (1996, № 4), «Встречи с Паулем Целаном» (1996, № 12); фрагменты «Записных книжек. 1957—1972» (1998, № 11).
Эссе «Мирча Элиаде» взято из книги Э.-М. Чорана «Экзерсизы восхищения» («Exercices d'admiration». Paris, Gallimard, 1986).

ЖОЗЕ САРАМАГО (JOSÉ SARAMAGO; род. в 1922 г.) — португальский писатель, лауреат Нобелевской премии (1998), а также премии Ассоциации португальских писателей, английской премии «За лучшую иностранную книгу» и многих других. Автор романов «Поднявшиеся с земли» («Levantado do Chão», 1980), «Воспоминания о монастыре» («Memorial do Convento», 1982), «Год смерти Рикардо Рейса» («O Ano da Morte de Ricardo Reis», 1984), «Во имя Господа» («In Nomine Dei», 1993), «Евангелие от Иисуса» («O Evangelho Segundo Jesus Cristo», 1991; рус. перев. в «ИЛ», 1998, № 5,6), пьесы «Ночь» («Noite», 1974) и др.
В номере публикуется лекция Жозе Сарамаго «Как герои учат автора ремеслу», произнесенная на церемонии вручения ему Нобелевской премии в декабре 1998 года.

■Переводчики:

ВОЛЕВИЧ ИРИНА ЯКОВЛЕВНА — переводчик с французского. В ее переводе изданы романы «Тристан» П. Салá, «Голубые цветочки» Р. Кено, «Сильва» Веркора, «Обладатель кубка», «Упрямая улитка» и «Идеальное место для убийства» («ИЛ», 1984, № 10) Р. Буджедры, «Рыбья кровь» Ф. Саган («ИЛ», 1991, № 2), «Красные сабо» и «Дети Ноя» Ж. Жубера, «Пятница, или Тихоокеанский лимб» и «Элеазар, или Источник и Куст» («ИЛ», 1997, № 2) М. Турнье, «Праздники любви» Я. Муакса («ИЛ», 1997, № 7), «Эглантина» и «Лгунья» Ж. Жироду, «Лотерейный билет» Ж. Верна, «Все утра мира» П. Киньяра («ИЛ», 1997, № 11), «Вчера» А. Кристоф («ИЛ», 1998, № 9), новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения М. де Гельдероде, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, А. Камю и др. Лауреат премии «ИНОЛИТ» (1997).

ГИЛЕВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА — переводчик со словенского. В 1985 г. окончила филологический факультет Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова. Ее переводы печатались в сборнике «Весь свет» (М., Молодая гвардия, 1985).

ЯНСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА — литературный критик, переводчик с английского. Автор многих статей по современной русской литературе; переводит в основном исторические романы и детскую литературу. В «ИЛ» в ее переводе опубликован рассказ «Уроки поэзии» П. Теру (1996, № 10) и рассказ «Восход солнца» М. Этвуд (1997, № 6).

ГАЛЬПЕРИНА МАРИЯ ИОСИФОВНА — в 1997 г. окончила Литературный институт им. А. М. Горького, отделение художественного перевода. В «ИЛ» в ее переводе публиковался рассказ «Сцена письма» С. Сонтаг (1999, № 1).

ВАНХАНЕН НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА — поэт-переводчик. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни, Х. Падрона («ИЛ», 1988, № 4; 1995, № 11), Э. де Чампурсин («ИЛ», 1994, № 6); Л. Сернуды («ИЛ», 1995, № 12; 1997, № 1), П. Селинаса («ИЛ», 1997, № 7).

БОГДАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) — переводчик с испанского, португальского, английского; кандидат искусствоведения. В его переводе изданы романы «Лавка чудес», «Пальмовая ветвь», «Капитаны песка» и «Исчезновение святой» Ж. Амаду («ИЛ», 1990, № 1, 2); «Война конца света» М. Варгаса Льосы, «Ты боишься крови?» Сержио Рамиреса, «Луна доктора Фауста» Ф. Эррера Луке, «Евангелие от Иисуса» Ж. Сарамаго («ИЛ» 1998, № 5,6), повесть «Кто убил Паломино Молеро?» М. Варгаса Льосы (Библиотека «ИЛ», 1989), стихи М. Марии ду Бокаже, Ф. Пессоа, Ф. Наморы, Машадо де Ассиза и др.; главы из книги «Портрет Пикассо в юности» Н. Мейлера («ИЛ», 1997, № 3, 4 и 1998, № 8,9), главы из воспоминаний «Каботажное плаванье» («ИЛ», 1998, № 7) Ж. Амаду.

■

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

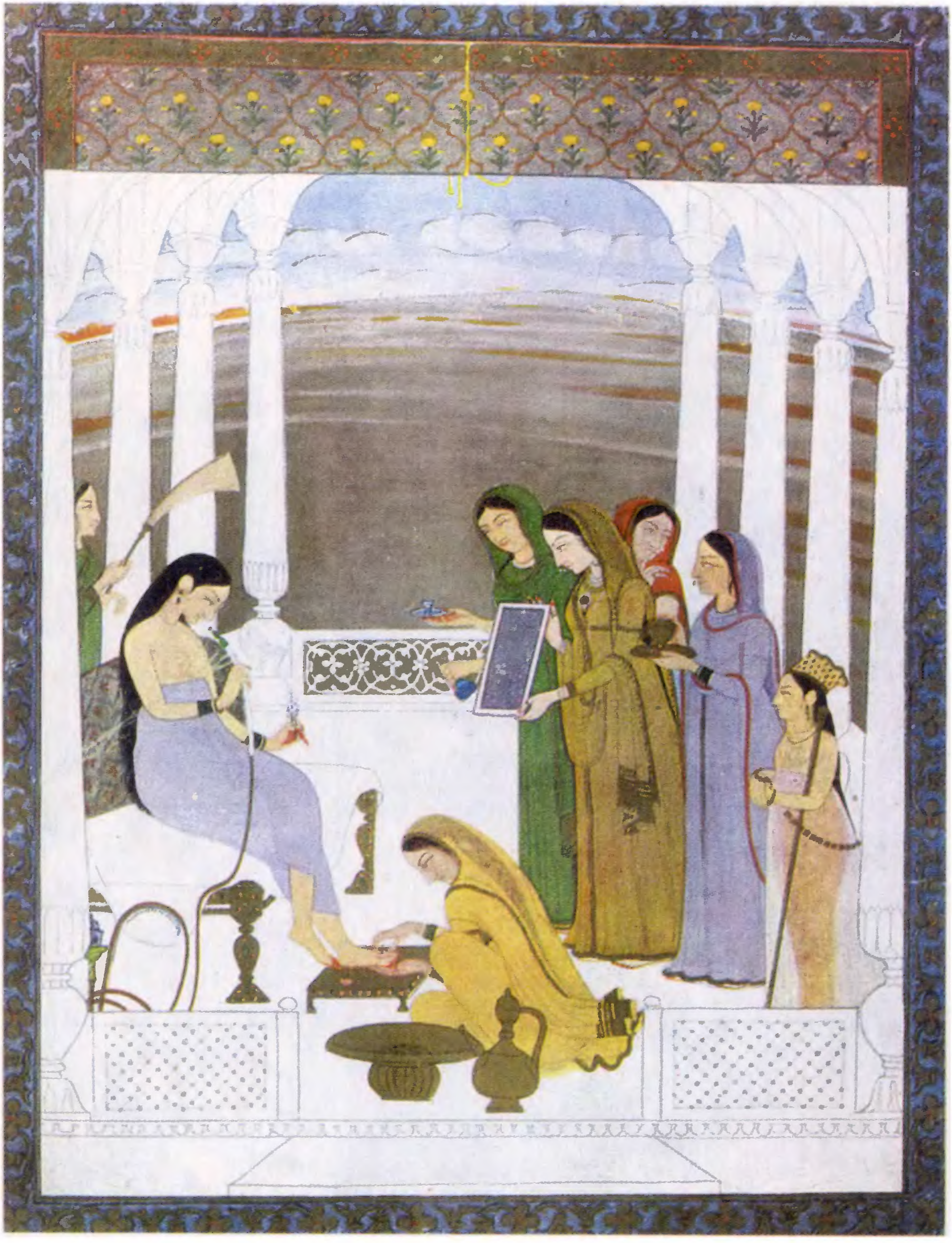
галерея
линия-арт

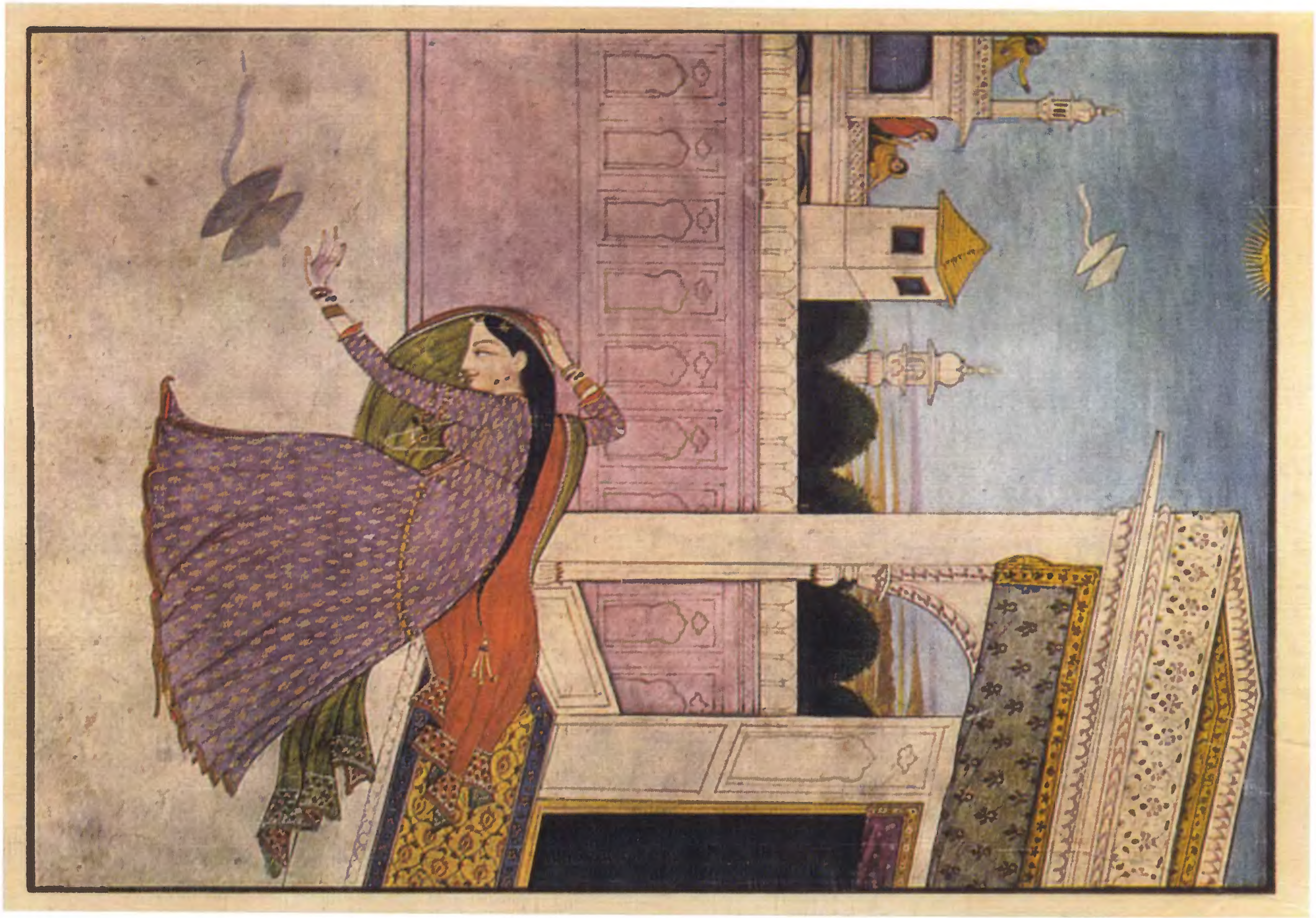
Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПЦОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**





ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №4, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394